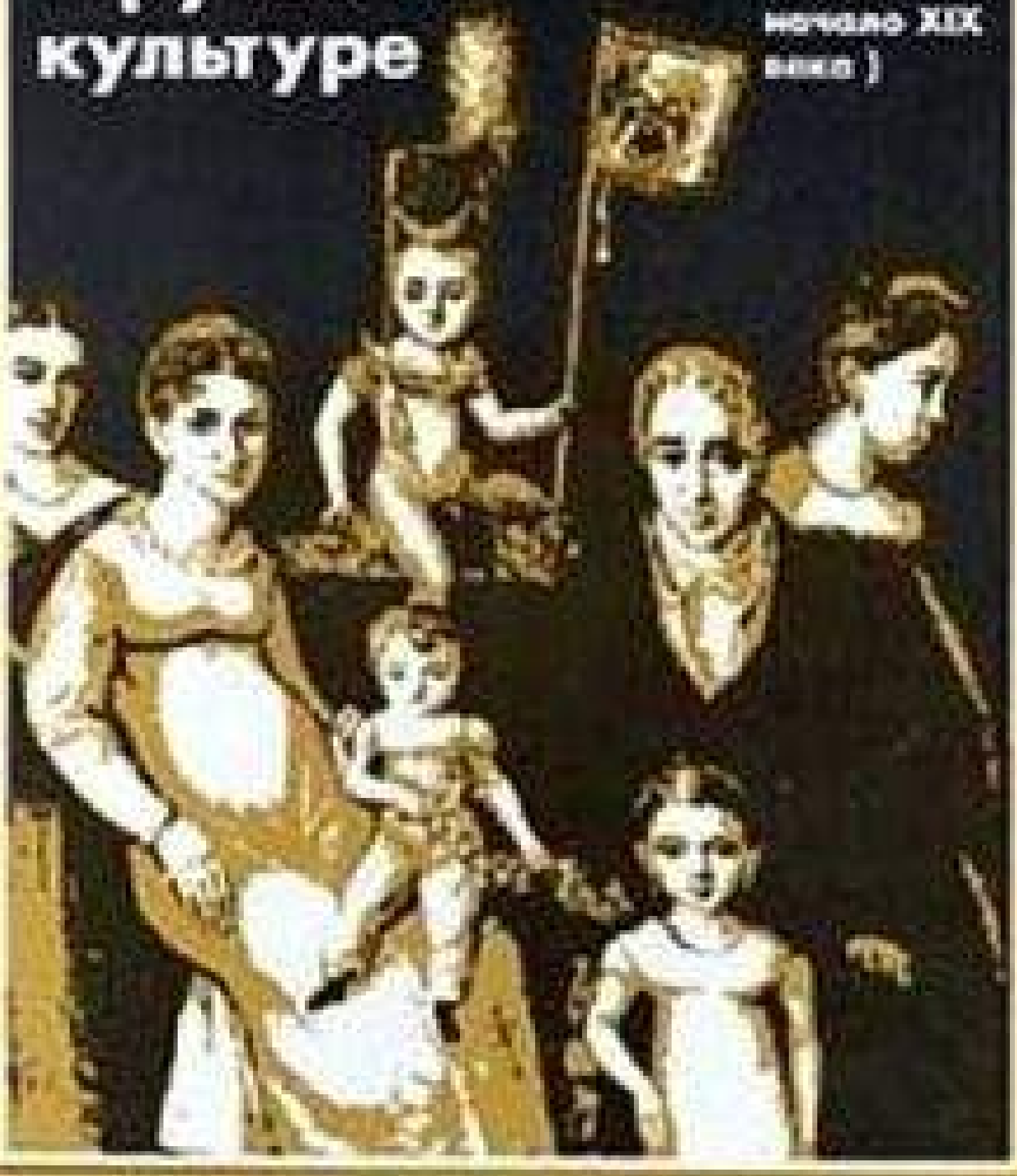
Ю.М. ЛОТМАН

Беседы о русской культуре

Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)



Ю. М. Лотман

БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)

Светлой памяти родителей моих Александры Самойловны и Михаила Львовича Лотманов

Издание выпущено в свет при содействии Федеральной целевой программы книгоиздания России и международного фонда «Культурная инициатива».

«Беседы о русской культуре» принадлежат перу блестящего исследователя русской культуры Ю. М. Лотмана. В свое время автор заинтересованно откликнулся на предложение «Искусства — СПБ» подготовить издание на основе цикла лекций, с которыми он выступал на телевидении. Работа велась им с огромной ответственностью — уточнялся состав, главы расширялись, появлялись новые их варианты. Автор подписал книгу в набор, но вышедшей в свет ее не увидел — 28 октября 1993 года Ю. М. Лотман умер. Его живое слово, обращенное к многомиллионной аудитории, сохранила эта книга. Она погружает читателя в мир повседневной жизни русского дворянства XVIII — начала XIX века. Мы видим людей далекой эпохи в детской и в бальном зале, на поле сражения и за карточным столом, можем детально рассмотреть прическу, покрой платья, жест, манеру держаться. Вместе с тем повседневная жизнь для автора — категория историко-психологическая, знаковая система, то есть своего рода текст. Он учит читать и понимать этот текст, где бытовое и бытийное неразделимы.

«Собранье пестрых глав», героями которых стали выдающиеся исторические деятели, царствующие особы, рядовые люди эпохи, поэты, литературные персонажи, связано воедино мыслью о непрерывности культурно-исторического процесса, интеллектуальной и духовной связи поколений.

В специальном выпуске тартуской «Русской газеты», посвященном кончине Ю. М. Лотмана, среди его высказываний, записанных и сбереженных коллегами и учениками, находим слова, которые содержат квинтэссенцию его последней книги: «История проходит через Дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а „самостоянье человека“ превращает его в историческую личность».

Издательство благодарит Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей, безвозмездно предоставившие гравюры, хранящиеся в их фондах, для воспроизведения в настоящем издании.

ВВЕДЕНИЕ:

Быт и культура

Посвятив беседы русскому быту и культуре XVIII — начала XIX столетия, мы прежде всего должны определить значение понятий «быт», «культура», «русская культура XVIII — начала XIX столетия» и их отношения между собой. При этом оговоримся, что понятие «культура», принадлежащее к наиболее фундаментальным в цикле наук о человеке, само может стать

предметом отдельной монографии и неоднократно им становилось. Было бы странно, если бы мы в предлагаемой книге задались целью решать спорные вопросы, связанные с этим понятием. Оно очень емкое: включает в себя и нравственность, и весь круг идей, и творчество человека, и многое другое. Для нас будет вполне достаточно ограничиться той стороной понятия «культура», которая необходима для освещения нашей, сравнительно узкой темы.

Культура, прежде всего, —

понятие коллективное. Отдельный человек может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее по своей природе культура, как и язык, — явление общественное, то есть социальное[1].

Следовательно, культура есть нечто общее для какого-либо коллектива — группы людей, живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что культура есть

форма общения между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются. (Организационная структура, объединяющая людей, живущих в одно время, называется

синхронной, и мы в дальнейшем будем пользоваться этим понятием при определении ряда сторон интересующего нас явления).

Всякая структура, обслуживающая сферу социального общения, есть язык. Это означает, что она образует определенную систему знаков, употребляемых в соответствии с известными членам данного коллектива правилами. Знаками же мы называем любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и т. д.), которое

имеет значение и, таким образом, может служить средством

передачи смысла.

Следовательно, культура имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, символическую природу. Остановимся на этой последней. Подумаем о таком простом и привычном, как хлеб. Хлеб вещественен и зрим. Он имеет вес, форму, его можно разрезать, съесть. Съеденный хлеб вступает в физиологический контакт с человеком. В этой его функции про него нельзя спросить: что он означает? Он имеет употребление, а не значение. Но когда мы произносим: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — слово «хлеб» означает не просто хлеб как вещь, а имеет более широкое значение: «пища, потребная для жизни». А когда в Евангелии от Иоанна читаем слова Христа: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать» (Иоанн, 6:35), то перед нами — сложное символическое значение и самого предмета, и обозначающего его слова.

Меч также не более чем предмет. Как вещь он может быть выкован или сломан, его можно поместить в витрину музея, и им можно убить человека. Это все — употребление его как предмета, но когда, будучи прикреплен к поясу или поддерживаемый перевязью помещен на бедре, меч символизирует свободного человека и является «знаком свободы», он уже предстает как символ и принадлежит культуре.

В XVIII веке русский и европейский дворянин не носит меча — на боку его висит шпага (иногда крошечная, почти игрушечная парадная шпага, которая оружием практически не является). В этом случае шпага — символ символа: она означает меч, а меч означает принадлежность к привилегированному сословию.

Принадлежность к дворянству означает и обязательность определенных правил поведения, принципов чести, даже покроя одежды. Мы знаем случаи, когда «ношение неприличной

дворянину одежды» (то есть крестьянского платья) или также «неприличной дворянину» бороды делались предметом тревоги политической полиции и самого императора.

Шпага как оружие, шпага как часть одежды, шпага как символ, знак дворянства — всё это различные функции предмета в общем контексте культуры.

В разных своих воплощениях символ может одновременно быть оружием, пригодным для прямого практического употребления, или полностью отделяться от непосредственной функции. Так, например, маленькая специально предназначенная для парадов шпага исключала практическое применение, фактически являясь изображением оружия, а не оружием. Сфера парада отделялась от сферы боя эмоциями, языком жеста и функциями. Вспомним слова Чацкого: «Пойду на смерть как на парад». Вместе с тем в «Войне и мире» Толстого мы встречаем в описании боя офицера, ведущего своих солдат в сражение с парадной (то есть бесполезной) шпагой в руках. Сама биполярная ситуация «бой — игра в бой» создавала сложные отношения между оружием как символом и оружием как реальностью. Так шпага (меч) оказывается вплетенной в систему символического языка эпохи и становится фактом ее культуры.

А вот еще один пример, в Библии (Книга Судей, 7:13–14) читаем: «Гедеон пришел [и слышит]. И вот, один рассказывает другому сон, и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: это не иное что, как меч Гедеона…» Здесь хлеб означает меч, а меч — победу. И поскольку победа была одержана с криком «Меч Господа и Гедеона!», без единого удара (мадиамитяне сами побили друг друга: «обратил Господь меч одного на другого во всем стане»), то меч здесь — знак силы Господа, а не военной победы.

Итак, область культуры — всегда область символизма.

Приведем еще один пример: в наиболее ранних вариантах древнерусского законодательства («Русская правда») характер возмещения («виры»), которое нападающий должен был заплатить пострадавшему, пропорционален материальному ущербу (характеру и размеру раны), им понесенному. Однако в дальнейшем юридические нормы развиваются, казалось бы, в неожиданном направлении: рана, даже тяжелая, если она нанесена острой частью меча, влечет за собой меньшую виру, чем не столь опасные удары необнаженным оружием или рукояткой меча, чашей на пиру, или «тылесной» (тыльной) стороной кулака.

Как объяснить этот, с нашей точки зрения, парадокс? Происходит формирование морали воинского сословия, и вырабатывается понятие чести. Рана, нанесенная острой (боевой) частью холодного оружия, болезненна, но не бесчестит. Более того, она даже почетна, поскольку бьются только с равным. Не случайно в быту западноевропейского рыцарства посвящение, то есть превращение «низшего» в «высшего», требовало реального, а впоследствии знакового удара мечом. Тот, кто признавался достойным раны (позже — знакового удара), одновременно признавался и социально равным. Удар же необнаженным мечом, рукояткой, палкой — вообще

не оружием — бесчестит, поскольку так бьют раба.

Характерно тонкое различие, которое делается между «честным» ударом кулаком и «бесчестным» — тыльной стороной кисти или кулака. Здесь наблюдается обратная зависимость между реальным ущербом и степенью знаковости. Сравним замену в рыцарском (потом и в дуэльном) быту реальной пощечины символическим жестом бросания перчатки, а также вообще приравнивание при вызове на дуэль оскорбительного жеста оскорблению действием.

Таким образом, текст поздних редакций «Русской правды» отразил изменения, смысл

которых можно определить так: защита (в первую очередь) от материального, телесного ущерба сменяется защитой от оскорбления. Материальный ущерб, как и материальный достаток, как вообще вещи в их практической ценности и функции, принадлежит области практической жизни, а оскорбление, честь, защита от унижения, чувство собственного достоинства, вежливость (уважение чужого достоинства) принадлежат сфере культуры.

Секс относится к физиологической стороне практической жизни; все переживания любви, связанная с ними выработанная веками символика, условные ритуалы — все то, что А. П. Чехов называл «облагораживанием полового чувства», принадлежит культуре. Поэтому так называемая «сексуальная революция», подкупающая устранением «предрассудков» и, казалось бы, «ненужных» сложностей на пути одного из важнейших влечений человека, на самом деле явилась одним из мощных таранов, которыми антикультура XX столетия ударила по вековому зданию культуры.

Мы употребили выражение «вековое здание культуры». Оно не случайно. Мы говорили о синхронной организации культуры. Но сразу же надо подчеркнуть, что культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как «негенетическую» память коллектива. Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру — культуру человечества.

Поэтому же культура всегда, с одной стороны, — определенное количество унаследованных текстов, а с другой — унаследованных символов.

Символы культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но не теряя при этом памяти и о своих предшествующих смыслах), передаются будущим состояниям культуры. Такие простейшие символы, как круг, крест, треугольник, волнистая линия, более сложные: рука, глаз, дом — и еще более сложные (например, обряды) сопровождают человечество на всем протяжении его многотысячелетней культуры.

Следовательно, культура исторична по своей природе. Само ее настоящее всегда существует в отношении к прошлому (реальному или сконструированному в порядке некоей мифологии) и к прогнозам будущего. Эти исторические связи культуры называют

диахронными. Как видим, культура вечна и всемирна, но при этом всегда подвижна и изменчива. В этом сложность понимания прошлого (ведь оно ушло, отдалилось от нас). Но в этом и необходимость понимания ушедшей культуры: в ней всегда есть потребное нам сейчас, сегодня.

Мы изучаем литературу, читаем книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнуют Наташа Ростова и Андрей Болконский, герои Золя, Флобера, Бальзака. Мы с удовольствием берем в руки роман, написанный сто, двести, триста лет назад, и мы видим, что герои его нам близки: они любят, ненавидят, совершают хорошие и плохие поступки, знают честь и бесчестие, они верны в дружбе или предатели — и все это нам ясно.

Но вместе с тем многое в поступках героев нам или совсем непонятно, или — что хуже — понято неправильно, не до конца. Мы знаем, из-за чего Онегин с Ленским поссорились. Но

как они поссорились, почему вышли на дуэль, почему Онегин убил Ленского (а сам Пушкин позже подставил свою грудь под пистолет)? Мы много раз будем встречать рассуждение: лучше бы он этого не делал, как-нибудь обошлось бы. Они не точны, ведь чтобы понимать

смысл поведения живых людей и литературных героев прошлого, необходимо знать их культуру: их простую, обычную жизнь, их привычки, представления о мире и т. д. и т. п.

Вечное всегда носит одежду времени, и одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Вот когда-то, в тридцатые годы прошлого века, Гоголь возмутился: все романы о любви, на всех театральных сценах — любовь, а

какая любовь в его, гоголевское время — такая ли, какой ее изображают? Не сильнее ли действуют выгодная женитьба, «электричество чина», денежный капитал? Оказывается, любовь гоголевской эпохи — это и вечная человеческая любовь, и вместе с тем любовь Чичикова (вспомним, как он на губернаторскую дочку взглянул!), любовь Хлестакова, который цитирует Карамзина и признается в любви сразу и городничихе, и ее дочке (ведь у него — «легкость в мыслях необыкновенная!»).

Человек меняется, и, чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей прошлого — а ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, — надо представлять себе, как они жили, какой мир их окружал, каковы были их общие представления и представления нравственные, их служебные обязанности, обычаи, одежда, почему они поступали так, а не иначе. Это и будет темой предлагаемых бесед.

Определив, таким образом, интересующие нас аспекты культуры, мы вправе, однако, задать вопрос: не содержится ли в самом выражении «культура и быт» противоречие, не лежат ли эти явления в различных плоскостях? В самом деле, что такое быт? Быт — это обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим — мы склонны его считать «просто жизнью», естественной нормой практического бытия. Итак, быт всегда находится в сфере практики, это мир вещей прежде всего. Как же он может соприкасаться с миром символов и знаков, составляющих пространство культуры?

Обращаясь к истории быта, мы легко различаем в ней глубинные формы, связь которых с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпохи самоочевидна. Так, представления о дворянской чести или же придворный этикет, хотя и принадлежат истории быта, но неотделимы и от истории идей. Но как быть с такими, казалось бы, внешними чертами времени, как моды, обычаи каждодневной жизни, детали практического поведения и предметы, в которых оно воплощается? Так ли уж нам важно знать, как выглядели

«Лепажа стволы роковые», из которых Онегин убил Ленского, или — шире — представлять себе предметный мир Онегина?

Однако выделенные выше два типа бытовых деталей и явлений теснейшим образом связаны. Мир идей неотделим от мира людей, а идеи — от каждодневной реальности. Александр Блок писал:

Случайно на ноже карманном

Найди пылинку дальних стран —

И мир опять предстанет странным…[2]

«Пылинки дальних стран» истории отражаются в сохранившихся для нас текстах — в том числе и в «текстах на языке быта». Узнавая их и проникаясь ими, мы постигаем живое прошлое. Отсюда — метод предлагаемых читателю «Бесед о русской культуре» — видеть историю в зеркале быта, а мелкие, кажущиеся порой разрозненными бытовые детали освещать светом больших исторических событий.

Какими же путями происходит взаимопроникновение быта и культуры? Для предметов или обычаев «идеологизированного быта» это самоочевидно: язык придворного этикета, например, невозможен без реальных вещей, жестов и т. д., в которых он воплощен и которые принадлежат быту. Но как связываются с культурой, с идеями эпохи те бесконечные предметы повседневного быта, о которых говорилось выше?

Сомнения наши рассеются, если мы вспомним, что

все окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становятся как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер.

В «Скупом рыцаре» Пушкина Альбер ждет момента, когда в его руки перейдут сокровища отца, чтобы дать им «истинное», то есть практическое употребление. Но сам барон довольствуется символическим обладанием, потому что и золото для него — не желтые кружочки, за которые можно приобрести те или иные вещи, а символ полновластия. Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского изобретает особую походку, чтобы не были видны его дырявые подошвы. Дырявая подошва — реальный предмет; как вещь она может причинить хозяину сапог неприятности: промоченные ноги, простуду. Но для постороннего наблюдателя порванная подметка — это

знак, содержанием которого является Бедность, а Бедность — один из определяющих символов петербургской культуры. И герой Достоевского принимает «взгляд культуры»: он страдает не оттого, что ему холодно, а оттого, что ему стыдно. Стыд же — один из наиболее мощных психологических рычагов культуры. Итак, быт, в символическом его ключе, есть часть культуры.

Но у этого вопроса имеется еще одна сторона. Вещь не существует отдельно, как нечто изолированное в контексте своего времени. Вещи связаны между собой. В одних случаях мы имеем в виду функциональную связь и тогда говорим о «единстве стиля». Единство стиля есть принадлежность, например мебели, к единому художественному и культурному пласту, «общность языка», позволяющая вещам «говорить между собой». Когда вы входите в нелепо обставленную комнату, куда натаскали вещи самых различных стилей, у вас возникает ощущение, словно вы попали на рынок, где все кричат и никто не слушает другого. Но может быть и другая связь. Например, вы говорите: «Это вещи моей бабушки». Тем самым вы устанавливаете некую интимную связь между предметами, обусловленную памятью о дорогом вам человеке, о его давно уже ушедшем времени, о своем детстве. Не случайно существует обычай дарить вещи «на память» — вещи имеют память. Это как бы слова и записки, которые прошлое передает будущему.

С другой стороны, вещи властно диктуют жесты, стиль поведения и в конечном итоге психологическую установку своим обладателям. Так, например, с тех пор, как женщины стали носить брюки, у них изменилась походка, стала более спортивной, более «мужской». Одновременно произошло вторжение типично «мужского» жеста в женское поведение (например, привычка высоко закидывать при сидении ногу на ногу — жест не только мужской, но и «американский», в Европе он традиционно считался признаком неприличной развязности). Внимательный наблюдатель может заметить, что прежде резко различавшиеся мужская и женская манеры смеяться в настоящее время утратили различие, и именно потому, что женщины в массе усвоили мужскую манеру смеха.

Вещи навязывают нам манеру поведения, поскольку создают вокруг себя определенный культурный контекст. Ведь надо уметь держать в руках топор, лопату, дуэльный пистолет, современный автомат, веер или баранку автомашины. В прежние времена говорили: «Он умеет (или не умеет) носить фрак». Мало сшить себе фрак у лучшего портного — для этого достаточно иметь деньги. Надо еще уметь его носить, а это, как рассуждал герой романа Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключение джентльмена», — целое искусство, дающееся лишь истинному денди. Тот, кто держал в руке и современное оружие, и старый дуэльный пистолет, не может не поразиться тому, как хорошо, как ладно последний ложится в руку. Тяжесть его не ощущается — он становится как бы продолжением тела. Дело в том, что предметы старинного быта производились вручную, форма их отрабатывалась десятилетиями, а иногда и веками, секреты производства передавались от мастера к мастеру. Это не только вырабатывало наиболее удобную форму, но и неизбежно превращало вещь в

историю вещи, в память о связанных с нею жестах. Вещь, с одной стороны, придавала телу человека новые возможности, а с другой — включала человека в традицию, то есть и развивала, и ограничивала его индивидуальность.

Однако быт — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон. Связь этой стороны быта с культурой не требует пояснений. Ведь именно в ней раскрываются те черты, по которым мы обычно узнаем своего и чужого, человека той или иной эпохи, англичанина или испанца.

Обычай имеет еще одну функцию. Далеко не все законы поведения фиксируются письменно. Письменность господствует в юридической, религиозной, этической сферах. Однако в жизни человека есть обширная область обычаев и приличий. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»[3]. Эти нормы принадлежат культуре, они закрепляются в формах бытового поведения, всего того, о чем говорится: «так принято, так прилично». Эти нормы передаются через быт и тесно соприкасаются со сферой народной поэзии. Они вливаются в память культуры.

Теперь нам осталось определить, почему мы избрали для нашего разговора именно эпоху XVIII — начала XIX века.

История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее. Мы сейчас переживаем время увлечения историей. Это не случайно: время революций антиисторично по своей природе, время реформ всегда обращает людей к размышлениям о дорогах истории. Жан-Жак Руссо в трактате «Об общественном договоре» в предгрозовой атмосфере надвигающейся революции, приближение которой он зарегистрировал, как чуткий барометр, писал, что изучение истории полезно только тиранам. Вместо того, чтобы изучать, как было, надо познать, как должно быть. Теоретические утопии в такие эпохи привлекают больше, чем исторические документы.

Когда общество проходит через эту критическую точку, и дальнейшее развитие начинает рисоваться не как создание нового мира на развалинах старого, а в виде органического и непрерывного развития, история снова вступает в свои права. Но здесь происходит характерное смещение: интерес к истории пробудился, а навыки исторического исследования порой утеряны, документы забыты, старые исторические концепции не удовлетворяют, а новых нет. И тут лукавую помощь предлагают привычные приемы: выдумываются утопии, создаются условные конструкции, но уже не будущего, а прошлого. Рождается квазиисторическая литература, которая особенно притягательна для массового сознания, потому что замещает трудную и непонятную, не поддающуюся единому истолкованию

реальность легко усваиваемыми мифами.

Правда, у истории много граней, и даты крупных исторических событий, биографии «исторических лиц» мы еще обычно помним. Но как жили «исторические лица»? А ведь именно в этом безымянном пространстве чаще всего развертывается настоящая история. Очень хорошо, что у нас есть серия «Жизнь замечательных людей». Но разве не интересно было бы прочесть и «Жизнь незамечательных людей»? Лев Толстой в «Войне и мире» противопоставил подлинно историческую жизнь семьи Ростовых, исторический смысл духовных исканий Пьера Безухова псевдоисторической, по его мнению, жизни Наполеона и других «государственных деятелей». В повести «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» Толстой писал:

«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним. <…>

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях <…> Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации» [4].

Толстой был глубочайше прав: без знания простой жизни, ее, казалось бы, «мелочей» нет

понимания истории. Именно понимания, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их — вещи совершенно разные. События совершаются людьми. А люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми или бессмысленными.

Сфера поведения — очень важная часть национальной культуры, и трудность ее изучения связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые черты, которые могут не меняться столетиями, и формы, изменяющиеся с чрезвычайной скоростью. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи: «Он такой же, как ты. Поставь себя на его место» — и: «Не забывай, что он совсем другой, он — не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него».

Но почему же все-таки мы выбрали именно эту эпоху — XVIII — начало XIX века? Для этого есть серьезные основания. С одной стороны, это время достаточно для нас близкое (что значат для истории 200–300 лет?) и тесно связанное с нашей сегодняшней жизнью. Это время, когда оформлялись черты новой русской культуры, культуры нового времени, которому — нравится это нам или нет — принадлежим и мы. С другой стороны, это время достаточно далекое, уже во многом позабытое.

Предметы различаются не только функциями, не только тем, с какой целью мы их берем в руки, но и тем, какие чувства они у нас вызывают. С одним чувством мы прикасаемся к старинной летописи, «пыль веков от хартий отряхнув», с другим — к газете, еще пахнущей свежей типографской краской. Свою поэзию имеют старина и вечность, свою — новость, доносящая до нас торопливый бег времени. Но между этими полюсами находятся документы, вызывающие особое отношение: интимное и историческое одновременно. Таковы, например, семейные альбомы. С их страниц на нас смотрят знакомые незнакомцы — забытые лица («А кто это?» — «Не знаю, бабушка всех помнила»), старомодные костюмы, люди в торжественных, сейчас уже смешных позах, надписи, напоминающие о событиях, которых сейчас уже все равно никто не помнит. И тем не менее это не

чужой альбом. И если вглядеться в лица и мысленно изменить прически и одежду, то сразу же обнаружатся родственные черты. XVIII — начало XIX века — это семейный альбом нашей сегодняшней культуры, ее «домашний архив», ее «близкое-далекое». Но отсюда и особое отношение: предками восхищаются — родителей осуждают; незнание предков компенсируют воображением и романтическим мнимопониманием, родителей и дедов слишком хорошо помнят, чтобы понимать. Все хорошее в себе приписывают предкам, все плохое — родителям. В этом историческом невежестве или полузнании, которое, к сожалению, удел большинства наших современников, идеализация допетровской Руси столь же распространена, как и отрицание послепетровского пути развития. Дело, конечно, не сводится к перестановке этих оценок. Но следует отказаться от школярской привычки оценивать историю по пятибалльной системе.

История не меню, где можно выбирать блюда по вкусу. Здесь требуется знание и понимание. Не только для того, чтобы восстановить непрерывность культуры, но и для того, чтобы проникнуть в тексты Пушкина или Толстого, да и более близких нашему времени авторов. Так, например, один из замечательных «Колымских рассказов» Варлама Шаламова начинается словами: «Играли в карты у коногона Наумова». Эта фраза сразу же обращает читателя к параллели — «Пиковой даме» с ее началом: «… играли в карты у конногвардейца Нарумова». Но помимо литературной параллели, подлинный смысл этой фразе придает страшный контраст быта. Читатель должен оценить степень разрыва между конногвардейцем — офицером одного из самых привилегированных гвардейских полков — и коногоном — принадлежащим привилегированной лагерной аристократии, куда закрыт доступ «врагам народа» и которая рекрутируется из уголовников. Значима и разница, которая может ускользнуть от неосведомленного читателя, между типично дворянской фамилией Нарумов и простонародной — Наумов. Но самое важное — страшная разница самого характера карточной игры. Игра — одна из основных форм быта и именно из таких форм, в которых с особенной резкостью отражается эпоха и ее дух.

В завершение этой вводной главы я считаю своим долгом предупредить читателей, что реальное содержание всего последующего разговора будет несколько уже, чем обещает название «Беседы о русской культуре». Дело в том, что всякая культура многослойна, и в интересующую нас эпоху русская культура существовала не только как целое. Была культура русского крестьянства, тоже не единая внутри себя: культура олонецкого крестьянина и донского казака, крестьянина православного и крестьянина-старообрядца; был резко обособленный быт и своеобразная культура русского духовенства (опять-таки с глубокими отличиями быта белого и черного духовенства, иерархов и низовых сельских священников). И купец, и городской житель (мещанин) имели свой уклад жизни, свой круг чтения, свои жизненные обряды, формы досуга, одежду. Весь этот богатый и разнообразный материал не войдет в поле нашего зрения. Нас будут интересовать культура и быт

русского дворянства. Такому выбору есть объяснение. Изучение народной культуры и быта по установившемуся делению наук обычно относится к этнографии, и в этом направлении сделано не так уж мало. Что же касается каждодневной жизни той среды, в которой жили Пушкин и декабристы, то она долго оставалась в науке «ничьей землей». Здесь сказывался прочно сложившийся предрассудок очернительского отношения ко всему, к чему приложим эпитет «дворянский». В массовом сознании долгое время сразу же возникал образ «эксплуататора», вспоминались рассказы о Салтычихе и то многое, что по этому поводу говорилось. Но при этом забывалось, что та великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была

дворянской культурой. Из истории нельзя вычеркивать ничего. Слишком дорого приходится за это расплачиваться.

Предлагаемая вниманию читателей книга была написана в трудных для автора условиях. Она не смогла бы увидеть свет, если бы не щедрая и бескорыстная помощь его друзей и учеников.

На всем протяжении работы неоценимую помощь на грани соавторства оказывала З. Г. Минц, которой не суждено было дожить до выхода этой книги. Большую помощь при оформлении книги, зачастую вопреки собственным занятиям, оказали автору доцент Л. Н. Киселева, а также другие сотрудники лабораторий семиотики и истории русской литературы Тартуского университета: С. Барсуков, В. Гехтман, М. Гришакова, Л. Зайонц, Т. Кузовкина, Е. Погосян и студенты Е. Жуков, Г. Талвет и А. Шибарова. Всем им автор выражает живейшую признательность.

В заключение автор считает своей приятной обязанностью выразить глубокую признательность Гумбольдтовскому обществу и его члену — профессору В. Штемпелю, а также своим друзьям — Э. Штемпель, Г. Суперфину и врачам больницы Bogenhausen (M?nchen). Тарту — M?nchen — Тарту. 1989–1990

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Люди и чины

Изучаемая нами эпоха — век перелома. Это хорошо видно и в истории дворянства. Русское дворянство, каким мы его встречаем в XVIII — первой половине XIX века, было порождением петровской реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра I создание дворянства в функции государственно и культурно доминирующего сословия занимает не последнее место. Материалом, из которого это сословие составилось, было допетровское дворянство Московской Руси.

Дворянство Московской Руси представляло собой «служилый класс», то есть состояло из профессиональных слуг государства, главным образом военных. Их ратный труд оплачивался тем, что за службу их «помещали» на землю, иначе — «верстали» деревнями и крестьянами. Но ни то ни другое не было их личной и наследственной собственностью. Переставая служить, дворянин должен был вернуть пожалованные ему земли в казну. Если он «уходил за ранами или увечием», в службу должен был пойти его сын или муж дочери; если он оказывался убит, вдова через определенный срок должна была выйти замуж за человека, способного «тянуть службу», или поставить сына.

Земля должна была служить. Правда, за особые заслуги ее могли пожаловать в наследственное владение, и тогда «воинник» становился «вотчинником».

Между «воинником» и «вотчинником» существовало глубокое не только социальное, но и психологическое различие. Для вотчинника война, боевая служба государству была чрезвычайным и далеко не желательным происшествием, для воинника — повседневной службой. Вотчинник-боярин, служил великому князю и мог погибнуть на этой службе, но великий князь не был для него богом. Привязанность к земле, к Руси была для него еще окрашена местным патриотизмом, памятью о службе, которую нес его род, и о чести, которой он пользовался. Патриотизм воинника-дворянина был тесно связан с личной преданностью государю и имел государственный характер. В глазах же боярина дворянин был наемником,

человеком без рода и племени и опасным соперником у государева престола. Боярин в глазах дворянина — ленивец, уклоняющийся от государевой службы, лукавый слуга, всегда втайне готовый к крамоле. Этот взгляд начиная с XVI века разделяют московские великие князья и цари. Но особенно интересно, что, судя по данным фольклора, он близок и крестьянской массе.

Петровская реформа, при всех издержках, которые накладывали на нее характер эпохи и личность царя, решила национальные задачи, создав государственность, обеспечившую России двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав и создав одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации. И если нынешние критики Петра порой утверждают, что судьбы России сложились бы более счастливо без этой государственности, то вряд ли найдется человек, который хотел бы представить себе русскую историю без Пушкина и Достоевского, Толстого и Тютчева, без Московского университета и Царскосельского лицея.

Еще в XVII веке началось стирание различий между поместьем и вотчиной, а указ царя Федора Алексеевича (1682), возвестивший уничтожение местничества, показал, что господствующей силой в вызревавшем государственном порядке будет дворянство. Вряд ли стоит повторять общеизвестные истины о социальном эгоизме этого нового господствующего сословия и предаваться запоздалому обличению крепостного права. Недобрая память, оставленная им в русской истории, слишком очевидна. Однако, отрицая историческую роль русского дворянства, мы рискуем впасть в крайность.

Деятели Петровской эпохи любили подчеркивать общенародный смысл осуществляемых в тяжких трудах реформ. В речи, посвященной Ништадтскому миру, Петр сказал, что «надлежит трудитца о ползе и прибытке общем <…> от чего облегчен будет народ»[5]. Сходную мысль выразил и Феофан Прокопович в речи, посвященной этому же событию. Вопрошая, каковы должны быть плоды мира, он отвечал: «Умаление народных тяжестей»[6].

Еще в XVII веке, в поэзии Симеона Полоцкого, возник идеал царя-труженика, который «трудится своими руками» и царствует ради блага подданных. Этот образ получил монументальное развитие в творчестве М. Ломоносова. Его Петр

Рожденны к Скипетру, простер в работу руки,

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть наук…[7]

Он являлся не в блеске престола, а «в поте, в пыли, в дыму, в пламени», «за отдохновение почитал себе трудов Своих перемену. Не токмо день или утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными трудами»[8]. Конечно, многие высказывания современников несут на себе печать лести. Но не лесть руководила историком князем Михаилом Щербатовым (его перо не щадило современных ему государей), когда он в «Рассмотрении о пороках и самовластии Петра Великого», перечислив все негативные стороны его царствования, все же вынес оправдательный приговор реформатору. Не был льстецом и Пушкин в своих знаменитых строках:

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Личный труд Петра не был забавой, странной причудой — это была программа, утверждение равенства всех в службе. Государственная служба приобретала для Петра почти религиозное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме Государства. Работа была его молитвой[9].

И если в среде старообрядцев возникла легенда о «подменном царе» и «царе-антихристе» [10], то выходец из народа Иван Посошков, бесспорно, отражал не только свое личное мнение, когда писал: «Великий наш монарх… на гору… сам-десят тянет»[11]. Вряд ли представляли исключение и те олонецкие мужики, которые, вспоминая Петра, говорили, что Петр — царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще батрака работал. Нельзя забывать и о неизменно положительном образе Петра в русском сказочном фольклоре.

Не будем, однако, настаивать на правоте того или другого взгляда: легенда о «народном царе» — такая же легенда, как и о «царе-антихристе». Отметим лишь существование обеих легенд и попытаемся оценить реальную ситуацию.

Дворянство, бесспорно, поддерживало реформу. Именно отсюда черпались неотложно потребовавшиеся новые работники: офицеры для армии и флота, чиновники и дипломаты, администраторы и инженеры, ученые. То были энтузиасты труда на благо государства, — такие, как историк и государственный деятель В. Н. Татищев, писавший, что все, чем он обладает (а «обладал» он многим: изучал в Швеции финансовое дело, строил заводы и города, «управлял» калмыцким народом, был географом и историком), он получил от Петра, и главное, подчеркивал он, разум.

Однако, когда мы говорим «дворянство» применительно к этой эпохе, следует уточнить наши привычные, основанные на Гоголе или Тургеневе представления. Важно иметь в виду, что во время восстания Болотникова и других массовых народных движений дворянские отряды составляли хотя и нестойкую и ненадежную, но активную периферию крестьянских армий. Крепостное право еще только складывалось, и в пестрой картине допетровского общества с его богатством групп и прослоек дворянин и крестьянин еще не сделались полярными фигурами.

Поэтому можно взглянуть на вопрос и с другой стороны. XVII век был «бунташным» веком. Он начался смутой, самозванцами, польской и шведской интервенцией, крестьянской войной под руководством Болотникова и продолжался многочисленными мятежами и бунтами. Мы привыкли к упрощенному взгляду, согласно которому взрывы классовой борьбы всегда соответствуют интересам низших классов, а выражение «крестьянская война» воспринимается как обозначение такой войны, которая отвечает интересам всего крестьянства и в которой крестьянство почти поголовно участвует. При этом мы забываем слова Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Уже смута с ее бесчинствами, которые творили не только интервенты, но и многочисленные вооруженные банды «гулящих людей», причинила сельскому населению России неизмеримые страдания. Опустошенные и разграбленные села, крестьянские избы, забитые трупами, голод, бегство населения — такая картина возникает из документов. Мятежи и бунты вызывали неслыханную вспышку разбойничества. Наивная идеализация — видеть в этих разбойниках Робинов Гудов или Карлов Мооров, защитников эксплуатируемых, обрушивших весь свой классовый гнев на угнетателей народа. Основной жертвой их делался беззащитный крестьянин:

Уж как рыбу мы ловили

По сухим по берегам,

По сухим по берегам —

По амбарам, по клетям.

А у дядюшки Петра

Мы поймали осетра,

Что того ли осетра —

Все гнедого жеребца.

(Фольклорная запись моя. —

Ю. Л).

Ограбленный «дядюшка Петр» вряд ли был угнетателем народа.

Идея порядка, «регулярного государства» вовсе не была внушена Петру I путешествием в Голландию или вычитана у Пуффендорфа — это был вопль земли, которая еще не залечила раны «бунташного века» и одновременно не могла себе представить, во что обойдется ей эта «регулярность».

Психология служилого сословия была фундаментом самосознания дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя частью сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство — и личным примером, и рядом законодательных актов. Вершиной их явилась Табель о рангах, вырабатывавшаяся в течение ряда лет при постоянном и активном участии Петра I и опубликованная в январе 1722 года. Но и сама Табель о рангах была реализацией более общего принципа новой петровской государственности — принципа «регулярности».

Формы петербургской (а в каком-то смысле и всей русской городской) жизни создал Петр I. Идеалом его было, как он сам выражался, регулярное — правильное — государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам, все выверено и логически обосновано. Петербург пробуждался по барабану: по этому знаку солдаты приступали к учениям, чиновники бежали в департаменты. Человек XVIII века жил как бы в двух измерениях: полдня, полжизни он посвящал государственной службе, время которой было точно установлено регламентом, полдня он находился вне ее.

Однако идеал «регулярного государства», конечно, никогда не мог быть и не был полностью реализован. С одной стороны, «регулярность» постоянно размывалась живой жизнью, не мирящейся с механическим единообразием, с другой — перерождалась в реальность бюрократическую. И если идеал Петра I вначале имел известные резоны, то очень скоро он породил одно из основных зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни — ее глубокую бюрократизацию.

Прежде всего регламентация коснулась государственной службы. Правда, чины и должности, которые существовали в допетровской России (боярин, стольник и др.), не отменялись. Они продолжали существовать, но эти чины перестали жаловать, и постепенно, когда старики вымерли, с ними исчезли и их чины. Вместо них введена была новая служебная иерархия.

Оформление ее длилось долго. 1 февраля 1721 года Петр подписал проект указа, однако он еще не вступил в силу, а был роздан государственным деятелям на обсуждение. Сделано было много замечаний и предложений (правда, Петр ни с одним из них не согласился; это была его любимая форма демократизма: он все давал обсуждать, но потом все делал по-своему). Далее решался вопрос о принятии указа о Табели. Для этого создана была специальная комиссия, и только в 1722 году этот закон вступил в силу.

Что представляла собой Табель о рангах? Основная, первая мысль законодателя была в целом вполне трезвой: люди должны занимать должности по своим способностям и по своему реальному вкладу в государственное дело. Табель о рангах и устанавливала зависимость общественного положения человека от его места в служебной иерархии. Последнее же в идеале должно было соответствовать заслугам перед царем и отечеством. Показательна правка, которой Петр подверг пункт третий Табели. Здесь утверждалась зависимость «почестей» от служебного ранга: «Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место возмет, выше данного ему ранга; тому за каждый случай платить штрафу, 2 месяца жалования». Составлявший ранний вариант закона А. И. Остерман направил этот пункт против «ссоролюбцев», то есть представителей старой знати, которые и в новых условиях могли попытаться местничать — затевать ссоры о местах и почестях. Однако Петра уже больше волновало другое: возможность того, что неслужившие или нерадивые в службе родовитые люди будут оспаривать преимущества у тех, кто завоевал свой ранг усердной службой. Он вычеркнул «ссоролюбцев» и переформулировал требование соответствия почета и чина так: «Дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать»[12].

Большим злом в государственной структуре допетровской Руси было назначение в службу по роду. Табель о рангах отменила распределение мест по крови, по знатности, приводившее к тому, что почти каждое решение оказывалось сложной, запутанной историей. Оно порождало множество распрей, шумных дел, судебных разбирательств: имеет ли право данный сын занимать данное место, если его отец занимал такое-то место, и т. д. Приказ, ведавший назначениями, был завален подобными делами даже во время военных действий: прямо накануне сражений очень часто возникали непримиримые местнические споры из-за права по роду занять более высокое место, чем соперник. Начинался счет отцами, дедами, родом — и это, конечно, стало для деловой государственности огромной помехой. Первоначальной идеей Петра и было стремление привести в соответствие должность и оказываемый почет, а должности распределять в зависимости от личных заслуг перед государством и способностей, а не от знатности рода. Правда, уже с самого начала делалась существенная оговорка: это не распространялось на членов царской семьи, которые всегда получали в службе превосходство.

Табель о рангах делила все виды службы на воинскую, статскую и придворную. Первая, в свою очередь, делилась на сухопутную и морскую (особо была выделена гвардия). Все чины были разделены на 14 классов, из которых первые пять составляли генералитет (V класс сухопутных воинских чинов составляли бригадиры; Этот чин был впоследствии упразднен). Классы VI–VIII составляли штаб-офицерские, а IX–XIV — обер-офицерские чины.

Табель о рангах ставила военную службу в привилегированное положение. Это выражалось, в частности, в том, что все 14 классов в воинской службе давали право наследственного дворянства, в статской же службе такое право давалось лишь начиная с VIII класса. Это означало, что самый низший обер-офицерский чин в военной службе уже давал потомственное дворянство, между тем как в статской для этого надо было дослужиться до коллежского асессора или надворного советника[13]. Об этом говорил 15-й пункт Табели: «Воинским чинам, которые дослужатся до Обер-офицерства не из Дворян; то когда кто получит вышеописанной чин, оной суть Дворянин, и его дети, которые родятся в Обер-офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда Дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить.

Прочие же чины, как гражданские, так и придворные, которые в Рангах не из Дворян, оных дети не суть Дворяне»[14].

Из этого положения в дальнейшем проистекло различие между наследственными (так называемыми «столбовыми») дворянами и дворянами личными. К последним относились статские и придворные чины XIV–IX рангов. Впоследствии личное дворянство давали также ордена (дворянин «по кресту») и академические звания. Личный дворянин пользовался рядом сословных прав дворянства: он был освобожден от телесных наказаний, подушного оклада, рекрутской повинности. Однако он не мог передать этих прав своим детям, не имел права владеть крестьянами, участвовать в дворянских собраниях и занимать дворянские выборные должности.

Такая формулировка закона открывала, по мысли Петра I, доступ в высшее государственное сословие людям разных общественных групп, отличившимся в службе, и, напротив, закрывала доступ «нахалам и тунеядцам». Подход этот диктовался напряженными условиями, в которых проводилась реформа, и, бесспорно, создавал иллюзию «общенародного» самодержавия. Характерен такой эпизод: в связи с тем, что в ряде законодательных актов встречались выражения «знатное шляхетство» или «знатное дворянство», Сенат в 1724 году обратился к императору с вопросом, кого следует относить к этой группе: имеющих определенное состояние («кто имеют более ста дворов») или по рангам? Петр I отвечал: «Знатное дворянство по годности считать».[15]

Военная служба считалась преимущественно дворянской службой — статская не считалась «благородной». Ее называли «подьяческой», в ней всегда было больше разночинцев, и ею принято было гнушаться. Исключение составляла дипломатическая служба, также считавшаяся «благородной». Лишь в александровское и позже в николаевское время статский чиновник начинает в определенной мере претендовать на общественное уважение рядом с офицером. И все же почти до самого конца «петербургского периода» правительство в случае, если требовался энергический, расторопный и желательно честный администратор, предпочитало не «специалиста», а гвардейского офицера. Так, Николай I назначил в 1836 году генерала от кавалерии графа Николая Александровича Протасова обер-прокурором святейшего Синода, то есть практически поставил его во главе русской церкви. И тот без года двадцать лет исполнял эту должность, с успехом приблизив духовные семинарии по характеру обучения к военным училищам.

Однако правительственная склонность к военному управлению и та симпатия, которой пользовался мундир в обществе, — в частности, дамском, — проистекали из разных источников. Первое обусловлено общим характером власти. Русские императоры были военными и получали военное воспитание и образование. Они привыкали с детства смотреть на армию как на идеал организации; их эстетические представления складывались под влиянием парадов, они носили фраки только путешествуя за границей инкогнито. Нерассуждающий, исполнительный офицер представлялся им наиболее надежной и психологически понятной фигурой. Даже среди статских чиновников империи трудно назвать лицо, которое хотя бы в молодости, хоть несколько лет не носило бы офицерского мундира.

Иную основу имел «культ мундира» в дворянском

быту. Конечно, особенно в глазах прекрасного пола, не последнюю роль играла эстетическая оценка: расшитый, сверкающий золотом или серебром гусарский, сине-красный уланский, белый (парадный) конногвардейский мундир был красивее, чем бархатный кафтан щеголя или синий фрак англомана. Особенно заметным стало отличие военного от статского, когда в начале XIX века (Карамзин отметил это в 1802 году в «Вестнике Европы», а Мюссе в 1836-м в «Исповеди сына века», связав с романтической модой на траур и печаль) молодые люди оделись в черные фраки, после чего черный цвет надолго утвердился за официальной одеждой статского мужчины. До того как романтизм ввел моду на разочарованность и сплин,

в молодом человеке ценилась удаль, умение жить широко, весело и беспечно. И хотя маменьки предпочитали солидных женихов во фраках, сердца их дочерей склонялись к лихим поручикам и ротмистрам, весь капитал которых состоял в неоплатных долгах и видах на наследство от богатых тетушек.

И все же предпочтение военного статскому имело более весомую причину. Табель о рангах создавала военно-бюрократическую машину государственного управления. Власть государства покоилась на двух фигурах: офицере и чиновнике, однако социокультурный облик этих двух кариатид был различным. Чиновник — человек, само название которого производится от слова «чин». «Чин» в древнерусском языке означает «порядок». И хотя чин, вопреки замыслам Петра, очень скоро разошелся с реальной должностью человека, превратившись в почти мистическую бюрократическую фикцию, фикция эта имела в то же время и совершенно практический смысл. Чиновник — человек жалованья, его благосостояние непосредственно зависит от государства. Он привязан к административной машине и не может без нее существовать. Связь эта грубо напоминает о себе первого числа каждого месяца, когда по всей территории Российской Империи чиновникам должны были выплачивать жалованье. И чиновник, зависящий от жалованья и чина, оказался в России наиболее надежным слугой государства. Если во Франции XVIII века старое судейское сословие — «дворянство мантии» — дало в годы революции идеологов третьему сословию, то русское чиновничество менее всех других групп проявило себя в революционных движениях.

Имелась и еще одна сторона жизни чиновника, определявшая его низкий общественный престиж. Запутанность законов и общий дух государственного произвола, ярчайшим образом проявившийся в чиновничьей службе, привели (и не могли не привести) к тому, что русская культура XVIII — начала XIX века практически не создала образов беспристрастного судьи, справедливого администратора — бескорыстного защитника слабых и угнетенных. Чиновник в общественном сознании ассоциировался с крючкотвором и взяточником. Уже А. Сумароков, Д. Фонвизин и особенно В. Капнист в комедии «Ябеда» (1796) запечатлевают именно такой стереотип общественного восприятия. Не случайно исключением в общественной оценке были чиновники иностранной коллегии, чья служба для взяткобрателя не была заманчивой, но зато давала простор честолюбивым видам. От служащих Коллегии иностранных дел требовались безукоризненные манеры, хороший французский язык (а в русском языке — ясность слога и изящный «карамзинский» стиль) и тщательность в одежде. Гоголь, описывая гуляющих на Невском проспекте, выделил именно этот класс чиновников: «К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников». Далее Гоголь сообщает читателю: на Невском проспекте вы «встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие». Чиновник же других коллегий, особенно подьячий, по выражению Сумарокова — «кувшинное рыло», Гоголю рисовался в облике неопрятного существа и безжалостного взяткобрателя. Капнист в комедии «Ябеда» заставил хор провинциальных чиновников петь куплет:

Бери, большой тут нет науки; Бери, что можно только взять. На что ж привешены нам руки, Как не на то, чтоб брать?[16]

Гоголевский Поприщин («Записки сумасшедшего») рисует такой портрет чиновника «в губернском правлении, гражданских и казенных палатах»: «Там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему:

„это“, говорит, „докторский подарок“; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенькой, говорит так деликатно: „Одолжите ножичка починить перышко“, а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе».

Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России: она не создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии. Когда в пореформенной жизни потребовались журналисты, деятели обновленного суда, адвокаты, то они, особенно в первые десятилетия после отмены крепостного права, появлялись из совсем другой среды, в первую очередь из той, которая была связана с церковью, с белым духовенством и которую петровская реформа, казалось, отодвинула на второй план[17].

Положение другой опоры России «императорского периода» — офицерства — было иным. Как мы уже сказали, дворянство фактически монополизировало военную службу. Но оно, в результате петровской реформы, сделалось монополистом еще более важной стороны общественной жизни — присвоило себе исключительное право душевладения. Не нужно говорить, насколько гибельно это сказалось как на судьбах России, так и на судьбах самого дворянства. Первое выразилось в неестественной задержке освобождения крестьян, исказившей весь путь империи, вопреки приданному ей европейскому импульсу. Второе — в том, что, несмотря на значительность своего вклада в национальную культуру, дворянство в России так и не смогло приспособиться к по-реформенному существованию, в результате чего в культурной жизни образовался еще один разрыв.

Но, подчеркнем еще раз, сознание «исторических грехов» русского дворянства не должно заслонять от нас значительности его вклада в национальную культуру. Целый период в 150 лет будет отмечен печатью государственного и культурного творчества, высокими духовными поисками, произведениями общенационального и общечеловеческого значения, созданными в недрах русской дворянской культуры и одновременно вошедшими в историю общечеловеческой духовной жизни. Мы говорим о «дворянской революционности», и это парадоксальное сочетание лучше всего выражает то противоречие, о котором идет речь.

Как это ни покажется, может быть, читателю странным, следует сказать, что и крепостное право имело для истории русской культуры в целом некоторые положительные стороны. Именно на нем покоилась, пусть извращенная в своей основе, но все же определенная независимость дворян от власти — то, без чего культура невозможна. Офицер служил не из-за денег. Жалованье его едва покрывало расходы, которых требовала военная жизнь, особенно в столице, в гвардии. Конечно, были казнокрады: где-нибудь в армейском полку в провинции можно было сэкономить на сене для лошадей, на ремонте лошадей[18], на солдатской амуниции, но нередко командиру роты, полка, шефу полка для того, чтобы содержать свою часть «в порядке» (а при системе аракчеевской муштры амуниция приходила в негодность раньше срока), приходилось доплачивать из своего кармана, особенно перед царскими смотрами. Если вспомнить, что обычаи требовали от офицера гораздо более разгульной жизни, чем от чиновника, что отставать от товарищей в этом отношении считалось неприличным, то нам станет ясно, что военная служба не могла считаться доходным занятием. Ее обязательность для дворянина состояла в том, что человек в России, если он не принадлежал к податному сословию, не мог не служить. Без службы нельзя было получить чина, и дворянин, не имеющий чина, показался бы чем-то вроде белой вороны. При оформлении любых казенных бумаг (купчих, закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного паспорта и т. д.) надо было указывать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был подписываться: «недоросль такой-то». Известный приятель Пушкина князь Голицын — редчайший пример дворянина, который никогда не служил, — до старости указывал в официальных бумагах: «недоросль».

Впрочем, если дворянин действительно никогда не служил (а это мог себе позволить только магнат, сын знатнейшего вельможи, основное время проживающий за границей), то, как

правило, родня устраивала ему фиктивную службу (чаще всего — придворную). Он брал долгосрочный отпуск «для лечения» или «для поправки домашних дел», к старости «дослуживался» (чины шли за выслугу) до какого-нибудь обер-гофмейстера и выходил в отставку в генеральском чине. В Москве второй половины 1820-х годов, когда заботливые маменьки начали опасаться отпускать своих мечтательных и склонных к немецкой философии отпрысков в гвардейскую казарму, типичной фиктивной службой сделалось поступление в Архив коллегии иностранных дел. Начальник архива Д. Н. Бантыш-Каменский охотно зачислял этих молодых людей (их в обществе стали иронически называть «архивными юношами») «сверх штата», то есть без жалованья и без каких-либо служебных обязанностей, просто по старомосковской доброте и из желания угодить дамам.

Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало огромную лестницу человеческих отношений, нам сейчас совершенно непонятных. Все читатели наверняка помнят то место из гоголевского «Ревизора», когда Хлестаков, завираясь, входит в раж. Он еще не сделал себя главнокомандующим, он еще только начинает врать и говорит: «Мне даже на пакетах пишут „ваше превосходительство“». Что это значит? Почему гоголевские чиновники так перепугались, что стали повторять «ва… ва… ваше превосходительство»? Право на уважение распределялось по чинам. В реальном быту это наиболее ярко проявилось в установленных формах обращения к особам разных чинов в соответствии с их классом. Для особ I и II классов таким обращением было «ваше высокопревосходительство». Особы III и IV классов — «превосходительства» («ваше превосходительство» надо было писать также и университетскому ректору, независимо от его чина). V (тот самый выморочный класс бригадиров, о котором говорилось выше) требовал обращения «ваше высокородие». К лицам VI–VIII классов обращались «ваше высокоблагородие», к лицам IX–XIV классов — «ваше благородие» (впрочем, в быту так обратиться можно было и к любому дворянину, независимо от его чина). Настоящей наукой являлись правила обращения к царю. На конверте, например, надо было писать: «Его императорскому величеству государю императору», а само обращение начинать словами: «Всемилостивейший монарх» или: «Августейший монарх». Даже духовную сферу Петр I как бы регламентировал: митрополит и архиепископ — «ваше высокопреосвященство» (в письменном обращении: «ваше высокопреосвященство, высокопреосвященный владыка»), епископ — «ваше преосвященство» (в письме: «ваше преосвященство, преосвященный владыка»), архимандрит и игумен — «ваше высокопреподобие», священник — «ваше преподобие».

Приведем лишь один пример высокой значимости обращений по чину. В чем смысл эффекта, произведенного репликой Хлестакова? Дело не только в том, что Хлестаков — «елистратишка», как его называет слуга Осип, то есть коллежский регистратор, чиновник самого низшего, XIV класса, — присвоил себе звание чиновника столь высокого ранга (если он — особа III класса, то он либо генерал-лейтенант, либо тайный советник, если IV класса — то генерал-майор, или действительный статский советник, или, как мы знаем, обер-прокурор). Вот эта последняя возможность, по-видимому, и напугала чиновников: ведь обер-прокурор сената — это ревизор, тот, кого посылают раскрывать должностные преступления. Пьяная похвальба Хлестакова через мелкую, нам почти незаметную деталь оказывается связанной с главной темой комедии и с ее символическим заглавием.

Конечно, Петр I не думал охватить регламентами всю жизнь своих подданных. Он специально оговаривал, что «осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи съедутся, или в публичных ассамблеях, но токмо в церквях при службе Божией и при Дворцовых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях и сим подобных публичных торжествах и погребениях». Однако даже простое перечисление «оказий», при которых поведение людей определяется их чином, показывает, что число их весьма велико. При этом Петр, который, вводя какой-либо закон, сразу же определял и наказание за его нарушение,

устанавливает суровую кару за поведение «не по чину». Штраф (два месяца жалованья) платили и те, кто его получал, и служившие без жалованья: «платить ему такой штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равного ранга»[19].[20]

Место чина в служебной иерархии связано было с получением (или неполучением) многих реальных привилегий. По чинам, к примеру, давали лошадей на почтовых станциях.

В XVIII веке, при Петре I, в России учреждена была «регулярная» почта. Она представляла собой сеть станций, управляемых специальными чиновниками, фигуры которых сделались позже одними из персонажей «петербургского мифа» (вспомним «Станционного смотрителя» Пушкина). В распоряжении станционного смотрителя находились государственные ямщики, кибитки, лошади. Те, кто ездили по государственной надобности — с подорожной или же по своей надобности, но на прогонных почтовых лошадях, приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Стоимость езды для фельдъегерей оплачивалась государством. Едущие «по собственной надобности» платили за лошадей.

Поэтому провинциальный помещик предпочитал ездить на собственных лошадях, что замедляло путешествие, но делало его значительно дешевле.

Так, пушкинская Ларина

… тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих.

(7, XXXV)

Поместье Лариных, видимо, находилось в Псковской губернии. Путь оттуда в Москву «на почтовых» длился обычно трое суток, а на курьерских — двое. Экономия Лариной привела к тому, что

… Наша дева насладилась

Почтовой скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

(7, XXXV)

При получении лошадей на станциях существовал строгий порядок: вперед, без очереди, пропускались фельдъегеря со срочными государственными пакетами, а остальным давали лошадей по чинам: особы I–III классов могли брать до двенадцати лошадей, с IV класса — до восьми и так далее, вплоть до бедных чиновников VI–IX классов, которым приходилось довольствоваться одной каретой с двумя лошадьми. Но часто бывало и по-другому: проезжему генералу отдали всех лошадей — остальные сидят и ждут… А лихой гусарский поручик, приехавший на станцию пьяным, мог побить беззащитного станционного смотрителя и силой забрать лошадей больше, чем ему было положено.

По чинам же в XVIII веке слуги носили блюда на званых обедах, и сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки. Рассказывали, что князь Г. А. Потемкин однажды позвал к себе на обед какого-то мелкого чиновника и после обеда милостиво спросил его: «Ну как, братец, доволен?» Сидевший в конце стола гость смиренно отвечал: «Премного благодарствую, ваше сиятельство, все видал-с». В это время угощение «по чинам» входило в обязательный ритуал тех огромных пиров, где за столом встречались совершенно незнакомые люди, и даже хлебосольный хозяин не мог вспомнить всех своих гостей[21]. Лишь в XIX веке этот обычай стал считаться устаревшим, хотя в провинции порой удерживался.

Чин пишущего и того, к кому он обращается, определял ритуал и форму письма. В 1825 году профессор Яков Толмачев выпустил книгу «Военное красноречие». В ней содержались практические правила составления разного рода текстов — от речей полководцев до официальных бумаг. Из книги мы узнаем, что официальный документ обязательно должен быть «чистой и ясной рукописью» без орфографических ошибок, что «в военных бумагах никаких постскриптумов быть не должно», и множество других, не менее полезных вещей. Толмачев четко объясняет отличия в форме письма от «младшего» к «старшему» и от «старшего» к «младшему»: «Когда старший пишет к младшему; то обыкновенно при означении звания, чина и фамилии он подписывает собственноручно только свою фамилию; когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чин и фамилию»[22]. Так что если в письме младшего чина к старшему собственноручно (а не рукой писаря) подписанной окажется только фамилия, — то это грубое нарушение правил, это оскорбление, которое может окончиться скандалом. Точно так же значимым было место, где должна ставиться дата письма: начальник ставил число сверху, подчиненный — внизу, и в случае нарушения подчиненным этого правила ему грозили неприятности. Вообще, этикет в письмах должен был соблюдаться с большой точностью. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизией, в обращении к губернатору (а губернатор был из графов Мамоновых и славился своей гордостью) вместо положенного: «Милостивый государь!» — написал: «Милостивый государь мой!» Обиженный губернатор ответное письмо начал словами: «Милостивый государь мой, мой, мой!» — сердито подчеркнув неуместность притяжательного местоимения «мой» в официальном обращении.

Бюрократический принцип, в который вырождалась «регулярность», быстро разрастался, захватывая все новые области жизни, например, строительство жилых зданий. В XVIII веке появились типовые проекты — высочайше утвержденные фасады зданий, какие могли строить частные лица. Прелестные особняки XVIII столетия, которые теперь так радуют наш глаз и которые мы так стараемся сохранить (к сожалению, зачастую — безуспешно), построены, как правило, по типовым проектам.

Другой любопытный пример — документ «Распоряжение частному извозчику». Частный извозчик ездил по городу на своих лошадях, но и он должен был подчиняться множеству правил, не имевших, казалось бы, отношения к его занятию. Так, он не мог одеваться по своему усмотрению: «Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь, какие кто пожелает, но шапки русские с желтым суконным вершком и опушку черною овчиною, а кушаки желтые шерстяные, летом — мая с 15-ого сентября по 15 число балахоны иметь белые холстяные, а шляпы черные, с перевязью желтою против данных (то есть в соответствии с данными. —

Ю. Л.) на съезжей образцов и кушаки желтые ж»[23]. Образцы одежды — на съезжей, то есть в полиции.

Особенно ярко государственное вмешательство проявлялось в мире мундиров. Мундиры были учреждены еще Петром I — сначала для гвардейских полков. Петр ввел униформу: для Преображенского полка — зеленую, для Семеновского — синюю; потом вся гвардейская пехота была одета в зеленые мундиры. Форма была сравнительно простая: офицерский мундир был одного покроя с солдатским, отличаясь от него золотыми галунами, офицерским

нагрудным знаком в виде полумесяца и трехцветным шарфом на поясе (с 1742 года — «георгиевских» цветов). Но постепенно требования к мундиру все усложнялись, а затем, после Павла I, превратились в любимую науку государей. Александр I, человек широко образованный, с государственными интересами, часами сидел с Аракчеевым, придумывая новый фасон мундира и цвета мундирного прибора. Об этом непрерывно издавались все новые приказы. Вот один из них — «О мундирах кадетского корпуса»: «Во втором кадетском корпусе у генералитета, штаб и обер-офицеров и кадетов переменены быть мундиры и сделаны сообразно двум данным образцам». Далее идут образцы.

Все изменения мундиров подписывались лично императором, и у Павла, Александра I и Николая I, а также у брата Александра и Николая великого князя Константина Павловича эти занятия превратились в настоящую «мундироманию».

Она, разумеется, не имела никакого отношения к военной подготовке армии. Петровский принцип практической целесообразности «регулярного государства» был полностью утрачен. Регламентация разных сторон жизни, в том числе военной, стала самоцелью. Так создавалась гигантская бюрократическая машина со всем ее формализмом и с чином как главным (зачастую — единственным) стимулом служебного поведения.

Выше уже говорилось о том, что в культуре петербургского («императорского») периода русской истории понятие чина приобрело особый, почти мистический характер. Слово «чин», по сути дела, разошлось в значении с древнерусским «порядок», ибо подразумевало упорядоченность не реальную, а бумажную, условно-бюрократическую. Вместе с тем слово это, не имеющее точного соответствия ни в одном из европейских языков (хотя Петр I и был уверен, что его реформы делают Россию похожей на Европу), стало обозначением важнейшей особенности русской действительности.

С одной стороны, чин — это некая узаконенная фикция, слово, обозначающее не реальные свойства человека, а его место в иерархии. Псевдобытие бюрократии придает существованию человека-чина призрачность. Это как бы существование. Герой «Записок сумасшедшего» Гоголя возмущался: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего кроме достоинство[24]; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу». Гоголевский Поприщин чувствует фиктивность разделения людей по чину: «Ведь у него же нос не из золота сделан… Ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник, и с какой стати я титулярный советник». Чин — пустая вещь, слово, призрак. Фикция господствует над жизнью, ею управляет. Эта мысль становится для Гоголя одной из центральных, и мы не поймем его произведений, не зная, например, почему так важно, что чиновник, от которого ушел нос, — майор; почему Поприщин и Башмачкин — титулярные советники.

…Но жизнь есть жизнь, и она всеми средствами сопротивлялась принципу универсальной регламентации. Как ни стремилась бюрократическая иерархия охватить все стороны человеческого существования, она никак не могла исчерпать разнообразия жизни — даже официальной, государственной. Кроме иерархии чинов, существовали и другие системы — например, система орденов.

Система орденов, возникнув при Петре I, вытеснила существовавшие ранее типы царских наград. Общий смысл проведенной Петром перемены состоял в том, что вместо награды-вещи появилась награда-знак. Если прежде награда состояла в том, что человека жаловали ценными предметами, то теперь он награждался знаком, имевшим лишь условную ценность в системе государственных отличий[25]. Эту «неестественность» ордена как награды подчеркнул Гоголь, столкнув в «Записках сумасшедшего» два противоположных взгляда: чиновничий, доводящий поклонение орденам до почти мистического обожествления,

и «естественный» взгляд собачки, которая нюхает и лижет орден, пытаясь найти его подлинную, безусловную ценность в каком-то особом вкусе или запахе.

Значение слова «орден»[26] в XVIII веке не совпадало с нынешним: орденом назывался не предмет, а рыцарское братство. Западноевропейские средневековые ордена в честь какого-либо святого объединяли своих членов служением рыцарским идеалам данного ордена. Во главе ордена стоял рыцарь-магистр. Со времени укрепления в Западной Европе абсолютизма это, как правило, был глава государства. Членство ордена мыслилось как некое религиозное, нравственное или политическое служение. Внешними атрибутами членства в ордене были особый костюм, знак ордена и звезда, носившиеся на одежде в специально установленных местах, а также — иногда — орденское оружие.

Однако средневековый орден как форма рыцарской организации противоречил юридическим нормам абсолютизма, и королевский абсолютизм в Европе практически свел ордена к знакам государственных наград.

Первоначально предполагалось, что, по образцу рыцарских орденов, ордена в России также будут представлять собой братство рыцарей — носителей данного ордена. Однако по мере того, как в России XVIII века ордена складывались в систему, они получали новый смысл, подобный новоевропейскому — становились знаками наград. Система орденов оказалась довольно противоречивой. Идея ордена предполагала единство. Два первых русских ордена: св. Андрея Первозванного и св. Екатерины — были задуманы не по иерархическому принципу, а как мужской и женский ордена. Первый предназначался для имевших большие государственные заслуги мужчин, второй — для женщин; первой, получившей его, была Екатерина I. Видимо, первоначально предполагалось, что эти два дополняющих друг друга ордена исчерпают всю систему. Правда, уже при Петре I в ней появилось противоречие. После измены Мазепы разгневанный Петр придумал вещь неслыханную — издевательский орден Иуды Искариота. Эта странная идея не получила, однако, развития. Мазепа не был захвачен в плен, и «вручение ордена» (которое представляло бы на самом деле пытку) не состоялось. В дальнейшем об этом ордене никто не вспоминал.

После Петра в России стали появляться и новые ордена. Создалась орденская иерархия, имевшая и наглядное выражение: так, например, звезда ордена св. Андрея Первозванного носилась выше звезды Владимирского ордена, так как Андреевский оставался высшим орденом Российской Империи. Ордена, имевшие степени, создавали внутриорденскую иерархию.

В целом иерархия орденов не была постоянной. Как правило, создаваемый тем или иным государем новый орден оказывался его «любимцем». В этом случае получить именно такой орден считалось особенно почетным, даже если он не был высшим в официальной иерархии. Так, было хорошо известно, что Павел I не любил орденов, введенных матерью (и официально занимавших высокие места в орденской системе), а любил орден св. Анны. Получение этого — официально второстепенного — ордена при Павле стало весьма почетным.

Павел I сделал и попытку установить более строгую систему русских орденов, учредив в день своей коронации (5 апреля 1797 года) «Российский кавалерский орден» из 4-х классов: орден св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св. Александра Невского и св. Анны. Но он же — что было для него очень типичным — сам ее и нарушил, введя в систему русских орденов иностранный Мальтийский орден[27], который пользовался его особой любовью.

Было бы, однако, неправильным считать, что русская система орденов была беспорядочной — скорее, она была динамичной, отражая в гораздо большей степени, чем чины, изменения государственной системы ценностей — но и не только их.

Так, сложное влияние на ордена оказывала мода. Ордена в России не всегда выдавались официальными инстанциями — нередко выдавалось лишь право на их ношение, а затем награжденный сам заказывал себе орден. Поэтому заказчик мог по собственному вкусу менять величину ордена, а иногда и так или иначе украшать его. В результате в сферу орденов вторглась мода: в героическом XVIII веке в моде были большие, массивные ордена, в александровскую эпоху предпочитались ордена изящные.

Когда Н. М. Карамзин во второй половине 1810-х годов должен был поехать в Петербурге во дворец, обнаружилось, что его орден св. Анны «неприлично старомоден» (крест был солидных размеров и казался «старинным»). Отправляясь во дворец, Карамзин поспешно обменялся орденом с Федором Глинкой. Позже оба литератора (полушутя — полувсерьез) называли себя «крестовыми братьями», так как обменялись «крестами». (Шутка содержала намек на обычай обмениваться крестами при братании, но, в отличие от князя Мышкина и Парфена Рогожина в «Идиоте» Ф. Достоевского, Карамзин и Глинка обменялись не крестильными, а орденскими крестами).

Существующие правила действовали не автоматически, но допускали широкую вариативность относительно того, за что давались награды. Орден св. Андрея Первозванного, к примеру, мог быть получен и за военные, и за штатские заслуги. У Гоголя был замысел комедии «Владимир III степени», в которой чиновник, сойдя с ума, решил, что он — Владимирский орден. Тема человека, обменявшего, по мысли Гоголя, все человечески ценное на безумную фикцию, потребовала именно Владимирского ордена.

Особняком стоял орден св. Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда I класса носилась выше других, уступая только св. Андрею Первозванному; во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и преимущественно за боевые заслуги (за выслугу лет — 25 лет в офицерском чине или 18 кампаний во флоте — IV класс). Так, например, за войну 1812 года Георгия I степени получил только один человек — Кутузов, в 1813–1814 годах — еще один — Барклай де Толли, а позже — Л. Л. Беннигсен. Александр I лишь один раз (под Аустерлицем) участвовал в бою и имел Георгия низшей — IV степени. Если св. Андрей Первозванный давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, то Георгия всегда надо было

заслужить. Только один царь — Александр II — имел удивительную смелое сам на себя возложить Георгия I степени, хотя никаких боевых заслуг у него не было. В качестве предлога был использован юбилей ордена[28].

В системе отличий в России XVIII — начала XIX века ордена в целом занимали несколько особое место. С одной стороны, они, как и чины, не были «вещью настоящей», по словам гоголевского Поприщина. Условность государственной структуры выступала здесь особенно заметно. Но с другой стороны, эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден св. Георгия-Победоносца или св. Владимира с мечами сохраняли ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении.

В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственное отношение. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос: за что орден? Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических заслуг отличала орден от чина (особенно статского или придворного), прямо отражавшего лишь место человека в государственной бюрократии.

Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, мы можем назвать иерархию, в определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр — понятие допетровской эпохи. Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между

знатностью и службой. Но и само понятие знати не было постоянным.

С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали — вымирали или окончательно разорялись, с другой — усиливавшееся государство укрепляло себя «новой» знатью[29].

В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам, например, Борис Петрович Шереметев (Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметева — единственного во всем перечислении «птенцов гнезда Петрова» в «Полтаве» — «благородным»). Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто, по определению Пушкина, «торговал блинами» (А. Меншиков) или «пел с придворными дьячками» (А. Разумовский), и тех, кого мутная волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, но уже в тоне торжественном, а не ироническом, назвал Меншикова «счастья баловень безродный, // Полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не менялась: новая знать происходила из людей «случайных», часто темных. Надо было дать ей место среди знати традиционной.

Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в России прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался «граф Священной Римской Империи», и получали его от императора Священной Римской Империи. При Петре все новое было в моде — и графство ценилось выше княжеского титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям допетровской Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и «новое княжество». Связи его с подлинными русскими княжескими родами отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы — типичные выскочки екатерининской эпохи — создали своему роду фиктивную родословную.

Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатерининский вельможа граф А. Н. Самойлов любил повторять: «Родню умей счесть и отдай ей честь». Увеличение при Петре и ближайших его наследниках числа «случайных» людей возбудило интерес к древности рода. Древность начали вновь ценить, собирать сохранившиеся родовые документы (не всегда достоверные).

Имелось в России и звание барона. Однако это звание (за исключением баронов прибалтийских) не вызывало особого уважения. Русский барон — как правило, финансист, а финансовая служба не считалась истинно дворянской.

Наконец, в качестве экзотических, попадались у русской знати и иностранные титулы. Так, один из потомков крестьянина Строганова купил себе итальянский титул «графа Сен-Донато».

Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности: знатный вельможа, потомок богатого рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано (служба, хотя бы краткая, все-таки была обязательна). Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой человек зачастую не был заинтересован в чинах (он мог получать чины быстро, но мог и «застрять» на ступенях чиновничьей лестницы). А обладающий дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог «выбиться в люди», получить дворянство. Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину.

В фундаменте той концепции службы[30], которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие: служба из чести[31] и служба как государственная (государева) повинность. Развитие крепостного права изменило само понятие слова «помещик». Это был уже не условный держатель государевой земли, а абсолютный и наследственный собственник как земли, так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Посошков в начале XVIII века мотивировал свое требование государственного ограничения власти помещиков тем, что они — временные владельцы государственной собственности и поэтому не брегут о земле и крестьянах как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжать для себя максимальную пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону: власть помещика все более расширялась, и в последней трети XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношения между помещиком и крестьянином. Даже закон, который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, брать в опеку, а управление поместьем передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов дворянства. Нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II и включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы «все изменить, ничего не меняя», определила робость и бесплодность этих попыток.

По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции службы: обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе. Оба эти принципа подвергались уже со второй трети XVIII века энергичным атакам. Еще в петровское время И. Посошков, утверждая, что дворяне царю «непрямые слуги», писал, что ему случалось слышать выражение: «Дай-де Бог великому государю служить, а сабли б из ножон не вынимать»[32]. Но это были, еще по выражению Петра I, «тунеядцы», уклонявшиеся от службы. В программное требование свобода служить или не служить оформилась позже. Отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение, что самый факт принадлежности к сословию дает право на душе- и землевладение, было оформлено двумя указами: указом Петра III от 20 февраля 1762 года («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»).

По этим документам дарование дворянам сословных прав: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право «беспрепятственно ездить в чужие край» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав» — получало и более широкую трактовку. В Грамоте Екатерины II содержался пункт 17-й, где писалось: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу» [33]. При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность «чести, жизни и имения» (пункты 9–11-й). Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека.

Так создалась своеобразная социокультурная ситуация: дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать крестьян в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 января 1765 года (расширившего это право до возможности помещикам по собственному произволу отправлять неугодных крепостных на каторгу) были практически низведены до степени рабов («крестьянин в законе мертв», — писал Радищев), дворянство в России получило «вольность и свободу».

Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что

права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали

идеал прав человека.

Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан. Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями. Но не менее странно было бы, глядя на статуи Фидия и Праксителя, читая Софокла или Эврипида, все время приговаривать: «Это все за счет труда рабов». Более того, даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства Платона не только не исчерпываются «рабовладельческой идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей европейской цивилизации. Рабовладельческое античное общество создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской цивилизации русская дворянская культура XVIII — начала XIX века.

Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно, и от принципов «регулярности» и чиновной иерархии.

В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы произошел чуть ли не массовый отлив из нее дворян: «Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающее от нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности». В Грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь «установление вольности на безделье»[34]. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате Грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами, становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого «бегства» с последней как

массового явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение всего XVIII века вела активные военные действия (что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер- и штаб-офицеров), никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы не было. Мы знаем ряд случаев, когда желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых, составленном Л. А. Черейским и дающем весьма представительную общественную выборку, среди родившихся в конце 1790-х годов мы не находим

ни одного неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. То же можно сказать и о другом представительном списке — «Алфавите декабристов», — составленном для Николая I перечне всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое право никогда не служить. Для доказательства «бегства» дворян со службы приводится такой расчет: «К концу Северной войны среди офицеров русской армии было около 14 % выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние разночинцы, составляли 44 % всего дворянства империи»[35]. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей, таких, как герой главы «Зайцево» из «Путешествия из Петербурга в Москву», дослужившихся до личного дворянства, было очень велико, особенно в XIX веке, когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое: 1816 год — время окончания десятилетия наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение

молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х, в 1820-е годы людей второй половины 1780-х — начала 1790-х годов рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся в 1795–1799 годах. Естественно, что в этих условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой эпохи.

Дворянство оставалось служилым сословием. Но само понятие службы сделалось сложно противоречивым. В нем можно различить борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций. Последние существенно усложняли структуру реальной жизни дворянского сословия XVIII — начала XIX века и расшатывали неподвижность бюрократического мира. Корпоративные традиции особенно давали себя чувствовать в гвардии.

Гвардия — привилегированные и приближенные к трону полки — возникла при Петре I. Из «потешных» полков молодого царя в конце XVII века были сформированы два гвардейских, получивших наименования по подмосковным селам, в которых они «квартировались»: Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый батальон его всегда квартировал на Миллионной, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Оба полка получили боевое крещение под Нарвой в 1700 году, обнаружив высокую воинскую стойкость: задержав на три часа наступление шведов, они дали возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне третий — Измайловский — полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки: лейб-гвардии конный полк (1730), лейб-гусары и лейб-казаки (1796), кавалергардский (1800), лейб-уланы (1809). Число гвардейских полков и подразделений расширялось. В 1813 г. возникла так называемая «молодая гвардия» (лейб-гренадерский, Павловский и др. полки). Служба в гвардии связана была с пребыванием в столице и выгодно отличалась от армейской: гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку, при безупречной службе, человек, как правило, получал следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником (служба в «молодой гвардии» давала преимущество в один чин).

Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила «лейб-кампанией» (то есть «лейб-ротой»), произвела всех ее солдат в дворянство и дала им гербы, в символике которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства лейб-кампанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна — она требовала больших средств, но зато открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его головокружительными взлетами и падениями «случайных» людей.

Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед. Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II — тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна — свергла с престола своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и «гвардейской буйной шайки».

Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с

долгами, став графами, князьями и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории (так, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений). Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух гвардейского своеволия, соединив его со своеволием барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя корпоративных, семейных и других связей.

Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в Табели о рангах, давались за

действительную службу и, как он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так, Петр установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освященный практикой обычай. Часто это делалось в гвардии.

Вспомним начало «Капитанской дочки». «Матушка, — сообщает герой пушкинской повести Гринев, — была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в столице заступника — родственника, богатого человека — или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел (например, поэт Г. Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом прежде, чем получить офицерский чин. Зато человек, имевший «защиту», действовал как родитель Гринева: младенца записывали в службу; он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла.

И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем — и другие чины, особенно при наличии «заступника». Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам прежде всего в форме злоупотреблений (порой чудовищных). Казалось, что петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой «нерегулярности» системой законов, указов, приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать. Более того: существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки, но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того: она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица могла и посмеяться над вельможами-взяточниками: так, Р. Воронцова она назвала Роман — большой карман, а другому подарила вязаный кошелек — для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже наворовался, а новый только еще начнет воровать.

Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но, по существу, само же их и порождало. Сам Петр I рядом с Табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда, при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко (хотя и «по-домашнему») наказать: даже «светлейший» Ментиков не раз

испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили: близкий к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось «женское правление», фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине II некоторые из ее фаворитов, например Григорий Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые — просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев-Мамонов и Завадовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все…

Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы, она имела свои законы. Эти законы не умещались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в XVIII веке, хотя Петр I, стремясь все упорядочить, хотел разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым делом было — счесться родными. И начинали выяснять: «Ваша бабушка — не сестра ли такого-то? А он ведь наш сосед», или: «Он ведь крестил у моего дедушки детей», или: «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например 1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А. Герцен с С. Аксаковым — многолетние друзья — встретились в Москве на улице, вышли из пролеток, обнялись и расстались на всю жизнь: они — враги. Но декабристов сближали не только идейные связи — почти все они были родственниками, составляли родственные гнезда (Муравьевы, Бестужевы и многие другие). В начале XIX века все еще казалось, что родственникам можно доверять, что люди, выросшие вместе, — соседи, однополчане — связаны надежно. Близость не идейная, а дружеская, человеческая оказывалась в достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов. Но иногда — создавало ту атмосферу доверия, противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом (свой, своих родных и друзей) надежной крепостью, недоступной доносчику или шпиону.

Женский мир

Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII — начала XIX века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль. И женщина очень менялась.

Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни. С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина — жена и мать — в наибольшей степени связана с надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи. Поэтому влияние женщины на облик эпохи в принципе противоречиво, гибко и динамично. Гибкость проявляется в разнообразии связей женского характера с эпохой.

Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Если,

говоря о XVIII — начале XIX века, историк нарисует образ Салтычихи, то, скорее всего, с целью охарактеризовать крепостнические нравы. То, что речь идет о женщине, выступит как случайность исторического процесса. Если же вопрос этот все-таки возникнет, то, как правило, исследователь исчерпает его общими замечаниями о неразвитости (малоразвитости) женщин в тот или иной удаленный от нас период, иногда упомянет о редких исключениях из этого правила.

Нас же будут интересовать как те особенности, которые эпоха накладывала на женский характер, так и те, которые женский характер придавал эпохе.

Разумеется, женский мир сильно отличался от мужского. Прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий принцип и на них. В Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке): «Насопротив того имеют все девицы, которых отцы в 1 ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5 ранге обретаются, а именно, ниже Генерал-майора, а выше Бригадира, и девицы, которых отцы во 2 ранге, над женами, которые в 6 ранге, то есть ниже Бригадира, а выше Полковника; а девицы, которых отцы в 3 ранге, над женами 7 ранга, то есть ниже Полковника, а выше Подполковника, и проч.»[36]. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого — серебряное, какова должна быть ширина кружев и т. д. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на Седьмой линии он любил даму XII класса.

Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца[37]. В документах эпохи мы встречаем слова: «полковница», «статская советница», «тайная советница». Однако слова эти определяют не независимое положение самой женщины, а положение ее мужа (для девушки — отца). В комедии Д. Фонвизина «Бригадир» Бригадирша и Советница — это, соответственно, жены Бригадира и Советника.

В одном рассказе Н. Лескова говорится о привычке некоего иерарха играть со своими подчиненными, заставляя их отвечать ему стихами — «в рифму». Однажды во время прогулки он произнес:

Чертоги зрю монарши.

Спутник его ответил в рифму:

Погиб Фома от секретарши.

Современному читателю естественно понять слово «секретарша» как указание на должность или место службы женщины. Однако такое толкование в конце XVIII — начале XIX века было бы совершенно невозможным. Речь идет о жене секретаря.

Подобная исключенность женщины из мира службы не лишала ее значительности. Напротив, роль женщины в дворянском быту и культуре в течение рассматриваемых лет становится все

заметнее. Женщина не могла выполнять чисто мужских ролей, связанных со службой и государственной деятельностью. Но тем большее значение в общем ходе жизни получало то,

что культура полностью передавала в руки женщин.

Впрочем, не следует думать, что в России не было случаев, когда женщина отвоевывала себе право на чисто мужские амплуа. Знаменитая Надежда Дурова, «кавалерист-девица», сначала завоевала себе право на биографию боевого офицера, затем, во второй раз, — «мужское» право на биографию писателя. Третьей ее победой — уже в 1830-х годах — было право ходить в мужской одежде. Пример Дуровой — редкий, но не исключительный. Мы знаем случаи, когда девушки, убегая из дома, переодевались мужчинами, чтобы отправиться к святым местам с толпой бродячих монахов, или же, надевая мужские костюмы, делили со своими женихами или возлюбленными все тяготы военных походов. Однако это не колебало, а скорее подчеркивало разделенность культуры на «мужские» и «женские» области.

Вхождение женщин в мир, ранее считавшийся «мужским», началось не с этих — все же достаточно редких — случаев. Оно началось с литературы. Петровская эпоха вовлекла женщину в мир словесности: от женщины потребовали грамотность.

Не следует, конечно, думать, что женщина допетровской эпохи не была грамотной или что грамотность не могла занимать в ее жизни значительного места. Сохранилась, например, Библия, переписанная рукой царевны Софьи; известны ее письма к князю Василию Голицыну. Конечно, Софья была женщиной исключительной — и по своему образованию, и по своим политическим претензиям. Но вот в Пушкинском доме (ИРЛИ) есть письма первой жены Петра I, Евдокии, к офицеру Глебову, ее любовнику. Эти трогательные письма влюбленной женщины как бы вырываются из своей эпохи. Они рассказывают нам о том, что женщина любого времени вносит в окружающий ее мир, и странно было бы полагать, что женщины допетровской Руси лишены были этих чувств или возможности их выражать. Интимная переписка — явление гораздо более раннее, чем культура письма XVIII века[38], и, конечно же, она продолжала существовать и в Петровскую, и в послепетровскую эпоху. Так, возлюбленный (возможно, тайный супруг) императрицы Елизаветы, Алексей Разумовский, перед смертью уничтожил интимные письма к нему Елизаветы.

Однако применительно к женскому миру интересующей нас эпохи можно говорить и о другом. К концу XVIII века речь шла уже не о грамотности и не только о способности выражать в переписке свои интимные чувства. К этому времени частная переписка (семейная, любовная), постепенно разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта. Письма эти не хранили, и огромное число их погибло, но и то, что сохранилось, свидетельствует, что жизнь женщины без письма стала невозможной. Уже у Фонвизина неграмотная женщина — сатирический образ.

Письмо стало определенным жанром с множеством разновидностей. С возникновением переписки как части культурного поведения утверждается деление: печатное слово обращено от государства к грамотной части общества, письменное — от одного частного лица к другому. Но постепенно картина усложняется. С одной стороны, появляется неофициальная литература — книги, обращенные к обществу и тем не менее не несущие печати государственного авторитета. Литература отделяется от государственности. Первым знаком этого явилась книга В. Тредиаковского «Езда в остров Любви» (1730). С другой стороны, возникает рукописная литература, обращенная к кружку, салону, обществу.

Сложные процессы, имеющие прямое отношение к миру женской культуры, происходят и внутри литературы. Два основных ее типа разделяла в ту пору черта, по одну сторону которой оказывалась высоко авторитетная государственная, научная, военная и т. д. печать, руководимая правительством, по другую — литература художественная, допущенная (если

ей не приписывается дидактическая, поучающая функция, полезная тому же государству) как безвредная забава. Ее роль — обслуживать досуг. Но уже очень рано допущенная гостья начинает претендовать на роль хозяйки. Художественная литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от прямых поручений государства, завоевывает место духовного руководителя общества. Поэтому у русского общества второй половины XVIII века — как бы «двойное руководство»: со страниц официальной публицистики продолжает звучать голос государства, а художественная литература делается голосом идей, сначала — независимых, а потом — и прямо оппозиционных.

В доме каждого образованного человека XVIII века хранятся и печатные, и рукописные книги [39]. Книга стоит дорого, и ее зачастую не покупают, а переписывают. Остаются в рукописях и многие переводы из иностранных авторов. Карта культуры делается все более разнообразной: в нее входят и государственные акты, и исторические сочинения, и любовные романы, и письма, и официальные бумаги. Круг печатных и рукописных материалов настолько обширен, что одни части библиотеки хранятся теперь в кабинете хозяина, а другие — у его жены, даже если «она любила Ричардсона. // Не потому, чтобы прочла…».

Так к концу XVIII века появляется совершенно новое понятие — женская библиотека. Оставаясь по-прежнему (как уже говорилось, за редкими исключениями) миром чувств, миром детской и хозяйства, «женский мир» становился все более духовным.

Женщина стала читательницей. Но книги были разные, и читательницы — тоже. Мы знаем в конце XVIII — начале XIX века замечательных русских женщин, которые, как Татьяна Ларина или Полина из пушкинской повести «Рославлев», были приобщены к высшим проявлениям европейской и русской литературы. Но документы сохранили для нас упоминания и многочисленных уже в пушкинскую эпоху девушек и женщин, не отличавшихся особыми талантами. Это не были писательницы, как Е. Ростопчина, или участницы исторических событий, как Н. Дурова. Это были матери. И хотя имена их остались неизвестными, их роль в истории русской культуры, в духовной жизни последующих поколений огромна. Домашние библиотеки женщин конца XVIII — начала XIX века сформировали облик людей 1812 года и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов — взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века.

Но не только привычка к чтению меняла облик женщины. Женский быт изменялся стремительно, и моды, костюмы, поведение бабушек внучкам представлялись карикатурными и вызывали смех. Казалось бы, женский мир, связанный с вечными свойствами человека: любовью, семейной жизнью, воспитанием детей, — должен был быть более стабильным, чем суетный мир мужчин. Но в XVIII веке получилось иначе: реформы Петра I перевернули не только государственную жизнь, но и домашний уклад.

Первое последствие реформ для женщин — это стремление

внешне изменить облик, приблизиться к типу западноевропейской светской женщины. Меняется одежда, прически — например, появляется обязательный парик. Кстати, парики, для того чтобы они хорошо сидели, надевались на остриженную голову. Поэтому когда вы видите на портретах XVIII века красивые женские прически, — это прически из чужих волос. Парики пудрили. В «Пиковой даме», как вы помните, старуха-графиня, хотя действие повести происходит в 30-е годы XIX века, одевается по модам 70-х годов XVIII столетия. У Пушкина есть фраза: «…сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы». Действительно, так оно и было.

Платья, разумеется, тоже стали другими. Изменился и весь способ поведения. В годы петровских реформ и последующие женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек (и на крестьянок).

В модах царила искусственность. Женщины тратили много сил на изменение внешности. Моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный цвет, и в купеческом мире это считалось идеалом красоты[40].

В более европеизированном обществе зубы, конечно, не чернили. Но и здесь имелись способы изменять свою внешность. Например, на лицо налепляли мушки, которые делались из тафты или из бархата. Место, куда прилеплялись мушки, не было случайным. Например, мушка в углу глаза означала: «Я вами интересуюсь», мушка на верхней губе: «Я хочу целоваться». А поскольку в руках у женщины был веер, движения которого также получали особый смысл (например, резкое закрывание веера означало: «Вы мне не интересны!»), то комбинации мушек и игры веера создавали своеобразный «язык кокетства».

Дамы кокетничали, дамы вели в основном вечерний образ жизни. А вечером, при свечах, требовался яркий макияж, потому что при свечах лица бледнеют (тем более — в Петербурге с его зловредным климатом!). Из-за этого у дам уходило очень много (за год, наверное, с полпуда!) румян, белил и разной другой косметики. Красились очень густо.

В петровский период женщина еще не привыкла много читать, еще не стремилась к разнообразию духовной жизни (конечно, это лишь в массе: в России уже были писательницы). Духовные потребности большинства женщин удовлетворялись еще так же, как в допетровской Руси: церковь, церковный календарь, посты, молитвы. Разумеется, до конца XVIII столетия, до «эпохи вольтерьянства», в России все были верующими. Это было нормой, и это создавало нравственную традицию в семье.

Однако и семья в начале XVIII века очень быстро подверглась такой же поверхностной европеизации, как и одежда. Женщина стала считать нужным, модным иметь любовника, без этого она как бы «отставала» от времени. Кокетство, балы, танцы, пение — вот женские занятия. Семья, хозяйство, воспитание детей отходили на задний план. Очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью. Это делают кормилицы. В результате ребенок вырастал почти без матери. (Конечно, это не в провинции и, конечно, не у какой-нибудь бедной помещицы, у которой двенадцать человек детей и тридцать душ крепостных, а у дворянской, чаще всего — петербургской, знати).

И вдруг произошли быстрые и очень важные перемены. Примерно к 70-м годам XVIII века над Европой проносится дыхание нового времени. Зарождается романтизм, и, особенно после сочинений Ж. Ж. Руссо, становится принятым стремиться к природе, к «естественности» нравов и поведения.

Веяния эти проникли и в Россию. В сознание людей последней четверти XVIII века начинает постепенно проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты. «Неестественные» моды начинают вызывать отрицательное отношение, а идеалом становится «естественность», образцы которой искали в женских фигурах античности или в «театрализованном» крестьянском быту. Одежды теперь просты: нет уже ни роскошных юбок с фижмами, ни корсетов, ни тяжелой парчи. Женская одежда делается из легкой ткани. Рубашка с очень высокой талией представляется защитникам культа Природы «естественной». Простоту одежды пропагандирует эпоха французской революции. Павел I тщетно пытался остановить моду: на последний ужин перед тем, как его убили, императрица Мария Федоровна пришла к нему в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи — дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной.

На портретах этой поры мы видим, как новая манера одеваться соединилась с естественностью, простотой движений, живым выражением лица. Так, на портрете М. И.

Лопухиной В. Боровиковского отнюдь не случайно фоном вместо привычных тогда бюста императрицы или же пышного архитектурного сооружения стали колосья ржи и васильки. Девушка и природа соотнесены в своей естественности.

Появились платья, которые позже стали называть онегинскими, хотя они вошли в моду задолго до опубликования «Евгения Онегина», уже на грани двух веков. Вместе с изменением стиля одежды меняются и прически: женщины (как и мужчины) отказываются от париков — здесь тоже побеждает «естественность». Мода эта перешагивает через границы, и, хотя между революционным Парижем и остальной Европой идет война, попытки остановить моду у политических границ оказываются тщетными. Женщины одержали здесь блестящую победу над политикой.

Перемена вкусов коснулась и косметики (как и всего вообще, что меняло женскую внешность). Просветительский идеал простоты резко сокращает употребление красок. Бледность (если не естественная, то создаваемая с большим искусством!) стала обязательным элементом женской привлекательности.

Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная — это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты — и портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случаи, когда художник для торжественного портрета (а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами) награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно относятся и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого.

С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность — знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным. Жуковский скажет:

Мила для взора живость цвета,

Знак юных дней;

Но бледный цвет, тоски примета,

Еще милей.

«Алина и Альсим»

Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идет грусть. Мужчинам нравилось, чтобы в печальных, мечтательных голубых женских глазах блестели слезы и чтобы женщина, читая стихи, уносилась душой куда-то вдаль — в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает.

Впрочем, романтический идеал женщины-ангела имел и своего двойника:

Ангел дьяволом причесан

И чертовкою одет[41].

Романтическое соединение «ангельского» и «дьявольского» также входит в норму женского поведения.

Литература и искусство конца XVIII — начала XIX веков создают идеализированный образ женщины, который, разумеется, расходился с тем, что давала жизненная реальность. Но, с одной стороны, это резко повышало роль женщины в культуре. Идеалом эпохи становится образ поэтической девушки. С другой стороны, образ этот облагораживающе действует на реальных девушек. Не потому ли имена, пусть немногих из них, незабвенны в истории России. Героические поступки женщин эпохи декабризма — во многом плод проникновения поэзии Жуковского, Рылеева и Пушкина в женскую библиотеку на рубеже XVIII–XIX веков и в первые десятилетия XIX столетия.

Изменение общего стиля культуры отразилось на самых разнообразных сторонах быта.

Стремление к «естественности» прежде всего оказало влияние на семью. Во всей Европе кормить детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери. С этого же времени начали ценить ребенка, ценить детство.

Раньше в ребенке видели только маленького взрослого. Это очень заметно, например, по детской одежде. В начале XVIII века детской моды еще нет. Детей одевают в маленькие мундиры, шьют им маленькие, но по фасону — взрослые одежды. Считается, что у детей должен быть мир взрослых интересов, а само состояние детства — это то, что надо пробежать как можно скорее. Тот, кто задерживается в этом состоянии — тот митрофан, недоросль, тот недоразвит и глуп.

Но Руссо сказал однажды, что мир погиб бы, если бы каждый человек раз в жизни не был ребенком… И постепенно в культуру входит представление о том, что ребенок — это и есть нормальный человек. Появляется детская одежда, детская комната, возникает представление о том, что играть — это хорошо. Не только ребенка, но и взрослого надо учить, играя. Учение с помощью розги противоречит природе.

Так в домашний быт вносятся отношения гуманности, уважения к ребенку. И это — заслуга в основном женщины. Мужчина служит. В молодости он — офицер и дома бывает редко. Потом он в отставке, помещик — в доме наездами, все время занят хозяйством или на охоте. Детский же мир создает женщина. А для того, чтобы создать его, женщине необходимо много пережить, передумать. Ей надо стать читательницей.

Итак, в 70–90-е годы XVIII века женщина становится читательницей. В значительной мере складывается это под влиянием двух людей: Николая Ивановича Новикова и Николая Михайловича Карамзина.

Новиков, посвятивший свою жизнь пропаганде Просвещения в России, создал новую эпоху и в истории русской женской культуры. Разумеется, женщины читали книги и до Новикова, но он первым поставил перед собой цель сделать женщину — мать и хозяйку — читательницей, подготовить для нее продуманную систему полезных книг в доступной для нее форме. Напомним, что еще Сумароков мечтал об идеальном царстве, где «учатся в школах и девки» (писатель оговаривал — «дворянские»). Педагогические мечты Сумарокова Новиков реализовал с неслыханной энергией и необыкновенным умением. Им была создана подлинная библиотека для женского чтения.

Карамзин начал свою просветительскую деятельность в школе Новикова и под его руководством. Вместе со своим другом А. П. Петровым он редактировал новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789). Читателями журнала — впервые в России — были дети и женщины-матери.

Однако Карамзин вскоре разошелся с Новиковым. Новиков, видя в литературе в основном прикладную педагогику, считал, что России нужна нравоучительная, полезная книга — дидактика, только притворяющаяся искусством. Карамзин же, поэт и один из самых блистательных деятелей русской литературы XVIII века, не мог и не хотел отводить искусству чисто служебную роль. Красота, по его мнению, сама по себе имеет нравственное значение. Искусство нравственно и без надоедливых моральных нравоучений. Оно педагогично именно тогда, когда не заботится о педагогичности.

Карамзин теоретически обосновывает и практически создает литературу, нравственный и педагогический эффект которой не был основан на прямолинейной назидательности. Более того: некоторые произведения Карамзина, смело трактовавшие вопросы любви и этики, измельчавшим продолжателям Новикова казались даже безнравственными. Нам сейчас почти невозможно представить себе, какое возмущение вызывали карамзинские повести, где писатель касался таких «запрещенных» сюжетов, как любовь брата к сестре («Остров Борнгольм», 1794; баллада «Раиса», 1791) или любовное самоубийство («Сиерра-Морена», 1795). Однако именно эти сочинения, влияние которых на читателей литературным староверам казалось безнравственным, были, как показала история, не только глубоко нравственными, но и моралистическими. Не случайно для поколения романтиков Карамзин стал уже казаться наивным и навязчивым.

Отношение литературы и морали — один из самых острых вопросов, возникавших на заре романтизма. Особенно болезненно звучал он, когда обсуждались проблемы: «искусство и семья», «искусство и женщина», «искусство и дети». Приведу один пример.

В семье писателя М. Хераскова воспитывалась юная Анна Евдокимовна Карамышева (о ее судьбе будет подробно говориться далее, в главе «Две женщины»). Романы казались столь опасными для нравственности, что когда в доме Хераскова говорили о них (а романы тогда были такие невинные, такие скучные, такие нравственные!)[42], то Карамышеву, уже замужнюю женщину, просто выставляли из комнаты! Это — 70-е годы XVIII века. Так было в семье, ориентированной на патриархальный уклад. Но мать Карамзина уже в это время читала и давала читать сыну те модные романы, которые через десять лет наводнили большинство дамских библиотек[43]. Романы эти тоже наивны, но впоследствии Карамзин скажет, что человек, который плачет над судьбой героя, не будет равнодушен к несчастьям другого человека. В наивных, смешных уже в эпоху Пушкина книгах сквозила гуманная мысль, и они действовали, может быть, лучше, чем нравственные уроки, излагаемые в форме прямых наставлений.

Пройдет еще немного времени, и Татьяна Ларина — девушка 1820-х годов — появится перед читателем «с французской книжкою в руках, с печальной думою в очах». Пушкинская героиня живет в мире литературы:

Воображаясь героиней

Своих возлюбленных творцов,

Кларисой, Юлией, Дельфиной,

Татьяна в тишине лесов

Одна с опасной книгой бродит…

(3, X)

Барышня 1820-х годов, провинциальная барышня, живущая где-то около Пскова, перечувствует, передумает то, что чувствуют и думают герои лучших литературных произведений. Недаром Пушкин скажет о Татьяне:

… себе присвоя

Чужой восторг, чужую грусть…

(3, X)

Создается другой тип человека, другой тип женщины. Это очень хорошо показал Ф. С. Рокотов на одном из первых романтических портретов — портрете А. П. Струйской. Вспомним стихи Николая Заболоцкого, который по поводу этого портрета писал:

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза — как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

Соединены; двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищены; смертных мук.

Когда потемки наступают

И приближается гроза,

Со дна души моей мерцают

Ее прекрасные глаза.

«Портрет»

А еще через несколько лет мы увидим, что молодая женщина, девушка окажутся порой способными на то, на что мужчины, связанные с государственной жизнью и службой, смелые мужчины, которые погибают на редутах, неспособны.

Когда на Сенатской площади картечь разгромила каре декабристов, случилось, пожалуй, самое страшное. Не аресты и не ссылки оказались страшны. Моральное разрушение человека происходило в петербургских дворцах, где вчерашние друзья декабристов спешили засвидетельствовать лояльность власти нового императора, пока в снегах Сибири несли свой крест их недавние приятели и близкие родственники. (У редкого из тех, кто принимал участие в петербургских парадах или балах в Зимнем дворце, не было брата, родственника, друга-однополчанина в сибирских казематах!) Сосланные жили в Сибири в ужасных условиях, но им не надо было бояться: самое страшное

уже свершилось. А те, в Петербурге, которые вчера еще вели с сегодняшними ссыльными свободолюбивые разговоры и которые теперь знали, что только случайность их защищает, что в минуту все может измениться и тот, кто сидит в своем петербургском кабинете, может оказаться в кандалах на каторге, — вот те испугались. Десять лет испуга — и общество деградирует: мужчины начнут бояться, появится совершенно другой человек — «зажатый» человек николаевской эпохи. Позже М. Е. Салтыков-Щедрин расскажет о том, как его герою снится, что он спит и что у него на голове выстроена пирамида из людей в мундирах. Эта пирамида раздавила ему голову, голова его стала плоской…

А женщина не боится. Она пишет письмо Бенкендорфу, как сделала это княгиня Волконская. Пишет по-французски: она — светская дама, и он — светский человек (сам Бенкендорф брезговал носить жандармский мундир); он, конечно, никогда не позволит себе «поставить на место» светскую даму[44].

Женщины оказываются более стойкими, чем мужчины. Они сильнее душой, они не боятся, они едут в Сибирь на ужасных условиях. В Петербурге их предупреждают, что все дети ссыльных, рожденные в Сибири, будут записаны недворянами — в крестьянское сословие. Их стращают тем, что они беззащитны перед уголовными каторжниками, и позже декабристки будут вспоминать, что чиновники гораздо хуже каторжников-преступников: среди этих есть люди — среди чиновников почти нет.

Поведение женщин последекабристской эпохи — факт не только «женской культуры». Девушка и женщина 1820-х годов в значительной мере создавала общую нравственную атмосферу русского общества. Когда мы говорим о том, откуда берутся люди декабристского круга, которых Герцен называл «поколение богатырей, выкованных из чистой стали», — тут можно указать много причин. Это и исторические события, и войны, и книги, но это еще и гуманистическая атмосфера, которая так неожиданно ворвалась в семейную жизнь. Конечно, не следует думать, что таких женщин было очень много. Были и «дикие помещицы», и их даже было больше. Были и милые, тихие женщины, совсем неплохие, весь смысл жизни которых — в солении огурцов и в заготовлении продуктов на зиму, — старосветские помещицы, уютные, добрые. Но то, что в обществе уже были люди, живущие духом, — и в значительной мере женщины, — создавало совершенно иной быт.

Более того: как женское письмо, написанное государю или чиновнику по-французски, переключало текст во внесословное пространство, так и все поведение женщины той поры в его высших проявлениях как бы вырывалось из социальной сферы своего времени, становилось выражением общечеловеческих начал.

Это смело использовал Пушкин в незаконченном романе «Рославлев» (1831), где мы находим исключительно интересный диалог идей — полемику с романом М. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

М. Загоскин, чей талант прозаика Пушкин ценил довольно высоко, был близок по своим воззрениям В. Н. Надеждину (известному критику, «наставнику» Белинского). Их позицию отличало соединение незрелого, ищущего свои пути демократизма с отрицательным отношением к революционным и либеральным идеям. Поэтому и патриотизм Загоскина, с

одной стороны, был приемлем для складывающегося в России демократического лагеря, с другой — легко окрашивался в официозные или проправительственные тона. Это определило, например, позицию Загоскина в истории преследований П. Я. Чаадаева: Загоскин примкнул к тем, кто обвинил автора «Философических писем» в отсутствии патриотизма. Его обвинения фактически распространялись на целый круг наследников либерализма и декабризма, переживших эпоху ссылок и казней, — таких, как М. Орлов, братья Тургеневы и сам Пушкин.

Отвечая Загоскину, Пушкин осудил его за то, что романист как бы монополизировал право быть глашатаем патриотизма. Весьма примечательно, что для воплощения своего понимания патриотизма Пушкин избирает героиню-женщину. Именно Полина, героиня «Рославлева», высокодуховная женщина, поднявшаяся над сегодняшним днем политических распрей, могла стать выразительницей пушкинской точки зрения, соединившей высокий патриотизм и общечеловеческую мораль.

Пушкин сам, в несколько шутливой форме, сблизил свои взгляды с женской точкой зрения — наивной, но на самом деле глубокой. В незавершенном «Романе в письмах» (1829) Лиза (а ее словами — не без лукавства — сам Пушкин) говорит: «Теперь я понимаю, за что В<яземский> и П<ушкин> так любят уездных барышень. Они их истинная публика».

Можно заметить, что в последующую эпоху, когда женщина завоевала себе право широкого участия в политической жизни, она сравнялась с мужчиной в возможности «оспоривать налоги // Или мешать царям друг с другом воевать»

(Пушкин, III (1), 420), но ограничила в себе то вечное, что сохраняется в человеке во все времена. В эпоху же романтизма и декабризма русская женщина, поднявшись до интеллектуального уровня образованного мужчины своего времени, сделала еще шаг — до общечеловеческой точки зрения.

Но это героическое поколение жен декабристов еще впереди. А сейчас, на рубеже веков, живут их матери, «мечтательницы нежные», но без этих матерей не было бы этих дочерей.

Особую роль мир женщины сыграл в судьбах русского романтизма. Романтическая эпоха отвела женщине важнейшее место в культуре. Эпоха Просвещения поставила вопрос о защите женских прав. Женщина, ребенок, человек из народа — таковы были типичные герои, за равенство и права которых боролся просветитель. «Подопечных» надо было воспитать, защитить и обучить, а воспитателем и защитником был мужчина, — конечно, такой, который уже воспринял идеи «века просвещения». Пушкин любил повторять слова французского историка и философа Гальяни о женщине: «Животное, по природе своей слабое и болезненное».

Эпоха, начатая в России Карамзиным, отвела женщине совершенно новую роль. Поэзия Жуковского утвердила представление о женщине как о поэтическом идеале, предмете поклонения. Вместе с романтическим вкусом к рыцарской эпохе возникает поэтизация женщины.

Просветитель утверждал равенство женщины и мужчины. Он видел в женщине

человека и стремился уравнять ее в правах с отцом и мужем. Романтизм возрождал идею неравенства полов, которое строилось по моделям рыцарской средневековой литературы. Женщине, возвышенной до идеала, отводилась область высоких и тонких чувств. Мужчина же должен был быть ее защитником-служителем. Конечно, романтический идеал с трудом прививался к русской реальности. Как правило, он охватывал мир дворянской девушки — читательницы романов, погруженной душой в условные литературные переживания и черпающей в них «чужой восторг, чужую грусть». Так, например, Софи Салтыкова, в будущем — жена Дельвига, в молодости пережила бурное увлечение декабристом П. Г. Каховским.

Каховский, — бедный, лишенный связей офицер, — конечно, не мог считаться женихом светской барышни. Но молодые люди и не говорят о браке. Их связывает идеальная любовь. Все объяснение в любви проходит как обмен поэтическими цитатами.

Нельзя не вспомнить здесь трагическую и вместе с тем очень характерную судьбу двух сестер Протасовых, Маши и Саши. Одна из них впоследствии выйдет замуж за дерптского профессора И. Мойера, известного хирурга, учителя Н. И. Пирогова. Мойер был замечательный человек: Пирогов оставил о нем очень теплые воспоминания. Другая сестра выйдет замуж за профессора и литератора А. Ф. Воейкова — увы, жестокого и безнравственного человека.

Маша, почти ребенком, влюбится в своего родственника, поэта Жуковского. Жуковский принадлежал, со стороны отца, к старинной дворянской семье. Его отец — помещик Бунин (видимо, предок писателя И. Бунина, чем Бунин очень гордился), а мать — пленная турчанка, Сальха, жившая в доме на положении как бы крепостной. Будущий поэт — незаконнорожденный. В общем — именно то, что считалось «сомнительным происхождением». Ребенок не мог получить отцовской фамилии, и отец поэта предложил бедному дворянину Жуковскому, который был приживалом в доме Бунина, стать крестным отцом ребенка и дать ему свою фамилию.

Воспитание Жуковский получил очень хорошее, как равноправный член семьи. Его первоначальным воспитанием и устройством его судьбы занимались старшие замужние сестры — Е. А. Протасова, А. А. Елагина. Более того: в этом бунинском, протасовском, елагинском доме — большом культурном гнезде, где тон задавали молодые — тетушки, кузины, — Жуковский был единственным мальчиком, всеобщим любимцем. О нем нежно заботились, выхлопотали дворянство, дали образование в лучшем тогда учебном заведении — Московском благородном пансионе.

В 1805 году, уже известным поэтом, Жуковский становится домашним учителем своих племянниц — дочерей сводной сестры, Е. А. Протасовой. И тут разыгрывается драма. Читая об истории любви Маши Протасовой и Жуковского, невозможно не ощутить, как тесно в ней переплетаются литература и жизнь, поэзия действительности и поэзия поэзии. Подлинные страдания становятся литературными сюжетами, а литературные герои объясняют участникам драмы смысл их живых чувств и страданий.

Жизнь как бы разыгрывает перед влюбленными сюжет, который уже проник к этому времени в литературу и после романа Ж. -Ж. Руссо «Новая Элоиза» был пережит всеми «нежными» читательницами Европы. Учитель-разночинец влюбляется в свою ученицу-дворянку, она — в него. Но брак их невозможен, потому что общество имеет свои права, свои предрассудки[45].

И вот между Машей и Жуковским вырастает стена еще более крепкая, чем сословные предрассудки. Мать Маши, женщина глубоко религиозная, считает невозможным брак между столь близкими родственниками. Гостеприимный дом Протасовых становится вдруг чужим. Сестра берет с Жуковского тайное слово, что он откажется от своих прав на Машу. Ему дают понять, что он будет терпим в доме лишь до тех пор, пока скрывает свою любовь. Трагическое чувство мучительно пройдет через жизнь поэта. Оно составит содержание стихов Жуковского, стихов Маши, их страстной переписки.

Жизнь Жуковского как бы параллельно развивается в литературе и в действительности. Герой средневекового романа «Тристан и Изольда» Тристан уступает свою возлюбленную королю. Долгая, полная разлук и страданий жизнь Тристана и Изольды увенчивается их посмертным соединением. Образ этот становится для Жуковского литературным воплощением его реальных, жизненных страданий. Но в то же время реальные жизненные страдания поэта отражаются в его творчестве в условных «рыцарских» сюжетах. Так искусство переливается в жизнь, а жизнь — в искусство.

Но романтическая женщина не остается пассивной участницей этой «игры» литературы и жизни. Проза жизни не может отучить Машу от привычки смотреть на все происходящее глазами поэзии. Пройдет полвека — и читателю-разночинцу, поклоннику Д. Писарева, такой взгляд станет казаться «непрактичным». Но именно эта «непрактичность» — нераздельность житейского и поэтического — и создавала высокую духовность романтической девушки начала XIX века и позволила ей сыграть облагораживающую роль в русской культуре.

«Роман-жизнь» продолжит судьба Саши Протасовой. Эта младшая сестра — прелестная резвушка, которую в доме называют по имени героини баллады Жуковского — Светлана, выходит замуж за приятеля Жуковского, дерптского профессора А. Ф. Воейкова. Семья переезжает в Дерпт (ныне Тарту). Там Маша, уступая давлению матери, выходит замуж за университетского профессора И. Ф. Мойера. Жуковский, подавляя собственные чувства, благословляет ее на брак и (как некогда Тристан!) сам передает возлюбленную в руки друга.

Мойер — благородный человек. Он щадит чувство Маши, он глубоко почитает ее. Сам он не только прекрасный хирург, но и музыкант. Это не своекорыстный и сухой Воейков. Но ситуация создается крайне мучительная. Все трое благородны. Все трое страдают. Жуковский приезжает в Дерпт. Отношения его с Машей — всегда платонические, но чувство остается сильным и трагичным.

А затем Маша умирает после вторых родов. Она похоронена в Дерпте, где могила ее до сих пор сохраняется. Смерти М. А. Мойер Жуковский посвятил одно из своих лучших стихотворений «19 марта 1823 года»:

Ты предо мною

Стояла тихо.

Твой взор унылый

Был полон чувства.

Он мне напомнил

О милом прошлом…

Он был последний

На здешнем свете.

Ты удалилась,

Как тихий ангел;

Твоя могила,

Как рай, спокойна!

В ней все земные

Воспоминанья,

Там все святые

О небе мысли.

Звезды небес,

Говоря о женщинах начала прошлого столетия, необходимо сказать несколько слов и о детях. В этом культурном мире складывалось особое детство. Детям не только стали шить детскую одежду, не только культивировались детские игры — дети очень рано начинали читать. Женский мир был неотделим от детского, и женщина-читательница породила ребенка-читателя. Чтение книги вслух, а затем самостоятельная детская библиотека — таков путь, по которому пройдут будущие литераторы, воины и политики.

Вообще, трудно назвать время, когда книга играла бы такую роль, как в конце XVIII — начале XIX века. Ворвавшись в жизнь ребенка в 1780-х годах, книга стала к началу следующего столетия обязательным спутником детства. У ребенка были очень интересные книги, — конечно, прежде всего романы: ведь дети читали то, что читали женщины. Женская библиотека, женский книжный шкаф формировали круг чтения и вкусы ребенка. Романы кружили голову: в них — героические рыцари, которые спасают красавиц, служат добродетели и никогда не склоняются перед злом. Книжные впечатления очень легко соединялись со сказкой, которую ребенок слышал от няни. Роман и сказка не противоречили друг другу.

Русская детская книга, начавшаяся с издательской деятельности Новикова, к концу XVIII века стала уже достаточно разнообразной. Здесь и классические произведения — такие, как «Дон-Кихот» или «Робинзон Крузо», — и литература во многом примитивная: переводы произведений для детей, почерпнутые из немецких и французских дидактических книг. Но ребенок чаще всего подпадает под влияние лучшего из прочитанного — и вот уже молодые Муравьевы, будущие декабристы, мечтают уехать на Сахалин, который им кажется необитаемым островом (миром Робинзона!), и основать там идеальную республику Чока. Братья начнут на острове всю человеческую историю заново: у них не будет ни господ, ни рабов, ни денег; они станут жить ради равенства, братства и свободы.

В эту же эпоху входит в детское чтение и другая книга — «Плутарх для детей»[46]. Плутарх — известный античный прозаик, автор «Сравнительных жизнеописаний» великих людей древней Греции и Рима. Только что пережив «первую волну» литературных впечатлений, почувствовав себя средневековым рыцарем, который борется со злодеями, колдунами и великанами, крестоносцем, воюющим с маврами, — ребенок окунается в мир исторической героики. Самым обаятельным в глазах детей и подростков становится образ римского республиканца.

В этом отношении показателен эпизод из биографии известного декабриста Никиты Муравьева. Он переносит нас на детский бал. Время действия — начало XIX века. Герою рассказа — шесть лет.

«Детские балы» — это особые балы, устраивавшиеся в первую половину дня либо в частных домах, либо у танцмейстера Иогеля. Туда привозили и совсем маленьких детей, но там танцевали и девочки двенадцати, тринадцати или четырнадцати лет, которые считались невестами, потому что пятнадцать лет — это уже возможный возраст для замужества. Вспомним, как в «Войне и мире» на детский бал к Иогелю приходят прибывшие в отпуск молодые офицеры Николай Ростов и Василий Денисов. Детские балы славятся веселостью. Здесь непринужденная обстановка детской игры незаметно переходит в увлекательное кокетство.

Маленький Никитушка, будущий декабрист, на детском вечере стоит и не танцует, и, когда мать спрашивает у него о причине, мальчик осведомляется (по-французски): «Матушка, разве

Аристид и Катон танцевали?» Мать на это ему отвечает, также по-французски: «Надо полагать, что танцовали, будучи в твоем возрасте»[47]. И только после этого Никитушка идет танцевать. Он еще не научился многому, но он уже знает, что будет героем, как древний римлянин. Пока он к этому плохо подготовлен, хотя знает и географию, и математику, и многие языки.

В 1812 году шестнадцатилетний Никита Муравьев решает убежать в действующую армию, чтобы совершить героический поступок. «Пылая желанием защитить свое Отечество принятием личного участия в войне, он решился явиться к главнокомандующему Кутузову и просить у него службы. <…> Он достал карту России и по неопытности имел при себе особую записку, на которой находились имена французских маршалов и корпусов их; снабдив себя этими сведениями, он тайно ночью ушел пешком из дому и пошел по направлению к Можайску. На дороге перехватили его крестьяне, боявшиеся шпионов, и, связав его, повезли в свой земский суд. Сколько Никита ни объявлял о себе и своем положении, они ничему внять не хотели: его связанного повезли в Москву к главнокомандующему столицею жестокосердному графу Ростопчину, который до справки велел посадить его в яму. Дорогой, когда вели его туда, увидел его гувернер, швейцарец m-r Petra, которому, говорящему с ним по-французски, не только не отдали, но разъяренный народ, осыпав обоих бранью, повел их в яму, называя их шпионами. Petra, как-то вырвавшись из толпы, побежал к Екатер[ине] Федоровне] (матери Н. Муравьева. —

Ю. Л.), которая сейчас же бросилась к г. Ростопчину, умоляя его о возвращении ей ни в чем не виноватого сына[48]».

У Никиты Муравьева и его сверстников было особое детство — детство, которое создает людей, уже заранее подготовленных не для карьеры, не для службы, а для подвигов. Людей, которые знают, что самое худшее в жизни — это потерять честь. Совершить недостойный поступок — хуже смерти. Смерть не страшит подростков и юношей этого поколения: все великие римляне погибали героически, и такая смерть завидна. Когда генерал Ипсиланти, грек на русской службе, боевой офицер, которому под Лейпцигом оторвало руку, поднял в 1821 году греческое восстание против турок, Пушкин писал В. Л. Давыдову: «Первый шаг Ал<ександра> Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал — отныне и мертвый или победи <тель> п <рин> адлежит истории — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! — завидная <у>часть» (III, с. 24).

Люди живут для того, чтобы их имена записали в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя лишнюю сотню душ. Так в детской комнате создается новый психологический тип.

Поразительно, но предметом зависти молодого Пушкина является даже оторванная рука Ипсиланти — свидетельство героизма. Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности. Жажда славы — общераспространенное чувство, но у людей декабристской эпохи она превращается в жажду свободы. О герое поэмы «Кавказский пленник» Пушкин писал:

Свобода! Он одной тебя

Еще искал в пустынном мире.

Этим он сразу сделал своего героя выразителем чувств поколения. Но характерная черта времени проявляется в том, что романтическая жажда свободы охватывает и женщин. 14 декабря на Сенатской площади не будет женщин. Но не только для их мужей, братьев и сыновей, но и для них самих этот день станет роковым концом романтической юности.

Вторая половина XVIII и первая половина XIX века, как мы видели, отвела женщине особое место в русской культуре, и связано это было с тем, что женский характер в те годы, как никогда, формировался литературой. Именно тогда сложилось представление о женщине как наиболее чутком выразителе эпохи — взгляд, позже усвоенный И. С. Тургеневым и ставший характерной чертой русской литературы XIX века.

Особенно важно, однако, то, что и женщина постоянно и активно усваивала роли, которые отводили ей поэмы и романы. Поэтому мы можем, характеризуя современниц Жуковского или Рылеева, оценивать бытовую и психологическую реальность их жизни сквозь призму литературы. Герои литературы делаются героями жизни. Можно показать, например, какую роль сыграла поэма К. Ф. Рылеева «Войнаровский» в формировании поведения декабристов,

Женский образ дал литературе положительного героя. Именно здесь сформировался художественный (и жизненный) стереотип: мужчина — воплощение социально типичных недостатков, женщина — воплощение общественного идеала. Стереотип этот обладал не только активностью, но и устойчивостью: многие поколения русских женщин жили «по героиням» не только Рылеева, Пушкина, Лермонтова, но — позже — Тургенева и Некрасова.

Конец интересующей нас эпохи создал три стереотипа женских образов, которые из поэзии вошли в девичьи идеалы и реальные женские биографии, а затем — в эпоху Некрасова — из жизни вернулись в поэзию. Первый образ, внесенный из биографии Жуковского в его поэзию, связан с сестрами Протасовыми (о них речь шла выше). Это образ нежно любящей женщины, жизнь и чувства которой разбиты. Героиня наделена идеальным чувством, поэтичностью натуры, нежностью, душевной тонкостью. Ее душа, здоровье и жизнь разрушены жестокостью общества. Покорное судьбе, поэтическое дитя погибает. Идеал этот вызывал в сознании современников образ ангела, случайно посетившего землю и готового вернуться на свою небесную родину.

Другой идеал — демонический характер. В литературе (и в жизни) он ассоциировался, например, с героическим образом «беззаконной кометы», смело разрушающей все условности созданного мужчинами мира.

Светский быт в России начала XIX века не следует считать полностью унифицированным. Хотя идеальные нормы поведения, предъявляемые обществом к даме и соединявшие правила поведения французского дореволюционного света с петербургской чопорностью, были достаточно строгими, однако реальная жизнь и здесь оказывалась значительно многообразнее. Например, чванливая холодность петербургского света контрастировала со свободой и непосредственностью «московского поведения», а допустимая на празднике в деревне свобода оказывалась решительно неприемлемой на балу или даже на домашнем вечере в столице. Татьяна и Онегин после конфиденциальной беседы в саду

Пошли домой вкруг огорода;

Явились вместе, и никто

Не вздумал им пенять на то:

Имеет сельская свобода

Свои счастливые права,

Как и надменная Москва.

(4, XVII)

Собственно говоря, высший свет, особенно московский, уже в XVIII веке допускал оригинальность, индивидуальность женского характера. Только в Москве были такие женщины, как Н. Д. Офросимова, необычность поведения которой привлекала Л. Толстого (М. Д. Ахросимова в «Войне и мире») и Грибоедова (Хлестова в «Горе от ума»). Были и другие женщины — позволявшие себе скандальное поведение, открыто нарушавшие правила приличия. Однако до эпохи романтизма они воспринимались как безобидно (первый случай) или скандально выходящие за пределы культурной нормы. В мире идеологическом они как бы не существовали.

В эпоху романтизма «необычные» женские характеры вписались в философию культуры и одновременно сделались модными. В литературе и в жизни возникает образ «демонической» женщины, нарушительницы правил, презирающей условности и ложь светского мира. Возникнув в литературе, идеал демонической женщины активно вторгся в быт и создал целую галерею женщин — разрушительниц норм «приличного» светского поведения. Этот образ становится в один ряд с образом мужчины-протестанта. Пушкин сближает в своей поэзии «гражданина с душою благородной» и «женщину не с хладной красотой, // Но с пламенной, пленительной, живой». Этот характер становится одним из главных идеалов романтиков. При этом между реальной и литературной «демонической» женщиной устанавливаются интересные и весьма неоднозначные отношения.

Аграфена Федоровна Закревская (1800–1879) — жена Финляндского генерал-губернатора, с 1828 года — министра внутренних дел, а после 1848 года — московского военного генерал-губернатора А. А. Закревского. Экстравагантная красавица, Закревская была известна своими скандальными связями. Образ ее привлекал внимание лучших поэтов 1820–1830-х годов. Пушкин писал о ней (стихотворение «Портрет»):

С своей пылающей душой,

С своими бурными страстями,

О жены севера, меж вами

Она является порой

И мимо всех условий света

Стремится до утраты сил,

Как беззаконная комета

В кругу расчисленном светил.

Ей же посвящено стихотворение Пушкина «Наперсник». Вяземский называл Закревскую «медной Венерой». Е. Баратынский создал такой образ трагической и демонической красавицы:

Как много ты в немного дней

Прожить, прочувствовать успела!

В мятежном пламени страстей

Как страшно ты перегорела!

Раба томительной мечты

В тоске душевной пустоты

Чего еще душою хочешь?

Как Магдалина плачешь ты,

И, как русалка, ты хохочешь![49]

А. Закревская же была прототипом княгини Нины в поэме Баратынского «Бал». И наконец, по предположению В. Вересаева, ее же нарисовал Пушкин в образе Нины Воронской в 8-й главе «Евгения Онегина». Нина Воронская — яркая, экстравагантная красавица, «Клеопатра Невы» — идеал романтической женщины, поставившей себя и вне условностей поведения, и вне морали.

Совершенно очевидно, что сама Закревская в своем жизненном поведении ориентировалась на созданный Пушкиным, Баратынским и другими художниками ее образ.

Совсем иным, страстно мучительным стал для Пушкина опыт другой «демонической» любви. У этой истории — две реальности, ибо за ней следили два совершенно различных взора, взгляд политического сыска и взгляд Пушкина. Обе версии романтичны, хотя романтичность их прямо противоположного свойства.

С третьей, биографической позиции дело виделось так. Польский аристократ граф Адам Ржевуский романтически женился на пленной гречанке. В истории этого брака было все, что знакомо нам по поэмам Байрона и его последователей: жена — купленная рабыня, авантюры, преступления, и в итоге — две дочери красоты неслыханной, даже в эту богатую прелестными женщинами эпоху. От родителей девушки не получили ничего, кроме красоты, коварства и какой-то врожденной страсти к предательству и авантюрам. Пушкин и А. Мицкевич видели в сестрах героинь Байрона — на самом деле это были скорее демонические героини Бальзака. Одна из сестер (Эвелина) в дальнейшем действительно стала женой Бальзака и тесно связала себя с его творческой биографией. Вторая — Каролина (по мужу — Собаньска) зловеще вторглась в жизнь Пушкина.

Каролина Собаньска встретилась с Пушкиным во время его южной ссылки. К этому времени ее авантюристическая судьба уже определилась. Фактически расставшись со своим первым мужем, Собаньска вела в Одессе неслыханный в ту пору образ жизни. С 1821 года она открыто сожительствовала с начальником южных военных поселений генерал-лейтенантом И. О. Виттом, афишируя свой адюльтер. Такое поведение считалось скандальным, однако оно вписывалось в романтический образ демонической красавицы. На самом же деле Собаньска была не только любовницей, но и агентом Витта.

Генерал-лейтенант Витт — одна из самых грязных личностей в истории русского политического сыска. Шпион не столько по службе, сколько из призвания, Витт лелеял далеко идущие честолюбивые планы. По собственной инициативе он начал слежку за рядом декабристов: А. Н. и Н. Н. Раевскими, М. Ф. Орловым и др. Особенно сложные отношения связывали его с П. Пестелем.

Пестель прощупывал возможность использовать военные поселения в целях тайного общества. Он ясно видел и авантюризм, и грязное честолюбие Витта, но и сам Пестель — за что его упрекали декабристы — был склонен отделять способы борьбы за цели общества от строгих моральных правил. Он был готов использовать Витта, так же как позже надеялся сделать из растратчика И. Майбороды послушное орудие тайных обществ.

Недоверчивый Александр I долго задерживал служебное продвижение Пестеля, не давая ему в руки самостоятельной воинской единицы. А без этого любые планы восстания теряли основу. Пестель решился использовать Витта: жениться на его дочери — старой деве и получить в свои руки военные поселения юга. В этом случае весь план южного восстания опирался бы на бунт поселенцев, «взрывоопасность» которых Пестель полностью оценил.

Встречная «игра» Витта состояла в том, чтобы проникнуть в самый центр заговора, существование которого он ощущал интуицией шпиона. Получив сведения о заговоре в Южной армии, он намеревался использовать этот козырь в сложном авантюрном плане — в зависимости от обстоятельств продать Пестеля Александру или Александра Пестелю.

И Александр I, и Пестель презирали Витта и с отвращением прибегали к его помощи. Но оба приносили свою брезгливость в жертву ведущейся ими политической игре. Судьба решила по-своему: Александр, наконец, вручил Пестелю полк, и обращение декабристов к Витту сделалось ненужным.

Широко идущие планы Витта не ограничивались связями с Пестелем. В кругу его специальных интересов оказались и Пушкин, и Мицкевич. Но если Пестеля он собирался заманить перспективой получить «в приданое» военные поселения, то приманка для Пушкина и Мицкевича нужна была иная — здесь орудием Витта стала Каролина Собаньска. Оба поэта испытали мучительное чувство к прекрасной авантюристке. Пушкин на юге пережил тяжелую подлинную страсть, и впоследствии его несколько раз настигали кратковременные пароксизмы этого увлечения.

За несколько месяцев до венчания с Натальей Николаевной Гончаровой, 2 февраля 1830 года, Пушкин, встретившись в Петербурге с Собаньской, написал ей по-французски следующее письмо:

«Сегодня 9-ая годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.

Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму (?). Там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть…» (XIV, 399).

Письмо не было отправлено, потому что в этот же день Пушкин получил записку от Собаньской, написанную в холодном светском тоне и откладывавшую их свидание. И тон, и смысл письма сознательно дразнили нетерпение Пушкина: Собаньска продолжала свою прежнюю игру. Ответом было нервное письмо поэта, в котором раздражение и страсть слились воедино: «Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания, итак я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас.

Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние.

Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы — демон, то есть

тот, кто сомневается и отрицает, как говорится в Писании.

В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить — в течение

целых 7 лет. Зачем?

Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда, когда оно было передо мною. Не говорите же мне о нем, ради Христа. — В угрызениях совести, если бы я мог испытать их, — в угрызениях совести, было бы какое-то наслаждение — а подобного рода сожаление вызывает в душе лишь яростные и богохульные мысли.

Дорогая Эллеонора, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных (?) лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть. — Дорогая Эллеонора, вы знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная, очень искренняя, — и немного робости, которую я не могу побороть.

Я прекрасно знаю, что вы подумаете, если когда-нибудь это прочтете — как он неловок — он стыдится прошлого — вот и все. Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним. Он полон самомнения, как его повелитель — Сатана. Неправда ли?

Однако, взявшись за перо, я хотел о чем-то просить вас — уж не помню о чем — ах, да — о дружбе. Эта просьба очень банальная, очень… Это как если бы нищий попросил хлеба — но дело в том, что мне необходима ваша близость.

А вы между тем по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор — прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. — Но вы увянете; эта красота когда-нибудь (?) покатится вниз как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее (?) боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности.

Но что такое душа? У нее нет ни взора, ни мелодии — мелодия быть может…» (XIV, с. 400–401).

Пушкин видел перед собой Эллеонору — героиню «Адольфа» Бенджамена Констана, а перед ним была шпионка — тайный агент полиции.

Романтическая литература от Эжена Сю до Виктора Гюго ввела образ шпиона в список демонических персонажей. И Каролина Собаньска, авантюристка и предательница, не была прозаическим полицейским агентом, какие нам известны с эпохи Николая I; ее поведению не был чужд своеобразный демонизм. Но Пушкину она напоминала совсем других литературных героинь…

…Образ прекрасной преступницы-шпионки мог тревожить воображение романтиков, но для III отделения романтические шпионы были не нужны. Впоследствии полячка Каролина Собаньска не поладила с Бенкендорфом, попала в немилость и, обвиненная в пропольских симпатиях, была выслана из России.

Письмо Пушкина написано по-французски и несет на себе отпечаток стиля французских романов. Выбор языка здесь принципиален. Вспомним, как в «Анне Карениной» в момент, когда чувства героев для них уже прояснились, но отношения еще не сложились окончательно, для Анны и Вронского стало невозможным говорить между собой по-русски: русское «вы» было слишком холодным, а «ты» означало опасную близость. Французский язык придавал разговору нейтральность светской беседы, и его можно было по-разному истолковать в зависимости от жеста, улыбки или интонации.

Другая особенность, характерная для французских писем русского дворянина, — широкое использование литературных цитат. Цитата позволяла придавать тексту смысловую неопределенность, располагать его в пространстве от романтической патетики до стерниансой иронии. Пушкин широко пользуется стилистическими возможностями письма. Однако обилие литературных реминисценций ни в коей мере не означает отсутствия искреннего и взволнованного чувства. Цитата не снижает искренности, а лишь расширяет оттенки смысла. И детски искреннее письмо Татьяны к Онегину, и наполненное трагической страстью письмо Онегина к Татьяне в 8-й главе легко распадаются на цитаты (что было отмечено комментаторами). Из сплошных цитат состоит предсмертная элегия Ленского (это дало основание литературоведам 20-х годов XX столетия свести весь эпизод к литературной полемике). Между тем романтическая эпоха пользовалась цитатами, как другие эпохи — словами естественного языка: ведь не будем же мы подозревать в неискренности человека, который в разговоре употребляет слова, уже употребленные до него другими людьми. Используя цитату, человек романтической эпохи как бы возводил себя на уровень литературного героя. Но странно было бы подозревать неискренность генерала Раевского, когда тот, раненный в Лейпцигском сражении, продекламировал по-французски своему адъютанту, поэту Батюшкову, стихи из трагедии Вольтера «Эрифила»[50].

В «Пиковой даме» первое письмо Германна было «нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа». В «Метели» Бурмин признается в любви, и признание его вызывает у героини литературные ассоциации («Мария Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux»). Казалось бы, перед нами — одно и то же явление, но на самом деле мы сталкиваемся с противоположными ситуациями, и Пушкин отчетливо их разделяет. Формально они отличаются тем, что Германн переписывает письмо полностью. Его личные чувства не отражаются в его тексте (Пушкин специально оговаривает, что позже, когда в Германне заговорит истинная страсть, его письма «уже не были переведены с немецкого»). В «Метели» же Бурмин не повторяет заученного от первой до последней буквы текста, а импровизирует признание, «воображаясь» героем «своих возлюбленных творцов».

В первом случае Германн пишет на чужом для него языке и таким образом высказывает ложные чувства, во втором случае герой выбирает возвышенный литературный язык для наиболее точного выражения своих возвышенных чувств.

В конце драмы А. Н. Островского «Лес» Несчастливцев произносит патетический монолог из драмы Шиллера «Разбойники»: «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь!» Присутствующий тут же светский герой Милонов не опознает цитаты и собирается привлечь героя к ответу за бунтарство. Тогда Несчастливцев отвечает: «Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты — как подьячий!» То, что во времена Островского было уделом людей искусства, артистов, то в романтическую эпоху принадлежало бытовому дворянскому сознанию. Татьяна, Онегин, Ленский и другие литературные герои, так же, как и многочисленные герои реальной жизни, воссоздавали свое сознание и строили свою личность, «себе при своя // Чужой восторг, чужую грусть». Бытовые чувства возвышались до уровня литературных образцов.

Письмо Пушкина к Собаньской — яркий тому пример. Тот, кто скажет: «Это самое страстное письмо из написанных Пушкиным», — будет прав. Кто скажет: «Это одно из самых литературных писем Пушкина», — тоже будет прав. Но тот, кто сделает вывод о

неискренности письма, — ошибется.

Позже Л. Толстой отождествит цитирование с неискренностьЮ. Л. Толстого будет занимать структура неискренней речи: она для него всегда будет цитатна и литературно оформлена. Ей противопоставляется непосредственность: «тае», «ты значит тае…» — как изъясняется Аким из «Власти тьмы». Представление о том, что «мысль изреченная есть ложь», глубоко свойственно Толстому. Но эпоха XVIII — начала XIX века рассуждала иначе. Истина дается в возвышенных, героических текстах, в словах, жестах и поступках великих людей. Человек приближается к высокой истине, повторяя эти возвышенные образцы. Это можно сравнить с тем, как герои французской революции присваивали себе имена «славных» римлян, стремясь сделаться живыми их воплощениями.

Генрих Гейне написал типично романтическое стихотворение «N…»:

Отбросить пора романтический штамп,

Дурацкое наследие.

Довольно я, как комедиант,

С тобою ломал комедию.

…….

И я сыграл театральную смерть,

От подлинной смерти падая.

(Перевод мой. —

Ю. Л.)

Гейне воссоздал типично романтическую ситуацию: жизнь и литература перепутываются, меняясь местами, игра переходит в смерть. Цитата превращается в подлинный душевный вопль, а подлинные страдания точнее всего передаются словами цитаты.

Увидав в 1830 году Собаньску, Пушкин испытал и рецидив угасшей было любви, и жажду смелого, решительного поступка. В этом смысле бегство без разрешения в Крым для того, чтобы упасть к ногам страстно любимой женщины сомнительной репутации, или же женитьба на красивой девочке без жизненного и светского опыта, без денег и даже, кажется, без любви к нему — оба эти поступка были своего рода сюжетными синонимами: как прыжок с высоты в темную воду, они отрезали путь к прошлому и означали начало чего-то совершенно нового, отчаянный риск, в котором Пушкин ставил на карту свое счастье и свою жизнь. Оба поступка привлекали смелостью.

Но эта напряженная искренность выливается у Пушкина в готовых литературных фразах, и мы даже не можем сказать, что чему предшествует. Слова «счастье так мало создано для меня» естественно вызывают в памяти слова Евгения Онегина: «Но я не создан для блаженства». Можно привести и другие параллели. Но дело даже не в них, а в общем параллелизме слов и формул, которыми выражается страстное чувство в жизни и в литературе.

Третий типический литературно-бытовой образ эпохи — женщина-героиня. Характерная его

черта — включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины. Начало такому изображению, пожалуй, положил А. Н. Радищев, введя в свою поэму «Песнь историческая» (1795–1796) образ героической римлянки, собственным примером — самоубийством — ободряющей ослабевшего мужа. Важно, что героическое самоубийство было для Радищева проявлением гражданской добродетели: готовый к гибели человек не боится уже власти тирана[51].

В «Песни исторической» поэт описывает малоизвестный в русской культуре эпизод из римской истории, используя его как предлог для развития собственных идей. В 42 году н. э. за участие в борьбе против «тирана слаба» — императора Клавдия — римлянин Цецина Пет был приговорен к смертной казни. Чтобы предотвратить бесчестье, жена Пета, Ария, уговаривала его покончить жизнь самоубийством, а затем, желая преодолеть его нерешительность, первой пронзила себе грудь и передала кинжал мужу со словами: «Нет, не больно»:

Зри, жена иройска духа

Осужденному к злой смерти

Милому рекла супругу,

Да рукою своей твердой

Предварит он казнь поносну,

Но Пет медлит и робеет.

И се Ария сталь остру

В грудь свою вонзает смело:

«Приими, мой Пет любезный,

Нет, не больно…» Пет, мужаясь,

Грудь пронзил и пал с супругой.

С этим же связан и в позднейшей русской литературе интерес к героической женщине: Марфе Посаднице (Карамзин, Ф. Иванов), Орлеанской Деве (Жуковский), вспомним также соответствующие образы в поэзии Лермонтова и в прозе А. А. Бестужева-Марлинского.

История культуры обычно, по традиции пишется «с мужской точки зрения». XVIII век, однако, не умещается в эту традицию. Между «мужским» и «женским» взглядами существует отличие отнюдь не элементарно биологического свойства. Историк, кладущий в основу источники, написанные «с мужской позиции», видит перед собой мир «взрослых» людей. Исторические характеры он видит в их результатах, а не в процессе становления, и люди перед его глазами — это цепь итогов, как бы музей, в котором неподвижные фигуры расставлены в хронологической последовательности.

«Женский взгляд» при упоминании имени человека прежде всего видит ребенка, а затем уже — процесс его формирования. «Мужской взгляд» подчеркивает в человеке его поступки, то, что он совершил; женский — то, что он мог бы совершить, но утратил или совершил не полностью. Мужской взгляд прославляет сделанное, женский — скорбит о несделанном. Это

остро почувствовал Блок:

Вот о той звезде далекой,

Мэри, спой,

Спой о жизни, одиноко

Прожитой.

Спой о том, что не свершил он…[52]

Таким образом, женская культура — это не только культура женщин. Это — особый взгляд на культуру, необходимый элемент ее многоголосия.

В неоконченном «Романе в письмах» Пушкин устами героини рассуждает о различии функций так называемых мужской и женской культур. Лиза высказывает в письме к подруге мысли, вызванные чтением одного из романов ушедшего века: «Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Ловеласом и Адольфом? Между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения… а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны».

Интересно, однако, что взгляд, характеризуемый здесь как «женский», Пушкин в другом месте рассматривал как свой собственный и этим обосновывал мысль о схожести восприятия мира женщинами, сохранившими естественные вкусы, и поэтами. Таким образом, антитеза «мужского взгляда» и «женского» у Пушкина заменяется противопоставлением исторического и вечного. Так называемый женский взгляд становится реализацией вечно человеческого. Показательно, что Пушкин здесь сближается с глубоко переживаемым им в это время Данте, в «Божественной комедии» которого сцены ада, густо пропитанные политической злободневностью, даются в оценках Вергилия, а переход в мир вечных ценностей требует другого судью: Вергилия сменяет Беатриче.

Женское образование в XVIII — начале XIX века

Вопрос о месте женщины в обществе неизменно связывался с отношением к ее образованию. Петровская государственность, пронизанная духом учения, государство, царь которого писал: «Аз есмь в чину учимых и учащих меня требую», естественно столкнулись и с вопросами женского образования.

Знание традиционно считалось привилегией мужчин — образование женщины обернулось проблемой ее места в обществе, созданном мужчинами.

Не только государственность, но и общественная жизнь строилась как бы для мужчин: женщина, которая претендовала на серьезное положение в сфере культуры, тем самым присваивала себе часть «мужских ролей». Фактически весь век был отмечен борьбой женщины за то, чтобы, завоевав право на место в культуре, не потерять права быть женщиной.

На первых порах инициатором приобщения женщины к просвещению стало государство.

Еще с начала века, в царствовании Петра I, столь важный в женской жизни вопрос, как замужество, неожиданно связался с образованием. Петр специальным указом предписал неграмотных дворянских девушек, которые не могут подписать хотя бы свою фамилию, — не венчать. Так возникает, хотя пока что и в исключительно своеобразной форме, проблема женского образования.

Мы уже говорили, что не следует думать, будто до Петра женщины в России были неграмотными. Когда при раскопках в Новгороде были извлечены из земли берестяные грамоты — нацарапанные на бересте записочки XII, XIII, XIV веков, — то стало ясно: эти записки (а многие из них писались женщинами или им адресовались) предназначались не для боярыни или монастырской игуменьи. Содержание их бытовое, отражающее повседневную жизнь обычной семьи: крестьянской, купеческой. Нет никаких сомнений, что среди новгородских женщин было немало грамотных.

Однако в начале XVIII века вопрос грамотности был поставлен совершенно по-новому. И очень остро. Необходимость женского образования и характер его стали предметом споров и связались с общим пересмотром типа жизни, типа быта.

Отношение самой женщины к грамоте, книге, образованию было еще очень напряженным. Так, известный мемуарист Андрей Болотов вспоминал о том, как одна невеста отказала ему, потому что он читал много книг и про него поэтому «пустили разговор», что он — колдун. Тогда Болотов принялся искать себе невесту с помощью свахи и выразил желание, чтобы его будущая жена была грамотной. Сваха, расхваливая невесту, ответила: «Вот — и читать, и писать может, а коли мать прикажет, так и книги читает».

Д. Фонвизин специально вводит в комедию «Недоросль» злободневную дискуссию о женском образовании и воспитании. Стародум застает Софью за чтением книги, автор которой — популярный в русских просветительских кругах французский писатель Фенелон. Это вызывает его сочувственную реплику: «… читай ее, читай. Кто написал „Телемака“ (то есть Фенелон. —

Ю. Л.), тот пером своим нравов развращать не станет». В этой же комедии Простакова возмущается: Софья получила письмо и сама может его прочесть! Для Простаковой это — падение нравов: «Вот до чего дожили. К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!» Между тем почти за двадцать лет до того, как Фонвизин написал свою комедию, поэт А. Сумароков в сатирическом стихотворении «Другой хор ко превратному свету» нарисовал прекрасный образ совсем иного, чем в России, мира:

Прилетела на берег синица

Из-за полночного моря,

Из-за холодна океяна.

Спрашивали гостейку приезжу,

За морем какие обряды.

Синица отвечает:

Все там превратно на свете.

В «превратном свете» не берут взяток; воеводы там честные, в судах судят по правде. Дворяне там учатся:

Все дворянски дети там во школах

За морем того не болтают:

Девушке-де разума не надо,

Надобно ей личико да юбка,

Надобны румяна да белилы.

«За морем» учат и женщин:

Учатся за морем и девки.

Правда, завершается картина этого прекрасного, утопического мира несколько меланхолически:

Пьяные по улицам не ходят

И людей на улицах не режут…

Вот в этом «превратном» мире и дворянские девушки учатся…

Подлинный переворот в педагогические представления русского общества XVIII века внесла мысль о необходимости

специфики женского образования.

Мы привыкли к тому, что прогрессивные направления в педагогике связываются со стремлением к одинаковой постановке обучения мальчиков и девочек. Начиная с середины XIX века мысль о равенстве полов и, следовательно, о единых для всех детей принципах воспитания стала своего рода знаменем демократической педагогики. Однако «общее» образование в XVIII веке практически было образованием мужским, и идея приобщения девушек к «мужскому образованию» всегда означала ограничение его доступности для них. Предполагалось, что могут быть только счастливые исключения — женщины столь одаренные, что способны идти вровень с мужчинами. Теперь же возникла идея просвещения

всех дворянских женщин. Решить этот вопрос практически, а не в абстрактно-идеальной форме можно было, только выработав

систему женского обучения. Поэтому сразу же встала проблема учебных заведений. Учебные заведения для девушек — такова была потребность времени — приняли двоякий характер: появились частные пансионы (о них пойдет речь ниже), но одновременно возникла и

государственная система образования. Становление ее связано с именем известного деятеля культуры XVIII века И. И. Бецкого. Бецкой был приближен к правительственным кругам и в целом отражал настроения Екатерины II.

Екатерина же хотела (или делала вид, что хочет) осуществить далеко идущую образовательную программу. Она носилась с широкими воспитательными проектами — с идеей создания совершенно нового человека (!). Для будущего человека нужны были и новые города — Екатерина стремилась и к этому: после пожара в Твери она проектировала создать на ее месте совершенно новый город.

В итоге возникло то учебное заведение, которое потом существовало довольно долго и называлось по помещению, где оно располагалось, Смольным институтом, а ученицы его — смолянками. Смольный институт в Воскресенском женском монастыре (в XVIII веке — на тогдашней окраине Петербурга) был задуман как учебное заведение с очень широкой программой. Предполагалось, что смолянки будут обучаться по крайней мере двум языкам (кроме родного, немецкому и французскому; позже в план внесли итальянский), а также физике, математике, астрономии, танцам и архитектуре. Как обнаружилось впоследствии, все это в значительной степени осталось на бумаге.

Общая структура Смольного института была такова. Основную массу составляли девушки дворянского происхождения, но при Институте существовало «Училище для малолетних девушек» недворянского происхождения, которых готовили для ролей будущих учительниц и воспитательниц (позже оно было преобразовано в Александровский институт). Эти две «половины» враждовали между собой. «Дворянки» дразнили «мещанок», и те не оставались в долгу. В XIX веке девушки из «мещанской» половины писали «дворянкам» в записочках, что им не мешало бы выучить басню Крылова «Гуси» о том, что «наши предки Рим спасли», «а вы, друзья, годны лишь на жаркое».

Учиться в Смольном институте считалось почетным, и среди смолянок попадались девушки из очень богатых и знатных семей. Однако чаще институтки происходили из семей не очень богатых, но сохранивших еще хорошие связи. Там можно было встретить и дочерей героически погибших генералов, не сумевших обеспечить их будущее хорошим приданым (такие назначения в институт бывали обычно жестом особой царской милости), и девушек из знатных, но обедневших семей, и совсем не знатных девушек, чьи отцы, однако, заслужили покровительство при дворе. Состав смолянок в целом был пестрым, смешанным, как позже — состав воспитанников Царскосельского лицея, и обстановка — при всех глубоких отличиях — отчасти напоминала (по крайней мере, при Александре I) лицейскую. Как и в лицее, учащиеся, с одной стороны, принадлежали к семьям средней знатности, с другой — находились, как и лицеисты, в непосредственной близости ко двору.

Обучение в Смольном институте длилось девять лет. Сюда привозили маленьких девочек пяти-шести лет, и в течение девяти лет они жили в институте, как правило не видя, или почти не видя, дома. Если родители, жившие в Петербурге, еще могли посещать своих дочерей (хотя и эти посещения специально ограничивались), то небогатые, особенно провинциальные институтки на годы были разлучены с родными.

Такая изоляция смолянок была частью продуманной системы. В основу обучения клался принцип замкнутости: институток вполне осознанно отделяли от домашней атмосферы. Традиция эта восходила к И. И. Бецкому, который стремился отгородить воспитанниц от «испорченной» среды их родителей, вырастив из них «идеальных людей» по просветительской модели.

Впрочем, эти философские мечты вскоре оказались забытыми. Изоляция девочек и девушек от родных потребовалась для совершенно иной цели: из смолянок делали придворные игрушки. Они стали обязательными участницами дворцовых балов. Все их мечты, надежды,

помышления формировались придворной атмосферой. Императрица знала всех учениц, а впоследствии Александр I и Николай I очень любили посещать этот «девишник». Однако, по сути дела, после окончания института любимые игрушки мало кого интересовали. Правда, из одних смолянок делали фрейлин, другие превращались в светских невест; но нередко окончившие Смольный институт бедные девушки становились чиновницами, воспитательницами или учительницами в женских учебных заведениях, а то и просто приживалками.

Девять лет обучения разделялись на три ступени. Учение на первой ступени длилось три года. Учениц низшей ступени называли «кофейницами»: они носили платьица кофейного цвета с белыми коленкоровыми передниками. Жили они в дортуарах по девять человек; в каждом дортуаре проживала также приставленная к ним дама. Кроме того, имелась также классная дама — надзор был строгий, почти монастырский. Средняя группа — «голубые» — славилась своей отчаянностью. «Голубые» всегда безобразничали, дразнили учительниц, не делали уроков. Это — девочки переходного возраста, и сладу с ними не было никакого.

Девочек старшей группы называли «белые», хотя на занятиях они носили зеленые платья. Белые платья — бальные. Этим девушкам разрешалось уже в институте устраивать балы, где они танцевали «шерочка с машерочкой» и — только в особых случаях — с ограниченным числом придворных кавалеров (на такие «балы» приезжали и великие князья).

Обучение в Смольном институте, несмотря на широкие замыслы, было поверхностным. Исключение составляли лишь языки. Здесь требования продолжали оставаться очень серьезными, и воспитанницы действительно достигали больших успехов. Из остальных же предметов значение фактически придавалось только танцам и рукоделию. Что же касалось изучения всех других наук, столь пышно объявленного в программе, то оно было весьма неглубоким. Физика сводилась к забавным фокусам, математика — к самым элементарным знаниям. Только литературу преподавали немного лучше, особенно в XIX веке, в пушкинскую эпоху, когда профессорами в Смольном институте стали А. В. Никитенко, известный литератор и цензор, и П. А. Плетнев — приятель Пушкина, которому поэт посвятил «Евгения Онегина».

Плетнев не был значительным литератором. Однако, тесно связанный с пушкинским кругом (например, в течение ряда лет являясь издателем Пушкина и заботливо руководя денежными делами поэта), Плетнев находился в центре литературной жизни эпохи. Составляя программу занятий, Плетнев смело ввел в нее творчество Пушкина, а также ряда других молодых поэтов [53].

Плетнев читал институткам «Евгения Онегина», а девицы краснели, слушая такие строки: «Но

панталоны, фрак, жилет, // Всех этих слов на русском нет». Они говорили: «Какой ваш Пушкин

эн де са», то есть — непристойный: слово «панталоны» вызывало у них ассоциации с деталями женского белья.

Отношение смолянок к занятиям во многом зависело от положения их семей. Девушки победнее учились, как правило, очень прилежно, потому что институтки, занявшие первое, второе и третье места, получали при выпуске «шифр» (так назывался украшенный бриллиантами вензель императрицы). Смолянки, окончившие с шифром (особенно хорошенькие девушки), могли надеяться стать фрейлинами, а это для бедной девушки было, конечно, очень важно. Что же касается институток из семей знатных, то они хотели, окончив институт, выйти замуж и только. Учились они часто спустя рукава.

Центральным событием институтской жизни был публичный экзамен, на котором, как

правило, присутствовали члены царской семьи и сам император. Здесь вопросы давались заранее. Девушка получала накануне экзамена

один билет, который она и должна была выучить, чтобы назавтра по нему ответить. Правда, воспоминания свидетельствуют, что и этот показной экзамен вызывал у институток достаточно волнений!

Праздничная сторона жизни смолянок, связанная с придворными балами, во многом была показной. Впрочем, характер их будней и праздников менялся в зависимости от придворных веяний. При Екатерине дух института определялся вначале влиянием И. И. Бецкого и его утопических планов воспитания «идеального человека». Так, в 1770-е годы в институте с целью идеального воспитания был создан любительский театр. Воспитанницы ставили на школьной сцене пьесы, которые демонстрировались не только внутри института, но и делались составной частью придворных празднеств. Спектакли в Смольном институте начались в 1771 году. В этом же году смолянки поставили трагедию Вольтера «Заира»; на масленице 1772 года игралась трагедия А. П. Сумарокова «Семира» и т. д. Сам Сумароков высоко оценил театральные усилия смолянок.

В «Письме к девицам г. Нелидовой и г. Барщовой» (1774?) Сумароков, который в это время открыто переходил к критике программных установок правительства Екатерины II, обратился и к вопросу воспитания смолянок. В послании, обращенном к этим двум наиболее выдающимся воспитанницам института, Сумароков под предлогом одобрения театральных опытов смолянок развернул широкую и, по существу, расходящуюся с принятой программу женского воспитания в России. Позиция Сумарокова близка позиции Бецкого, но свободна от присущего последнему утопизма. Сумароков, как уже говорилось, — убежденный сторонник женского образования. Однако, в отличие от Бецкого, он помещает русскую девушку не в условно конструируемую обстановку, а в мир образованной дворянской семьи. В воспитанницах он видит будущих культурных матерей, причастных развитию искусства и науки в России:

Предвозвещания о вас мне слышны громки,

От вас науке ждем и вкусу мы наград

И просвещенных чад.

Предвижу, каковы нам следуют потомки.

В институтках Сумароков прославляет (разумеется, с присущей жанру гиперболической условностью) «возвышенных питомиц муз», «дщерей Талии и дщерей Мельпомены», а в создании институтского театра видит заслугу директрисы института Лафон («Блаженна часть твоя, начальница Лафон!») и Бецкого:

Скажите Бецкому сии его заслуги

Чтут россы все и все наук и вкуса други

И что, трудясь о сем, блажен на свете он[54].

Однако праздничные дни были редкими. Каждодневная же жизнь институток не вызывала зависти. Обстановка в этом привилегированном учебном заведении была весьма тяжелой. Фактически дети оказывались полностью отданными на произвол надзирательниц. Состав надзирательниц не был одинаковым. О многих из них окончившие институт впоследствии вспоминали с благодарностью, но общая масса была иной. Надзирательницы часто набирались из числа женщин, чьи собственные судьбы сложились неудачно. Уже сама необходимость до старости лет пребывать на жалованье в ту эпоху считалась аномальной. И, как это часто бывает с людьми, для которых педагогическая деятельность не определяется призванием и интересом, а есть лишь следствие случайности или жизненных неудач, воспитательницы нередко использовали власть над детьми как возможность своего рода психологической компенсации. Особенно доставалось девочкам и девушкам из небогатых семей. В институте постоянно кипели страсти; интриги неизбежно затягивали и учениц. В мемуарах, посвященных этим годам, бывшие смолянки часто говорили об институте с горечью или насмешкой, называя своих воспитательниц «подлинными ведьмами». А поскольку родители к девочкам не приезжали, то деспотизм этих надзирательниц чувствовался особенно сильно.

Но самой тяжелой для институток оказывалась суровость распорядка. Подъем — в шесть часов утра, уроков ежедневно — шесть или восемь (правда, на уроках зачастую мало что делали, но присутствие было обязательным). Отведенное для игр время строго ограничивалось. Воспитательницы, от которых зависел реальный режим жизни в институте, как правило, не имели педагогического образования и образцом избирали уклад монастырского приюта или казарменный режим.

Такой порядок мог восторжествовать только в условиях резкой отгороженности Смольного института от всего, что делалось за его стенами. Там уже были известны педагогические идеи просветителей и существовали воспитатели типа Жильбера Ромма. Не случайно Пушкин колебался в том, какое воспитание дать Онегину, и первоначально предполагал сделать его учителя последователем передовых педагогических идей. В черновом варианте «Евгения Онегина» читаем: «Monsieur, швейцарец очень умный…»

В этом контексте слова: «Учил его всему шутя» — и: «Не докучал моралью строгой» — звучали как ссылки на требование Ж. Ж. Руссо учить играя.

На таком фоне особенно бросалась в глаза изолированность институток от внешнего мира и искусственность среды, в которой они проводили долгие годы. Девушки выходили из института, совершенно не имея представления о реальной жизни. Им казалось, что за стенами института их ожидает нескончаемый праздник, придворный бал.

Плохим было и питание смолянок. Начальство, особенно экономы, злоупотребляли своим положением, наживаясь за счет воспитанниц. Однажды на маскарадном балу одна из бывших институток рассказала об этом Николаю I. Царь не поверил. Тогда она сказала, чтобы он приезжал с черного крыльца, прямо на кухню, без предупреждения. Николай I, на практике множа бюрократию, любил эффектные сцены непосредственного вмешательства царя, который наказует зло, чинит расправу с недостойным и награждает достойного. Он действительно нагрянул на кухню и лично попробовал бурду, наполнявшую котел. В котле кипело какое-то варево. «Что это?» — гневно вопросил Николай. Ему ответили: «Уха». В супе, действительно, плавало несколько маленьких рыбок…

Однако эффектная сцена не изменила положения: эконом в конечном счете выпутался, и все окончилось для него благополучно.

Чуть-чуть лучше было положение богатых девушек. Имеющие деньги, во-первых, могли, внеся специальную плату, пить утром чай в комнате воспитательниц, отдельно от других институток. Кроме того, они подкупали сторожа, и он бегал в лавочку и приносил в карманах

(или даже за голенищами сапог) сладости, которые потихоньку съедались.

Нравы институток также воспитывались атмосферой полной изоляции от жизни. Первым, что слышали девочки-«кофейницы», попадая в Смольный институт, были указания старших воспитанниц на обычай кого-нибудь «обожать». Эта институтская манера состояла в том, что девочки должны были выбрать себе предмет любви и поклонения. Как правило, это были девицы из «белой» группы. На вопрос одной простодушной девочки (которая потом рассказала об этом в мемуарах), что значит «обожать», ей объяснили: надо выбрать «предмет» обожания и, когда «предмет» проходит мимо, шептать: «Восхитительная!», «Обожаемая!», «Ангел», писать это на книгах и т. д. Только «голубых», как правило, никто не обожал: они дергали младших за волосы и дразнили их.

В самой старшей группе «обожали», как правило, членов царской семьи — это культивировалось. «Обожали» императрицу, но особенно императора. При Николае I «обожание» приняло характер экстатического поклонения. Николай был, особенно смолоду, хорош собой: высокого роста, с правильным, хотя и неподвижным лицом (только в конце жизни у него вырос живот, что он тщательно скрывал мучительным перетягиванием). Истерическое поклонение государю многие смолянки переносили за стены учебного заведения, в придворную среду, особенно — в круг фрейлин. Л. Толстой придал эту характерную черту образу Анны Павловны Шерер в «Войне и мире». При Николае I традиция «обожания» государя часто становилась основой для мимолетных романов императора (это также нашло отражение у Л. Толстого — в повестях «Хаджи-Мурат» и «Отец Сергий»). Атмосфера, царившая вокруг двора Николая I, проницательно и с тонким психологическим проникновением отражена в романе Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов». Атмосфера эта включала подчеркнутое соблюдение внешних приличий. Николаевский двор прощал «приличьем стянутые» похождения, но жестоко преследовал подлинные чувства. Это отражалось и на судьбах воспитанниц.

Внимание двора распространялось не только на воспитанниц Смольного института, но и на дам-преподавательниц, и вообще на все окружение института. Строгости захватывали даже дочерей воспитательниц, от которых также требовалось соблюдение всех условностей петербургского общества. Пушкин не преувеличивал, когда он писал:

… Но свет… Жестоких осуждений

Не изменяет он своих:

Он не карает заблуждений,

Но тайны требует для них.

(III (1), 205)

Жертвой узаконенного лицемерия сделался Ф. И. Тютчев.

Великий поэт Ф. И. Тютчев, петербуржец, дипломат, человек уже немолодой (ему 50 лет) и женатый, отец двух дочерей, воспитывавшихся в Смольном институте, был охвачен глубоким, неподдельным чувством к двадцатилетней девушке Елене Александровне Денисьевой, которая недавно сама носила платье смолянки. Елена Александровна была племянницей Анны Денисьевой — одной из самых уважаемых классных дам Смольного института, выполнявшей также одно время обязанности директрисы.

Если бы известный в Петербурге чиновник завел «прилично» обставленную незаконную связь с молодой гувернанткой, это никого бы не потревожило. Но (ситуация, очень похожая на изображенную позже в «Анне Карениной») чувство, связывавшее Тютчева и Денисьеву, было подлинным и глубоким. Петербургский свет всполошился.

Трагическая любовь длилась четырнадцать лет и окончилась смертью Е. Денисьевой от чахотки. Особый придворный женский мир, выросший на нравах Смольного института, пронизанный интригами, экстатическими «обожаниями», погубил Денисьеву, подверг ее остракизму и довел до преждевременной смерти. Но этот же мир питал среду, чьи мысли и представления определяли сознание самой Денисьевой. Не случайно ее искренняя страсть окрашивалась в традиционные тона «обожания» («мой боженька», называла она Тютчева). «Институтская» атмосфера губила Денисьеву, но вместе с тем была единственной, в которой она могла жить и дышать.

Положение Тютчева было безвыходным. Сохранилось свидетельство о сцене, разыгравшейся во время посещения Тютчевым и Вяземским известного в петербургских аристократических кругах князя Шереметева. Восемнадцатилетняя княгиня Шереметева, сама только недавно освободившаяся от положения воспитанницы, не пропустила случая открыто дать почувствовать немолодому поэту всю глубину своей оскорбленное™ присутствием столь безнравственного человека. Мемуаристке запомнилось, что Тютчев не только вынужден был терпеть унижение, но и безуспешно пытался завоевать расположение «оскорбленной» хозяйки.

Забота двора и воспитательниц о благополучии смолянок оказывалась, по сути, лицемерной игрой. Одна из бывших институток с горечью вспоминала, что после смерти одной из ее подруг, девушки из небогатой семьи, никто даже не позаботился приобрести крашеный гроб. Девушки должны были сами собрать деньги и каким-то образом организовать похороны. Сломанная игрушка оказалась никому не нужной.

Смолянки еще в николаевскую эпоху славились особой «институтской» чувствительностью. Сентиментальная неподготовленность к жизни культивировалась и была свидетельством неиспорченности. «Невинность» сочеталась с повышенной экзальтацией, обязательной влюбленностью. Такая чувствительность не была изобретением смолянок. Просто в институте искусственно консервировались те нормы чувств, которые лет тридцать назад были принадлежностью общего дамского «модного» поведения.

Чувства принадлежат не только природе, но и культуре. Дворянская женщина конца XVIII — начала XIX века соединяла в себе не только два воспитания, но и два психологических типа. Хотя они были противоположны и порождали полярные виды поведения, но оба были искренни. Воспитанная крепостной нянькой, выросшая в деревне или, по крайней мере, проводившая значительную часть года в поместье родителей, девушка усваивала определенные нормы выражения чувств и эмоционального поведения, принятые в народной среде. Этим нормам была свойственна определенная сдержанность, в которой Пушкин усматривал не только народность, но и проявление самых высоких черт дворянской культуры. Так, например, Татьяна, как бы ни была «изумлена, потрясена», сохранила «тот же тон, был так же тих ее поклон». Именно эта норма поведения позволила декабристкам в Сибири органично вписаться в народную среду.

Однако в ином культурном контексте те же самые дворянки могли падать в обмороки или же заливаться слезами. Такое поведение воспринималось как «образованное» — так вели себя европейские дамы, причем экзальтация эта была искренней, хотя иногда, конечно, и включала элементы наигранности. С. Н. Марин в письме к М. С. Воронцову сообщает о чрезвычайном событии, случившемся в одном петербургском театре. Во время спектакля маленькая девочка — дочь одной из известных французских актрис — зацепилась ногой за подымающийся занавес, который подтащил ее к куполу сцены. Вот как Марин описывает это

событие: «Давали Les folies amoureuses et L'amour et la raison[55]. <…> Вдруг выбегает женщина из-за кулис с страшным криком; никто не может догадаться причины; многие думают, что пожар; наконец, слова: От enl?ve un enfant avec la toile[56] решили сомнения. Вообрази ты состояние Valvil: этот ребенок ее дочь! Страшная суматоха в ложах и в партере: дамы падают в обморок, мужчины бегают за водой и спиртами, Valvil и ее мать в жестоком обмороке, человек сто на сцене актеров; все кричат, но помочь невозможно». Марин с основанием противопоставляет спокойствие семилетнего ребенка, поведение которого, заметим, не подчинено законам моды, и общее поведение взрослых дам. Девочка из-под купола кричала, чтобы мать не пугалась — она держится крепко. «Но maman не могла сего слышать, быв без памяти»[57].

Экзальтация поведения, например когда мы говорим об упавшей в обморок матери, конечно, не означает отсутствия искренности — каждое время имеет свой язык выражения чувств. Язык этот в равной мере может быть использован для выражения и правды, и лжи.

Смольный институт был отнюдь не единственным женским учебным заведением в России. Возникали частные пансионы. К концу XVIII века по проверке их оказалось несколько десятков в Петербурге, десять с лишним — в Москве и ряд — в провинции. Пансионы были иностранные[58].

Уровень обучения зачастую оказывался весьма невысоким. Систематически учили лишь языку и танцам. Воспитательницами были, как правило, француженки или немки.

Во французских пансионах (начиная с 1790-х годов часто заполнявшихся бежавшими от революции эмигрантками) учениц в грубой и упрощенной форме приобщали к манерам французского общества дореволюционной поры, в немецких — к навыкам бюргерского ведения хозяйства и воспитания. Первый случай нам знаком по образу помещицы Натальи Павловны из поэмы Пушкина «Граф Нулин»:

… К несчастью,

Наталья Павловна совсем

Своей хозяйственною частью

Не занималася: затем,

Что не в отеческом законе

Она воспитана была,

А в благородном пансионе

У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном.

Пред ней аткрыт четвертый том

Сентиментального романа:

Любовь Элизы и Армана,

Иль Переписка двух семей.

Вот так выглядит воспитанница французского пансиона в деревне. Один из мемуаристов — Н. Шипов — оставил довольно яркую картину воспитания харьковских девушек в пансионах начала XIX века: «Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы из светской жизни.

— Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, — в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать? <…>

Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или с дедушкой». Такой «театр на дому» составлял обязательный элемент обучения.

У другой содержательницы пансиона, немки, девочек учили арифметике, и maman говорила: «Учите сложение и вычитание; без них вы будете плохие жены. Какими вы будете хозяйками, когда не сумеете сосчитать базара?»[59]

Таким образом, пансионская система оказывалась направленной на то самое, о чем когда-то заботился Петр, — чтобы девушка вышла замуж, стала (по французским ли, по немецким ли представлениям) хорошей женой.

Третий вид женского образования — домашнее.

Домашнее воспитание молодой дворянки не очень сильно отличалось от воспитания мальчика: из рук крепостной нянюшки (заменявшей в этом случае крепостного дядьку), девочка поступала под надзор гувернантки — чаще всего француженки, иногда англичанки. В целом образование молодой дворянки было, как правило, более поверхностным и значительно чаще, чем для юношей, домашним. Оно ограничивалось обычно навыком бытового разговора на одном-двух иностранных языках (чаще всего — на французском или немецком; знание английского языка свидетельствовало о более высоком, чем средний, уровне образования), умением танцевать и держать себя в обществе, элементарными навыками рисования, пения и игры на каком-либо музыкальном инструменте и самыми начатками истории, географии и словесности. С началом выездов в свет обучение прекращалось.

Конечно, бывали и исключения. Таково, например, обучение пятнадцатилетней Натальи Сергеевны Левашовой, провинциальной дворянской девушки из Уфы. Учитель ее, Г. С. Винский, свидетельствовал: «Скажу, не хвастаясь, что Наталья Сергеевна через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря; писала письма со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно»[60].

Цели и качество обучения зависели не только от учителей, но и от состоятельности семьи, от ее духовной направленности (особенно — от устремлений матери). Так, соседка Пушкина по Михайловскому, Прасковья Осипова (дочь Вындомского, сотрудника журнала «Беседующий гражданин», ученика Н. И. Новикова и знакомого А. Н. Радищева), воспитывая своих дочерей в имении, в Псковской губернии, добилась того, что они выросли литературно образованными, владеющими французским и английским языками.

Сама Осипова, нарушая сложившиеся обычаи, продолжала свое образование, будучи уже зрелой женщиной.

Тип русской образованной женщины, особенно в столицах, стал складываться уже в 30-х годах XVIII века. Напомним хотя бы о вкладе в культуру Екатерины II и ее ревностной

союзницы княгини Екатерины Дашковой. Однако в целом женское образование в России XVIII — начала XIX века не имело ни своего Лицея, ни своего Московского или Дерптского университетов. Тот тип высокодуховной русской женщины, о котором говорилось в предшествующей главе, сложился под воздействием русской литературы и культуры эпохи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Бал

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы радами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет…
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры[61];
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры.
И ревом скрыпок заглушён

Ревнивый шопот модных жен.

(1, XXVII–XXVIII)

Танцы были важным структурным элементом дворянского быта. Их роль существенно отличалась как от функции танцев в народном быту того времени, так и от современной.

В жизни русского столичного дворянина XVIII — начала XIX века время разделялось на две половины: пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам — здесь дворянин выступал как частное лицо; другую половину занимала служба — военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день «собрании» — на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе — он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих.

Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, противоположной службе — областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» — «…в обществе жить не есть не делать ничего»[62].

Со времени петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу (от входа в залу до разъезда) соответствовали типовые эмоции, фиксированные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение «порядка» и «свободы».

Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил, «увлекательного разговора высшей образованности»

(Пушкин, VIII (1), 151), который культивировался в литературных салонах Парижа в XVIII столетии и на отсутствие которого в России жаловался Пушкин. Тем не менее он имел свою прелесть — оживленность, свободу и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в

невозможной в других обстоятельствах близости («Верней нет места для признаний…» — 1, XXIX).

Обучение танцам начиналось рано — с пяти-шести лет. Так, например, Пушкин начал учиться танцам уже в 1808 году. До лета 1811 года он с сестрой посещал танцевальные вечера у Трубецких-Бутурлиных и Сушковых, а по четвергам — детские балы у московского танцмейстера Иогеля. Балы у Иогеля описаны в воспоминаниях балетмейстера А. П. Глушковского[63].

Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфебелем. Составитель «Правил», изданных в 1825 году, Л. Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не саму методу, а лишь ее слишком жесткое применение: «Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги вбок, подобно ему, в параллельной линии. <…> Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные; то учитель, не могши сам ничего сделать, почел за долг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колена. Сколько сей ни кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели — пока наконец не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его. <…> Я почел за долг рассказать сей случай для предостережения других. Неизвестно, кто выдумал станки для ног; и станки на винтах для ног, колен и спины: изобретение очень хорошее! Однако и оно может сделаться небезвредным от лишнего напряжения»[64].

Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человека: в условном мире светского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Л. Н. Толстой, описывая в романе «Декабристы» вернувшуюся из Сибири жену декабриста, подчеркивает, что, несмотря на долгие годы, проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, «нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было — не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом…». Характерно, что способность споткнуться здесь связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключают возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Аристократической простоте движений людей «хорошего общества» и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязность (результат борьбы с собственной застенчивостью) жестов разночинца. Яркий пример этого сохранили мемуары Герцена. По воспоминаниям Герцена, «Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе». Герцен описывает характерный случай на одном из литературных вечеров у кн. В. Ф. Одоевского: «Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимающим ни слова по-русски и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comit?, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым „позументом“, сел наискось против него.

Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальную часть панталон, другой подбирал разбитые рюмки… Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой»[65].

Бал в начале XIX века начинался

польским (полонезом), который в торжественной функции первого танца сменил менуэт. Менуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией. «Со времени перемен, последовавших у европейцев как в одежде, так и в образе мыслей, явились новости и в танцах; и тогда польской, который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар, а потому освобождает от излишней и строгой выдержки, свойственной менуэту, занял место первоначального танца»[66].

С полонезом можно, вероятно, связать не включенную в окончательный текст «Евгения Онегина» строфу восьмой главы, вводящую в сцену петербургского бала великую княгиню Александру Федоровну (будущую императрицу); ее Пушкин именует Лаллой-Рук по маскарадному костюму героини поэмы Т. Мура, который она надела во время маскарада в Берлине[67].

После стихотворения Жуковского «Лалла-Рук» имя это стало поэтическим прозванием Александры Федоровны:

И в зале яркой и богатой

Когда в умолкший, тесный круг,

Подобна лилии крылатой,

Колеблясь входит Лалла-Рук

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою,

И тихо вьется и скользит

Звезда — Харита меж Харит,

И взор смешенных поколений

Стремится, ревностью горя,

То на нее, то на царя, —

Для них без глаз один Евг<ений>;

Одной Татьяной поражен,

Одну Т<атьяну> видит он.

(Пушкин, VI, 637)

Бал не фигурирует у Пушкина как официально-парадное торжество, и поэтому полонез не упомянут. В «Войне и мире» Толстой, описывая первый бал Наташи, противопоставит полонез, который открывает «государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома» («за ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной[68], потом министры, разные генералы»), второму танцу — вальсу, который становится моментом торжества Наташи.

Второй бальный танец —

вальс. Пушкин характеризовал его так:

Однообразный и безумный,

Как вихорь жизни молодой,

Кружится вальса вихорь шумный;

Чета мелькает за четой.

(5, XLI)

Эпитеты «однообразный и безумный» имеют не только эмоциональный смысл. «Однообразный» — поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца-игры котильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что «в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас»[69]. Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл: вальс, несмотря на всеобщее распространение (Л. Петровский считает, что «излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется»[70]), пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности <…> чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие»[71]. Еще определеннее писала Жанлис в «Критическом и систематическом словаре придворного этикета»: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом! Вот что такое этот вальс!.. <…> Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы»[72].

Не только скучная моралистка Жанлис, но и пламенный Вертер Гёте считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя.

Вальс создавал для нежных объяснений особенно удобную обстановку: близость танцующих способствовала интимности, а соприкосновение рук позволяло передавать записки. Вальс танцевали долго, его можно было прерывать, присаживаться и потом снова включаться в очередной тур. Таким образом, танец создавал идеальные условия для нежных объяснений:

Во дни веселий и желаний

Я был от балов без ума:

Верней нет места для признаний

И для вручения письма.

О вы, почтенные супруги!

Вам предложу свои услуги;

Прошу мою заметить речь:

Я вас хочу предостеречь.

Вы также, маменьки, построже

За дочерьми смотрите вслед:

Держите прямо свой лорнет!

(1, XXIX)

Однако слова Жанлис интересны еще и в другом отношении: вальс противопоставляется классическим танцам как романтический; страстный, безумный, опасный и близкий к природе, он противостоит этикетным танцам старого времени. «Простонародность» вальса ощущалась остро: «Wiener Walz, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правой, да на левой ноге и притом так скоро, как шалёной, танцевали; после чего предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию или какому другому»[73]. Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный.

Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений. Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров. При этом следует иметь в виду, что разговор, беседа составляла не меньшую часть танца, чем движение и музыка. Выражение «мазурочная болтовня» не было пренебрежительным. Непроизвольные шутки, нежные признания и решительные объяснения распределялись по композиции следующих друг за другом танцев. Интересный пример смены темы разговора в последовательности танцев находим в «Анне Карениной». «Вронский с Кити прошел несколько туров вальса». Толстой вводит нас в решительную минуту в жизни Кити, влюбленной во Вронского. Она ожидает с его стороны слов признания, которые должны решить ее судьбу, но для важного разговора необходим соответствующий ему момент в динамике бала. Его возможно вести отнюдь не в любую минуту и не при любом танце. «Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор». «Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться».

Мазурка составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим кульминацию танца. И солист, и распорядитель мазурки должны были проявлять изобретательность и способность импровизировать. «Шик мазурки состоит в том, что кавалер даму берет себе на грудь, тут же ударяя себя пяткой в centre de gravit? (чтобы не сказать задница), летит на другой конец зала и говорит: „Мазуречка, пане“, а дама ему: „Мазуречка, пан“. <…> Тогда неслись попарно, а не танцевали спокойно, как теперь»[74]. В пределах мазурки

существовало несколько резко выраженных стилей. Отличие между столицей и провинцией выражалось в противопоставлении «изысканного» и «бравурного» исполнения мазурки:

Мазурка раздалась. Бывало,

Когда гремел мазурки гром,

В огромной зале все дрожало,

Паркет трещал под каблуком,

Тряслися, дребезжали рамы;

Теперь не то: и мы, как дамы,

Скользим по лаковым доскам.

(5, XXII)

«Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать, так, что, когда в одном публичном собрании, где находилось слишком двести молодых людей мужского пола, заиграла музыка мазурку <…> подняли такую стукотню, что и музыку заглушили»[75].

Но существовало и другое противопоставление. Старая «французская» манера исполнения мазурки требовала от кавалера легкости прыжков, так называемых антраша (Онегин, как помнит читатель, «легко мазурку танцевал»). Антраша, по пояснению одного танцевального справочника, «скачок, в котором нога об ногу ударяется три раза в то время, как тело бывает в воздухе»[76]. Французская, «светская» и «любезная» манера мазурки в 1820-е годы стала сменяться английской, связанной с дендизмом. Последняя требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал.

«… И вообще ни один фешенебельный кавалер сейчас не танцует, это

не полагается! — Вот как? — удивленно спросил мистер Смит <…> — Нет, клянусь честью, нет! — пробормотал мистер Ритсон. — Нет, разве что пройдутся в кадрили или

повертятся в вальсе <…> нет, к черту танцы, это очень уж вульгарно!»[77] В воспоминаниях Смирновой-Россет рассказан эпизод ее первой встречи с Пушкиным: еще институткой она пригласила его на мазурку. Пушкин молча и лениво пару раз прошелся с ней по залу[78]. То, что Онегин «легко мазурку танцевал», показывает, что его дендизм и модное разочарование были в первой главе «романа в стихах» наполовину поддельными. Ради них он не мог отказаться от удовольствия попрыгать в мазурке.

Декабрист и либерал 1820-х годов усвоили себе «английское» отношение к танцам, доведя его до полного отказа от них. В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг (со шпагой нельзя было танцевать, офицер, желающий танцевать, отстегивал шпагу и оставлял ее у швейцара. —

Ю. Л.) — нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами» (VIII (1), 55). На

серьезных дружеских вечерах у Липранди не было танцев[79]. Декабрист Н. И. Тургенев писал брату Сергею 25 марта 1819 года о том удивлении, которое вызвало у него известие, что последний танцевал на балу в Париже (С. И. Тургенев находился во Франции при командующем русским экспедиционным корпусом графе М. С. Воронцове): «Ты, я слышу, танцуешь. Гр[афу] Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une ?cossaise constitutionelle, indp?ndante, ou une contredanse monarchique ou une danse contre-monarchique»[80] (конституционный экосез, экосез независимый, монархический контрданс или антимонархический танец — игра слов заключается в перечислении политических партий: конституционалисты, независимые, монархисты — и употреблении приставки «контр» то как танцевального, то как политического термина). С этими же настроениями связана жалоба княгини Тугоуховской в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали редки!» Противоположность между человеком, рассуждающим об Адаме Смите, и человеком, танцующим вальс или мазурку, подчеркивалась ремаркой после программного монолога Чацкого: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием». Стихи Пушкина:

Буянов, братец мой задорный,

К герою нашему подвел

Татьяну с Ольгою…

(5, XLIII, XLIV)

имеют в виду одну из фигур мазурки: к кавалеру (или даме) подводят двух дам (или кавалеров) с предложением выбрать. Выбор себе пары воспринимался как знак интереса, благосклонности или (как истолковал Ленский) влюбленности. Николай I упрекал Смирнову-Россет: «Зачем ты меня не выбираешь?»[81] В некоторых случаях выбор был сопряжен с угадыванием качеств, загаданных танцорами: «Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret[82] — прервали разговор…»

(Пушкин, VIII (1), 244). Или в «После бала» Л. Толстого: «…мазурку я танцевал не с нею <…> Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне».

Котильон — вид кадрили, один из заключающих бал танцев — танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец. «… Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится <…> Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок высоко…»[83]

Бал был не единственной возможностью весело и шумно провести ночь. Альтернативой ему были:

…игры юношей разгульных,

Грозы дозоров караульных…

(Пушкин, VI, 621)

холостые попойки в компании молодых гуляк, офицеров-бретеров, прославленных «шалунов» и пьяниц. Бал, как приличное и вполне светское времяпровождение, противопоставлялся этому разгулу, который, хотя и культивировался в определенных гвардейских кругах, в целом воспринимался как проявление «дурного тона», допустимое для молодого человека лишь в определенных, умеренных пределах. М. Д. Бутурлин, склонный к вольной и разгульной жизни, вспоминал, что был момент, когда он «не пропускал ни одного бала». Это, пишет он, «весьма радовало мою мать, как доказательство, que j'avais pris le go?t de la bonne soci?t?»[84]. Однако вкус к бесшабашной жизни взял верх: «Бывали у меня на квартире довольно частые обеды и ужины. Гостями моими были некоторые из наших офицеров и штатские петербургские мои знакомые, преимущественно из иностранцев; тут шло, разумеется, разливное море шампанского и жженки. Но главная ошибка моя была в том, что после первых визитов с братом в начале приезда моего к княгине Марии Васильевне Кочубей, Наталье Кирилловне Загряжской (весьма много тогда значившей) и к прочим в родстве или прежнем знакомстве с нашим семейством я перестал посещать это высокое общество. Помню, как однажды, при выходе из французского Каменноостровского театра, старая моя знакомая Елисавета Михайловна Хитрова, узнав меня, воскликнула: „Ах, Мишель!“ А я, чтобы избегнуть встречи и экспликаций с нею, чем спуститься с лестницы перестиля, где происходила эта сцена, повернул круто направо мимо колонн фасада; но так как схода на улицу там никакого не было, то я и полетел стремглав на землю с порядочной весьма высоты, рискуя переломить руку или ногу. Вкоренились, к несчастию, во мне привычки разгульной и нараспашку жизни в кругу армейских товарищей с поздними попойками по ресторанам, и потому выезды в великосветские салоны отягощали меня, вследствие чего немного прошло месяцев, как члены того общества решили (и не без оснований), что я малый, погрязший в омуте дурного общества»[85].

Поздние попойки, начинаясь в одном из петербургских ресторанов, оканчивались где-нибудь в «Красном кабачке», стоявшем на седьмой версте по Петергофской дороге и бывшем излюбленным местом офицерского разгула.

Жестокая картежная игра и шумные походы по ночным петербургским улицам дополняли картину. Шумные уличные похождения — «гроза полуночных дозоров»

(Пушкин, VIII, 3) — были обычным ночным занятием «шалунов». Племянник поэта Дельвига вспоминает: «… Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее… <…> Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению»[86]. В том же духе, хотя и несколько позже — в самом конце 1820-х годов, Бутурлин с приятелями сорвал с двуглавого орла (аптечной вывески) скипетр и державу и шествовал с ними через центр города. Эта «шалость» уже имела достаточно опасный политический подтекст: она давала основания для уголовного обвинения в «оскорблении величества». Не случайно знакомый, к которому они в таком виде явились, «никогда не мог вспомнить без страха это ночное наше посещение».

Если это похождение сошло с рук, то за попытку накормить в ресторане супом бюст императора последовало наказание: штатские друзья Бутурлина были сосланы в гражданскую службу на Кавказ и в Астрахань, а он переведен в провинциальный армейский

полк.

Это не случайно: «безумные пиры», молодежный разгул на фоне аракчеевской (позже николаевской) столицы неизбежно окрашивались в оппозиционные тона (см. главу «Декабрист в повседневной жизни»).

Бал обладал стройной композицией. Это было как бы некоторое праздничное целое, подчиненное движению от строгой формы торжественного балета к вариативным формам хореографической игры. Однако для того, чтобы понять смысл бала как целого, его следует осознать в противопоставлении двум крайним полюсам: параду и маскараду.

Парад в том виде, какой он получил под влиянием своеобразного «творчества» Павла I и Павловичей: Александра, Константина и Николая, представлял собой своеобразный, тщательно продуманный ритуал. Он был противоположен сражению. И фон Бок был прав, назвав его «торжеством ничтожества». Бой требовал инициативы, парад — подчинения, превращающего армию в балет. В отношении к параду бал выступал как нечто прямо противоположное. Подчинению, дисциплине, стиранию личности бал противопоставлял веселье, свободу, а суровой подавленности человека — радостное его возбуждение. В этом смысле хронологическое течение дня от парада или подготовки к нему — экзерциции, манежа и других видов «царей науки» (Пушкин) — к балету, празднику, балу представляло собой движение от подчиненности к свободе и от жесткого однообразия к веселью и разнообразию.

Однако и бал подчинялся твердым законам. Степень жесткости этого подчинения была различной: между многотысячными балами в Зимнем дворце, приуроченными к особо торжественным датам, и небольшими балами в домах провинциальных помещиков с танцами под крепостной оркестр или даже под скрипку, на которой играл немец-учитель, проходил долгий и многоступенчатый путь. Степень свободы была на разных ступенях этого пути различной. И все же то, что бал предполагал композицию и строгую внутреннюю организацию, ограничивало свободу внутри него. Это вызвало необходимость еще одного элемента, который сыграл бы в этой системе роль «организованной дезорганизации», запланированного и предусмотренного хаоса. Такую роль принял на себя маскарад.

Маскарадное переодевание в принципе противоречило глубоким церковным традициям. В православном сознании это был один из наиболее устойчивых признаков бесовства. Переодевание и элементы маскарада в народной культуре допускались лишь в тех ритуальных действах рождественского и весеннего циклов, которые должны были имитировать изгнание бесов и в которых нашли себе убежище остатки языческих представлений. Поэтому европейская традиция маскарада проникала в дворянский быт XVIII века с трудом или же сливалась с фольклорным ряженьем.

Как форма дворянского празднества, маскарад был замкнутым и почти тайным весельем. Элементы кощунства и бунта проявились в двух характерных эпизодах: и Елизавета Петровна, и Екатерина II, совершая государственные перевороты, переряжались в мужские гвардейские мундиры и по-мужски садились на лошадей. Здесь ряженье принимало символический характер: женщина — претендентка на престол превращалась в императора. С этим можно сравнить использование Щербатовым применительно к одному лицу — Елизавете — в разных ситуациях именований то в мужском, то в женском роде.

От военно-государственного переодевания[87] следующий шаг вел к маскарадной игре. Можно было бы вспомнить в этом отношении проекты Екатерины II. Если публично проводились такие маскарадные ряженья, как, например, знаменитая карусель, на которую Григорий Орлов и другие участники явились в рыцарских костюмах, то в сугубой тайне, в закрытом помещении Малого Эрмитажа, Екатерина находила забавным проводить совсем другие маскарады. Так, например, собственной рукой она начертала подробный план праздника, в котором для мужчин и женщин были бы сделаны отдельные комнаты для

переодевания, так чтобы все дамы вдруг появлялись в мужских костюмах, а все кавалеры — в дамских (Екатерина была здесь не бескорыстна: такой костюм подчеркивал ее стройность, а огромные гвардейцы, конечно, выглядели бы комически).

Маскарад, с которым мы сталкиваемся, читая лермонтовскую пьесу, — петербургский маскарад в доме Энгельгардта на углу Невского и Мойки — имел прямо противоположный характер. Это был первый в России публичный маскарад. Посещать его могли все, внесшие плату за входной билет. Принципиальное смешение посетителей, социальные контрасты, дозволенная распущенность поведения, превратившая энгельгардтовские маскарады в центр скандальных историй и слухов, — все это создавало пряный противовес строгости петербургских балов.

Напомним шутку, которую Пушкин вложил в уста иностранца, сказавшего, что в Петербурге нравственность гарантирована тем, что летние ночи светлы, а зимние холодны. Для энгельгардтовских балов этих препятствий не существовало. Лермонтов включил в «Маскарад» многозначительный намек: Арбенин

Рассеяться б и вам и мне нехудо.

Ведь нынче праздники и, верно, маскерад

У Энгельгардта… <…>

Князь

Там женщины есть… чудо…

И даже там бывают, говорят…

Арбенин

Пусть говорят, а нам какое дело?

Под маской все чины равны,

У маски ни души, ни званья нет, — есть тело.

И если маскою черты утаены,

То маску с чувств срывают смело.

Роль маскарада в чопорном и затянутом в мундир николаевском Петербурге можно сравнить с тем, как пресыщенные французские придворные эпохи Регентства, исчерпав в течение долгой ночи все формы утонченности, отправлялись в какой-нибудь грязный кабак в сомнительном районе Парижа и жадно пожирали зловонные вареные немытые кишки. Именно острота контраста создавала здесь утонченно-пресыщенное переживание.

На слова князя в той же драме Лермонтова: «Все маски глупые» — Абенин отвечает монологом, прославляющим неожиданность и не предсказуемость, которую вносит маска в чопорное общество:

Да маски глупой нет:

Молчит… таинственна, заговорит — так мило.

Вы можете придать ее словам

Улыбку, взор, какие вам угодно…

Вот, например, взгляните там —

Как выступает благородно

Высокая турчанка… как полна,

Как дышит грудь ее и страстно и свободно!

Вы знаете ли, кто она?

Быть может, гордая графиня иль княжна,

Диана в обществе… Венера в маскераде,

И также может быть, что эта же краса

К вам завтра вечером придет на полчаса.

Парад и маскарад составляли блистательную раму картины, в центре которой располагался бал.

Сватовство. Брак. Развод

Во второй половине XIX века Л. Толстой в «Анне Карениной» писал о трудностях, с которыми была связана такая простая и естественная вещь, как замужество дворянской девушки.

«„Нынче уж так не выдают замуж, как прежде“, — думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай — родителям решать судьбу детей — был не принят, осуждался. Английский обычай — совершенной свободы девушки — был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: „Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают“. Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья».

Ритуал замужества в дворянском обществе XVIII — начала XIX века носит следы тех же противоречий, что и вся бытовая жизнь. Традиционные русские обычаи вступали в конфликт

с представлениями о европеизме. Но сам этот «европеизм» был весьма далек от европейской реальности. В XVIII веке в русском дворянском быту еще доминировали традиционные формы вступления в брак: жених добивался согласия родителей, после чего уже следовало объяснение с невестой. Предварительное объяснение в любви, да и вообще романтические отношения между молодыми людьми хотя и вторгались в практику, но по нормам приличия считались необязательными или даже нежелательными. Молодежь осуждала строгость родительских требований, считая их результатом необразованности и противопоставляя им «европейское просвещение». Однако в качестве «европейского просвещения» выступала не реальная действительность Запада, а представления, навеянные романами.

Мы алчем жизнь узнать заране,

И узнаем ее в романе.

(Пушкин, VI, 226)

Таким образом, романные ситуации вторгались в тот русский быт, который сознавался как «просвещенный» и «западный». Любопытно отметить, что «западные» формы брака на самом деле постоянно существовали в русском обществе с самых архаических времен, но воспринимались сначала как языческие, а потом как «безнравственные», запретные. Уже в «Повести временных лет» летописец писал, что «древляне жили звериным обычаем», «браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды». Однако летописцу тут же пришлось оговориться: «по сговору с ними»[88]. У древлян-язычников уже существовали развитые формы брака, и христианин-летописец не мог скрыть, что похищение — лишь обрядовая форма брака.

Нарушение родительской воли и похищение невесты не входило в нормы европейского поведения, зато являлось общим местом романтических сюжетов.

То, что практически существовало в Древней Руси, но воспринималось как преступление, для романтического сознания на рубеже XVIII–XIX веков неожиданно предстало в качестве «европейской» альтернативы прародительским нравам. В начале XIX века оно войдет в норму «романтического» поведения и живо проникнет в быт. 19 ноября 1833 года Пушкин писал Нащокину: «Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал — и увез к себе, как улан уездную барышню с именин городничихи» (XV, 96).

Ироническая улыбка ощущается и в словах Гоголя о том, что Афанасий Иванович в молодости «увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него». Однако литература, так же как и жизнь той поры, дает не только иронические варианты этого конфликта. Вспомним драматическую историю попытки соблазнения и похищения Наташи Ростовой Анатолем Курагиным. Развернутую картину подобного похищения дает Пушкин в «Метели». Здесь перед нами со всеми подробностями — ритуал романтического похищения. Любовь небогатого помещика Владимира к его соседке встречает запрет со стороны ее родителей. Все дальнейшие поступки молодых людей развиваются по канонам прочитанных ими романов. «Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: „Дети! придите в наши объятия“». Героиня решается бежать, написав родителям трогательное письмо, запечатанное «тульскою печаткою, на которой изображены были два пылающих сердца с приличной надписью». Далее Пушкин с протокольной точностью описывает весь ритуал подготовки тайного брака и похищения:

«Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы <…> Тотчас после обеда явился землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом…». Весь тон пушкинского изложения воспроизводит книжность и литературно-романтический характер самой ситуации.

Семейные отношения в крепостном быту неотделимы были от отношений помещика и крестьянки. От Карамзина до Гончарова это обязательный фон, вне которого делаются непонятными и отношения мужа и жены.

Одним из проявлений странностей быта этой эпохи были крепостные гаремы. Крепостной гарем не имел корней в допетровских обычаях. И хотя в дальнейшем критики крепостного права склонны были видеть здесь порождение «старинных нравов», крепостной гарем сделался возможным только в результате того уродливого развития крепостничества, которое сложилось в XVIII — начале XIX века. Описание, которое находим, например, в мемуарах Я. М. Неверова, создает характерную и вместе с тем поразительную картину. Крепостные девушки содержатся в гареме, созданном помещиком П. А. Кошкаревым. Девушки поставляются в барский дом из числа крепостных. Здесь их строго изолируют от мужского общества: даже лакеи не допускаются в их половину. Не только в церковь, но и в уборную их сопровождает специально приставленная баба. При этом все девушки обучены чтению и письму, а некоторые французскому языку. Мемуарист, бывший тогда ребенком, вспоминает: «Главною моею учительницею, вероятно, была добрая Настасья, потому что я в особенности помню, что она постоянно привлекала меня к себе рассказами о прочитанных ею книгах и что от нее я впервые услыхал стихи Пушкина и со слов ее наизусть выучил „Бахчисарайский фонтан“, и впоследствии я завел у себя целую тетрадь стихотворений Пушкина же и Жуковского. Вообще, девушки все были очень развиты: они были прекрасно одеты и получали — как и мужская прислуга — ежемесячное жалованье и денежные подарки к праздничным дням. Одевались же все, конечно, не в национальное, но в общеевропейское платье»[89]. Несмотря на то, что владелец гарема достиг семидесятилетия, неприкосновенность его наложниц охранялась очень сурово. Тот же мемуарист описывает зверскую расправу как с беглянкой, попытавшейся скрыться из гарема, так и с ее возлюбленным. Случай этот не был единственным. Анекдотическая история 1812 года рассказывает, как во время знаменитой встречи в Москве Александра I с дворянами и купцами один помещик в пылу патриотического порыва воскликнул, обращаясь к Александру I, кладя свой гарем на алтарь отечества: «Государь, всех, всех бери, и Наташку, и Машку, и Парашу!»

Бесконтрольность крепостнического быта порождала возможности патологических отклонений. Ограничения власти помещика над крестьянином держались только на обычае и церковной традиции. Параллельное расшатывание последних и усиление помещичьей власти создавали практическую незащищенность крестьянина. Вот как описывается расправа над пытавшимися убежать вместе гаремной девушкой и ее крепостным возлюбленным в мемуарах Я. Неверова: «Афимья после сильной порки была посажена на стул на целый месяц. Это одно из самых жестоких наказаний, теперь едва ли кому известных, а потому я постараюсь описать его.

На шею обвиненной надевался широкий железный ошейник, запиравшийся на замок, ключ от которого был у начальницы гарема; к ошейнику прикреплена небольшая железная цепь, оканчивающаяся огромным деревянным обрубком, так что, хотя и можно было, приподняв с особым усилием последний, перейти с одного места на другое, — но по большей части это делалось не иначе, как с стороннею помощью; вверху у ошейника торчали железные спицы,

которые препятствовали наклону головы, так что несчастная должна была сидеть неподвижно, и только на ночь подкладывали ей под задние спицы ошейника подушку, чтоб она, сидя, могла заснуть.

Инструмент этот хранился в девичьей, и я в течение восьми лет один раз только видел применение его на несчастной Афимье, — и не помню, чтоб он в это время применялся к кому-нибудь из мужской прислуги, которая вообще пользовалась несравненно более гуманным обращением, — но история с несчастным Федором составляет исключение.

В тот же день, когда была произведена экзекуция над Афимьей… после чаю приведен был на двор пред окна кабинета бедный Федор. Кошкаров стал под окном и, осыпая его страшной бранью, закричал: „Люди, плетей!“ Явилось несколько человек с плетьми, и тут же на дворе началась страшная экзекуция. Кошкаров, стоя у окна, поощрял экзекуторов криками: „Валяй его, валяй сильней!“, что продолжалось очень долго, и несчастный сначала страшно кричал и стонал, а потом начал притихать и совершенно притих, а наказывавшие остановились. Кошкаров закричал: „Что ж стали? Валяй его!“ „Нельзя, — отвечали те, — умирает“. Но и это не могло остановить ярость Кошкарова гнева. Он закричал: „Эй, малый, принеси лопату“. Один из секших тотчас побежал на конюшню и принес лопату… „Возьми г… на лопату“, — закричал Кошкаров <…> при слове: „возьми г… на лопату“ державший ее зацепил тотчас кучу лошадиного кала. „Брось его в рожу мерзавцу и отведи его прочь!“»[90].

В течение всего XVIII века власть помещика над крестьянами непрерывно усиливалась. В конечном итоге крестьянин делался, по выражению Радищева, «в законе мертв», то есть превращен был, по юридической терминологии, из субъекта власти и собственности в ее объект. На бытовом языке это означало, что крестьянин перед лицом закона выступал не как лицо, а как вещь: помещик владел и им, и его собственностью. Крепостное право имело тенденцию деградировать и приближаться к рабству.

Слово «раб» входило в литературный язык XVIII века. Долгое время оно употреблялось даже в формуле официального обращения к императору: «Вашего Императорского Величества всепокорнейший раб». При Екатерине II это обращение к главе государства было официально уничтожено. Однако в отношении крепостных крестьян оно употреблялось очень широко. Ср., например, у Державина: «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут…» («Евгению. Жизнь званская»). В качестве параллели этому выражению в грубой бытовой речи употреблялось (как, например, Простаковой у Фонвизина): «хам», «хамово отродье». Эти последние имена отсылали к библейской легенде, согласно которой один из сыновей праотца Ноя именовался Хамом. Его считали иногда родоначальником негров. Таким образом, называя своих крепостных «хамами», Простакова (как и другие подобные ей помещики) как бы приравнивала их к неграм-невольникам[91].

Однако русские крепостные крестьяне рабами не были. Крепостное право в своих крайних извращениях могло отождествляться с рабством, но в принципе это были различные формы общественных отношений. Тем более заметно, что именно в конце крепостного периода, когда эта форма общественных отношений сделалась очевидным пережитком, случаи приближения ее к рабству стали особенно часты. Выше мы говорили об одной из форм — бесконтрольной жестокости помещиков по отношению к крестьянам. Жертвой ее, как правило, делались дворовые. Но существовала и другая форма власти помещика — бесконтрольное увеличение объема труда, который крестьянин должен был отдавать помещику. Во второй половине XVIII — начале XIX века в помещичий быт все более вторгается разорительная роскошь. Самые богатые вельможи оказываются погрязшими в долгах, причем деньги от поместья тратятся не на развитие хозяйства, а на предметы роскоши. [92]

Стремление помещиков выкачивать все больше денег из своих земель разоряло крестьян. Пушкин в беловом варианте XLIII строфы 4 главы «Евгения Онегина» писал:

В глуши что делать в это время?

Гулять? — Но голы все места

Как лысое Сатурна темя

Иль крепостная нищета.

Однако наиболее уродливые формы отношений между помещиком и крепостным крестьянином вырисовываются даже не в этих случаях, а именно тогда, когда энергичный и экономически талантливый крестьянин богател, иногда даже становясь богаче своего помещика. Парадоксальную в своей уродливости ситуацию рисуют мемуары крепостного Николая Шилова. В них мы находим неожиданную для современного читателя картину. Энергичные крестьяне развертывают в 1814–1819 годах широкую хозяйственную деятельность. Перейдя на оброк, они отправляются в башкирские степи и, располагая значительными капиталами, закупают там большие стада овец и, наняв пастухов, перегоняют и перепродают в России. Дорога «опасна от грабителей», дело требует умения и навыков, но зато приносит большие доходы. Мемуарист приводит такие эпизоды: «Один крестьянин нашей слободы, очень богатый, у которого было семь сыновей, предлагал помещику 160 000 руб., чтобы он отпустил его с сыновьями на волю. Помещик не согласился. Когда через год у меня родилась дочь, — вспоминает мемуарист, — то отец мой вздумал выкупить ее за 10 000 руб. Помещик отказал. Какая же могла быть этому причина? Рассказывали так: один из крестьян нашего господина, подмосковной вотчины, некто Прохоров, имел в деревне небольшой дом и на незначительную сумму торговал в Москве красным товаром. Торговля его была незавидная. Он ходил в овчинном тулупе и вообще казался человеком небогатым. В 1815 году Прохоров предложил своему хозяину отпустить его на волю за небольшую сумму, с тем, что эти деньги будут вносить за него будто бы московские купцы. Барин изъявил на это согласие. После того Прохоров купил в Москве большой каменный дом, отделал его богато и тут же построил обширную фабрику. Раз как-то этот Прохоров встретился в Москве с своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и немало дивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова; очень сожалел, что отпустил от себя такого человека»[93].

Источник описывает парадоксальные отношения людей в тот момент, когда инициатива одних и привычка к уже устаревшим формам жизни других образовали кричащий конфликт. Мемуары, которые мы только что цитировали, рисуют поразительную ситуацию: крестьяне фактически богаче своего барина, но вынуждены скрывать свои богатства, зачисляя деньги на подставных лиц или пряча их от помещика. Барин обладает безграничной властью: он может посадить мужика на цепь и морить его голодом или разорить богатого крестьянина без всякой для себя выгоды. И он пользуется этим правом.

Приведем характерный пример — эпизод из того же источника: «Однажды помещик, и с супругою, приехал в нашу слободу. По обыкновению богатые крестьяне, одетые по-праздничному, явились к нему с поклоном и различными дарами; тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом[94]. Барыня с любопытством все рассматривала и потом, обратясь к своему мужу, сказала: „У наших крестьян такие нарядные платья и украшения; должно быть, они очень богаты и им ничего не стоит платить нам оброк“. Не долго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Потом дошло до того, что на каждую ревизскую душу падало вместе с мирскими расходами свыше 110 руб. асс<игнациями> оброка»[95]. Всего слобода, в которой жила семья Н. Шилова, платила 105 000 рублей ассигнациями в год — для того времени сумма огромная. Интересно, однако, что, поданным

этого же источника, помещик стремится не столько к своему обогащению, сколько к разорению крестьян. Их богатство его раздражает, и он готов идти на убытки ради своего властолюбия и самодурства. Позже, когда Шипов убежит и начнет свою «одиссею» странствий по всей России, после каждого бегства с необычайной энергией и талантом вновь изыскивая способы развивать начинаемые с нуля предприятия, организовывая торговлю и ремесла в Одессе или в Кавказской армии, покупая и продавая товары то у калмыков, то в Константинополе, живя то без паспорта, то по поддельному паспорту, — барин будет буквально разоряться, рассылая по всем направлениям агентов и тратя огромные деньги из своих все более скудеющих ресурсов, лишь бы поймать и жестоко расправиться с мятежным беглецом.

Все возрастающий культурный разрыв между укладом жизни дворянства и народа вызывает трагическое мироощущение у наиболее мыслящей части дворян. Если в XVIII веке культурный дворянин стремится стать «европейцем» и как можно более отдалиться от народного бытового поведения, то в XIX веке возникает противонаправленный порыв. В 1826 году Грибоедов пишет прозаический отрывок «Загородная поездка»[96]. Биографическая основа очерка — поездка в Парголово, однако смысл его — отнюдь не в описании окрестностей Петербурга. В отрывке впервые в русской литературе сказано о трагическом разрыве дворянской интеллигенции и народа. Для нас особенно важно, что проявляется этот разрыв в области бытовых привычек, в навыках каждодневного поведения: «Вдруг послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские с того же возвышения, где мы прежде были. Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги? — Приходим назад: то место было уже наполнено белокурыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!»

Однако бытовая оторванность среднего нестоличного дворянина от народа не должна преувеличиваться. В определенном смысле дворянин-помещик, родившийся в деревне, проводивший детство в играх с дворовыми ребятами, постоянно сталкивавшийся с крестьянским бытом, был по своим привычкам ближе к народу, чем разночинный интеллигент второй половины XIX века, в ранней молодости сбежавший из семинарии и проведший всю остальную жизнь в Петербурге. Это было различие между бытовой и идеологической близостью.

Календарные обряды, просачивание фольклора в быт приводили к тому, что нестоличное, живущее в деревнях дворянство психологически оказывалось связанным с крестьянским бытом и народными представлениями.

Татьяна верила преданьям

Простонародной старины,

И снам, и карточным гаданьям…

(5, V)

Известный эпизод в «Войне и мире» с Наташей, танцующей «по-крестьянски» «По улице-мостовой», отражает черту реального уклада — проникновение бытовой народности в

дворянское сознание: «Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».

Бытовое суеверие, вера в приметы, накладывавшая своеобразный отпечаток «народности» на поведение образованного человека этой эпохи, прекрасно уживались с вольтерьянством или европейским образованием. Вера в приметы была, как известно, свойственна Пушкину. Она вторгалась в психологию тех ситуаций, где человек сталкивался со случайностью, например в карточных играх. Переплетение «европеизма» и весьма архаических народных представлений придавало дворянской культуре интересующей нас эпохи черты своеобразия. Особенно тесно соприкасались эти две социальные сферы в женском поведении. Обрядовая традиция, связанная с церковными и календарными праздниками, практически была единой у крестьян и поместного дворянства. Не только к Лариным можно было бы отнести слова:

Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины;

У них на масленице жирной

Водились русские блины;

Два раза в год они говели;

Любили круглые качели[97],

Подблюдны песни[98], хоровод;

В день Троицын, когда народ

Зевая слушает молебен,

Умильно на пучок зари[99]

Они роняли слезки три;

Им квас как воздух был потребен…

(2, XXXV)

В крестьянском быту хронология брачных обрядов связана была с сельскохозяйственным

календарем, древность которого проступала сквозь покров христианства. Даты брачного цикла группировались вокруг осени, между «бабьим летом» и осенним постом (от 15 ноября до 24 декабря — от мучеников Гурия и Авивы до Рождества), и весенних праздников, которые начинались с Пасхи.

Как правило, знакомства происходили весной, а браки — осенью, хотя этот обычай не был жестким. Первого октября (все даты календарного цикла здесь и дальше даны по старому стилю), в день Покрова Пресвятой Богородицы, девушки молились Покрову о женихах[100]. А 10 ноября, как свидетельствуют воспоминания Н. Шилова, он справлял свадьбу.

Дворянские свадьбы сохраняли определенную связь с этой традицией, однако переводили ее на язык европеизированных нравов. Осенью в Москву съезжались девушки, чей возраст приближался к заветному, и проводили там время до Троицы. Все это время, за исключением постов, шли балы. Старушка Ларина получает совет от соседа:

«Что ж, матушка? За чем же стало?

В Москву, на ярманку невест!

Там, слышно, много праздных мест».

(7, XXVI)

Обряд сватовства и свадьба образовывали длительное ритуальное действо, характер которого менялся в различные десятилетия. В начале XIX века в дворянском быту проявилась тенденция вновь сблизиться с ритуальными народными обычаями, хотя и в специфически измененной форме. Сватовство состояло обычно в беседе с родителями. После полученного от них предварительного согласия в залу приглашалась невеста, у которой спрашивали, согласна ли она выйти замуж. Предварительное объяснение с девушкой считалось нарушением приличия. Однако практически, уже начиная с 70-х годов XVIII века, молодой человек предварительно беседовал с девушкой на балу или в каком-нибудь общественном собрании. Такая беседа считалась приличной и ни к чему еще не обязывала. Этим она отличалась от индивидуального посещения дома, в котором есть девушка на выданье. Частый приезд молодого человека в такой дом уже накладывал на него обязательства, так как «отпугивал» других женихов и, в случае внезапного прекращения приездов, давал повод для обидных для девушки предположений и догадок. Случаи сватовства (чаще всего, если инициатором их был знатный, богатый и немолодой жених) могли осуществляться и без согласия девушки, уступавшей приказу или уговорам родителей. Однако они были не очень часты и, как мы увидим дальше, оставляли у невесты возможность реализовать свой отказ в церкви. В случае, если невеста отвергала брак на более раннем этапе или родители находили эту партию неподходящей, отказ делался в ритуальной форме: претендента благодарили за честь, но говорили, что дочь еще не думает о браке, слишком молода или же, например, намеревается поехать в Италию, чтобы совершенствоваться в пении. В случае согласия начинался ритуал подготовки к браку. Жених устраивал «мальчишник»: встречу с приятелями по холостой жизни и прощание с молодостью. Так, Пушкин, готовясь к свадьбе, устроил в Москве «мальчишник» с участием Вяземского, Нащокина и других друзей. После ужина поехали к цыганам слушать песни. Этот эпизод красочно описан цыганкой Таней в ее бесхитростных воспоминаниях, сохранившихся в записях писателя Б. М. Маркевича: «Только раз, вечерком, — аккурат два дня до его свадьбы оставалось, — зашла я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидал меня из сеней и кричит: „Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!“ — поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и

задумался, да так, будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня: „Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастие; слышала, может быть, я женюсь?“ — „Как не слыхать, говорю, дай вам Бог, Александр Сергеевич!“ — „Ну, спой мне, спой!“ — „Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину!“ Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть… Только на сердце у меня у самой невесело было в ту пору; потому у меня был свой предмет, — женатый был он человек, и жена увезла его от меня, в деревне заставила на всю зиму с собой жить, — и очень тосковала я от того. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню, — она хоть и подблюдною считается, а только не годится было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

Кони разыгралися…

А чьи-то кони, чьи-то кони?

Кони Александра Сергеевича…

Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом то же передаю, и уж как быть, не знаю, глаз от струн не подыму… Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок плачет… Кинулся к нему Павел Войнович: „Что с тобой, что с тобой, Пушкин?“ — „Ах, говорит, эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!..“ И не долго он после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился»[101].

Сама свадьба также представляла собой сложное ритуальное действо. При этом дворянская свадьба в общей ритуальной схеме повторяла традиционную национальную структуру. Однако в ней проявлялась и социальная специфика, и мода. Свадьба — одно из важнейших событий в жизни дореформенного человека. Вместе с похоронами она образует целостный мифологический сюжет. Поэтому имеет смысл рассмотреть дворянскую свадьбу с разных точек зрения. Мы постараемся реконструировать культурную многогранность этого события, сначала сопоставив его с крестьянской свадьбой[102].

«…Мой отец разослал гонцов к своим родственникам, друзьям и приятелям с приглашением их пожаловать к свадебному столу, который приготовлялся на 80 человек. Отец мой почитался настоящим русским хлебосолом, а потому распорядился, чтобы всего было в изобилии. Накануне свадьбы, около полуночи, поехал я на кладбище проститься с усопшими сродниками и испросить у покойной родительницы благословения. Это я исполнил с пролитием слез на могиле. 10-го числа вечером собрались к нам все наши родственники и знакомые; священник с диаконом и дьячками тоже пришли. В это время, по обычаю, двое наших холостых сродников посланы были к невесте с башмаками, чулками, мылом, духами, гребешком и проч. Посланных у невесты приняли, одарили платками и угостили. Между тем отец начал меня обувать и положил мне в правый сапог 3 руб. для того, что когда молодая жена станет разувать меня, то возьмет эти деньги себе. Когда я был одет, отец взял образ Божией матери в серебряном окладе, благословил меня им и залился слезами; я тоже прослезился; недаром старики говорили, что свадьба есть последнее счастие человека. Потом благословили меня своими иконами отец крестный, мать крестная и посадили меня в переднем углу, к образам. Все, начиная с отца, со мною прощались, после чего, помолившись богу, священник повел меня в церковь. <…> Между тем сваха и дружка с хлебом и солью поехали за невестой. Здесь, на столе находился также хлеб и соль. Сваха взяла эту соль и

высыпала себе, а свою отдала; хлебами же поменялись. Потом невесту, покрытую платком, посадили за стол. После благословения невесты от родителей иконами все с невестою прощались и дарили ее, по возможности, деньгами. Затем священник вывел невесту из комнаты и поехал в церковь с свахою, дружкою и светчим, который нес образа невестины и восковые свечи. За ними ехали на нескольких повозках мужчины и женщины, называющиеся проежатыми. По окончании таинства брака мы, новобрачные, по обычаю, несли образ Божией матери из церкви в дом моего отца. <…> В доме встретил нас отец с иконою и хлебом-солью; мы приложились к образу и поцеловались с отцом. После этого начался Божией матери молебен. По окончании молебна сваха нас, молодых, привела в спальню, посадила рядом и дала нам просфору <…> Потом сваха убрала голову молодой так, как это бывает у замужних. После этого мы вышли к гостям и вскоре начался стол, или брачный пир»[103].

Помещичья свадьба отличалась от крестьянской не только богатством, но и заметной «европеизацией». Соединяя в себе черты народного обряда, церковных свадебных нормативов и специфически дворянского быта, она образовывала исключительно своеобразную смесь. Для того, чтобы читатель мог более выпукло ее себе представить, приведем примеры из двух источников, один из которых — свидетельство иностранца-японца, отчужденного как от русской, так и от западноевропейской традиции, а другой — великого русского писателя, воссоздающего образ родной ему жизни. Свидетельства эти будут противоположны и в другом отношении: их разделяет почти сто лет. Таким образом, мы охватим эпоху как бы с двух ее крайних временных точек.

Автор первого текста — капитан японской шхуны Дайкокуя Кодаю, попавший после кораблекрушения в Россию и в 1791 году привезенный в Петербург. После возвращения на родину Кодаю был подвергнут тщательному допросу и дал письменные показания о разнообразных сторонах русской жизни. Книга показаний Кодаю, составленная Кацурагавой Хосю, хранилась как государственная тайна и до 1937 года оставалась секретной. Русский перевод ее (переводчик В. Т. Константинов) был издан в 1978 году.

Японский путешественник тщательно описывает странные для него обычаи, составляя источник сведений огромной для нас ценности. О браках мы находим у него следующее: «По обычаям той страны и знатные и простые, и мужчины и женщины празднуют каждый седьмой день и обязательно ходят в церковь молиться будде. <…> Обычно в этих случаях и происходит выбор невест и женихов»[104]. Сама неосведомленность иностранца увеличивает для нас ценность источника. Знакомство и завязывание любовных отношений, конечно, на самом деле не является функцией церкви и не входит в нормы поведения молящихся. Поэтому более осведомленный наблюдатель пропустил бы это как нарушение правил или специально оговорил бы предосудительность подобного поведения. Но японский капитан выводит свои эмпирические наблюдения в ранг узаконенной нормы, фиксируя их в своих записях и тем самым сохраняя для нас яркие черты бытовой реальности.

«На жениха надевают новую одежду, и он отправляется к невесте в сопровождении родственников и свата (сватом японский автор называет дружку, роль которого ему, по-видимому, не совсем ясна. —

Ю. Л.), а также красивого мальчика лет четырнадцати-пятнадцати, выбранного для того, чтобы впереди них нести икону (словом „икона“ переводчик передает японское выражение, буквально означающее: „висячее изображение будды“. —

Ю. Л.) <…> усаживают мальчика на четырехколесную повозку, для чего на нее кладут доску, как скамейку. За ним в одной коляске в дом невесты едут жених и сват». Японский наблюдатель выделяет, видимо, непривычный ему обычай родственников жениха и невесты целоваться при встрече. Войдя в дом невесты, «жених и все сопровождающие его молятся изображению будды, висящему в комнате, и только после этого усаживаются на стулья. В это

время мать выводит за руку невесту и передает ее жене свата. Жена свата берет невесту за руку, целуется со всеми остальными и в одной карете с невестой отправляется прямо в церковь, а жених едет туда же в одной карете со сватом»[105].

В нашем втором примере, который будет извлечен из романа «Анна Каренина», отмечается, что приданое Кити не могло быть готово к назначенному сроку. «И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большую же вышлет после». Толстой считал решение княгини вынужденным и случайным. Тем более интересно, что внимательный японец зафиксировал подобное «решение» как специфически дворянскую бытовую черту: «Люди низшего сословия одновременно с этим (со свадьбой) отправляют вещи невесты к жениху, богатые же и благородные люди отправляют вещи постепенно, заранее»[106].

После этого невеста и сопровождающие ее входят в церковь (автор ошибочно полагал, что они заходят в алтарь), и священник выносит им уборы, «похожие на венцы»[107]. «Затем настоятель храма приносит два кольца и надевает их на безымянные пальцы жениха и невесты. Говорят, что эти кольца присылает в церковь жених дня за четыре-пять до свадьбы» [108].

«Потом зажигают восковые свечи и раздают их всем четверым (жениху с невестой и тем, кто держит над их головами венцы. — Ю. Л.

), а настоятель храма подходит к невесте и спрашивает: „По сердцу ли тебе жених?“ Если она ответит: „По сердцу“, он подходит к жениху и спрашивает: „По сердцу ли тебе невеста?“ Если он ответит: „По сердцу“, настоятель снова идет к невесте и снова спрашивает ее. Так повторяется три раза. Если жених или невеста дадут отрицательный ответ, то венчание тотчас же прекращается. По окончании этих вопросов и ответов настоятель мажет каким-то красным порошком ладони новобрачных, затем берет в правую руку свечу и со священной книгой в левой выходит вперед. Невеста держится за его рукав, а жених за рукав невесты… так они обходят семь раз вокруг алтаря. На этом кончается обряд венчания, после чего жених берет невесту за руку, и они садятся в одну карету»[109]. Далее информатор сообщает, что родители жениха встречают новобрачных с «якимоти» («якимоти» — рисовая лепешка; чтобы подчеркнуть специфику, автор указал, что она сделана «из мути», то есть из муки). Затем происходит праздник, сопровождаемый музыкальным исполнением «на кокю и западном кото». Переводчик поясняет, что первое из этих слов означает китайский смычковый инструмент, второе — японский многострунный щипковый инструмент и что этими словами автор хотел описать скрипку и клавесин.

Сочетание этнографической точности описания с характерными ошибками дает нам исключительно интересный взгляд и позволяет высветить в свадебном быту именно то, что иностранцу казалось непонятным. Взгляд иностранца здесь может быть в какой-то мере сопоставлен с распространенным в литературе XVIII века приемом описания обычной действительности глазами принципиально чуждого ей наблюдателя. Так, Вольтер породил целую цепь литературных сюжетов, введя в свою повесть образ гурона, с удивлением глядящего на европейские предрассудки. «Естественные дикари» наводнили литературу. А Крылов прибегнул к взгляду «с позиции собачки». Прием этот в дальнейшем использовал Толстой, придав рассказу Холстомера — умудренного жизнью мерина — черты естественного взгляда на мир и, следовательно, «естественного» его непонимания.

Интересным смысловым контрастом к свидетельствам любознательного японца могут быть отражения ритуала свадьбы с позиций русского наблюдателя. Но и в данном случае мы постараемся придать тексту объемность, подобрав свидетельства, распределенные между 1810-ми годами XIX века и его серединой. Первый отрывок принадлежит Пушкину и иногда даже ошибочно принимался за подлинную биографическую запись. На самом деле это,

конечно, ранний опыт художественной прозы. Однако стремление автора имитировать подлинный документ очевидно. Это подчеркнуто мистифицирующей пометой «с французского». Начинающийся словами «Участь моя решена. Я женюсь…» отрывок фиксирует обычный рутинный ритуал свадьбы. Именно предсказуемость событий, их полное совпадение с типовыми нормами подчеркивается художественной задачей. Мы застаем героя пушкинского рассказа, когда он ожидает ответа на предварительное предложение. Некоторый оттенок отстраненности рассказчика от предмета его повествования присутствует и здесь. Но здесь это связано не с конфликтом культур, а с внутренней природой самой ситуации, имманентно свойственной ей странностью.

Гоголь концентрирует и доводит до абсурда ту «странность» бытовой ситуации, которая засвидетельствована исследователями психологии быта: «Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того, чем более углублялся он в размышление. <…> То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней… <…> Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. <…> Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена»[110].

Хотя в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией скорее психологической, чем культурно-исторической, но искусственность послепетровского дворянского быта накладывала на нее свой отпечаток. Крестьянская свадьба, как мы видели, протекала по утвержденному длительной традицией ритуалу. И поэтому создаваемое ею положение воспринималось как естественное. В послепетровском дворянском быту можно было реализовать несколько вариантов поведения. Так, можно было — и такой способ был достаточно распространенным, особенно среди «европеизированных» слоев — прямо после свадьбы, по выходу из церкви, в коляске отправиться за границу. Другой вариант — требующий меньших расходов и, следовательно, распространенный на менее высоком социальном уровне — отъезд в деревню. Он не исключал ритуального праздника в городе (во многих случаях — традиционно в Москве), но можно было, особенно если свадьба была нерадостной, начинать путешествие непосредственно после выхода молодых из церкви.

Она вздыхала о другом,

Который сердцем и умом

Ей нравился гораздо боле:

Сей Грандисон был славный франт,

Игрок и гвардии сержант.

Как он, она была одета

Всегда по моде и к лицу,

Но, не спросясь ее совета,

Девицу повели к венцу.

И, чтоб ее рассеять горе,

Разумный муж уехал вскоре

В свою деревню…

(2, XXX–XXXI)

Принято было, чтобы молодые переезжали в новый дом или в новонанятую квартиру. Так, Пушкин после свадьбы, которая проходила в Москве, поселился в новой квартире на Арбате прежде, чем переехать в Петербург.

Дворянская свадьба интересующего нас периода строилась как смешение «русского» и «европейского» обычаев. Причем до 20-х годов XIX века преобладало стремление справлять свадьбы «по-европейски», то есть более просто в ритуальном отношении. В дальнейшем же в дворянской среде намечается вторичное стремление придавать обряду национальный характер.

Пушкинский герой испытывает недоумение, сталкиваясь с конфликтом между романтическими ожиданиями и рутинной обыденностью реальной свадьбы. Он считает себя «не похожим на других людей». «Жениться! Легко сказать — большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафорок[111]. Другие — приданое и степенную жизнь… Третьи женятся так, потому что все женятся…» Пушкинский герой женится из романтических побуждений, но сталкивается с самыми прозаическими условиями. Для нас, с нашей специальной задачей, такого рода описание тем более ценно. «В эту минуту подали мне записку: ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе…» «Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку — она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне — и я жених».

Ту же картину, но в более развернутом виде мы находим в описании свадьбы, расположенной на самом пределе нашей хронологии. Разница будет лишь в том, что элементы обрядности и стремление тщательно соблюдать «традиционные обычаи» будут значительно усилены. Речь идет об описании женитьбы Константина Левина в романе Толстого «Анна Каренина». Нарисованная Толстым картина до мелочей совпадает с бытовой реальностью, вплоть до такой характерной детали: известно, что Пушкин, отправляясь в церковь перед женитьбой на Наталье Николаевне, обнаружил неожиданно отсутствие у себя необходимого по обряду фрака и, по воспоминаниям Нащокина, надел его фрак, который в дальнейшем считал для себя счастливым[112]. Случайно или увидев в этом характерную деталь Толстой ввел соответствующий эпизод в «Анну Каренину». Уже опаздывая на свадьбу, Константин Левин обнаруживает отсутствие у себя свежевыглаженной рубахи и собирается одолжить ее у Стивы Облонского. Действительно, толстовское описание обладает всей достоверностью этнографического документа. Здесь мы узнаем о таких деталях, как необходимость свидетельства о пребывании на духу; «в день свадьбы Левин, по обычаю (на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками».

Свадьба начинается с молебна: «Бла-го-сло-ви, вла-дыко!» — медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. После Великой ектений и молитв, «повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. „Обручается раб божий

Константин рабе божией Екатерине“. И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил то же.

Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать… священник шепотом поправлял их».

«Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом… священник, оборотившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как ни часто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов». «Священник надел на них венцы». «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа <…> Левин поцеловал с осторожностью ее улыбнувшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую, странную близость, пошел из церкви. <…> После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню».

Одним из нововведений послепетровской действительности был развод. Продиктованный новым положением женщины и тем, что послепетровская реальность сохраняла за дворянской женщиной права юридической личности (в частности, право самостоятельной собственности), развод сделался в XVIII — начале XIX века явлением значительно более частым, чем прежде; практически он принадлежал новой государственности. Это вступало в противоречие как с обычаями, так и с церковной традицией. Вопросы церковного права и юридической стороны дела не входят в тематику данной книги. Развод нас будет интересовать как явление быта. Мы будем рассматривать, как эти сложные конфликты решались в практической жизни, согласуя требования реальности и морально-юридические нормы.

Строгий судья своего века, кн. М. М. Щербатов сообщает нам такой эпизод[113]: «При сластолюбивом и роскошном Государе не удивительно, что роскош имел такие успехи, но достойно удивления, что при набожной Государыне, касательно до нравов, во многом Божественному закону противуборствии были учинены. Сие есть в рассуждении хранения святости брака, таинства по исповеданию нашея веры. Толь есть истинно, что единый порок и единый проступок влечет за собою другие. Мы можем положить сие время началом, в которое жены начали покидать своих мужей. Не знаю я обстоятельств первого странного разводу; но в самом деле он был таков. Иван Бутурлин, а чей сын не знаю, имел жену Анну Семеновну; с ней слюбился Степан Федорович Ушаков, и она, отошед от мужа своего, вышла за своего любовника, и, публично содеяв любодейственный и противный церкви сей брак, жили. Потом Анна Борисовна графиня Апраксина, рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла. Я не вхожу в причины, чего ради она оставила своего мужа, который подлинно был человек распутного жития. Но знаю, что развод сей не церковным, но гражданским порядком был сужен. Муж ее, якобы за намерение учинить ей какую обиду в немецком позорище[114], был посажден под стражу и долго содержался, и наконец велено ей было дать ее указную часть из мужня имения при живом муже, а именоваться ей по прежнему княжною Голицыною. И тако отложа имя мужа своего, приведши его до посаждения под стражу, наследница части его имения учинилась, по тому токмо праву, что отец ее князь Борис Васильевич имел некоторой случай у двора, а потом, по разводе своем, она сделалась другом к<нягини Елены Степановны> К<уракиной>, любовницы графа Шувалова»[115].

Мать Татьяны в «Евгении Онегине» в молодости, когда ее выдали замуж, «не спросясь ее совета»,

Рвалась и плакала сначала,

С супругом чуть не развелась…

(2, XXXI)

Современники улавливали в последнем стихе романтическую гиперболу ученицы княжны Алины. О реальном разводе супругов в этой ситуации, конечно, не могло быть и речи. Для развода в те годы (брак родителей Татьяны падает на 1790-е годы) требовалось решение консистории — духовной канцелярии, утвержденное епархиальным архиереем; с 1806 года все дела этого рода решались только синодом. Брак мог быть расторгнут лишь при наличии строго оговоренных условий. Прелюбодеяние, доказанное свидетелями или собственным признанием, двоеженство, болезнь, делающая брак физически невозможным, безвестное отсутствие, ссылка и лишение прав состояния, покушение на жизнь супруга, монашество. Известны случаи, когда личное вмешательство царя или царицы решало бракоразводное дело в нарушение существующих законов. Однако очевидно, что все эти пути были для Прасковьи Лариной закрыты, равно как и многочисленные, но дорого стоящие способы обхода законов ценою взяток или вмешательства вельможных заступников. Единственное, что могла предпринять мать Татьяны для расторжения брака, — это уехать от мужа к родителям. Такое фактическое расторжение супружеских отношений было нередким. Длительная раздельная жизнь могла быть для консистории аргументом в пользу развода.

Русское послепетровское законодательство давало дворянской женщине определенный объем юридических прав. Однако еще больше гарантий давал обычай. В результате характер женщины XVIII века в России отличался большой самостоятельностью. Фонвизин в «Недоросле» сохранил для нас подтверждаемую широким кругом источников картину реального превосходства хозяйки в помещичьей семье. В «Онегине» Ларина — мать Татьяны —

…езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам,

Служанок била осердясь —

Все это мужа не спросясь.

(2, XXXII)

Точно так же управляет домом и Простакова: «…то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится». А Фонвизин повеселил Екатерину II, говоря, что при дворе иная женщина стоит мужчины, а мужчина хуже бабы. Чертой эпохи было то, что «женское правление» не снижало самодержавной власти правителя. Пушкин справедливо заметил о Екатерине II: «Самое сластолюбие хитрой сей государыни утверждало ее владычество» (XI, 15).

Редкая и скандальная форма развода часто заменялась практическим разводом: супруги разъезжались, мирно или немирно делили владения, после чего женщина получала свободу. Именно таково было семейное положение Суворова. Его конфликт и фактический развод с Варварой Ивановной привел к шумному скандалу, втянувшему в себя петербургскую знать,

включая императора Павла I. В октябре 1797 года В. И. Суворова, запасшись поддержкой находящихся «в случае», то есть снискавших расположение императора вельмож, и воспользовавшись холодными отношениями между Павлом и фельдмаршалом, потребовала от мужа, с которым давно уже разъехалась, чтобы он уплатил ее огромные долги — их числилось 22 тысячи рублей, увеличил получаемую ею годовую сумму денег. Суворов через посредников отвечал, что «он сам должен, а по сему не может ей помочь». Конфликт дошел через находившегося тогда в должности генерал-прокурора павловского фаворита Куракина до царя. Император распорядился «сообщить графине Суворовой, что она может требовать от мужа по закону». Фактически это означало гарантию выигрыша, если конфликт дойдет до официальных инстанций. Варвара Ивановна приняла к сведению высочайшую резолюцию и подала через генерал-прокурора прошение, в котором уже не ограничилась суммой в 22 тысячи для уплаты долгов, но жаловалась на то, что не имеет собственного дома, и на материальные трудности. Тут же она прибавляла, что была бы счастлива и «с благодарностью проводила бы остаток дней своих, если бы могла бы жить в доме своего мужа», запросив еще в добавок имущество, которое приносило бы дохода не менее восьми тысяч рублей в год. Павел наложил резолюцию, по которой Суворову должны были объявить, «чтобы он исполнил желание жены».

Суворов, находившийся в это время в трудном денежном положении, вынужден был подчиниться воле императора. В ноябре 1797 года он писал графу Н. А. Зубову о своем согласии предоставить свой «рожественский дом» и сообщил о невозможности исполнить «иные претензии», поскольку он «в немощах». После императорского указа он сообщает Зубову: «Ю. А. Никол ев через к<нязя> Кур<акина> мне высочайшую волю объявил. По силе сего Г<рафине> В<арваре> И<вановне> прикажите отдать для пребывания домы и ежегодно отпускать ей по 8000 р. <…> я ведаю, что Г<рафиня> В<арвара> много должна, мне сие постороннее»[116]. Неполадки в отношениях с женой, к которым прибавлялось резкое ухудшение в отношениях с императором, вызвали у Суворова шаг, объяснимый только крайней степенью раздражения: в начале 1798 года он обратился к Павлу с просьбой разрешить ему постричься в монастырь.

Домашняя жизнь дворянина XVIII века складывалась как сложное переплетение обычаев, утвержденных народной традицией, религиозных обрядов, философского вольнодумства, западничества, то поверхностного, то трагически влиявшего на разрыв с окружающей действительностью. Этот беспорядок, приобретавший характер идейного и бытового хаоса, имел и положительную сторону. В значительной мере здесь проявлялась молодость культуры, еще не исчерпавшей своих возможностей.

Русский дендизм

Слово «денди» (и производное от него — «дендизм») с трудом переводится на русский язык. Вернее, слово это не только передается несколькими, по смыслу противоположными, русскими словами, но и определяет, по крайней мере в русской традиции, весьма различные общественные явления.

Зародившись в Англии, дендизм включал в себя национальное противопоставление французским модам, вызывавшим в конце XVIII века бурное возмущение английских патриотов. Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» описывал, как во время его (и его русских приятелей) прогулок по Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека, одетого по французской моде. В противоположность французской «утонченности» одежды, английская мода канонизировала фрак, до этого бывший лишь одеждой для верховой езды. «Грубый» и спортивный, он воспринимался как национально английский. Французская

предреволюционная мода культивировала изящество и изысканность, — английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность[117]. Таким образом, дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой — примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века.

С этой точки зрения, дендизм приобретал окраску романтического бунтарства. Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество, и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться, «неприличная» развязность жестов, демонстративный шокинг — все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону.

На противоположном полюсе находилась та интерпретация дендизма, которую развивал самый прославленный денди эпохи — Джордж Бреммель. Здесь индивидуалистическое презрение к общественным нормам выливалось в иные формы. Байрон противопоставлял изнеженному свету энергию и героическую грубость романтика, Бреммель — грубому мещанству «светской толпы» изнеженную утонченность индивидуалиста[118]. Этот второй тип поведения Бульвер-Литтон позже приписал герою романа «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), — произведения, вызвавшего восхищение Пушкина и повлиявшего на его некоторые литературные замыслы и даже, в какие-то мгновения, на его бытовое поведение.

Герой романа Бульвера-Литтона, соединяющий великосветскую моду, нарочитую наглость и цинизм, не был абсолютно новой фигурой для русского читателя. Это сочетание Карамзин отразил в повести «Моя исповедь» (1803). Типично английский герой Бульвера-Литтона и его русский предшественник воспринимались читателями в России как явления одного ряда. Герой Бульвера-Литтона, денди и нарушитель порядка, следуя принятому плану, культивирует «модную слабость», как герой Байрона — силу.

«Прибыв в Париж, я тотчас решил избрать определенное „амплуа“ и строго держаться его, ибо меня всегда снедало честолюбие и я стремился во всем отличаться от людского стада. Поразмыслив как следует над тем, какая роль мне лучше всего подходит, я понял, что выделиться среди мужчин, а следовательно, очаровывать женщин, я легче всего сумею, если буду изображать отчаянного фата. Поэтому я сделал себе прическу с локонами в виде штопоров, оделся нарочито просто, без вычур (к слову сказать — человек несветский поступил бы как раз наоборот) и, приняв чрезвычайно томный вид, впервые явился к лорду Беннингтону».

Пелэм культивирует не наглую индивидуалистическую силу, а наглую индивидуалистическую слабость, превращая ее в орудие своего превосходства над обществом. Ценность поведению денди придает не качество поступка, а то, в какой степени он выпадает из общепринятых норм: крайней трусостью можно так же тщеславиться, как и крайней храбростью:

«— Как вам нравятся наши улицы? — спросила престарелая, но сохранившая необычайную живость мадам де Г. — Боюсь, вы найдете, что для прогулок они не столь приятны, как лондонские тротуары.

— По правде сказать, — ответил я, — со времени моего приезда в Париж я всего один раз прогулялся a pied[119] по вашим улицам — и чуть не погиб, так как никто не оказал мне помощи. <…> Я свалился в пенистый поток, который вы именуете сточной канавой, а я — бурной речкой. Как вы думаете, мистер Абертон, что я предпринял в этом затруднительном и крайне опасном положении?

— Ну что ж, наверно постарались как можно скорее выкарабкаться, — сказал достойный

своего звания атташе.

— Вовсе нет: я был слишком испуган. Я стоял в воде, не двигаясь, и вопил о помощи».

Такое поведение денди увенчивается полным успехом:

«Мистер Абертон шепнул жирному, глупому лорду Лескомбу:

— Что за несносный щенок!

И все, даже старуха де Г., стали присматриваться ко мне гораздо внимательнее, чем раньше».

Искусство дендизма создает сложную систему собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной «поэзии утонченного костюма». Костюм — внешний знак дендизма, однако совсем не его сущность. Герой Бульвера-Литтона с гордостью говорит про себя, что он в Англии «ввел накрахмаленные галстуки». Он же «силою своего примера» «приказывал обтирать отвороты своих ботфорт[120] шампанским». Пушкинский Евгений Онегин «три часа по крайней мере // Пред зеркалами проводил».

Однако покрой фрака и подобные этому атрибуты моды составляют лишь внешнее выражение дендизма. Они слишком легко имитируются профанами, которым недоступна его внутренняя аристократическая сущность. Бульвер-Литтон рисует характерный разговор между истинным денди и неудачным подражателем дендизма:

«Стульц стремится делать

джентльменов, а

не фраки; каждый стежок у него притязает на аристократизм, в этом есть ужасающая вульгарность. Фрак работы Стульца вы безошибочно распознаете повсюду. Этого достаточно, чтобы его отвергнуть. Если мужчину можно узнать по неизменному, вдобавок отнюдь не оригинальному покрою его платья — о нем, в сущности, уже и говорить не приходится. Человек должен делать портного, а не портной — человека.

— Верно, черт возьми! — вскричал сэр Уиллоуби, так же плохо одетый, как плохо подаются обеды у лорда И***. — Совершенно верно! Я всегда уговаривал моих Schneiders[121] шить мне не по моде, но и не наперекор ей; не копировать мои фраки и панталоны с тех, что шьются для других, а кроить их применительно к моему телосложению, и уж никак не на манер равнобедренного треугольника. Посмотрите хотя бы на этот фрак, — и сэр Уиллоуби Тауншенд выпрямился и застыл, дабы мы могли вволю налюбоваться его одеянием.

— Фрак! — воскликнул Раслтон, изобразив на своем лице простодушное изумление, и брезгливо захватил двумя пальцами край воротника. — Фрак, сэр Уиллоуби? По-вашему,

этот предмет представляет собой фрак?»

Роман Бульвера-Литтона, являющийся как бы беллетризованной программой дендизма, получил распространение в России. Он не был причиной возникновения русского дендизма, скорее напротив: русский дендизм вызвал интерес к роману. Любопытным фактом этого интереса является эпизод, который традиция связывает с именем Пушкина (последнее не исключение, хотя и не вполне достоверно. Однако, какова бы ни была природа приводимого ниже случая, он представляет собой пример непосредственного влияния «Пелэма» на русское щегольское поведение). В полуапокрифической биографии Пушкина мы встречаем неожиданное описание дендистского поведения поэта. Известно, что Пушкин, подобно своему герою Чарскому из «Египетских ночей», не выносил столь милой для романтиков типа Кукольника роли «поэт в светском обществе». Автобиографически звучат слова:

«Публика смотрит на него (поэта), как на свою собственность[122]; по ее мнению, он рожден для ее

пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле: тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами».(VIII (1), 263)

Источник, о котором пойдет речь, рассказывает о якобы имевшем место разговоре Пушкина с девицей Н. М. Еропкиной, кузиной П. Ю. Нащокина:

«Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общею (московскою. —

Ю. Л.) ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отрастила себе животик и „с высот Линдора перекочевала в келью кулинара“. А рифмы — один ужас! (он засыпал меня примерами, всего не упомнишь).

— Пишу „Прометей“, а она лепечет „сельдерей“. Вдохновит меня „Паллада“, а она угощает „чашкой шоколада“. Появится мне грозная „Минерва“, а она смеется „из-под консерва“. На „Мессалину“ она нашла „малину“, „Марсу“ подносит „квасу“. „Божественный нектар“ — „поставлен самовар“ <…> Кричу в ужасе „Юпитер“, а она — „кондитер“»[123].

Документ этот вводит нас в забавную ситуацию. Наивная слушательница предполагает, что Пушкин доверил ей быть свидетельницей рождения поэтических текстов, а на самом деле поэт иронически выдает ей нечто, достойное ее представлений о творчестве. Хотя текст донесен до нас мемуаристкой в позднейшем и явно искаженном виде, но именно эта двойственность ситуации заставляет полагать, что в основе ее лежит какой-то подлинный эпизод. Тем интереснее увидеть, что слова, приводимые Еропкиной, имеют явную литературную параллель.

В рассматривавшемся выше романе Бульвера-Литтона есть исключительно близкое к «пушкинскому» тексту из воспоминаний Еропкиной место, где один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством:

«Начал я эффектно:

О нимфа! Голос музы нежный мог…

Но как я ни старался — мне приходила в голову одна лишь рифма —

„сапог“. Тогда я придумал другое начало:

Тебя прославить надо так…

но и тут я ничего не мог подобрать, кроме рифмы

„башмак“. Дальнейшие мои усилия были столь же успешны. „

Внешний цвет“ рождал в моем воображении рифму „

туалет“, со словом „

услада“ почему-то сочеталась „

помада “, откликом на „

жизнь уныла“, завершавшую второй стих, была весьма неблагозвучная антитеза — „

мыло“. Наконец убедившись, что поэтическое искусство не моя forte[124], я удвоил попечение о своей внешности; я

наряжался, украшался, умащался, завивался со всей тщательностью, которую, видимо, подсказывало само своеобразие рифм, рожденных моим вдохновением».

Смысл описанной Еропкиной сцены в свете этой параллели понимается так: в ответ на наивные домогательства девицы, ведущей «поэтическую беседу», Пушкин разыгрывает сцену по рецептам лондонского денди, заменяя лишь снобизм одежды гастрономическим.

Дендизм поведения Пушкина — не в мнимой приверженности к гастрономии, а в откровенной насмешке, почти наглости, с которой он осмеивает простодушие своей собеседницы. Именно наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу поведения денди. Герой неоконченного пушкинского «Романа в письмах» точно описывает механизм дендистской наглости: «Мужчины отменно недовольны моею fetuite indolente, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, что я нахал» (VIII (1),54).

Типично дендистское поведение было известно в кругу русских щеголей задолго до того, как имена Байрона и Бреммеля, равно как и само слово «денди», стали известны в России. Как уже говорилось, Карамзин в 1803 году описал этот любопытный феномен слияния бунта и цинизма, превращения эгоизма в своеобразную религию и насмешливое отношение ко всем принципам «пошлой» морали. Герой «Моей исповеди» с гордостью рассказывает о своих похождениях: «Я наделал много шуму в своем путешествии — тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких Княжеских Дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом; а более всего тем, что с добрыми Католиками целуя туфель Папы, укусил ему ногу, и заставил бедного старика закричать изо всей силы»[125]. Эти эпизоды впоследствии воспроизвел Ф. М. Достоевский в романе «Бесы». Ставрогин повторяет, трансформируя, цинические забавы героя Карамзина: он ставит в скандальное положение госпожу Липутину, публично целуя ее на балу, и под предлогом конфиденциального разговора кусает за ухо губернатора. Достоевский, конечно, не сводит сущность своего героя к образу, созданному Карамзиным. Однако внутренняя опустошенность дендизма кажется ему зловещим предсказанием судьбы «гражданина кантона Ури».

В предыстории русского дендизма можно отметить немало заметных персонажей. Одни из них — так называемые хрипуны. В цитированном уже «Романе в письмах» Пушкина один из друзей пишет Владимиру: «Ты отстал от своего века (действие романа происходит во вторую половину 1820-х годов. —

Ю. Л.) и сбиваешься на ci-devant[126] гвардии хрипуна 1807 года» (VIII (1), 55). «Хрипуны» как явление уже прошедшее упоминаются Пушкиным в вариантах «Домика в Коломне»:

… Гвардейцы затяжные,

Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк)[127].

Грибоедов в «Горе от ума» называет Скалозуба: «Хрипун, удавленник, фагот».

Смысл этих военных жаргонизмов эпохи до 1812 года современному читателю остается непонятным. В сознании его вырисовывается образ хрипящего старика. Такое понимание закрепил своим авторитетом К. С. Станиславский. В мхатовской постановке «Горя от ума» [128] роль Скалозуба исполнял Л. М. Леонидов, загримированный под пятидесятилетнего генерала (у Грибоедова — полковник!), тучного, с крашеными волосами. Грибоедовский герой, однако, совсем не соответствует этому образу. Прежде всего он молод (ср. слова Лизы: «… служите недавно»), однако уже полковник, хотя на войну попал только в 1813 году (демонстративное исключение его из числа участников войны 1812 года весьма знаменательно). Все три названия Скалозуба («Хрипун, удавленник, фагот») говорят о перетянутой талии (ср. слова самого Скалозуба: «И талии так узки»). Это же объясняет и пушкинское выражение «Гвардейцы затяжные» — то есть перетянутые в поясе. Затягивание пояса до соперничества с женской талией — отсюда сравнение перетянутого офицера с фаготом — придавало военному моднику вид «удавленника» и оправдывало называние его «хрипуном». Представление об узкой талии как о важном признаке мужской красоты держалось еще несколько десятилетий. Николай I туго перетягивался, даже когда в 1840-х годах у него отрос живот. Он предпочитал переносить сильные физические страдания, лишь бы сохранить иллюзию талии. Мода эта захватила не только военных. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии: «На днях я мерился поясом с Евпр<аксией> и тальи наши нашлись одинаковы. Следовательно из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летн<его> мущины» (ХШ, 120).

В поведении денди большую роль играли очки — деталь, унаследованная от щеголей предшествующей эпохи. Еще в XVIII веке очки приобрели характер модной детали туалета. Взгляд через очки приравнивался разглядыванию чужого лица в упор, то есть дерзкому жесту. Приличия XVIII века в России запрещали младшим по возрасту или чину смотреть через очки на старших: это воспринималось как наглость. Дельвиг вспоминал, что в Лицее запрещали носить очки и что поэтому ему все женщины казались красавицами, иронически добавляя, что, окончив Лицей и приобретя очки, он был сильно разочарован.

Сочетание очков со щегольской дерзостью отметил еще в 1765 году В. Лукин в комедии «Щепетильник». Здесь в диалоге двух крестьян, Мирона и Василия, говорящих на диалектах, сохранивших природную чистоту неиспорченного сердца, описывается непонятный для народа барский обычай:

«Мирон-работник

(держа в руках зрительную трубку): Васюк, смотри-ка. У нас в экие дудки играют, а здесь в них один глаз прищуря, не веть цавота смотрят. Да добро бы, брацень, издали, а то нос с носом столкнувшись, угемятся друг на друга. У них мне-ка стыда-та совсем, кажется, нету»[129].

Московский главнокомандующий в самом начале XIX века И. В. Гудович был большим врагом очков и срывал их с лиц молодых людей со словами: «Нечего вам здесь так пристально разглядывать!» Тогда же в Москве шутники провели по бульварам кобылу в очках и с надписью: «А только трех лет».

Дендизм ввел в эту моду свой оттенок: появился лорнет, воспринимавшийся как признак

англомании. В «Путешествии Онегина» Пушкин с дружеской иронией писал:

Одессу звучными стихами

Наш друг Туманский описал…

Приехав, он прямым поэтом

Пошел бродить с своим лорнетом…

(VI, 202)

Туманский, приехавший в Одессу из Коллеж де Франс, где он завершал курс наук, держался по всем правилам дендистского поведения, что и вызвало дружескую иронию Пушкина.

Специфической чертой дендистского поведения было также рассматривание в театре через зрительную трубу не сцены, а лож, занятых дамами. Онегин подчеркивает дендизм этого жеста тем, что глядит «скосясь», что считалось дерзостью:

Двойной лорнет скосясь наводит

На ложи незнакомых дам…

(1, XXI)

а глядеть так на

незнакомых дам — двойная дерзость. Женским адекватом «дерзкой оптики» был лорнет, если его обращали не на сцену:

Не обратились на нее

Ни дам ревнивые лорнеты,

Ни трубки модных знатоков…

(7, L)

Другой характерный признак бытового дендизма — поза разочарованности и пресыщенности. В «Барышне-крестьянке» Пушкин говорит о моде, требовавшей от молодого человека подчинять свое каждодневное бытовое поведение подобной маске: «Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы». В «Барышне-крестьянке» деталь эта окрашена в тона versunkende Kultur[130] и звучит иронически. В письме А. Дельвигу от 2 марта 1827 года Пушкин пишет о младшем брате Льве

Сергеевиче: «Лев был здесь — малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у вашего Andrieux[131] 400 рублей и ублудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что имение его расстроено и что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую душу. Уморительно» (XIII, 320).

Однако «преждевременная старость души» (слова Пушкина о герое «Кавказского пленника») и разочарованность могли в первую половину 1820-х годов восприниматься не только в ироническом ключе. Когда эти свойства проявлялись в характере и поведении таких людей, как П. Я. Чаадаев, они приобретали трагический смысл. Чаадаев, например, находил героя пушкинского «Кавказского пленника» недостаточно разочарованным, видимо считая, что ни неразделенная любовь, ни даже плен не являются достойными причинами для разочарования. Лишь ситуация полной невозможности действия, а именно так воспринимал Чаадаев русскую действительность после неудачи своей попытки оказать влияние на Александра I, может породить самоощущение бесполезности жизни. Именно здесь проходила черта, отделявшая Чаадаева от его друзей из «Союза благоденствия». Чаадаев был максималист, и, вероятно, в этом, а не только в личном обаянии, рыцарском стиле поведения и одежде утонченного денди заключался секрет его влияния на Пушкина, пережившего со свойственной ему страстностью настоящую влюбленность в своего старшего друга. Чаадаева не могли удовлетворить благоразумные планы «Союза благоденствия»: просвещение общества, влияние на государственных руководителей, постепенное овладение ключевыми узлами власти. Все это было рассчитано на годы и десятилетия. Чаадаев же вдохновлялся героическими планами. В петербургский период жизни Пушкина он, видимо, увлек его идеей героического подвига, поступка, который мгновенно преобразит жизнь России. Таким, можно полагать, был план убийства государя. Ю. Г. Оксман в лекциях, частично оставшихся неопубликованными, а потом В. В. Пугачев обратили внимание на то, что конец известного всем со школьной скамьи стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» трудно поддается объяснению. Почему имя Пушкина, не опубликовавшего к тому времени даже «Руслана и Людмилу» и более прославившегося пока вызывающим поведением, чем поэзией, будет достойно быть написанным «на обломках самовластья»? Ведь политическая лирика южного периода еще не создана, а ода «Вольность» и «Деревня» звучат не более революционно, чем «Негодование» П. Вяземского. Один из авторов эпиграммы на Пушкина подчеркнул именно несерьезность, легковесность политических претензий молодого поэта, основа которых:

Два иль три ноэля,

Гимн Занду на устах[132],

В руках — портрет Лувеля[133].

Да и права Чаадаева на то, чтобы его имя было начертано «на обломках самовластья», отнюдь не казались очевидными.

Однако слова Пушкина в подписи к портрету Чаадаева: «Он в Риме был бы Брут…», может быть, проливают некоторый свет на загадочное завершение послания «К Чаадаеву». К этому можно добавить признание в неотправленном письме к Александру I: Пушкин признается Государю, что клевета Толстого-Американца (последний пустил слух, что Пушкин был высечен в полиции) поставила его на грань самоубийства. Как известно, от самоубийства отвратил Пушкина именно Чаадаев, указав ему, как это следует из многочисленных автобиографических признаний в стихах и прозе, более возвышенную цель жизни. Позже, когда скептические сомнения перечеркнули у Пушкина эти героические планы, он писал в послании «Чаадаеву (С морского берега Тавриды)»:

Чедаев, помнишь ли былое?

Давно ль с восторгом молодым

Я мыслил имя роковое

Предать развалинам иным?

(II, 364)

Строки эти вызвали недоумение М. Гофмана, который писал: «Самодержавие совсем не имя»[134].[135] Сомнение крупного пушкиниста снимается тем, что под роковым именем следует понимать указание лично на Александра I, героическое покушение на которого обдумывали поэт и «русский Брут» П. Я. Чаадаев.

Разочарование в этом замысле вызвало у Чаадаева другой романтический план — попытку стать русским маркизом Позой, и только крах и этого замысла превратил его в разочарованного путешественника. Именно в эту пору чаадаевский байронизм начал окрашиваться в тона дендизма. М. И. Муравьев-Апостол в письме к И. Д. Якушкину от 27 мая 1825 года провел резкую черту между байроновским романтическим максимализмом и политическим реализмом «Союза благоденствия»: «Расскажи мне подробнее о Петре Чаадаеве. Прогнало ли ясное итальянское небо ту скуку, которою он, по-видимому, столь сильно мучился в пребывание свое в Петербурге, перед выездом за границу? Я его проводил до судна, которое должно было его увезти в Лондон. Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которою не обманешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою показывают свою глубину, — ну, пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке!»[136] Однако «скука» — хандра была слишком распространенным явлением, чтобы исследователь мог отмахнуться от нее, подобно Муравьеву-Апостолу. Для нас она особенно интересна в данном случае тем, что характеризует именно бытовое поведение. Так, подобно Чаадаеву, хандра выгоняет за границу Чацкого:

Где носится? в каких краях?

Лечился, говорят, на кислых он водах,

Не от болезни, чай, от скуки…

Это же пережил и Онегин:

Недуг, которому причину

Давно бы отыскать пора,

Подобный английскому

сплину

Короче: русская

хандра

Им овладела понемногу.

(1, XXXVIII)

Сплин как причина распространения самоубийств среди англичан упоминался еще Н. М. Карамзиным в «Письмах русского путешественника». Тем более заметно, что в русском дворянском быту интересующей нас эпохи самоубийство от разочарованности было достаточно редким явлением, и в стереотип дендистского поведения оно не входило. Его место занимали дуэль, безрассудное поведение на войне, отчаянная игра в карты. Если в одной из неоконченных пушкинских повестей герой поступает подобно любовникам Клеопатры, покупая «ценою жизни ночь» любви, то все описание этого эпизода воспроизводит ситуацию поединка, хотя вторым участником в нем является героиня — женщина.

Между поведением денди и разными оттенками политического либерализма 1820-х годов были пересечения. В отдельных случаях, как это имело место, например, с Чаадаевым или отчасти с кн. П. А. Вяземским, эти формы общественного поведения могли сливаться. Однако природа их была различна. Дендизм, прежде всего, — именно поведение, а не теория или идеология[137]. Кроме того, дендизм ограничен узкой сферой быта. Поэтому, не будучи смешан с более существенными сферами общественной жизни (как это было, например, у Байрона), он захватывает лишь поверхностные слои культуры своего времени. Неотделимый от индивидуализма и одновременно находящийся в неизменной зависимости от наблюдателей, дендизм постоянно колеблется между претензией на бунт и разнообразными компромиссами с обществом. Его ограниченность заключена в ограниченности и непоследовательности моды, на языке которой он вынужден разговаривать со своей эпохой.

Двойственная природа русского дендизма создавала возможность двоякой его интерпретации. В 1912 году М. Кузмин сопроводил русский перевод книги Барбэ д'Оревильи предисловием, не лишенным скрытой полемики[138]. Барбэ д'Оревильи подчеркивал индивидуалистическую неповторимость поведения денди, его принципиальную враждебность любому шаблону — Кузмин, чуждый индивидуалистическому бунту французского автора, выделял шаблонность самой борьбы с шаблоном и в дендизме подчеркивал эстетскую утонченность кружка, запертого в «башне из слоновой кости», а не мятеж индивидуалиста. Если последний строился на отвержении всяких условностей, то первый культивировал самый утонченный эзотеризм. Культ утонченного сообщества отвергал дух индивидуалистического бунтарства и неизбежно приводил утонченных эстетов к слиянию с миром «светских приличий». Так, грибоедовский князь Григорий, который

Век с англичанами, вся английская складка

И так же он сквозь зубы говорит,

И так же коротко обстрижен для порядка[139],

еще несет в себе слабый оттенок либерализма («Шумим, братец, шумим»). Дело происходит в первую половину 1820-х годов. Но после 14 декабря и этого оттенка не останется: англоманы Блудов и Дашков примут участие в судебной расправе с декабристами и быстро пойдут в гору. Англоманом и денди был также М. С. Воронцов, сын дипломата, многолетнего

посла в Лондоне, который при Павле предпочел остаться в Англии, несмотря на отставку. Михаил Семенович Воронцов, с детства воспитанный на английский манер, получил самое лучшее, какое только было возможно, образование. Когда он был мальчиком, Н. Карамзин, встретившийся с ним в Лондоне, посвятил ему стихотворение, а соученик Радищева, масон и энциклопедически образованный человек В. Н. Зиновьев принимал участие в его воспитании. Сделав блестящую карьеру в гвардии, Воронцов участвовал в наполеоновских войнах, а затем, командуя русским оккупационным корпусом в Мобеже под Парижем, показал себя прогрессистом: уничтожил в корпусе телесные наказания и завел, с помощью С. И. Тургенева, ланкастерские школы взаимного обучения для солдат. Все это создало Воронцову репутацию либерала. Однако, глубоко пронизанный духом дендизма, Воронцов высокомерно держался с подчиненными, разыгрывая просвещенного англомана. Это не мешало ему быть очень ловким придворным, сначала при Александре I, а потом и при Николае Павловиче. Пушкин точно охарактеризовал его: «Полумилорд <…> полуподлец». В «Воображаемом разговоре с Александром I» Пушкин назвал Воронцова «вандалом, придворным хамом и мелким эгоистом». Объективность этой характеристики подтверждается мнением одесского чиновника А. И. Казначеева, племянника адмирала А. С. Шишкова, который писал, что Воронцов был человеком двуличным и неискренним[140]. Именно эта двуликость сделалась характерной чертой странного симбиоза дендизма и петербургской бюрократии. Английские привычки бытового поведения, манеры стареющего денди, равно как и порядочность в границах николаевского режима, — таков будет путь Блудова и Дашкова. «Русского денди» Воронцова ждала судьба главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом, наместника Кавказа, генерал-фельдмаршала и светлейшего князя. У Чаадаева же — совсем другая судьба — официальное объявление сумасшедшим. Бунтарский байронизм Лермонтова будет уже не умещаться в границах дендизма, хотя, отраженный в зеркале Печорина, он обнаружит эту, уходящую в прошлое, родовую связь.

Карточная игра

[Но мне] досталася на часть

Игры губительная страсть <…>

Страсть к банку! ни любовь свободы,

Ни Феб, ни дружба, ни пиры

Не отвлекли б в минувши годы

Меня от карточной игры —

Задумчивый, всю ночь, до света

Бывал готов я в эти лета

Допрашивать судьбы завет,

Налево ль выпадет

валет.

Уж раздавался звон обеден,

Среди разбросанных колод

Дремал усталый банкомет

А я [нахмурен] бодр и бледен

Надежды полн, закрыв глаза

Гнул угол третьего

туза.

(Пушкин, VI, 280–281)

Подобно тому, как в эпоху барокко мир воспринимался в виде огромной, созданной Господом книги и образ книги делался моделью многочисленных сложных понятий (а попадая в текст, становился сюжетной темой), карты и карточная игра приобретают в конце XVIII — начале XIX века черты универсальной модели — Карточной Игры, центра своеобразного мифообразования эпохи.

Что ни толкуй Волтер или Декарт —

Мир для меня — колода карт,

Жизнь — банк; рок мечет, я играю,

И правила игры я к людям применяю. [141]

То, что карточная игра сделалась своеобразной моделью жизни, доказывает следующий пример. В 1820 году Гофман опубликовал повесть «Spielersgluck». Русские переводы не заставили себя долго ждать: в 1822 году — перевод В. Полякова, в 1836 году — И. Безсомыкина[142]. Развернутый в повести сюжет проигрыша возлюбленной в карты не остался незамеченным. Вполне вероятно, что он был в поле зрения Лермонтова, который, видимо, во второй половине 1837 года приступил к работе над «Тамбовской казначейшей» [143]. Однако, работая над своим произведением, Гофман наверняка не знал о нашумевшей в Москве 1802 года истории, когда князь Александр Николаевич Голицын, мот, картежник и светский шалопай, проиграл свою жену, княгиню Марию Гавриловну (урожденную Вяземскую), одному из самых ярких московских бар — графу Льву Кирилловичу Разумовскому, известному в свете как le comte Leon — сыну гетмана, масону, меценату, чьи празднества в доме на Тверской и в Петровском-Разумовском были притчей всей Москвы. Последовавшие за этим развод княгини с мужем и второе замужество придали скандалу громкий характер[144].

В функции карточной игры проявляется ее двойная природа. С одной стороны, карточная игра есть игра, то есть представляет собой образ конфликтной ситуации. В рамках карточной игры каждая отдельная карта получает свой смысл по тому месту, которое она занимает в системе карт. Так, например, дама ниже короля и выше валета, валет, в свою очередь, также

расположен между дамой и десяткой и так далее. Вне отношения к другим картам отдельная, вырванная из системы карта ценности не имеет, так как не связана ни с каким значением, лежащим вне игры.

С другой стороны, карты используются и при гадании[145]. Здесь активизируются другие функции карт: прогнозирующая («что будет, чем сердце успокоится») и программирующая. Одновременно при гадании выступают на первый план значения отдельных карт. Так, когда в «Пиковой даме» в расстроенном воображении Германна карты обретают внеигровую семантику («тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком»), — то это приписывание им значений, которых они в данной системе не имеют (строго говоря, таких значений не имеют и гадальные карты, однако сам принцип приписывания отдельным картам значений взят из гаданий). Когда у Пушкина мы встречаем эпиграф к «Пиковой даме»: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга »[146], а затем в тексте произведения пиковая дама выступает как игральная карта — перед нами типичный случай взаимовлияния этих двух планов. Здесь, в частности, можно усмотреть одну из причин, почему карточная игра заняла в воображении современников (и в художественной литературе) совершенно особое место. Она не сопоставима с другими модными играми той поры, например с популярными в конце XVIII века шахматами. Существенную роль сыграло, видимо, и то, что единое понятие «карточная игра» покрывает два весьма различных типа конфликтных ситуаций — это так называемые «коммерческие» и «азартные» игры. Можно привести многочисленные данные о том, что первые рассматриваются как «приличные»[147], а вторые — встречают решительное моральное осуждение. Одновременно первые игры приписываются «солидным людям», и увлечение ими не имеет того характера всеобъемлющей моды, который характеризует вторые. Жанлис в своем «Критическом и систематическом словаре придворного этикета» пишет: «Будем надеяться, что хозяйки гостиных проявят достаточно достоинства, чтобы не потерпеть у себя азартных игр: более чем достаточно разрешить биллиард и вист, которые за последние десять-двенадцать лет сделались значительно более денежными играми, приближаясь к азартным и прибавив бесчисленное число испортивших их новшеств. Почтенный пикет единственный остался нетронутым в своей первородной чистоте — недаром он теперь в небольшом почете»[148].

В «Переписке Моды» Н. Страхова Карточная Игра представляет Моде послужные списки своих подданных: «I. Денежныя игры, достойныя к повышению:

1. Банк.

2. Рест.

3. Квинтич.

4. Веньт-Эн.

5. Кучки.

6. Юрдон.

7. Гора.

8. Макао, которое некоторым образом крайне разобижено неупотреблением. II. Нововыезжия игры, которыя достойно принять в службу и ввести в общее употребление:

1. Штос.

2. Три и три.

3. Рокамболь. III. Игры, подавшие просьбы о помещении их в службу степенных солидных людей.

1. Ломбер.

2. Вист.

3. Пикет.

4. Тентере.

5. А л'а муш. IV. Игры, подавшия просьбу о увольнении их в уезды и деревни.

1. Панфил.

2. Тресет.

3. Басет.

4. Шнип-шнап-шнур.

5. Марьяж.

6. Дурачки с пар.

7. Дурачки в навалку.

8. Дурачки во все карты.

9. Ерошки или хрюшки.

10. Три листка.

11. Семь листов.

12. Никитишны и

13. В носки — в чистую отставку»[149].

Обе приведенные выше цитаты строго отграничивают «солидные» и «нравственные» коммерческие игры от «модных» и опасных — азартных (заметим, что на первом месте среди последних у Страхова стоят банк и штосе — разновидности фараона). Известно, что азартные игры в России конца XVIII — начала XIX века формально подвергались запрещению как безнравственные, хотя практически процветали.

Разница между этими видами игр, обусловившая и различия в их социальной функции, заключается в степени информации, которая имеется у игроков, и, следовательно, в том, чем определяется выигрыш: расчетом или случаем. В коммерческих играх задача партнера состоит в разгадывании стратегии противника, причем в распоряжении каждого партнера имеется достаточно данных, чтобы при способности перебирать варианты и делать необходимые вычисления эту стратегию разгадать. Во-первых, поскольку коммерческие игры — игры с относительно сложными правилами (сравнительно с азартными), число возможных стратегий ограничено в них самой сущностью игры. Во-вторых, психология партнера накладывает ограничения на его стратегический выбор. В-третьих, выбор зависит и от случайного элемента — характера карт, сданных партнеру. Эта последняя сторона дела наиболее скрыта. Но и о ней вполне можно делать вероятные предположения на основании

хода игры. Одновременно игрок в коммерческую игру определяет и свою стратегию, стараясь скрыть ее от противника.

Таким образом, коммерческая игра, являясь интеллектуальной дуэлью, может выступать как модель определенного типа конфликтов:

1. Конфликтов между равными противниками, то есть между игроками.

2. Конфликтов, подразумевающих возможность достаточно полной информации участников относительно интересующих их сторон конфликта и, следовательно, рационально регулируемой возможности выигрыша.

Коммерческие игры моделируют такие конфликты, при которых интеллектуальное превосходство и владение большей информацией одного из партнеров обеспечивает успех. Не случайно XVIII век воспел «Игроком ломбера» В. Майкова не только коммерческую игру, но и строгое

следование правилам, расчет и умеренность:

…обиталище для тех определенно,

Кто может в ломбере с воздержностью играть;

И если так себя кто может воздержать,

Что без четырех игр и карт не покупает,

А без пяти в свой век санпрандер не играет…

…Что если станет впредь воздержнее играть,

То может быть в игре счастливей нежель прежде[150].

Б. В. Томашевский имел все основания утверждать, что «Майков в поэме становится на точку зрения умеренной карточной игры, рекомендуя в игре не азарт, а расчет»[151]. Возникновение поэм о правилах игр, например шахмат[152], в этом смысле вполне закономерно.

Карточная игра и шахматы являются как бы антиподами игрального мира. Культура XVIII — начала XIX века знает периоды повального увлечения шахматами. Конфликты на шахматной доске порой принимали очень острую форму — свидетельство наличия азарта. И тем более знаменательно качественное отличие азартов шахматного и карточного. С. Н. Марин сообщал 2 марта 1804 года находящемуся на театре военных действий М. С. Воронцову петербургские новости: «На нас нашло новое сумасшествие: все, что дышит в баталионе, играет в большую (т. е. на крупные деньги. —

Ю. Л.) в шахматы; все сделались мастерами, и мы с Арсеньевым кончим, я думаю, когда-нибудь дракою не на шпагах, а просто за волоса. По сю пору я не написал к тебе, что к вечерним собраниям прибавилось несколько каб[153]. 1) Граф Апраксин с шишкой, 2) Загрядской, 3) Релье, и мы бьемся иногда до зари в квинтич, который облагородили, назвав кенз (от карточного термина кензельва. —

Ю. Л.)»[154].

Письмо Марина приобретает особый смысл, если вспомнить, что оно обращено к М. С. Воронцову, пережившему в это самое время кровопролитную битву при Гандже (3 января 1804 года). Воронцов в этой битве отличился, вынеся на плечах тяжело раненного П. С. Котляревского— в будущем знаменитого военачальника. Таким образом, создается многоступенчатая система азарта: сражение, карты, шахматы.

Азартные игры строятся так, что игрок вынужден принимать решения, фактически не имея никакой (или почти никакой) информации. Таким образом, он играет не с другим человеком, а со Случаем. А если вспомнить, что У. Дж. Рейхман пишет: «Случай является синонимом… неизвестных факторов, и в значительной мере именно это подразумевает обычный человек под удачей»[155], то станет очевидно, что азартная игра — модель борьбы человека с Неизвестными Факторами. Именно здесь мы подходим к сущности того, какой конфликт моделировался в русской жизни интересующей нас эпохи средствами азартных игр и почему эти игры превращались в страсть целых поколений (см. признание Пушкина Вульфу: «Страсть к игре есть самая сильная из страстей») и настойчиво повторяющийся мотив литературы.

Мысли о случае, удаче и о связи с ними личной судьбы и активности человека не однажды встречаются в мировой литературе. Античный роман, новелла Возрождения, плутовской роман XVII–XVIII веков, психологическая проза Стендаля и Бальзака отразили различные аспекты и этапы интереса к проблеме. В каждом из этих явлений легко открыть черты исторической закономерности. Однако к обострению проблемы могли привести не только исторические, но и национальные причины. Нельзя не заметить, что весь так называемый «петербургский», императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая (а в XVIII веке — над его конкретным проявлением «случаем»[156] — специфической формой устройства личной судьбы в условиях «женского правления»), фатумом, противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха, самоутверждения, игрой личности с обстоятельствами, историей, Целым, законы которых остаются для нее Неизвестными Факторами. И почти на всем протяжении этого периода более общие сюжетные коллизии конкретизируются — наряду с некоторыми другими ключевыми темами-образами — через тему банка, фараона, штосса, рулетки — азартных игр.

Уже во вторую половину XVIII века сложился литературный канон восприятия «случая», «карьера» (слово это чаще употреблялось в мужском роде) как результатов непредсказуемой игры обстоятельств, капризов Фортуны. «Счастье» русского дворянина XVIII столетия складывается из столкновения многообразных, часто взаимоисключающих упорядоченностей социальной жизни. Такие понятия, как «счастье», «удача», и действие, дарующее их, — «милость», мыслились не как реализация непреложных законов, а как эксцесс — непредсказуемое нарушение правил. Игра различных, взаимно не связанных упорядоченностей превращала неожиданность в постоянно действующий механизм. Ее ждали, ей радовались или огорчались, но ей не удивлялись, поскольку она входила в круг возможного, как человек, участвующий в лотерее, радуется, но не изумляется выигрышу.

Пересечение принципов «регулярной государственности» и пронизывающего все здание общества произвола создает ситуацию непредсказуемости. Образом государственности становится не «закономерная» машина, а механизм азартной карточной игры. Такую картину вселенского «фараона» мы находим в оде Державина «На Счастье»:

В те дни, как все везде в разгулье:

Политика и правосудье,

Ум, совесть, и закон святой,

И логика пиры пирует,

На карты ставят век златой,

Судьбами смертных пунтируют,

Вселенну в трантелево гнут[157];

Как полюсы, меридианы,

Науки, музы, боги — пьяны,

Все скачут, пляшут и поют…

Азартные игры выработали свою терминологию. В России наиболее распространены были

фараон и

штосе — игры, в которых наибольшую роль играл случай. Играющие в этих играх делятся на банкомета, который мечет карты, и понтера. Игра может происходить один на один. Так, например, в «Пиковой даме» Пушкина игра между Германном и Чекалинским проходит именно так. Остальные игроки превращаются в зрителей. Однако возможно участие и многих понтеров одновременно. Каждый из игроков получает колоду карт. Во избежание шулерства, колоды выдаются новые, нераспечатанные. Их распечатывают тут же особым специально отработанным жестом: крест-накрест заклеенная колода карт резко сжимается левой рукой, в результате чего заклейка с треском лопается. Дважды играть одной и той же колодой не разрешается, и после полной прокидки всей колоды (талии) карты бросают под стол, и игроки получают новые карты. Понтеры выбирают из колоды одну карту, на которую ставят сумму равную той, которую объявил банкомет. После того, как играющие «называют» игру, банкомет начинает метать банк. Как правило, банкомет и понтеры располагаются по разные стороны вытянутого прямоугольного стола, покрытого зеленым сукном, которое служит для записи ставок и долгов. На этом же зеленом сукне производятся все расчеты. Перед каждым понтером лежит мелок, щетка и поставленная им куча монет. Чаще всего расплачиваться нужно было тут же, на месте, хотя можно было играть и «на мелок», то есть в долг. Цитата из «Выстрела» Пушкина демонстрирует две эти возможности — расплаты на месте или записи конечного расчета: Сильвио в «Выстреле» «или доплачивал достальное, или записывал лишнее». Положение карты — «направо» и «налево» — считается от банкомета. Строки Пушкина: «Допрашивать судьбы завет // Налево ль выпадет валет» — описывают следующую ситуацию: понтер поставил на валета, если карта эта ляжет налево от банкомета, значит, понтер выиграл.

Предельная упрощенность правил игры сводила практически к нулю при честной игре самый вопрос картежного искусства. Последнее заменялось Случаем. Это выдвигало вперед философию случайности (отсюда интерес к математическим дисциплинам, занятым этой проблемой, например, заинтересованность Пушкина в математической теории вероятности) или мистику, вторжение потусторонних сил в закономерный порядок. Это же заставляло усматривать связь между азартной игрой и общей философией романтизма, с его культом непредсказуемости и выпадения из нормы.

Строгая нормированность, проникавшая и в частную жизнь человека империи, создавала психологическую потребность взрывов непредсказуемости. И если, с одной стороны, попытки угадать тайны непредсказуемости питались стремлением упорядочить неупорядоченное, то,

с другой стороны, атмосфера города и страны, в которых «дух неволи» переплетался со «строгим видом», порождала жажду непредсказуемого, неправильного и случайного[158].

Это было сродни моде на «неправильную красоту», отразившейся на ряде человеческих судеб (например, Лермонтова). Сам Лермонтов назвал романтический идеал «красотою безобразной».

С этой точки зрения интересно взглянуть на сюжет главы «Фаталист» в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Глава «Фаталист» отражает глубокие философские размышления Лермонтова. Однако для понимания их необходимо знать те правила карточной игры, которые были прекрасно известны читателям Лермонтова и знание которых входило в расчет автора. Герой Лермонтова Вулич — фаталист. Он не признает власти Случая и демонстрирует свою веру в фатальную предрешенность событий дерзким экспериментом — нажимает курок заряженного пистолета, приставив его ко лбу. Однако Лермонтов вводит в характер героя еще одну черту: Вулич — страстный игрок.

«Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. „Поставь ва-банк!“ — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. — „Идет семерка“, — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху Вулич докинул талью, карта была дана».

Смысл этого эпизода в том, что увлекающая Вулича азартная игра — сама по себе царство Случая (мы уже отмечали, что само слово «hasard» означает «случай»). Если Печорин, который верит в безграничную власть воли человека, вдруг отдается силе фатальной предопределенности событий, то Вулич в карточной игре находит антитезу своему фатализму. За этим стоит еще более глубокий смысл: отсутствие свободы в действительности уравновешивается непредсказуемой свободой карточной игры. Не случайно отчаянные вспышки карточной игры неизбежно сопутствовали эпохам реакции. Так, глухие, зажатые между аракчеевщиной и тем, что Пушкин назвал «мистики придворное кривлянье», 1824 и 1825 годы сопровождались взрывом безудержной карточной игры, отмеченным мемуаристами. Такая же волна повторилась в мрачные николаевские 1830-е годы.

Психологически характерен и следующий эпизод из биографии Пушкина. В последних числах ноября — начале декабря 1826 года Пушкин направлялся из Михайловского в столицу. Настроение у него было тяжелое. Во-первых, он получил от царя опасное приказание изложить свои мысли о влиянии просвещения на общество. Булгарин, получивший аналогичное предложение, понял, что от него требуется, и написал донос на Лицей. Пушкин же попытался защищать перед царем просвещение, за что получил через Бенкендорфа «головомойку». Одновременно начали сказываться неприятные стороны объявленной ему личной цензуры Николая. Пушкин вынужден был срочно известить Погодина о необходимости задержать до царского разрешения все его произведения, находящиеся в печати. Это было накладно и унизительно. В письмах Погодину Пушкин писал: «… ради Бога, как можно скорее, остановите в Моск<овской> цензуре все, что носит мое имя —

такова воля высшего начальства» (XIII, 307). В тот же день пришлось писать извинительное письмо Бенкендорфу. Настроение, видимо, было ужасное, и в столицу ехать не хотелось. Пушкин придрался к тому, что перевернувшаяся коляска прижала его ногу, и засел во Пскове, где у него завязалась со случайными встречными отчаянная карточная игра, и в результате — огромный проигрыш. 1 декабря из Пскова он писал Вяземскому: «Еду к Вам и не доеду. Какой! меня доезжают!., изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове вместо того, чтобы писать 7-ую гл. Онегина, я проигрываю в штос

четвертую: не забавно» (там же, 310). Взрыв отчаянной игры — разрядка нервного напряжения.

Роль случая подчеркивала значение в игре, с одной стороны, непредсказуемых факторов, а с другой — выдержки, хладнокровия, мужества, способности не терять головы в трудных обстоятельствах и сохранять достоинство в гибельных ситуациях — то есть тех качеств, которые следовало проявлять и в сражении, и на дуэли. Это сближало все три названных вида поведения в едином психологическом подтексте.

Во время игры в неазартные игры допустимы были шутки. Приличным считался сдержанно-шутливый тон. При азартной игре подобные вольности не допускались: игра должна совершаться в полном молчании, игроки обмениваются словами, имеющими прямое отношение к игре, и пользуются, как правило, специальной, условной, «игрецкой» терминологией. Это способствовало развитию особого языка карточной игры, который в дальнейшем бурно проникал в другие сферы культуры, карточная терминология широко входила в язык эпохи. Ироническую гиперболизацию этого явления находим, например, в уже упоминавшейся книге Страхова «Переписка Моды».

«Письмо 5 От карточной Игры к Моде Милостивая Государыня!

С оника узнавши о прибытии вашем в здешний город, я за долг почла, во-первых, препоручить себя высокому вашему

руте, а во-вторых, всепокорнейшего в том просить извинения, что я по причине ежедневно и еженощно отправляемых мною дел, не могла, да и теперь даже не в состоянии, точно засвидетельствовать вам глубочайшее мое почтение. Весь почти город имеет во мне нужду, не только <…> ежедневно, но почти ежечасно и ежеминутно, так что нет мне покою ни утром, ни после обеда, ни по вечеру, ни ночью. Едва успею я поутру отвязаться от тех игроков, которые проиграли всю ночь, как должна куда-нибудь отправиться после обеда, потом скакать на какую-нибудь вечеринку игроков, а ночь паки проводить в тех учрежденных мною домах, куда съезжаются для испытания полунощнаго щастия все те, которым день

нерутировал. Клянусь вам, Милостивая Государыня, всеми

четырьмя вистовыми онерами [159], что состояние мое на сем свете хуже самой последней

двойки. Все дни мои в разсуждении беспокойств

одной масти, и я никогда от оных не могу

пасовать [160]. Никогда я также не могу

прикупить свободных дней, но недосуги за недосугами всегда так следуют, как завязывается

пуля за

пулею» [161].

Порядок игры строго расписан. Один из участников игры (в штосе или банк), банкомет, ставит какую-либо сумму денег («держит», «мечет банк»), понтер объявляет, на какую сумму (или на весь банк — то есть

«ва-банк») он играет; выиграть ва-банк —

сорвать банк. Играть одними и теми же кушами, не увеличивая ставки, — играть

мирандолем; семпель — один простой куш, поставить на

руте — поставить на ту же карту, не открывая ее, —

темное руте (или тайное), сравните:

Не ставлю грозно карты темной

Заметя тайное

руте.

(Пушкин, VI, 282)

Сравните также описание руте в «Эликсире сатаны» Гофмана:

«Я уставился на эту карту, с трудом скрывая охватившее меня волнение; громкий вопрос банкомета, намерен ли я ставить на эту карту, вывел меня из оцепенения. Непроизвольно я сунул руку в карман, вынул последние пять луидоров и поставил их на карту. Дама выиграла, и я продолжал все ставить и ставить на нее, увеличивая ставки по мере того, как возрастал выигрыш».

Для увеличения ставки вдвое понтер

загибает угол, вчетверо — два угла. Сравните в «Маскараде»:

Вам надо счастие поправить,

А семпелями плохо…

……..

Надо гнуть.

Сравните также:

А в ненастные дни

Собирались они Часто;

Гнули <…>

От пятидесяти

На сто —

то есть увеличивали ставку вдвое. Увеличивать ставку вдвое —

играть паролями; увеличивать вчетверо —

пароли пе. Кензельва — увеличение ставки в пятнадцать раз против первоначальной,

септильвй — в двадцать один раз. Сравните:

… имеет sept il va

Большие на меня права.

(Пушкин, VI, 282)

Трантильвй — увеличение ставки в тридцать раз (сравните у Державина — «трантелево»).

Выиграть с первой же карты («сорвать банк») — выиграть

соника (с оника).

Атанде (испорч.

франц. attendez) — предложение не делать ставки.

Карточная игра образовывала свой особый замкнутый круг участников, свои манеры поведения и, как уже говорилось, собственный язык. Основу его составляла карточная терминология, необходимость точно и недвусмысленно определять действия и ситуации, поскольку всякая словесная неопределенность могла бы сделаться источником заблуждений и обманов. Однако на этой почве пышно расцветала словесная игра, разнообразные картежные поговорки и шутки, язык картежников обрастал синонимами и своей словесной мифологией. Так, например, Гоголь в письме Н. Я. Прокоповичу от 14 (26) ноября 1842 года писал, что «в „Игроках“ пропущено одно выражение, довольно значительное, именно, когда Утешительный мечет банк и говорит: „На, немец, возьми, съешь свою семерку!“ После этих слов следует прибавить: „Руте, решительно руте! просто карта фоска!“»[162] Карта фоска — темная карта, то же самое, что у Пушкина «увидя темное руте». Употребление итальянского синонима — своеобразный словесный шик. Чтобы представить себе живую картину игры во всем объеме жестов и слов, которыми обмениваются играющие, возьмем сцену из комедии Гоголя «Игроки». Она с документальной точностью воспроизводит драматический момент азартного действа.

«Утешительный. Браво, юнкер! Человек, карты!

(Наливает ему в стакан.) Главное что нужно? Нужна отвага, удар, сила… Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч.

(Мечет направо и налево.) Ну, гусар… Ты, Швохнев, что ставишь?

(Мечет.) Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! <…> Вона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов

(перегинает карту). Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и 500 рублей мазу!

Утешительный

(продолжая метать). У! молодец, гусар! Семерка уби… ах, нет, плие, черт побери, плие, опять

плие! А, проиграл гусар. Ну, что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому Бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать! ну, ставь эту, которую выдернул. Браво, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его?

(Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.) Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой. Где-то она теперь, сердечная. Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита!

(Ихареву) и твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Браво, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит в наружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того… Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный! У, браво, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну, поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту… Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого, го, гусар! на сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А вот он, вот он… Лопнул гусар!

Глов

(горячась). Ва-банк, черт побери, ва-банк!»

Гоголь использует специфическую лексику игроков. Проигравшая карта —

убита , выигравшая —

взяла. Выигравший

потащил — то есть забрал себе лежащие на столе деньги. Прибавлять по ходу прометки ставку —

маз. Эпизод с недоговоренным словом «уби…» объясняется так: понтер (Глов) поставил на семерку, которая была убита, но проигравший загнул угол («плие») и этим увеличил ставку, переведя свой проигрыш в новый расчет. Желание отыграться втягивает понтера в необходимость все время увеличивать ставки. Этим пользуется нечестный банкомет — положение понтера делается безвыходным, потому что, находясь в проигрыше, он не может расплатиться и прервать игру, ставка которой уже превысила денежные возможности понтера, и ему остается только надеяться на отыгрыш. Гоголь рисует картину игры с заведомыми шулерами, заманивающими легковерного молодого человека[163].

Граница, отделяющая крупную профессиональную «честную» игру от игры сомнительной честности, была достаточно размытой. Человека, растратившего казенные суммы или подделавшего завещание, отказавшегося от дуэли или проявившего трусость на поле боя, не приняли бы в порядочном обществе. Однако двери последнего не запирались перед

нечестным игроком (или соблазнителем девушки). Так, например, в «Горе от ума» о Загорецком Платон Михайлович говорит не только как о доносчике, но и как о шулере:

При нем остерегись, переносить горазд,

И в карты не садись: продаст.

Известный Толстой-Американец, на которого намекали слова в «Горе от ума»:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку нечист…

просил Грибоедова заменить последний стих словами «в картишки на руку нечист», мотивируя это боязнью, что подумают, будто он ворует платки из карманов — шулерство он считал более благородным занятием[164].

О том же Толстом Пушкин писал в эпиграмме 1821 года:

В жизни мрачной и презренной

Был он долго погружен,

Долго все концы вселенной

Осквернял развратом он.

Но, исправясь по не многу,

Он загладил свой позор,

И теперь он — слава Богу

Только что картежный вор.

Во втором послании «Чаадаеву», где та же характеристика пересказана в более высоком жанре, повторяются те же слова: Толстой назван «философом», который

Развратом изумил четыре части света,

Но просветив себя, загладил свой позор:

Отвыкнул от вина и стал картежный вор…

Стихи Пушкина — сознательное оскорбление Толстого (Вяземский не одобрил их резкость), но одновременно и насмешка над общественным мнением, которое узаконило снисходительное отношение к «благородному» шулерству.

Карты привлекали людей пушкинской эпохи не только надеждами на выигрыш, хотя жажда денег играла в карточной игре всегда большую роль. Становясь как бы моделью общественной жизни, карты сулили успех, удачу и, главное, власть. Именно эта жажда власти, которая сосредоточивается в руках умелого банкомета, привлекала к себе опытных игроков так же, как дуэль привлекала бретеров. Даже ведя честную игру, опытный хладнокровный банкомет превращался для взволнованного и неосторожного понтера в воплощенный образ судьбы. Это глубоко показано в «Войне и мире» Толстого в сцене карточной игры между Долоховым и Николаем Ростовым. Толстой ни словом не упоминает о том, что Долохов использует в игре запрещенные приемы, и можно предположить, что игра ведется честная, хотя Долохов нагнетает атмосферу напряженности, сам затевая неожиданно и не к месту разговор о слухах о своем шулерстве. Более важен подчеркнутый «демонизм» его поведения. Создается специальная атмосфера. «Игра продолжалась; лакей, не переставая, разносил шампанское». На этом фоне Долохов назойливо спрашивает Ростова, не боится ли он его, и, подчиняя себе его волю, заставляет увеличивать ставки. Когда Ростов «раздумал и написал опять обыкновенный куш, двадцать рублей», «Оставь, — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова, — скорее отыграешься». Тут же, вступая в противоречие с этими успокоительными словами, Долохов подчеркивает перед Ростовым свою фатальность: «Другим даю, а тебе бью. Иль ты меня боишься? — повторил он». Этот мотив боязни Долохов повторяет несколько раз, как бы навязывая Ростову психологическое состояние. «Так

ты не боишься со мной играть? — повторил Долохов, и, как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула». Долохов прерывает игру в напряженный момент для того, чтобы неожиданно и, казалось бы, не к месту рассказать, что в Москве его считают шулером, и тут же, резко прервав разговор, он выигрывает у Ростова огромную сумму. Такое «фатальное» поведение входило в маску бретера и, шире, в стереотип романтического демона. Мастером такого поведения был декабрист Каховский. Ореол романтического демонизма сознательно создавал вокруг себя и использовал во время карточных игр Толстой-Американец.

Л. Толстой как бы вскрывает психологию романтика банкомета. Долохов захватывает власть над волей Ростова и испытывает двойное удовлетворение: он мстит счастливому сопернику и одновременно насыщает романтическую жажду власти и подавления другой личности, столь знакомую, например, Печорину. Толстой заставляет своего читателя взглянуть на мир глазами переживающего отчаяние проигрывающегося понтера.

«„Шестьсот рублей, туз, угол, девятка… отыграться невозможно!. И как бы весело было дома… Валет на пе… Это не может быть!. И зачем же это он делает со мной?..“ — думал и вспоминал Ростов. Иногда он ставил большую карту; но Долохов отказывался бить ее и сам назначал куш. Николай покорялся ему и то молился Богу, как он молился на поле сражения на Амштетонском мосту; то загадывал, что та карта, которая первая попадется ему в руку из кучи изогнутых карт под столом, та спасет его; то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш; то за помощью оглядывался на других играющих; то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось.

„Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. Не может же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его любил…“»

Толстой с гениальностью художника и одновременно с личным опытом человека, переживающего отчаяние огромного проигрыша, описывает неожиданное и ничем не

мотивированное состояние душевного подъема, пережитое Николаем Ростовым, которое не только не исключается, а скорее стимулируется чувством своей гибели. Романтическая поэзия гибели остро передана, например, стихами А. Григорьева или же пушкинскими строками:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю…

…….

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

(VII, 180)

Этот восторг гибели, составляющей часть поэзии карточной игры, переживает проигравший Николай Ростов, для которого отчаяние, высшее напряжение души и звуки романса Наташи сливаются в один аккорд:

«О, как задрожала эта терция и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым…»

Ситуация азартной игры — прежде всего ситуация поединка: моделируется конфликт двух противников. Азартная игра, даже если в ней участвовали профессиональные игроки, могла вестись честно, в соответствии с правилами, но и в этом случае профессиональный игрок, ведущий игру, в конечном счете оказывался в более выигрышном положении по сравнению с понтером. Так, например, в «Пиковой даме» компания профессиональных игроков ведет «благородную», то есть честную игру. Предположение одного из участников разговора о порошковых картах[165] сразу же отвергается. «Честная» игра как бы воспроизводила модель битвы. Так в «Пиковой даме» игра превращается в поединок:

«Игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом».

Это объясняло ту, поистине напоминающую эпидемию, распространенность азартных игр в русском обществе второй половины XVIII — первой половины XIX века. Однако в самую сущность этой модели поединка входит неравенство: понтер — тот, кто желает все выиграть, хотя рискует при этом все проиграть — ведет себя как человек, который вынужден принимать важные решения, не имея для этого необходимой информации; он может действовать наугад, может строить предположения, пытаясь вывести какие-либо статистические закономерности. Банкомет же никакой стратегии не избирает. В честной игре банкомет опирается только на хладнокровие. Позиция банкомета фаталистична, позиция понтера — рискованна. Более

того, то лицо, которое мечет банк, само не знает, как ляжет карта. Оно является как бы подставной фигурой в руках Неизвестных Факторов, которые стоят за его спиной. Такая модель уже сама по себе таила возможность определенных интерпретаций жизненных конфликтов. Игра становилась столкновением с силой мощной и иррациональной, зачастую осмысляемой как демоническая:

…это демон Крутит…

замысла нет в игре[166].

Ощущение бессмысленности поведения «банкомета» составляло важную особенность вольнодумного сознания XVIII — начала XIX века. Пушкин, узнав о кончине ребенка Вяземского, писал князю Петру Андреевичу: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» (XIII, 278). Но именно эта бессмысленность, непредсказуемость стратегии противника заставляла видеть в его поведении насмешливость, что легко позволяло придавать Неизвестным Факторам инфернальный характер. Модель типа «фараон» организована таким образом, что всякий, оперирующий с нею, может подставить себя лишь на одно место — понтера; место банкомета чаще всего «дается в третьем лице»; примером редких исключений может быть Сильвио в «Выстреле», что вполне объяснимо, поскольку Сильвио разыгрывает роль «рокового человека», представителя судьбы, а не ее игрушки. Показательно, что в сцене карточной игры он выступает как хозяин дома. Банкомет и в быту, и в литературе всегда хозяин того помещения, в котором происходит игра, — сюжетный же герой, как правило, является гостем. Романтическим «роковым человеком» осознает себя и Долохов в игре с Николаем Ростовым.

Способность фараона делаться темой как местного, так и общего сюжетного значения определила специфику использования его в тексте. Осмысление композиции плутовского романа или вообще романа, богатого сменой разнообразных эпизодов, как тальи фараона, с одной стороны, приписывало карточной игре характер композиционного единства, а с другой — заставляло подчеркивать в жизни дискретность, разделенность ее на отдельные эпизоды, мало между собой связанные — «собранье пестрых глав»:

И постепенно в усыпленье

И чувств и дум впадает он,

А перед ним воображенье

Свой пестрый мечет фараон.

То видит он: на талом снеге,

Как будто спящий на ночлеге,

Недвижим юноша лежит,

И слышит голос: что ж? убит[167].

То видит он врагов забвенных,

Клеветников и трусов злых,

И рой изменниц молодых,

И круг товарищей презренных…

(8, XXXVII)

Сравните также подражательное из «Манон Леско» Вс. Рождественского:

…тюрьмы, почтовых странствий

Пестрый и неверный фараон…

В сюжетах из русской действительности между социальными причинами и сюжетными следствиями введено еще одно звено — случай, «события, которые могут произойти или не произойти в результате произведенного опыта»[168]. От Пушкина и Гоголя идет традиция, связывающая именно в русских сюжетах идею обогащения с картами (от «Пиковой дамы» до «Игрока» Достоевского) или аферой (от Чичикова до Кречинского). Заметим, что «рыцарь денег» — барон из «Скупого рыцаря» — подчеркивает в обогащении деятельность, постепенность и целенаправленность:

Так я, по горсти бедной принося

Привычну дань мою сюда в подвал,

Вознес мой холм…

Тут есть дублон старинный… вот он. Нынче

Вдова мне отдала его…

…А этот? этот мне принес Тибо.

Между тем в поведении Германна, когда он сделался игроком, доминирует стремление к мгновенному и экономически необусловленному обогащению: «Когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман». Мгновенное появление и исчезновение «фантастического богатства» характеризует и Чичикова. Причем, если в Германне борются расчет и азарт, в Чичикове побеждает расчет, то в Кречинском азарт берет верх. Вспомним монолог Федора в «Свадьбе Кречинского» А. Сухово-Кобылина: «А когда в Петербурге-то жили — Господи, Боже мой! — что денег-то бывало! какая игра-то была!.. И ведь он целый век все такой-то был: деньги — ему солома, дрова какие-то. Еще в университете кутил порядком, а как вышел из университету, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой! Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картеж». Пародийно снижена та же тема в словах Расплюева: «Деньги… карты… судьба… Счастье… злой, страшный бред!» Оборотной стороной этой традиции будет превращение «русского немца» Германна в другого «русского немца» — Андрея Штольца.

Как уже говорилось, игра в карты была чем-то большим, чем стремление к выигрышу как материальной выгоде. Так смотрели на карту только профессиональные шулера. Для честного игрока пушкинской эпохи (а честная карточная игра была почти всеобщей страстью, несмотря на официальные запреты) выигрыш был не самоцелью, а средством вызвать ощущение риска, внести в жизнь непредсказуемость. Это чувство было оборотной стороной мундирной, пригвожденной к парадам жизни. Петербург, военная служба, самый дух императорской эпохи отнимал у человека свободу, исключал случайность. Игра вносила в жизнь случайность. Страсть к игре останется для нас непонятным, странным пороком, если мы не вспомним такой образ Петербурга:

Город пышный, город бедный,

Дух неволи, стройный вид,

Свод небес зелено-бледный,

Скука, холод и гранит…

(Пушкин, III (1), 124)

Для того чтобы понять, почему Пушкин называл ее «одной из самых сильных страстей», надо представить себе атмосферу петербургской культуры. Вяземский писал:

«„Вы готовите себе печальную старость“, — сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре. Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства готовимся и приучаемся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре так называемой азартной. Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцену эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен-Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин, во время пребывания своего в Южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и деньги свои, и бал, и любовь свою. Богатый граф, Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя. Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия — другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать»[169].

Карточная игра и парад — две основные модели интересующей нас эпохи. И подобно тому, как парад имел свою поэзию и мифологию, поэзия и мифология окружали карточную игру. Она становилась как бы образом нежданной удачи, воплощением поэзии Случая, надежды на счастье, приходящее внезапно. В эпоху, когда головы дворянской молодежи кружились от слова «случай», азартный карточный выигрыш становился как бы универсальной моделью

реализации всех страстей, вожделений и надежд. Привлекала именно неожиданность и непредсказуемость. Не случайно Германн в «Пиковой даме», перед тем как встать на роковой путь, пытается противопоставить искушению карт труд честного служаки: «Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты».

Карточные азартные игры, еще в начале XVIII века формально запрещенные и сурово преследовавшиеся, во второй половине века превратились во всеобщий обычай дворянского общества и фактически были канонизированы. Свидетельством их признания явился утвердившийся в 30-е годы XIX века порядок, по которому доходы от игральных карт[170] шли в пользу ведомства Марии Федоровны, то есть на филантропические цели.

Расход карт был неодинаковым и зависел от форм их употребления. Это вызвало специализацию. Принятые в России «французские» карты (несмотря на название, изготовлялись они в середине XVIII века в Германии, а позже для игральных карт было организовано русское производство) производились в трех видах: гадальные карты[171], дорогие, художественно оформленные карты для неазартных игр и преферанса, предназначавшиеся для многократного использования, и карты для азартных игр. Расход последних был огромен, и поэтому печатались они довольно небрежно в расчете на одноразовое использование.

Карточная игра превращалась в сгущенный образ всей действительности, от быта до его философии: «Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно было бы написать любопытную книгу под заглавием: „Физиология колоды карт“». Свое рассуждение о природе этой «безнравственной» страсти Вяземский закончил иронической репликой: «Впрочем, значительное потребление карт имеет у нас и свою хорошую, нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения»[172].

Поединок со Случаем в сочетании с жаждой мгновенного обогащения или столь же мгновенной победы над денежным веком порождал стремление видеть именно в карточной игре путь к богатству. Жажда мгновенного обогащения, то есть чуда, составляла психологическую атмосферу игры в карты. Потерю веры в божественную помощь можно было компенсировать надеждой на успехи научного расчета или же шулерским мошенничеством. И то и другое получило широкое развитие. Запутанность реальной жизни, ее иррациональный характер заставляли возлагать надежды на непредсказуемый Случай. Наиболее красноречивы в этом отношении трагические письма Достоевского к А. Г. Достоевской. Психологический механизм самообмана, заставляющий игрока убеждать себя в том, что его азартная страсть на самом деле есть точный расчет, нигде не проявлялся с такой силой:

А. Г. Достоевской

10 (22) мая 1867. Homborg

Среда 22 мая/6710 часов утра.

Здравствуй, милый мой ангел! Вчера я получил твое письмо и обрадовался до безумия, а вместе с тем и ужаснулся. Что ж это с тобой делается, Аня, в каком ты находишься состоянии. Ты плачешь, не спишь и мучаешься. Каково мне было об этом прочесть? И это только в пять дней, а что же с тобою теперь? Милая моя, ангел мой бесценный, сокровище мое, я тебя не укоряю; напротив, ты для меня еще милее, бесценнее с такими чувствами. Я понимаю, что нечего делать, если уж ты совершенно не в состоянии и выносить моего отсутствия, и так мнительна обо мне (повторяю, что не укоряю тебя, что люблю тебя за это, если можно, вдвое более и умею это ценить); но в то же время, голубчик мой, согласись, какое же безумие я сделал, что, не справившись с твоими чувствами, приехал сюда. Рассуди, дорогая моя: во-первых, уже моя собственная тоска по тебе сильно мешала мне удачно

кончить с этой проклятой игрой и ехать к тебе, так что я духом не был свободен; во-вторых: каково мне, зная о твоем положении, оставаться здесь! Прости меня, ангел мой, но я войду в некоторые подробности насчет моего предприятия, насчет этой игры, чтоб тебе ясно было, в чем дело. Вот уже раз двадцать, подходя к игорному столу, я сделал опыт, что если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет никакой возможности проиграть! Клянусь тебе, возможности даже нет! Там слепой случай, а у меня расчет, след <овательно>, у меня перед ними шанс. Но что обыкновенно бывало? Я начинал обыкновенно с сорока гульденов, вынимал их из кармана, садился и ставил по одному, по два гульдена. Через четверть часа обыкновенно (всегда) я выигрывал вдвое. Тут-то бы и остановиться, и уйти, по крайней мере до вечера, чтоб успокоить возбужденные нервы (к тому же я сделал замечание (вернейшее), что я могу быть спокойным и хладнокровным за игрой не более как полчаса сряду). Но я отходил, только чтоб выкурить папироску, и тотчас же бежал опять к игре. Для чего я это делал, зная наверно почти, что не выдержу, то есть проиграю? А для того, что каждый день, вставая утром, решал про себя, что это последний день в Гомбурге, что завтра уеду, а следственно, мне нельзя было выжидать и у рулетки. Я спешил поскорее, изо всех сил, выиграть сколько можно более, зараз в один день (потому что завтра ехать), хладнокровие терялось, нервы раздражались, я пускался рисковать, сердился, ставил уже без расчету, на случай, который терялся, и — проигрывал (потому что кто играет без расчету, тот безумец). Вся ошибка была в том, что мы разлучились и что я не взял тебя с собою. Да, да, это так. А тут и я об тебе тоскую, и ты чуть не умираешь без меня. Ангел мой, повторяю тебе, что я не укоряю тебя и что ты мне еще милее, так тоскуя обо мне. Но посуди, милая, что, например, было вчера со мною: отправив тебе письма с просьбою выслать деньги, я пошел в игорную залу; у меня оставалось в кармане всего-навсего двадцать гульденов (на всякий случай), и я рискнул на десять гульденов. Я употребил сверхъестественное почти усилие быть целый час спокойным и расчетливым, и кончилось тем, что я выиграл тридцать золотых фридрихсдоров, то есть 300 гульденов. Я был так рад и так страшно, до безумия захотелось мне сегодня же поскорее все покончить, выиграть еще хоть вдвое и немедленно ехать отсюда, что, не дав себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и все, все проиграл до последней копейки, то есть осталось всего только два гульдена на табак. Аня, милая, радость моя! Пойми, что у меня есть долги, которые нужно заплатить, и меня назовут подлецом. Пойми, что надо писать к Каткову и сидеть в Дрездене. Мне надо было выиграть. Необходимо! Я не для забавы своей играю. Ведь это единственный был выход — и вот, все потеряно от скверного расчета. Я тебя не укоряю, а себя проклинаю: зачем я тебя не взял с собой? Играя помаленьку, каждый день, возможности нет не выиграть, это верно, верно, двадцать опытов было со мною, и вот, зная это наверно, я выезжаю из Гомбурга с проигрышем; и знаю тоже, что если б я себе хоть четыре только дня мог дать еще сроку, то в эти четыре дня я бы наверно все отыграл. Но уж конечно я играть не буду!

Милая Аня, пойми (еще раз умоляю), что я не укоряю, не укоряю тебя; напротив, себя укоряю, что не взял с собою тебя.

NB. NB. На случай, если как-нибудь письмо вчерашнее затеряется, повторяю здесь вкратце, что было в нем: я просил выслать мне немедленно двадцать империалов, переводом через банкира, то есть пойти к банкиру, сказать ему, что надо переслать, по такому-то адресу, в Гомбург (адрес вернее) poste restante, такому-то, 20 золотых, и банкир знает уж, как сделать. Просил спешить как можно, по возможности, чтоб в тот же день на почту пошло. (Вексель, который тебе дали бы у банкира, надо вложить в письмо и переслать мне страховым.) Все это, если поспешить, взяло бы времени не более часу, так что письмо могло бы в тот же день пойти.

Если ты успеешь послать в тот же день, то есть сегодня оке (в среду), то я получу завтра в четверг. Если же пойдет в четверг, я получу в пятницу. Если получу в четверг, то в субботу буду в Дрездене, если же в пятницу получу, то в воскресенье. Это верно. Верно. Если успею все дела обделать, то, может быть, не на третий, а на другой день приеду. Но вряд ли

возможно в тот же все обделать, чтоб выехать (получить деньги, собраться, уложиться, приехать в Франкфурт и не опоздать на Schnel-Zug).

Хоть и из всех сил буду стараться, но вернее всего, что на третий день.

Прощай, Аня, прощай, ангел бесценный, беспокоюсь об тебе ужасно, а обо мне даже нечего совсем тебе беспокоиться. Здоровье мое превосходно. Это нервное растройство, которого ты боишься во мне, — только физическое, механическое! Ведь не нравственное же это потрясение. Да того и природа моя требует, я так сложен. Я нервен, я никогда покоен быть не могу и без того! К тому же воздух здесь чудесный. Я здоров как нельзя больше, но об тебе решительно мучаюсь. Люблю тебя, оттого и мучаюсь.

Обнимаю тебя крепко, целую бессчетно. Твой Ф. Д<остоевский>.

Карточная игра становится тем фокусом, в котором пересекаются социальные конфликты эпохи. Уже цитировавшийся нами Страхов в другом своем сочинении — единолично издаваемом им журнале «Сатирический вестник» (1795) поместил неожиданно серьезное рассуждение о связи увлечения картами и угнетения народа, особенно — разорения крестьян. Страхов обрушивается на неких защитников карточных игр: «Политики здешние весьма горячо вступаются за игру. Они признаются, что игра причиняет в обществе множество бедствий и что оная есть источником безчисленнаго множества частных неустройств.

Признаются также, что оною разорены были многия

семейства и ежедневно видимы несчастия, последовавшия

игре. Однакож уверительно полагают, что есть ли бы учреждено было изгнать из общества игру, есть ли бы в сем получили желаемый успех, от того последовать бы могли величайшия

несчастия. Чрез сие уничтожение игр, по мнению их, упали бы многия

знаменитый мануфактуры, множество подданных вдруг

доведены бы были до нищенскаго состояния; сие несчастие породило бы другое, а то возпричинствовало бы

третие и пр., ибо бедность одного гражданина соделывается причиною бедности другаго…» Аргументам защитников неравенства и тех, кто утверждает, что богатство является источником благоденствия общества, Страхов противопоставляет смелое рассуждение: он указывает на гибельное влияние карточных игр на положение крепостных крестьян: «… пусть же увидят и то, каким образом тот, кто проиграл, грабит своих крестьян, распродает в деревне весь лес, скот, хлеб, и напоследок с ни чем оставя

несчастных мужиков, потом и их продает или проигрывает за безценок такому же вертопраху, который равно их грабя, сокращает и обременяет

несчастную их

жизнь» [173]. Цель, в которую направлен удар Страхова, очевидна: с позиции руссоизма Страхов обрушивается на утверждение Вольтера о прогрессивном значении богатства и бедности для развития общества. В частности, на утверждение в поэме «Защита светского человека, или Апология роскоши»: «Бедняк рожден скопить, богач рожден растратить»[174].

Проблема карточной игры делалась для современников как бы символическим выражением конфликтов эпохи. Нечестная игра сопутствовала азартным играм с самого начала их распространения. Однако в 30–40-е годы она превратилась в подлинную эпидемию. Светский

шулер сменился шулером — профессионалом, для которого «картежное воровство» сделалось основным и постоянным источником существования. Шулерство сделалось почти официальной профессией, хотя формально преследовалось по закону. Как уже говорилось, дворянское общество относилось к нечестной игре в карты, хотя и с осуждением, но значительно более снисходительно, чем, например, к отказу стреляться на дуэли или другим «неблагородным» поступкам. Профессиональный картежник — шулер становится почти бытовой фигурой. Команды шулеров — постоянные участники шумных празднеств, которые привлекали на ежегодные ярмарки дворян близлежащих уездов часто за сотню верст. Тут проигрывались целые состояния. Команды профессиональных игроков, прикидывавшихся случайно съехавшимися путешественниками, буквально пускали по миру простоватых помещиков, юных офицеров, случайно попавшихся в их сети. Этому посвящены «Игроки» Гоголя: опытного шулера, Ихарева, употреблявшего годы искусства и тренировки на изготовление и применение порошковых карт и сверхсложных «крапов», обманывает команда менее искусных, но еще более хитрых шулеров. Все участники «случайно» собравшейся компании — сотоварищи по шулерскому искусству; простоватый юноша, которого они якобы собираются обыграть и подпаивают, честный отец, вызванный со стороны чиновник — все оказываются членами одной команды, договорившимися обыграть мастера. Единственным «честным» человеком, играющим самого себя, оказывается шулер.

Мир профессиональных картежников в сознании людей той эпохи был противопоставлен идиллической домашней обстановке. Но и ее поэзия легко выражалась на языке карточной игры. Правда, это был иной идиллический язык.

В приведенном выше перечне игр Страхова названы «Игры, подавшие прозьбы о помещении их в службу степенных и солидных людей» и «Игры, подавшие прозьбу о увольнении их в уезды и деревни». «Солидные» и «детские» карточные игры, предназначенные для забавы и отдыха, а не для азарта, традиционно воспринимались как «идиллические». Они были средством коротать время; обстановка их — семья или круг друзей, цель — забава:

…до ужина, чтобы прогнать как сон,

В задоре иногда, в игры зело горячи,

Играем, в карты мы, в ерошки, в фараон,

По грошу в долг и без отдачи[175].

Современный читатель не улавливает иронии этих стихов, в которых все слова противоречат друг другу. Азартный фараон упоминается вперемешку с игрой в «ерошки, или хрюшки», которую Страхов включил в игры, подлежащие «увольнению в уезды и деревни» (выражение содержит игру слов: применительно к человеку оно содержит просьбу об отставке, применительно к картам — употребление в провинции). Ирония заключена в том, что в фараон играют «по грошу в долг и без отдачи». Потеря оттенков смысла не позволяет ощутить в стихах Державина полемическое противопоставление сельской «карточной идиллии» городскому азарту.

Коммерческие игры создают обстановку семейственного мира и уюта:

Уж восемь робертов сыграли

Герои виста; восемь раз

Они места переменяли;

И чай несут.

(5, XXXVI)

Коммерческие игры — приятное времяпровождение, и завершают их совершенно иные, чем при азартных играх, сцены. Здесь мы не увидим отчаянных игроков, швыряющих под стол разорванные карты, и игры не завершаются выстрелами самоубийц или дуэльными сценами. «Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: „Пошла, старая попадья!“, если же король: „Пошел, тамбовский мужик!“ А председатель приговаривал: „А я его по усам! А я ее по усам!“»

Сцены, завершающие подобную игру, носят идиллический характер. Даже споры не выходят за пределы приличий, хотя и бывают порою (это тоже входит в удовольствие игры) вызывающими волнения. «По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил… а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: „вы пошли“, но „вы изволили пойти, я имел честь покрыть вашу двойку“, и тому подобное»[176].

Коммерческую игру тоже вели на деньги, а «забавные», детские игры в провинции, в семейном или дружеском кругу — и на щелчки в лоб и т. д. Здесь проигрыш или выигрыш был только предлогом для возбуждения интереса к игре и не порождал азарта.

Карточные игры, как деталь идиллического антуража, встречаем, например, в романе Д. Бегичева «Семейство Холмских»: «Вечером старушки и из молодых дам, кто хотел, садились в вист, или в мушку, по маленькой. Брани никогда за игрою не бывало, и часто всё оканчивалось общим хохотом, потому что старая Пронская непременно, на смех, кого-нибудь обсчитывала или обманывала в картах и потом сама объявляла об этом».

Такая игра в карты — незаменимая деталь отставной стариковской жизни. Провинциальный помещик, «дядя-старик» Евгения Онегина, запершись в деревне, вечерами со своей служанкой

…надев очки,

Играть изволил в дурачки.

(7, XVIII)

О «доброй старушке» Холмской говорится, что после возвращения из домашней церкви она идет «в свою теплую, спокойную комнату, вяжет для внучков чулки или раскладывает гранд-пасьянс и слушает рассказы старой попадьи, компаньонки своей. По вечерам ее любимое занятие играть с внучками в дурачки, когда они, после классов, напрыгаются до сыта и должны, перед ужином и спаньем, отдыхать. Бабушка пользуется этим отдыхом, и

внучки, чтобы угодить ей, беспрестанно проигрывают. Старушка уверена, что она большая мастерица, и выигрывает у них по своему искусству»[177].

Итак, коммерческие и домашние игры окружались ореолом уюта семейной жизни, поэзией невинных развлечений. Азартные же игры влекли за собой атмосферу «инфернальности» (Пушкин) или преступлений (Лермонтов, Гоголь и др.). На этом фоне особенно выделяется повесть Л. Толстого «Два гусара». Уже заглавие подчеркивает антитезу двух характеров и двух эпох. Герой первой части, гусар Турбин (прототипом образа является родственник писателя Толстой-Американец) как бы собирает в себе черты эпохи, названной Денисом Давыдовым веком богатырей: «В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во время Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных…»

Карточная игра в руках гусара Турбина-старшего под пером Толстого как бы фокусирует поэтические черты эпохи. Турбин — «привлекательный преступный тип», московский Робин Гуд в гусарском мундире — защищает обыгранного шулером мальчика-офицера Ильина. «Это тот самый, знаменитый дуэлянт-гусар? — Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, гусар истинный». Увидев, что шулер, заманив Ильина в игру, выиграл у него полковые деньги и поставил его на грань самоубийства, Турбин врывается в номер пересчитывающего выигрыш шулера Лухнова, и между ними происходит следующая сцена:

«— Мне хочется поиграть с вами, — сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. <…>

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. <…>

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете? Опять тот же жест. <…>

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф. <…> — Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю. <…>

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги. <…> Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги <…> и скорыми шагами вышел из комнаты…

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам».

Вторая часть повести Л. Н. Толстого противопоставляет азартной игре и связанному с ней преступному поведению Турбина-отца благоразумность и благовоспитанность его сына. Последнее воплощается в эпизодах карточной игры. Благовоспитанный, блестяще образованный Турбин-сын слишком расчетлив, чтобы играть в азартные игры. Затевается игра в преферанс, и младший Турбин предлагает «очень веселую», но неизвестную старикам-провинциалам разновидность преферанса. В его игре нет азарта и дикой доброты Турбина-старшего, зато вся она пропитана холодным эгоизмом. Он не замечает ни отчаяния гостеприимно встретившей его старушки, когда-то романтически увлекавшейся его отцом, ни тактичных сигналов другого офицера, пытающегося незаметно обратить его внимание на огорчение хозяйки. «Граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо». Столичный щеголь с невозмутимым эгоизмом обыгрывает старушку, не понимающую введенных им новых правил игры.

Толстой повертывает дело совершенно неожиданной стороной. Молодой граф-сын не совершает ничего, казалось бы, достойного осуждения. Он выиграл совершенно незначительную для него сумму. Но проигравшей Анне Федоровне этот проигрыш кажется совершенно громадным: «Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала». Турбин-младший никого не разорил. Но в его поведении сказалось то, что Толстой парадоксально кладет на одну чашу весов с бессердечием — равнодушие к другому человеку. Азартная игра становится воплощением преступных, но и поэтических черт уходящей эпохи, а коммерческая — бессердечной расчетливости наступающего «железного века».

Если карты являются как бы синонимом дуэли, то антонимом их в общественной жизни выступает парад. В этом противопоставлении выражалась «дуэль» Случая и Закономерности, государственного императива и личного произвола. Эти два полюса как бы очерчивали границу дворянского быта той эпохи.

Дуэль

Дуэль (поединок) — происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесенного оскорблением. Таким образом, роль дуэли — социально-знаковая.

Дуэль представляет собой определенную процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия «честь» в общей системе этики русского европеизированного послепетровского дворянского общества. Естественно, что с позиции, в принципе отвергавшей это понятие, дуэль теряла смысл, превращаясь в ритуализированное убийство.

Русский дворянин XVIII — начала XIX века жил и действовал под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. Как верноподданный, слуга государства, он подчинялся приказу. Психологическим стимулом подчинения был страх перед карой, настигающей ослушника. Но в то же время, как дворянин, человек сословия, которое одновременно было и социально господствующей корпорацией, и культурной элитой, он

подчинялся законам чести. Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения. В этом смысле значение приобретают занятия, демонстрирующие бесстрашие. Так, например, если «регулярное государство» Петра I еще рассматривает поведение дворянина на войне как служение государственной пользе, а храбрость его — лишь как средство для достижения этой цели, то с позиций чести храбрость превращается в самоцель. С этих позиций переживает известную реставрацию средневековая рыцарская этика. С подобной точки зрения (своеобразно отразившейся и в «Слове о полку Игореве», и в «Девгениевых деяниях») поведение рыцаря не измеряется поражением или победой, а имеет самодовлеющую ценность. Особенно ярко это проявляется в отношении к дуэли: опасность, сближение лицом к лицу со смертью становятся очищающими средствами, снимающими с человека оскорбление. Сам оскорбленный должен решить (правильное решение свидетельствует о степени его владения законами чести): является ли бесчестие настолько незначительным, что для его снятия достаточно демонстрации бесстрашия — показа готовности к бою (примирение возможно после вызова и его принятия — принимая вызов, оскорбитель тем самым показывает, что считает противника равным себе и, следовательно, реабилитирует его честь) или знакового изображения боя (примирение происходит после обмена выстрелами или ударами шпаги без каких-либо кровавых намерений с какой-либо стороны). Если оскорбление было более серьезным, таким, которое должно быть смыто кровью, дуэль может закончиться первым ранением (чьим — не играет роли, поскольку честь восстанавливается не нанесением ущерба оскорбителю или местью ему, а фактом пролития крови, в том числе и своей собственной). Наконец, оскорбленный может квалифицировать оскорбление как смертельное, требующее для своего снятия гибели одного из участников ссоры. Существенно, что оценка меры оскорбления — незначительное, кровное или смертельное — должна соотноситься с оценкой со стороны социальной среды (например, с полковым общественным мнением). Человек, слишком легко идущий на примирение, может прослыть трусом, неоправданно кровожадный — бретером.

Дуэль, как институт корпоративной чести, встречала оппозицию с двух сторон. С одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно. В «Патенте о поединках и начинании ссор», составлявшем 49-ю главу петровского «Устава воинского» (1716), предписывалось: «Ежели случится, что двое на назначенное место выдут, и один против другаго шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать. <…> Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешаны да будут»[178]. К. А. Софроненко считает, что «Патент» направлен «против старой феодальной знати»[179]. В том же духе высказывался и Н. Л. Бродский, который считал, что «дуэль — порожденный феодально-рыцарским обществом обычай кровавой расправы-мести, сохранялся в дворянской среде»[180]. Однако дуэль в России не была пережитком, поскольку ничего аналогичного в быту русской «старой феодальной знати» не существовало. На то, что поединок представляет собой нововведение, недвусмысленно указывала Екатерина II: «Предубеждения, не от предков полученные, но перенятые или наносные, чуждые» («Грамота» от 21 апреля 1787 г., ср.: «Наказ», статья 482).

Характерно высказывание Николая I: «Я ненавижу дуэли; это — варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского»[181].

На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли указал еще Монтескье: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем… <…> Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может

лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота?»[182]

Естественно, что в официальной литературе дуэли преследовались как проявление свободолюбия, «возродившееся зло самонадеянности и вольнодумства века сего»[183].

С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме и Природе. С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры или критики. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев писал: «… вы твердой имеете дух, и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом».

«Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один волосочик, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле… Хворающий зубами даст ли ответ вполголоса, насморк имеющий скажет ли что-нибудь в нос… ни на что не смотрят!. Того и гляди, что по эфес шпага!.. Также глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или недовидел поклона… статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка!»[184] Эта позиция запечатлена и в басне А. Е. Измайлова «Поединок». Известно отрицательное отношение к дуэли А. Суворова. Отрицательно относились к дуэли и масоны[185].

Таким образом, в дуэли, с одной стороны, могла выступать на первый план узко сословная идея защиты корпоративной чести, а с другой — общечеловеческая, несмотря на архаические формы, идея защиты человеческого достоинства. Перед лицом поединка придворный шаркун, любимец императора, аристократ и флигель-адъютант В. Д. Новосильцев оказывался равен подпоручику Семеновского полка без состояния и связей из провинциальных дворян, К. П. Чернову.

В связи с этим отношение декабристов к поединку было двойственным. Допуская в теории негативные высказывания в духе общепросветительской критики дуэли, декабристы практически широко пользовались правом поединка. Так, Е. П. Оболенский убил на дуэли некоего Свиньина[186]; многократно вызывал разных лиц и с несколькими дрался К. Ф. Рылеев; А. И. Якубович слыл бретером. Шумный отклик у современников вызвала дуэль Новосильцева и Чернова, которая приобрела характер политического столкновения между защищавшим честь сестры членом тайного общества и презирающим человеческое достоинство простых людей аристократом. Оба дуэлянта скончались через несколько дней от полученных ран. Северное общество превратило похороны Чернова в первую в России уличную манифестацию.

Взгляд на дуэль как на средство защиты своего человеческого достоинства не был чужд и Пушкину. В кишиневский период Пушкин оказался в обидном для его самолюбия положении штатского молодого человека в окружении людей в офицерских мундирах, уже доказавших на войне свое несомненное мужество. Так объясняется преувеличенная щепетильность его в этот период в вопросах чести и почти бретерское поведение. Кишиневский период отмечен в воспоминаниях современников многочисленными вызовами Пушкина[187]. Характерный пример — дуэль его с подполковником С. Н. Старовым, о которой оставил воспоминания В. П. Горчаков. Дурное поведение Пушкина во время танцев в офицерском собрании, заказавшего, вопреки требованию офицеров, танец по собственному выбору, стало причиной дуэли. Показательно, что вызов поэту был направлен не кем-либо из непосредственно участвовавших в размолвке младших офицеров, а — от их имени — находившимся тут же командиром 33-го егерского полка С. Старовым. Старов был на 19 лет старше Пушкина и значительно превосходил его чином. Такой вызов противоречил требованию равенства противников и явно представлял собой попытку осадить нахального штатского мальчишку.

Предполагалось, очевидно, что Пушкин испугается дуэли и пойдет на публичное извинение. Далее события развивались в следующем порядке. Старов «подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру. „Вы сделали невежливость моему офицеру, — сказал С<таро>в, взглянув решительно на Пушкина, — так не угодно ли Вам извиниться перед ним, или Вы будете иметь дело лично со мной“. — „В чем извиняться, полковник, — отвечал быстро Пушкин, — я не знаю; что же касается до Вас, то я к вашим услугам“. — „Так до завтра, Александр Сергеевич“. — „Очень хорошо, полковник“. Пожав друг другу руки, они расстались. <…>

Когда съехались на место дуэли, метель с сильным ветром мешала прицелу, противники сделали по выстрелу, и оба дали промах; еще по выстрелу, и снова промах; тогда секунданты решительно настояли, чтобы дуэль, если не хотят так кончить, была отменена непременно, и уверяли, что уже нет более зарядов. „Итак, до другого раза“, — повторили оба в один голос. „До свиданья, Александр Сергеевич“. — „До свиданья, полковник“». Дуэль была проведена по всем правилам ритуала чести: между стреляющимися не было личной неприязни, а безукоризненность соблюдения ритуала в ходе дуэли вызвала в обоих взаимное уважение. Это, однако, не мешало вторичному обмену выстрелами и по возможности повторной дуэли.

«Через день… примирение состоялось быстро.

„Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение“, — сказал Пушкин.

„И хорошо сделали, Александр Сергеевич, — отвечал С<таро>в, — этим Вы еще более увеличили мое уважение к Вам, и я должен сказать по правде, что Вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете“.

Эти слова искреннего привета тронули Пушкина, и он кинулся обнимать С<таро>ва». Тщательность соблюдения ритуала чести уравняла положение штатского юноши и боевого подполковника, дав им равное право на общественное уважение. Ритуальный цикл был завершен эпизодом демонстративной готовности Пушкина драться на дуэли, защищая честь Старова: «Дня через два после примирения речь шла об его дуэли с С<таровы>м. Превозносили Пушкина и порицали С<таро>ва. Пушкин вспыхнул, бросил кий и прямо и быстро подошел к молодежи. „Господа, — сказал он, — как мы кончили с С<таровы>м — это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать С<таро>ва, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне как следует“»[188].

Эпизод этот именно своей ритуальной «классичностью» привлек внимание современников и широко обсуждался в обществе[189]. Пушкин придал ему художественную завершенность, закончив обмен выстрелами рифмованной эпиграммой:

Я жив.

Старов

Здоров.

Дуэль не кончен.

Характерно, что именно этот эпизод получил в фольклорной памяти современников законченную формулу:

Полковник Старов,

Слава богу, здоров.

Образ поэта, сочиняющего во время дуэли стихи, — вариант дуэльной легенды, поэтизирующей как вершину блестящего поведения у барьера беспечную погруженность в посторонние занятия. В «Выстреле» граф Б*** у барьера ест черешню, в пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» герой во время дуэли сочиняет стихотворение. Это же продемонстрировал и Пушкин во время дуэли со Старовым.

Бретерское поведение как средство социальной самозащиты и утверждения своего равенства в обществе привлекло, возможно, внимание Пушкина в эти годы к Вуатюру — французскому поэту XVII века, утверждавшему свое равенство в аристократических кругах подчеркнутым бретерством. По поводу страсти этого поэта к поединкам Таллеман де Рео писал: «Не всякий храбрец может насчитать столько поединков, сколько было у нашего героя, ибо он дрался на дуэли по крайней мере четыре раза; днем и ночью, при ярком солнце, при луне и при свете факелов»[190].

Отношение Пушкина к дуэли противоречиво: как наследник просветителей XVIII века, он видит в ней проявление «светской вражды», которая «дико боится ложного стыда». В «Евгении Онегине» культ дуэли поддерживает Зарецкий — человек сомнительной честности. Однако в то же время дуэль — и средство защиты достоинства оскорбленного человека. Она ставит в один ряд таинственного бедняка Сильвио и любимца судьбы графа Б***. Дуэль — предрассудок, но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, — не предрассудок.

Именно благодаря своей двойственности дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Только пунктуальное следование установленному порядку отличало поединок от убийства. Но необходимость точного соблюдения правил вступала в противоречие с отсутствием в России строго кодифицированной дуэльной системы. Никаких дуэльных кодексов в русской печати, в условиях официального запрета, появиться не могло, не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка. Конечно, можно было бы пользоваться французскими кодексами, но излагаемые там правила не совсем совпадали с русской дуэльной традицией. Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиции и арбитров в вопросах чести. Такую роль в «Евгении Онегине» выполняет Зарецкий [191].

Дуэль начиналась с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовала удовлетворения (сатисфакции). С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какие общения: это брали на себя их представители-секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел и характер будущей дуэли — от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов (картель).

Роль секундантов сводилась к следующему: как посредники между противниками, они прежде всего обязаны были приложить максимальные усилия к примирению. На обязанности секундантов лежало изыскивать все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя, для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять последнюю попытку к примирению. Кроме того, секунданты вырабатывают условия дуэли. В этом случае негласные правила предписывают им стараться, чтобы раздраженные противники не избирали более кровавых форм поединка, чем это требует минимум строгих правил чести. Если примирение

оказывалось невозможным, как это было, например, в дуэли Пушкина с Дантесом, секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за строгим исполнением всей процедуры.

Так, например, условия, подписанные секундантами Пушкина и Дантеса, были следующими (подлинник по-французски):

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять.

3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии[192].

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий»[193].

Условия дуэли Пушкина и Дантеса были максимально жестокими (дуэль была рассчитана на смертельный исход), но и условия поединка Онегина и Ленского, к нашему удивлению, были также очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды здесь явно не было. Поскольку Зарецкий развел друзей на 32 шага, а барьеры, видимо, находились на «благородном расстоянии», т. е. на дистанции в 10 шагов, каждый мог сделать 11 шагов. Однако не исключено, что Зарецкий определил дистанцию между барьерами менее чем в 10 шагов. Требования, чтобы после первого выстрела противники не двигались, видимо, не было, что подталкивало их к наиболее опасной тактике: не стреляя на ходу, быстро выйти к барьеру и на предельно близкой дистанции целиться в неподвижного противника. Именно таковы были случаи, когда жертвами становились оба дуэлянта. Так было в дуэли Новосильцева и Чернова. Требование, чтобы противники остановились на месте, на котором их застал первый выстрел, было минимально возможным смягчением условий. Характерно, что когда Грибоедов стрелялся с Якубовичем, то, хотя такого требования в условиях не было, он все же остановился на том месте, на котором застал его выстрел, и стрелял, не подходя к барьеру.

В «Евгении Онегине» Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, и тем более заметно, что, «в дуэлях классик и педант», он вел дело с большими упущениями, вернее, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка покончить дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не было, и всем, кроме восемнадцатилетнего Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. Вместо этого он «встал без объяснений <…> Имея дома много дел»[194]. Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением (секунданты, как и противники, должны быть социально равными; Гильо — француз и свободно нанятый лакей — формально не мог быть отведен, хотя появление его в этой роли, как и мотивировка, что он по крайней мере «малый честный», являлись недвусмысленной обидой для Зарецкого), а одновременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться накануне без противников и составить правила поединка.

Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина неявившимся. «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый имеет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника»[195]. Онегин опоздал более чем на час[196].

Таким образом, Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном — что применительно к дуэли означало кровавом — исходе.

Вот пример из области «дуэльной классики»: в 1766 году Казанова дрался на дуэли в Варшаве с любимцем польского короля Браницким, который явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же, иностранец и путешественник, мог привести в качестве свидетеля лишь кого-либо из своих слуг. Однако он отказался от такого решения как заведомо невозможного — оскорбительного для противника и его секундантов и мало лестного для него самого: сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противник назначил ему секунданта из числа своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданте врага, но не согласился призвать наемного слугу быть свидетелем в деле чести[197].

Любопытно отметить, что аналогичная ситуация отчасти повторилась в трагической дуэли Пушкина и Дантеса. Испытав затруднения в поисках секунданта[198], Пушкин писал утром 27 января 1837 года д'Аршиаку, что привезет своего секунданта «лишь на место встречи», а далее, впадая в противоречие с самим собой, но вполне в духе Онегина, он предоставляет Геккерну выбрать ему секунданта: «… я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей» (XVI, 225 и 410). Однако д'Аршиак, в отличие от Зарецкого, решительно пресек такую возможность, заявив, что «свидание между секундантами,

необходимое перед поединком» (выделено д'Аршиаком. —

Ю. Л.), является условием, отказ от которого равносилен отказу от дуэли. Свидание д'Аршиака и Данзаса состоялось, и дуэль стала формально возможна. Свидание Зарецкого и Гильо произошло лишь на поле боя, но Зарецкий не остановил поединка, хотя мог это сделать.

Онегин и Зарецкий — оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серьезность которой все еще не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную, хотя порой и кровавую, историю, предмет сплетен и розыгрышей…

Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей поневоле. И для Пушкина, и для читателей романа, знакомых с дуэлью не понаслышке, было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет сходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень.

Так, например, во время дуэли Завадовского и Шереметева, знаменитой по ее роли в биографии Грибоедова (1817), мы видим классический случай поведения бретера: «Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был

отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. „Ah! — сказал он. — Il en voulait a ma vie! A la barriere!“ (Ого! он покушается на мою жизнь! К барьеру!)

Делать было нечего. Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметева в живот!»[199]

Для того чтобы понять, какое удовольствие мог находить во всем этом деле человек типа Зарецкого, следует добавить, что присутствовавший на дуэли как зритель приятель Пушкина Каверин (член Союза благоденствия, с которым Онегин в первой главе «Евгения Онегина» встречался у Talon; известный кутила и буян), увидав, как раненый Шереметев «несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу», подошел к раненому и сказал: «Что, Вася? Репка?» Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: «что же? вкусно ли? хороша ли закуска?»[200] Следует отметить, что, вопреки правилам дуэли, на поединок нередко собиралась публика как на зрелище. Есть основания полагать, что толпа любопытных присутствовала и на трагической дуэли Лермонтова, превратив ее в экстравагантное зрелище. Требование отсутствия посторонних свидетелей имело серьезные основания, поскольку последние могли подталкивать участников зрелища, приобретавшего театральный характер, на более кровавые действия, чем этого требовали правила чести.

Если же опытный стрелок производил выстрел первым, то это, как правило, свидетельствовало о волнении, приводившем к случайному нажатию спускового крючка. Вот описание дуэли в известном романе Бульвера-Литтона, проведенной по всем правилам дендизма: стреляются английский денди Пелэм и французский щеголь, оба опытные дуэлянты:

«Француз и его секундант уже дожидались нас. <…> (это — сознательное оскорбление; норма утонченной вежливости состоит в том, чтобы прибыть на место дуэли точно одновременно. Онегин превзошел все допустимое, опоздав более чем на час. —

Ю. Л.). Я заметил, что противник бледен и неспокоен — мне думалось, не от страха, а от ярости <…> Я посмотрел на д'Азимара в упор и прицелился. Его пистолет выстрелил на секунду раньше, чем он ожидал, — вероятно, у него дрогнула рука — пуля задела мою шляпу. Я целился вернее и ранил его в плечо — именно туда, куда хотел».

Возникает, однако, вопрос: почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начиналась сначала, и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны, а бретерские легенды, формировавшие общественное мнение, поэтизировали убийцу, а не убитого[201].

Надо учитывать также еще одно существенное обстоятельство. Дуэль с ее строгим ритуалом, представляющая целостное театрализованное действо — жертвоприношение ради чести, обладает жестким сценарием. Как всякий строгий ритуал, она лишает участников индивидуальной воли. Остановить или изменить что-либо в дуэли отдельный участник не властен. В описании у Бульвер-Литтона имеется эпизод: «Когда мы стали по местам, Винсент (секундант. —

Ю. Л.) подошел ко мне и тихо сказал:

— Бога ради, позвольте мне уладить дело миром, если только возможно!

— Это не в

нашей власти, — ответил я». Сравним в «Войне и мире»:

«— Ну, начинайте! — сказал Долохов.

— Что ж, — сказал Пьер, все так же улыбаясь.

Становилось страшно. Очевидным было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться». Показательно, что Пьер, всю ночь думавший: «К чему же эта дуэль, это убийство?» — попав на боевое поле,

выстрелил первым и

ранил Долохова в левый бок (рана легко могла оказаться смертельной).

Исключительно интересны в этом отношении записки Н. Муравьева-Карского — свидетеля осведомленного и точного, который приводит слова Грибоедова о его чувствах во время дуэли с Якубовичем. Грибоедов не испытывал никакой личной неприязни к своему противнику, дуэль с которым была лишь завершением? «четверной дуэли»[202], начатой Шереметевым и Завадовским. Он предлагал мирный исход, от которого Якубович отказался, также подчеркнув, что не испытывает никакой личной вражды к Грибоедову и лишь исполняет слово, данное покойному Шереметеву. И тем более знаменательно, что, встав с мирными намерениями к барьеру, Грибоедов по ходу дуэли почувствовал желание убить Якубовича — пуля прошла так близко от головы, что «Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку… <…> Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал»[203].

Яркий пример изменения задуманного дуэлянтом плана поведения под влиянием власти дуэльной логики над волей человека находим в повести А. Бестужева «Роман в семи письмах» (1823). В ночь перед дуэлью герой твердо решает пожертвовать собой и предвкушает гибель: «Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела… я его обидел». Однако следующая глава этого романа в письмах рассказывает о совершенно неожиданном повороте событий: герой совершил поступок, диаметрально противоположный его намерениям. «Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека! <…> Мы близились с двадцати шагов, я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения: скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мой разум. На шести шагах, не знаю отчего, не знаю как, давнул я роковой шнеллер — и выстрел раздался в моем сердце!.. Я видел, как Эраст вздрогнул… Когда пронесло дым — он уже лежал на снегу, и хлынувшая из раны кровь, шипя, в нем застывала»[204].

Для читателя, не утратившего еще живой связи с дуэльной традицией и способного понять смысловые оттенки нарисованной Пушкиным в «Евгении Онегине» картины, было очевидным что Онегин «любил его [Ленского] и, целясь в него, не хотел ранить»[205].

Эта способность дуэли, втягивая людей, лишать их собственной воли и превращать в игрушки и автоматы, очень важна[206].

Особенно важно это для понимания образа Онегина.

Герой романа, который отстраняет все формы внешней нивелировки своей личности и этим противостоит Татьяне, органически связанной с народными обычаями, повериями, привычками, в шестой главе «Евгения Онегина» изменяет себе: против собственного желания он признает диктат норм поведения, навязываемых ему Зарецким и «общественным

мнением», и тут же, теряя волю, становится куклой в руках безликого ритуала дуэли. У Пушкина есть целая галерея «оживающих» статуй, но есть и цепь живых людей, превращающихся в автоматы[207]. Онегин в шестой главе выступает как родоначальник этих персонажей.

Основным механизмом, при помощи которого общество, презираемое Онегиным, все же властно управляет его поступками, является боязнь быть смешным или сделаться предметом сплетен. Следует учитывать, что неписаные правила русской дуэли конца XVIII — начала XIX века были значительно более суровыми, чем, например, во Франции, а с характером узаконенной актом 13 мая 1894 года поздней русской дуэли (см. «Поединок» А. И. Куприна) вообще не могли идти ни в какое сравнение. В то время как обычное расстояние между барьерами в начале XIX века было 10–12 шагов, а нередки были случаи, когда противников разделяло лишь 6 шагов[208], за период между 20 мая 1894 г. и 20 мая 1910 г. из 322 имевших место поединков ни одного не проводилось с дистанцией менее 12 шагов и лишь один — с дистанцией в 12 шагов. Основная же масса поединков происходила на расстоянии 20–30 шагов, то есть с дистанции, с которой в начале XIX века никто не думал стреляться. Естественно, что из 322 поединков лишь 15 имели смертельные исходы[209]. Между тем в начале XIX века нерезультативные дуэли вызывали ироническое отношение. При отсутствии твердо зафиксированных правил резко возрастало значение атмосферы, создаваемой вокруг поединков бретерами — хранителями дуэльных традиций. Эти последние культивировали дуэль кровавую и жестокую. Человек, выходивший к барьеру, должен был проявить незаурядную духовную самостоятельность, чтобы сохранить собственный тип поведения, а не принять утвержденные и навязанные ему нормы. Так, например, поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнью показаться смешным или трусливым, нарушив условные нормы поведения у барьера.

Любая, а не только «неправильная» дуэль была в России уголовным преступлением. Каждая дуэль становилась в дальнейшем предметом судебного разбирательства. И противники, и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя букве закона, приговаривал дуэлянтов к смертной казни, которая, однако, в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием в солдаты с правом выслуги (перевод на Кавказ давал возможность быстрого получения снова офицерского звания). Онегин, как неслужащий дворянин, вероятнее всего, отделался бы месяцем или двумя крепости и последующим церковным покаянием. Однако, судя по тексту романа, дуэль Онегина и Ленского вообще не сделалась предметом судебного разбирательства. Это могло произойти, если приходской священник зафиксировал смерть Ленского как последовавшую от несчастного случая или как результат самоубийства. Строфы XL–XLI шестой главы, несмотря на связь их с общими элегическими штампами могилы «юного поэта», позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, т. е. как самоубийца.

Настоящую энциклопедию дуэли мы находим в повести А. Бестужева «Испытание» (1830). Автор осуждает дуэль с просветительских традиций и одновременно с почти документальной подробностью описывает весь ритуал подготовки к ней:

«Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine[210], — сказал артиллерист входящему, — все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа: мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностию.

— О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полствола, и, как мы ни бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни, — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?[211]

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела, и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л-ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его — и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел! шельмы эти оружейники: они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба!

— Однако ж, не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной; а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, господин ротмистр?

— Я вчера посетил двоих — и был взбешен их корыстолюбием… Они начинали предисловием об ответственности — и кончали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора — величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. „Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, — и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!“ Но, что удивительнее всего, — он отказался за поездку и леченье от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству и медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастии пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натощак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двуместной —

ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах?

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались — так не жаль и пороху; а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести»[212].

Условная этика дуэли существовала параллельно с общечеловеческими нормами нравственности, не смешиваясь и не отменяя их. Это приводило к тому, что победитель на поединке, с одной стороны, был окружен ореолом общественного интереса, типично выраженного словами, которые вспоминает Каренин: «Молодецки поступил; вызвал на дуэль и убил» («Анна Каренина»). С другой стороны, все дуэльные обычаи не могли заставить его забыть, что он убийца.

Например, вокруг Мартынова, убийцы Лермонтова, в Киеве, где он доживал свой век, распространялась романтическая легенда (Мартынов, имевший характер Грушницкого, сам, видимо, ей способствовал), дошедшая до М. Булгакова, который рассказал о ней в «Театральном романе»: «Какие траурные глаза у него… <…> Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске… и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою».

В. А. Оленина вспоминала о декабристе Е. Оболенском. «Этот нещастной имел дуэль — и убил — с тех пор, как Орест, преследуемый фуриями, так и он нигде уже не находил себе покоя»[213]. Оленина знала Оболенского до 14 декабря, но и воспитанница М. И. Муравьева-Апостола, выросшая в Сибири, А. П. Созонович, вспоминает: «Прискорбное это событие терзало его всю жизнь»[214]. Ни воспитание, ни суд, ни каторга не смягчили этого переживания. То же можно сказать и о ряде других случаев.

Искусство жизни

Искусство и действительность — два противоположных полюса, границы пространства человеческой деятельности.

В пределах этого пространства и развертывается все разнообразие поступков человека. Хотя объективно искусство всегда тем или иным способом отражает явления жизни, переводя их на свой язык, сознательная установка автора и аудитории в этом вопросе может быть троякой.

Во-первых, искусство и внехудожественная реальность рассматриваются как области, разница между которыми столь велика и принципиально непреодолима, что самое

сопоставление их исключается. Так, например, до последней войны в Екатерининском царскосельском дворце хранился портрет императрицы Елизаветы (кисти Каравака)[215], в котором лицо, выполненное с сохранением портретного сходства, было соединено с обнаженным телом Венеры. Для художественного сознания более поздних эпох такое полотно должно было казаться неприличным, а учитывая социальный статус изображенной на нем особы, — и прямо дерзким. Однако зрители XVIII века смотрели на картину иначе. Им и в голову не могло прийти увидеть в обнаженном женском теле изображение реального тела Елизаветы Петровны. Они видели в картине соединение текстов с двумя различными мерами условности: лицо было портретно и, следовательно, отнесено к определенной внешней реальности как ее изображение; тело же вписывалось в нормы аллегорической живописи, которая оперировала эмблемами, являющимися знаками предметов, а не их изображениями. Как лицо Екатерины II и орел у ее ног на известной картине Д. Левицкого дают различную меру условности (лицо изображает лицо, а орел изображает власть), так и лицо и тело на портрете Елизаветы по-разному соотносились с миром внехудожественной реальности. На известном памятнике Суворову в Петербурге (М. Козловский) элементы портретного сходства в изображении лица, пусть даже идеализированного, сочетаются с совершенной условностью античной трактовки фигуры. Стилистический контраст при этом не сглаживается, а демонстративно подчеркивается. Г. Державин перенес этот принцип контрастного соединения в поэтический портрет Суворова:

Кто перед ратью будет пылая

Ездить на кляче, есть сухари…

«Снигирь»

Портретность и условность здесь соединяются в подчеркнуто контрастное целое.

Таким образом, там, где изобразительные искусства или театр (например, балет) оперируют заведомо условными знаками и отношение между изображением и содержанием определяется не подобием, а исторической конвенцией, возможность «спутать» эти два плана исключается, и между полотном и зрителем, сценой и залом возникает непреодолимая грань. Художественное и внехудожественное пространства отделены столь резкой чертой, что могут лишь взаимосоотноситься, но не взаимопроникать.

Второй подход к соотношению искусства и внехудожественной реальности заключается во взгляде на искусство как на область моделей и программ. Активное воздействие направлено из сферы искусства в область внехудожественной реальности. Жизнь избирает себе искусство в качестве образца и спешит «подражать» ему.

В-третьих, жизнь выступает как область моделирующей активности — она создает образцы, которым искусство подражает. Если во втором случае искусство дает формы жизненному поведению людей, то в третьем — формы жизненного поведения определяют поведение художественное, особенно сценическое.

Сознавая всю условность такой характеристики, можно сопоставить первый случай с классицизмом, второй — с романтизмом и третий с реализмом.

Историки литературы и искусства часто говорят о «классицизме» или «неоклассицизме» культуры начала XIX века, Б. В. Томашевский говорил о стиле «ампир» как возрождении классицизма в литературе и архитектуре начала XIX века[216]. Л. Я. Гинзбург писала: «Карамзинисты, конечно, не классики по содержанию и по форме своего искусства, но они

классики по своей исторической функции, по той роли, которую им пришлось играть в литературе 1810-х годов, куда они внесли дух систематизации и организованности, нормы „хорошего вкуса и логическую дисциплину. Для решения этих задач им понадобилась (разумеется, в смягченном виде) стройная стилистическая иерархия классицизма“[217].

Исследователи культуры отмечают в эпоху ампира новую волну увлечения античностью[218]. При этом обычно цитируют известное место из мемуаров Ф. Вигеля: „Новые Бруты и Тимолеоны захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность. <…> Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов“[219]. „Увлечение классицизмом было так сильно в России, что все художники, работавшие в этом направлении, пользовались огромным успехом у своих современников. Мартос и гр. Федор Толстой образуют границы, в которых заключена история русского стиля Империи“[220].

С. Глинка в своих мемуарах интересно сблизил культ античности 1800-х годов, с одной стороны, с гражданственностью и свободолюбием, а с другой — с культом военной славы, которая в первые годы нового века облекалась в формы бонапартизма (национальные интересы России и Франции еще не пришли в столкновение; вспомним о бонапартизме Пьера и Андрея Болконского). „Голос добродетелей древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет. <…> Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душою римлян“ [221]. Этот воинственный классицизм определил, например, трактовку русского архитектурного ампира в начале XIX столетия: „Памятники, фронтоны и карнизы домов украшаются алягреками, львиными мордами, шлемами, щитами, копьями и мечами. Даже на церковных стенах появляются атрибуты войны“[222]. Еще более заметен поворот к классицизму в западноевропейской культуре. Во Франции, где классицизм, выйдя за рамки культуры определенной эпохи, приобрел значение национальной традиции, эта тенденция, по сути, не прерывалась, лишь меняя свою окраску при переходе от Революции к Империи. Но и Германия, пережив штюрмерское отрицание классических форм культуры, вновь обратилась к ним в творчестве позднего Шиллера, Гёте.

Итак, может показаться, что традиция классицизма или продолжалась без перерыва (Франция), или была реставрирована в сравнительно неизмененном виде (Россия, Германия). Такое заключение было бы весьма ошибочным.

Некоторыми исследователями отмечалось уже, что „неоклассицизм“ был, несмотря на свои декларации, по сути дела, замаскированным романтизмом (Г. А. Гуковский). Для специальных задач настоящей книги нам нет надобности рассматривать вопрос во всей его полноте. Остановимся лишь на одном его аспекте.

При сходстве, в ряде случаев, структуры текста произведений классицизма и неоклассицизма, решительно меняется общий смысл текста, если принять во внимание отношение к нему аудитории и формулу соответствия внетекстовой реальности.

Как было уже отмечено, классицизм разгораживал искусство и жизнь непреодолимой гранью. Это приводило к тому, что, восхищаясь театральными героями, зритель понимал, что их место — на сцене, и не мог, не рискуя показаться смешным, подражать им в жизни. На сцене господствовал героизм, в жизни — приличие. Законы и того и другого были строги и неукоснительны для художественного или реального пространства. Напомним шутку Г. Гейне, который говорил, что современный Катон, прежде чем зарезаться, понюхал бы, не пахнет ли нож селедкой. Смысл остроты — в смешении несоединимых сфер — героизма и хорошего тона.

Когда Сумароков в разгар своего конфликта с московским главнокомандующим П.

Салтыковым (в 1770 году) написал патетическое письмо Екатерине II, императрица резко указала ему на „неприличие“ перенесения в жизнь норм театрального монолога: „Мне, — писала она драматургу, — всегда приятнее будет видеть представление страстей в ваших драмах, нежели читать их в письмах“. А воспитанный в той же традиции вел. кн. Константин Павлович много лет спустя писал своему наставнику Лагарпу: „Никто в мире более меня не боится и не ненавидит действий эффектных, коих эффект рассчитан вперед, или действий драматических, восторженных“[223].

Между тем в начале XIX века грань между искусством и бытовым поведением зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового поведения. Люди Революции ведут себя в жизни как на сцене. Когда Жильбер Ромм, приговоренный к гильотине, закалывается и, вырвав кинжал из раны, передает его другу, он повторяет подвиг античного героя, известный людям его эпохи по многочисленным отражениям в театре, поэзии и изобразительном искусстве.

Искусство становится моделью, которой жизнь подражает.

Примеры того, как люди конца XVIII — начала XIX века строят свое личное поведение, бытовую речь, в конечном счете свою жизненную судьбу по литературным и театральным образцам, весьма многочисленны. Тот, кто занимался историей бытовых текстов той поры, знает, как резко меняется их стиль, приближаясь к нормам, выработанным в чисто литературной сфере. Уже поколение 90-х годов следует в своем реальном поведении образцам, почерпнутым из римской литературы и театральных зрелищ XVIII века. С. Глинка в молодости, пропитанный „римским“ героизмом, в своем дневнике дал многочисленные примеры восприятия жизни через призму литературы. Глинки были не богаты. На фоне петербургской дворянской жизни их можно было попросту считать нищими. Но то, что по бытовым нормам могло оцениваться как неудобство, недостаток или даже неприличие, сквозь призму „римского“ героизма воспринималось как гражданская добродетель. „Римская“ поэтизация бедности, придававшая материальной нужде театральное величие, была в дальнейшем свойственна многим декабристам, но ей решительно оставались чужды разночинцы-интеллигенты следующего поколения. Например, С. Глинка передал эти чувства своему брату декабристу Федору, знаменитому бессребренику. Трактовка С. Глинкой поведения бесстрашного Якова Кульнева интересна еще и тем, что иные современники „расшифровывали“ его действия совсем несходным образом. То, что Глинке казалось римской добродетелью, Д. Давыдов истолковывал как оригинальность и чудачество в духе Суворова:

Поведай подвиги усатого героя,

О муза, расскажи, как Кульнев воевал,

Как он среди снегов в рубашке кочевал

И в финском колпаке являлся среди боя.

Пускай услышит свет

Причуды Кульнева и гром его побед[224].

Интересно, что герои Гоголя, Л. Толстого или Достоевского, то есть текстов, которые сами

подражают жизни, читательского подражания не вызвали.

Особенную роль в культуре начала XIX века в общеевропейском масштабе сыграл театр. Это тем более показательно, что роль театра ни в коей мере в эту эпоху не пропорциональна месту драматургии в общей системе литературных текстов. Театрализуется эпоха в целом. Специфические формы сценичности сходят с театральной площадки и подчиняют себе жизнь. В первую очередь это относится к культуре наполеоновской Франции. Когда русские путешественники, после Тильзита, оказались в Париже, их поразила ритуализованность и пышность тюльерийского двора, очень далекая от нарочитой простоты петербургской придворной жизни при Александре I (привыкшие к пышности екатерининского двора, люди старшего поколения видели в этом проявление скупости императора). Подробное описание впечатления, которое оставлял парижский придворный ритуал на русских путешественников, дает граф Е. Ф. Комаровский в своих мемуарах: „Съезд во дворец был премноголюдный; весь дипломатический корпус, все первые члены, военные, штатские и придворные составляли двор превеликолепным. Несколько маршалов в мантиях, полном своем мундире и всякий из них с жезлом в руке, придавали оному еще более величия. Придворный мундир был красного цвета с серебряным шитьем по борту и обшлагам. Посреди сего двора, блестящего золотом и серебром, Наполеон в простом офицерском, егерского полка, мундире делал величайшую оттенку. <…> Ничего не было величественнее и вместе с тем воинственнее, как вид на каждой ступени высокой лестницы Тюльерийского дворца стоявших по обеим сторонам в медвежьих шапках гренадер императорской гвардии, мужественного и марциального вида, украшенных медалями и шевронами“. Далее описывается ритуал представления императрице Жозефине и принцессам: „Когда партии в карты были составлены, то отворялись обе половинки двери, и все мужчины и дамы должны были идти по одиночке отдать, — так называлось, — поклон императрице, обеим королевам: гишпанской, голландской и принцессе Боргезе, которые отвечали небольшим поклоном. В сие время Наполеон стоял в той же комнате и как будто всем делал инспекторский смотр. <…> Для дам сия церемония была весьма затруднительна, ибо они, не оборачиваясь, а только отталкивая ногой предлинные хвосты их платьев, должны были маневрировать. Императрицын стол был один в поперечной стене комнаты, а прочие три — в продольной. Стало быть, надлежало дамам сделать три поклона, идя прямо к столу императрицы; потом, поворотясь несколько направо, сделать каждой из королев и принцессе по одному поклону, переходя боком от одной до другой, и идти задом до дверей“[225].

Интересное объяснение театральности придворной жизни Наполеона дала m-me Жанлис: „После падения трона установили этикет и придворные правила, следуя тому, что наблюдали, проходя и опустошая чужие царства; титулы высочества, превосходительства и камергеры стали у нас столь же обыкновенными, как в Германии и Италии. <…> В Тюльери можно было видеть странную смесь чужих этикетов. Придворный церемониал был пополнен еще прибавлением многого из театральных обычаев. Один остроумный человек заметил в это время, что церемониал представления ко двору был точной имитацией представления Энея царице карфагенской в опере „Дидона“. Известно, что к одному знаменитому актеру [Тальма] часто обращались за советами относительно костюмов, которые изобретались для торжественных дней“[226].

Однако не придворный этикет был основной сферой проникновения 1 эстетического и театрального момента в нехудожественную жизнь — такой сферой была война.

Наполеоновская эпоха внесла в военные действия, кроме собственно присущих им свойств, бесспорный элемент эстетического. Только учитывая это, мы поймем, почему писателям следующего поколения: Мериме, Стендалю, Толстому — потребовалась такая творческая энергия для деэстетизации войны, совлечения с нее покрова театральной красивости. Война в общей системе культуры наполеоновской эпохи была огромным зрелищным действом (конечно, не только и не столько им). Контраст между двором в Тюльери, генералитетом, на поле сражения разодетым в театрально-пышные мундиры, с одной стороны, и буднично

одетым в „рабочий“ мундир императором, с другой, сразу же выключал Наполеона из театрализованного пространства и подчеркивал, кто является актерами, а кто — режиссером этого огромного спектакля[227]. Напомним, что условия и нормы войны тех лет делали далеко не всякое пустое пространство пригодным для того, чтобы стать „пространством войны“. Наиболее подходящим считался гигантский естественный амфитеатр аустерлицкого или бородинского поля. Располагающиеся на высотах главнокомандующие оказывались в положении и режиссеров, и зрителей. На эту возможность позиций „зрителя“ и „актера“ в бою, прямо сопоставив их с театром, указал еще Феофан Прокопович, говоря о личном участии Петра в Полтавской битве и простреленной шляпе императора: „Не со стороны, аки на позорищи стоит, но сам в действии толикой трагедии“[228].

„Толикая трагедия“, разыгравшаяся на полях Европы, активно формировала психологию людей начала XIX века, в частности, приучала их смотреть на себя как на действующих лиц истории, „укрупняла“ их в собственных глазах, приучала к сознанию собственного величия, и это не могло не сказаться на их политическом самосознании в дальнейшем. Показательно, что и Денис Давыдов, желая определить сущность партизанской войны, прибег к сравнению, подчеркивающему эстетическое восприятие „малой войны“: „Сие исполненное поэзии поприще требует романического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа Байрона!“[229]

Правда, Денис Давыдов, демонстративно отвергавший „античное“ осмысление Отечественной войны (свойственное русскому ампиру, например известным барельефам Ф. Толстого)[230], не строил свое личное поведение по римским моделям. Для него образцом сделался не русский дворянин, ведущий себя как Катон или Аристид, а русский дворянин, подражающий в поведении человеку из народа.

С этим можно сопоставить предложение К. Рылеева, выходя 14 декабря на площадь, надеть „русский кафтан“. Как и позднее у славянофилов, здесь был значим сам факт перевоплощения, поскольку Рылеев, конечно, не рассчитывал, что его в таком костюме могут посчитать человеком из народа. Не случайно Николай Бестужев назвал этот план „маскарадом“[231].

Эстетическая игровая сущность такого поведения заключалась в том, что, становясь Катоном, Брутом, Пожарским, Демоном или Мельмотом и ведя себя в соответствии с этой принятой на себя ролью, русский дворянин не переставал одновременно быть именно русским дворянином своей эпохи. Эта двойственность поведения, столь свойственная целому поколению и ярко проявившаяся, например, в поведении декабриста Якубовича, вызвала немало нареканий, далеко не всегда справедливых, со стороны людей эпохи Н. Добролюбова и Базарова.

Одним из ярких проявлений „театральности“ повседневного поведения было обостренное чувство антракта. Следует отметить, что ощущение театральности как смены меры условности поведения было особенно присуще культуре XVIII — начала XIX века с ее обыкновением совмещать в одном театральном представлении трагедию, комедию и балет, причем „один и тот же исполнитель декламировал в трагедии, острил в водевиле, пел в опере и позировал в пантомиме“[232]. Чтобы понять всю остроту чувства перевоплощения, к этому следует добавить, что театрал той поры знал актера или актрису как человека, в антракте любил забежать за кулисы. Следует также напомнить, что в актерской игре высоко ценилось именно это искусство перевоплощения, что делало грим обязательным элементом театра. В актере ценилось умение отрешиться от собственной системы поведения и включиться в условно-традиционное поведение, предписанное данному типу персонажа. Очень показательны оценки актерской игры, сообщенные таким искушенным театралом, как С. Т. Аксаков: „Самым интересным спектаклем после „Двух Фигаро“ была небольшая комедия „Два Криспина“, сыгранная вместе с какой-то пьесой. Двух Криспинов играли знаменитые благородные актеры-соперники: Ф. Ф. Кокошкин и А. М. Пушкин, который, так же, как и

Кокошкин, перевел одну из Мольеровых комедий — „Тартюф“ и также с переделкою на русские нравы. Любители театрального искусства долго вспоминали этот „бой артистов“. Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь быть побеждену; но публика разделилась на две разные половины, и каждая своего героя считала и провозглашала победителем. Почитатели Пушкина говорили, что Пушкин гораздо лучше Кокошкина потому, это правда, и в этом отношении Кокошкин не выдерживал никакого сравнения с Пушкиным. Но почитатели Кокошкина говорили, что он, худо ли, хорошо ли, но играл Криспина, а Пушкин сыграл — Пушкина, что также была совершенная правда, из чего следует заключить, что оба актера в Криспинах были неудовлетворительны. Криспин — известное лицо на французской сцене; оно игралось и теперь играется (если играется) по традициям; так играл его и Кокошкин, но, по-моему, играл неудачно именно по недостатку естественности и жизни, ибо и в исполнении самих традиций должна быть своего рода естественность и одушевление. Пушкин решительно играл себя или, по крайней мере, — современного ловкого плута; даже не надевал на себя известного костюма, в котором всегда является на сцену Криспин: одним словом, тут и тени не было Криспина“[233].

Искусством перевоплощений славился И. Сосницкий. В 1814 году он, еще молодым актером, изумил зрителей, исполнив в одной комедии восемь различных ролей. Если примером грубого вторжения театральности в сферу нетеатральной обыденной жизни может быть появление на петербургском немаскарадном балу начала 1820-х годов переряженных грузинскими крестьянами семьи Клейнмихелей, которые повалились в ноги Аракчееву, благодаря его за счастливую жизнь, то можно привести и показатели тонкого чувства сценической условности и театральной семиотики. Только при очень высокой культуре театра как особой знаковой системы могло возникнуть зрелище, пикантность которого была в превращении человека в знак самого себя. Аксаков вспоминает об интермедии, данной московскими артистами и театралами в день рождения Д. В. Голицына: „Эта интермедия отличалась тем, что некоторые лица играли самих себя: А. А. Башилов играл Башилова, Б. К. Данзас — Данзаса, Писарев — Писарева, Щепкин — Щепкина и Верстовский — Верстовского, сначала прикидывающегося отставным хористом Реутовым“[234]. Между этим случаем и „игрой самого себя“ А. М. Пушкиным — принципиальная разница: Пушкин изображал себя невольно, не умея отрешиться от своего поведения. В результате театральное поведение (роль) низводилось до обычного. На вечере в честь Голицына актеры играли самих себя, то есть претворяли свое обычное поведение, свою личность в художественный образ.

Смена типа игрового поведения, обостряющая чувство условности, и проблемы рампы и антракта — границ игрового пространства и времени — органически связаны.

Для бытового поведения русского дворянина конца XVIII — начала XIX века характерны и прикрепленность типа поведения к определенной „сценической площадке“, и тяготение к „антракту“ — перерыву, во время которого театральность поведения понижается до минимума. Вообще для русского дворянства конца XVIII — начала XIX века характерно резкое разграничение бытового и „театрального“ поведения, одежды, речи и жеста. Бесспорно, что и в крестьянском, и в мещанском быту также существовало различие между праздничной и бытовой одеждой или поведением. Однако только в дворянской среде (особенно в столичной) это различие достигало такой степени, что требовало специального обучения. Французский язык, танцы, система „приличного жеста“ настолько отличались от бытовых, что вызывали потребность в специальных учителях. В крестьянском быту могло быть несколько типов одежды или поведения (например, специальное поведение в церкви), но это приводило лишь к тому, что возникало несколько „своих“, не требующих учителей и передаваемых простым подражанием, типов поведения. В дворянском же быту возникала сложная система обучения, в том числе и словесного, не ориентированного на простое подражание. Процесс этот зашел столь далеко, что „естественное“ и „искусственное“ („свое“ и „чужое“) могли меняться местами — в 1812 году многие столичные дворяне вынуждены были обучаться русскому языку как чужому. При этом возникала интересная картина: молодой

дворянин, обучающийся своему родному языку как чужому (ср. пушкинские слова в „Евгении Онегине“ о дамах: „И в их устах язык родной // Не обратился ли в чужой“), одновременно все же овладевал французским языком как письменным („правильным“) и учился устному русскому языку, который продолжал считать „неправильным“, „мужицким“. Это противоречие, казалось бы, снялось, когда под влиянием А. Шишкова и патриотических настроений 1812 года распространилось в дворянском обществе изучение русского и церковнославянского языка. Они начали проникать в детское воспитание. Но от этого положение только усложнилось: ученик получал два книжных языка (обучение русскому языку как иностранному казалось многим повышением его общественного престижа) и еще один, третий — устный язык игр с дворовыми детьми и разговоров с няней.

Для того, чтобы оценить элементы театральности в бытовом дворянском поведении в полной мере, стоит привести себе на память поведение „нигилиста“ 1860-х годов, для которого идеалом являлась „верность себе“, неизменность жизненного и бытового облика, следование одним и тем же нормам в семейной и общественной, „исторической“ и личной жизни. Требование „искренности“ подразумевало отказ от подчеркнуто-знаковых систем поведения и, одновременно, ликвидировало необходимость перерывов для того, чтобы „побыть самим собой“.

Дворянский быт конца XVIII — начала XIX века строился как набор альтернативных возможностей („служба — отставка“, „жизнь в столице — жизнь в поместье“, „Петербург — Москва“, „служба военная — служба статская“, „гвардия — армия“ и пр.), каждая из которых подразумевала определенный тип поведения. Один и тот же человек вел себя в Петербурге не так, как в Москве, в полку не так, как в поместье, в дамском обществе не так, как в мужском, на походе не так, как в казарме, а на балу иначе, чем „в час пирушки холостой“ (Пушкин). В крестьянском быту поведение менялось в зависимости от календаря и цикла сельскохозяйственных работ. В результате этого тип поведения в меньшей степени сохранял индивидуальность[235], традиция и коллективность играли в крестьянском поведении гораздо большую роль. Дворянский образ жизни подразумевал постоянную возможность выбора. Одновременно, если крестьянин практиковать „некрестьянское“ поведение не имел физической возможности, то для дворянина „недворянское“ поведение отсекалось нормами чести, обычая, государственной дисциплины и сословных привычек. Нерушимость этих норм была не автоматической, но в каждом отдельном случае представляла собой акт сознательного выбора и свободного проявления воли. Однако „дворянское поведение“ как система не только допускало, но и предполагало определенные выпадения из нормы, которые в переводе на „язык сцены“ равнозначны были антрактам в спектаклях. Система воспитания и быта вносила в дворянскую жизнь целый пласт поведения, настолько скованного „приличиями“ и системой „театрализованного“ жеста, что порождала противоположное стремление — порыв к свободе, к отказу от условных ограничений. В результате возникала потребность в своеобразных отдушинах — прорывы в мир цыган, влечение к людям искусства и т. д., вплоть до узаконенных форм выхода за границы „приличия“: загул и пьянство как „истинно гусарское“ поведение, доступные любовные приключения и, вообще, тяготение к „грязному“ в быту. При этом, чем строже организован быт (например, столичный гвардейский быт во времена Константина Павловича), тем привлекательнее самые крайние формы бытового бунта. В эпоху Александра I, когда гвардия пользовалась относительной свободой поведения, в гвардейской казарме не только пили шампанское, но и читали Адама Смита и Бенжамена Констана. При Николае I и Константине Павловиче зажатая в строгие оковы дисциплины гвардейская казарма одновременно сделалась рассадником пороков и извращений. Солдатская скованность компенсировалась диким разгулом[236].

Интересным показателем театрализованности повседневной жизни является то, что широко распространенные в дворянском быту начала XIX века любительские спектакли и домашние театры, как и приобщение к профессиональному театру, воспринимались как уход из мира

условной и неискренней жизни „света“ в мир подлинных чувств и непосредственности. Театр конца XVIII — начала XIX века одной из существенных тем имел характер „естественного человека“. Он мог облекаться в образ добродетельного дикаря, юноши — жертвы социальных или религиозных предрассудков, девушки, чьи естественные чувства любви и свободы подвергаются насилию со стороны предрассудков и деспотизма. Тематика эта широко проникла на сцену, причем с особенной прямолинейностью она завоевала „нижние“ этажи литературы. Если в пьесах Ф. Шиллера она усложнялась глубокими философскими прозрениями, то под пером А. Коцебу становилась доступной даже весьма нетребовательному зрителю. Однако парадоксальным образом сама примитивность пьес такого типа оказывалась источником не только их слабости, но и силы.

Можно было бы сказать, что популярность „коцебятины“ (презрительное название, данное последователями классицизма драматургии Коцебу) питалась только культурной неискушенностью зрителей. Но такое утверждение односложно. Просвещение основывалось на убеждении, что истина проста по своей сущности. Примитивное воспринималось как близкое к природе. Мудрецом века был объявлен дикарь. Мелодрама с ее предельным упрощением характеров, резким разделением на добродетельных героев и злодеев казалась наиболее соответствующей самой природе. В пьесе А. Н. Островского „Лес“, написанной не без влияния идей Просвещения, сталкиваются две группы героев: театральные актеры („высокий“ трагик и „низкий“ комик — сама пара повторяет контрасты балаганного набора персонажей) и светское помещичье общество. Но в ходе пьесы Островского — и об этом прямо говорит трагик Несчастливцев — „комедиантами“ оказываются погруженные в мир обманов и лжи зрители, а люди театра — высокими артистами. Последнее слово применялось ко всем деятелям искусства, что для Просвещения означало близость к подлинной жизни. Таким образом, на фоне „театра жизни“ дважды театральный театр сцены воспринимался как выход

за пределы искусственного мира в мир естественности. В памяти Аксакова сохранились слова известного театрала Писарева: „Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, — с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня, как человека с талантом! Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц“[237].

Показательно устойчивое стремление осмыслить законы жизни дворянского общества через призму наиболее условных форм театрального спектакля — маскарада, кукольной комедии и балагана, с чем постоянно встречаемся в литературе конца XVIII — начала XIX века. К наиболее ранним сопоставлениям света и маскарада относится место в „Почте духов“ Крылова: „Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтоб показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или, что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать… что сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных людей, из коих, может быть, большая часть под наружною личиною в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство“.

Мы уже отмечали, что, рассматривая зрелищную культуру начала XIX века, нельзя обойти военные действия, как нельзя исключить цирк из зрелищной культуры Рима или бой быков из аналогичной системы Испании. Как известно, во всех этих случаях настоящая кровь, лившаяся в ходе зрелища, не отменяет момента эстетизации, а является его условием. В длинной цепи переходов, отделяющих театральные подмостки от рыцарского турнира или профессионального бокса, ужасное и прекрасное находятся в особом для каждой градации соотношении.

Однако в армии павловской и александровской эпох была еще одна форма, даже в неизмеримо большей мере ориентированная на зрелищность, но воспринимавшаяся как антипод и полная противоположность боя. Это был парад. Парад, конечно, в неизмеримо большей степени, чем сражение, ориентирован был на зрелищность. В определенном смысле именно здесь пролегла грань, делившая военных людей той эпохи на два лагеря: одни смотрели на армию как на организм, предназначенный для боя, вторые же видели ее высшее предназначение в параде. Естественно, что в первом случае выдвигалась вперед практическая функция, функция же эстетическая присутствовала лишь как некоторый чуть заметный налет, меняющий колорит картины, но не ее рисунок, а во втором — она вырывалась вперед, оттесняя все практические соображения.

За ориентацией армии на сражение или на парад стояли две различные военно-педагогические и военно-теоретические доктрины, а в конечном счете и две философские концепции. Социально-политическая их противоположность столь же очевидна, как и противопоставленность в ориентированности на классицистическую и романтическую культуры. Существовал еще один аспект: одна из них воспринималась как „прусская“, а другая — как национально-русская. На скрещении всех этих противопоставлений возникало и глубокое различие в эстетическом переживании этих двух основных моментов в жизни армии тех лет.

Участие в войнах, определившее биографии целого поколения молодых людей Европы (обстоятельство, не помня о котором нельзя представить жизненный облик декабриста), существенным образом влияло на тип личности. Хотя бой реализовывался как некоторая организация (он определялся общей диспозицией, а место и роль отдельного участника детерминировались ролью, отведенной его части, и характером обязанностей, возложенных на него по чину и должности), он открывал значительную свободу для личной инициативы. Организация боя, собирая людей весьма различных по месту в общественной иерархии и упрощая формы общения между ними, в определенном отношении отменяла общественную иерархию. Где, кроме аустерлицкого поля, младший офицер мог увидать плачущего императора? Кроме того, атомы общественной структуры оказывались в бою гораздо подвижнее на своих орбитах, чем в придавленной чиновничьим правопорядком общественной жизни. Тот „случай“, который позволял миновать средние ступени общественной иерархии, перескочив снизу непосредственно на вершину и который в XVIII веке ассоциировался с постелью императрицы, в начале XIX века вызывал в сознании образ Бонапарта под Тулоном или на Аркольском мосту (ср. „мой Тулон“ князя Андрея в „Войне и мире“). Изменились не только средства, но и цели: честолюбец XVIII века был авантюрист, мечтающий о личном выдвижении, честолюбец начала XIX века мечтал о месте на страницах истории. Придворная жизнь александровской эпохи почти не знала тех головокружительных взлетов и падений, которые, став столь характерными для царствования Екатерины, были доведены Павлом до карикатурности. Только война, расковывая инициативу сотен младших офицеров, приучала их смотреть на себя не как на слепых исполнителей чужой воли, а как на людей, в руки которых отдана судьба Отечества и жизнь тысяч других людей. Участие же в Отечественной войне, активизация гражданского самосознания сливали боевую предприимчивость и политическое вольнолюбие. Пушкин подчеркнул связь между либерализмом и воинским прошлым поколения людей,

Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,

Привыкли [нехотя] лишь к пороху [да к] полю[238].

(VII, 246)

Парад был прямой противоположностью — он строго регламентировал поведение каждого человека, превращая его в безмолвный винтик огромной машины. Никакого места для вариативности в поведении единицы он не оставлял. Зато инициатива перемещается в центр, на личность командующего парадом. Со времен Павла I это был император. Тимофей фон Бок, имея в виду павловские замашки Александра I, писал: „Почему император так страстно любит парады? Почему тот же человек, которого мы знали во время пребывания в армии в качестве незадачливого дипломата, превращается во время мира в ярого солдата, бросающего все дела, едва он услышит барабанный бой? Потому что парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет“[239].

Если бой ассоциировался в сознании современников с романтической трагедией, то парад отчетливо ориентировался на кордебалет. Показательно балетоманство Николая I. Александр I был равнодушен к драматическому и оперному театру — всем видам зрелищ он предпочитал парад, в котором себе отводил роль режиссера, а многотысячной армии — огромной балетной труппы. „Фрунт“ был наукой и искусством одновременно, и соображения красоты, „стройности“ всегда оказывались тем высшим критерием, которому все Павловичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою собственную популярность в армейской среде, и боеспособность армии. Конечно, легкомысленно было бы видеть в этой устойчивой склонности лишь проявление странных личных свойств Павла и его сыновей: парад становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия.

Не следует упускать, однако, из виду, что, хотя фрунтомания встречала почти единодушное осуждение в среде боевого офицерства (документальные свидетельства этого многочисленны и красноречивы), наука фрунта входила в точное знание тайн службы и игнорировать ее не мог ни один военный. Знатоком строя был П. Пестель, а декабрист М. Лунин снискал расположение фанатичного сторонника фрунта великого князя Константина не только рыцарством и безумной отвагой, но и тонким знанием тайн строевой службы. По свидетельству очевидца, „Лунин взялся доказать непригодность уланской амуниции для настоящего дела. Константин скомандовал своим уланам:

— Принимать команду от подполковника Лунина!

Лунин скомандовал: „С коня!“ и, не дав времени коснуться земли, снова скомандовал: „Садись!“ При этой поспешности все крючки, шнурочки и пр. полопались, разорвались, отстегнулись, и пышные уланские наряды оказались в самом плачевном состоянии. „Свой брат! Все наши штуки знает“, — заметил при этом Константин“[240].

Эстетика парада не могла быть полностью чуждой ни одному профессиональному военному, и даже у Пушкина в „Медном всаднике“ находим строки, посвященные ее „однообразной красивости“ (что не мешало Пушкину осознавать связь однообразия и рабства; ср.: „Как песнь рабов однообразной“). И эстетика парада, и эстетика балета имели глубокий общий корень — крепостной строй русской жизни.

В ситуации „Наполеон на поле боя“ и „Павел I на параде“, при всем очевидном различии, имеется и существенное сходство. Оно заключается в том, что происходящее разделено на два зрелища. С одной стороны, зрелище представляет собой масса (в бою или на параде), а зритель представлен одним человеком. С другой — сам этот человек оказывается зрелищем для массы, которая выступает уже как зритель. На этом сходство, пожалуй, кончается. Рассмотрим обе стороны этого двойного зрелища.

Если отвлечься от того, что Наполеон и Павел I не только наблюдатели, но и действователи

и их действия принципиально отличны по характеру, а рассмотреть их лишь как зрителей, то нельзя не обнаружить принципиального отличия в их отношении к зрелищу. Павел I смотрит зрелище с „железным сценарием“ (выражение С. Эйзенштейна): все детали предусмотрены заранее. Прекрасное равносильно выполнению правил, а отклонение от норм, даже малейшее, воспринимается как эстетически безобразное и наказуемое в дисциплинарном порядке. Высший критерий красоты — „стройность“, то есть способность различных людей двигаться единообразно, согласно заранее предписанным правилам. Стройность и красота движений интересует здесь знатока больше, чем сюжет. Вопрос: „Чем это кончится?“ — и в балете, и на параде приобретает второстепенное значение.

Зритель боя уподобляется зрителю трагедии, сюжет которой ему неизвестен — сколь ни захватывает величественность зрелища, интерес к исходу его превалирует.

Еще более разнится зрелище с позиции массы. Наполеон разыгрывает перед глазами своих солдат, изумленной Европы и потомства пьесу „Человек в борьбе с судьбой“, „Торжество Гения над Роком“. С этим был связан и подчеркнуто человеческий облик главного персонажа (простота костюма, амплуа „простого солдата“) и нечеловеческая громадность препятствий, стоящих на его пути. Своим поведением и судьбой (в значительной мере определенной той исторической ролью, которую он себе избрал) Наполеон предвосхитил проблематику и сюжетологию целой отрасли романтической литературы. Гений мог в дальнейшем сюжетно интерпретироваться различно — от демона до того или иного исторического персонажа, — стоящие на его пути преграды также могли получать разные имена (Бога, феодальной Европы, косной толпы и пр.). Однако схема была задана. Конечно, не Наполеон ее изобрел: он подхватил роль из той же литературы. Но, воплотив ее в пьесе своей жизни, он вернул эту роль литературе с той возросшей мощью, с которой трансформатор возвращает в цепь полученные им электрические импульсы.

Павел I разыгрывал иную роль. Командуя парадом в короне и императорской мантии (командование разводом войск при Екатерине II воспринималось как „капральское“, а не „царское“ занятие; царские регалии употреблялись лишь в исключительных торжественных обстоятельствах, да и в этих случаях Екатерина стремилась заменять корону знаком короны — облегченным ювелирным украшением в виде короны), он стремился явить России зрелище Бога. Метафорическое выражение Ломоносова о Петре: „Он Бог, он Бог твой был, Россия!“ — Павел стремился воплотить в пышном и страшном спектакле. В этом смысле совершенно не случайно, что в пародии Марина Павел I заменил ломоносовского Бога из „Оды, выбранной из Иова“:

О ты, что в горести напрасно

На службу ропщешь, офицер,

Шумишь и сердишься ужасно,

Что ты давно не кавалер,

Внимай, что царь тебе вещает,

Он гласом сборы прерывает,

Рукою держит эспантон;

Смотри, каков в штиблетах он[241].[242]

Александр I не любил театра и чуждался пышных церемоний. Обращение молодого императора подкупало простотой и непосредственностью. Казалось, он был воплощенная противоположность своему отцу, и начало его царствования должно было стать концом эпохи театральности.

Однако, чем глубже мы проникаем в смысл как политики, так и личности Александра Павловича, тем чаще, с некоторым даже недоумением, останавливаемся перед глубокой преемственной связью отца и сына. Александр не только не чуждался игры и перевоплощений, но, напротив, любил менять маски, иногда извлекая из своего умения разыгрывать разнообразные роли практические выгоды, а иногда предаваясь чистому артистизму смены обличий, видимо, наслаждаясь тем, что он вводит в заблуждение собеседников, принимающих игру за реальность. Приведем один лишь пример.

В середине марта 1812 года Александр I по целому ряду причин решил удалить М. М. Сперанского от государственной деятельности. Для нас сейчас интересны не политические и государственные аспекты этого события (кстати, хорошо выясненные в научной литературе), а характер личного поведения государя в этих условиях. Призвав к себе 17 марта утром директора канцелярии министерства полиции Я. де Санглена, который был одной из главных пружин интриги против Сперанского, император с видимым сожалением сказал: „Как мне ни больно, но надобно расстаться со Сперанским. Его необходимо отлучить из Петербурга“. Вечером того же дня Сперанский был вызван во дворец, имел аудиенцию у императора, после чего был отправлен в ссылку. Приняв утром 18 марта де Санглена, Александр сказал ему: „Я Сперанского возвел, приблизил к себе, имел к нему неограниченное доверие и вынужден был его выслать. Я плакал! <…> Люди мерзавцы! Те, которые вчера утром ловили еще его улыбку, те нынче меня поздравляют и радуются его высылке“. Государь взял со стола книгу и с гневом бросил ее опять на стол, сказав с негодованием: „О, подлецы! Вот, кто окружает нас, несчастных государей“. В тот же день император принял А. Н. Голицына, которого считал своим личным другом и к которому питал неограниченное доверие, и высказался в том же духе. Увидев крайнюю мрачность на лице царя, князь Голицын осведомился о его здоровье и получил ответ: „Если б у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно <…> у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моею правою рукой!“[243] При этом император плакал. Плакал он и прощаясь со Сперанским. Однако мы теперь точно знаем, что никто не отсекал у Александра его правую руку: воспользовавшись несколькими глупыми и бессмысленными доносами, Александр исподволь всесторонне лично подготовил всю интригу. Когда Сперанский чуть не сорвал задуманное царем эффектное удаление, подав просьбу об отставке, Александр не только счел необходимым эту просьбу отклонить, но еще более возвысил уже обреченную жертву[244]. Но еще более поразительна другая сцена. Во время, когда разыгрывалась эта история, в Петербурге случайно оказался ректор Дерптского университета профессор Г. Ф. Паррот. Отличавшийся редким благородством души, Пар-рот был в числе очень небольшого круга лиц, которым подозрительный Александр доверял. Именно потому, что он не был приближенным и придворным, редко виделся с Александром и никогда не обращался к нему ни с какими просьбами, он мог с основанием считать себя личным другом и конфидентом императора. 16 марта вечером он был вызван во дворец. „Император, — пишет Паррот, — описал мне неблагодарность Сперанского с гневом, которого я у него никогда не видел, и с чувством, которое вызывало у него слезы. Изложив полученные им доказательства этой измены, он сказал мне: „Я решился завтра же расстрелять его и, желая знать ваше мнение по поводу этого, пригласил вас к себе““.

Паррот умолял императора дать ему время подумать. 18 марта утром в специальном письме он пытался смягчить участь Сперанского. Император отвечал ему милостиво, и Паррот уехал в Дерпт, уверенный в том, что он спас Сперанского. Между тем очевидно, что Александр Павлович не собирался расстреливать Сперанского, а когда он благодарил Паррота за письмо и якобы милостиво внимал его аргументам, участь Сперанского была уже решена и

он следовал по направлению в ссылку.

Шильдер, рассказавший эту историю, не без некоторой доли недоумения — чувства, которое почти никогда не покидает исследователя личности Александра I, — резюмирует: „В переписке де Санглена с М. П. Погодиным встречается следующий любопытный отзыв императора Александра о Парроте: „Эти ученые все видят косо, и в цель не попадают, и с жизнию мало знакомы, хотя он человек светский“. Погодин с своей стороны прибавляет: „Паррот приведен был в заблуждение, как все“. Историк наш, когда он писал эти строки, и не подозревал во всем объеме, какую он изрек великую истину, так как ему совершенно не была известна преднамеренная комедия, разыгранная 16-го марта главным действующим лицом этой поистине шекспировской драмы из новейшей русской истории“[245].

Термины театра не случайно приходят здесь на ум историку. Не согласиться с ним можно лишь в одном: Александр разыгрывал не „шекспировскую драму“ — это был непрерывный „театр одного актера“. В каждом перевоплощении императора просвечивал тонкий расчет, но невозможно отрешиться от чувства, что сама способность менять маски доставляла ему, помимо всего, и „незаинтересованное“ удовлетворение. Наполеон проявил глубокую проницательность, назвав его „северным Тальма“.

„Театр“ Александра I был тесно связан с его стилем решения политических проблем: он в принципе не отличал государственных интересов от своих личных и систематически трансформировал отношения политические в личные (в этом смысле, несмотря на мягкость характера Александра Павловича, он придерживался последовательно деспотической системы и был настоящим сыном своего отца). В области внешней политики это порождало тот стиль личной дипломатии, который Александр I сумел навязать европейским дворам и который позволил русскому императору одержать ряд дипломатических побед. Во внутренней политике это была ставка на личную преданность монарху, что выглядело в начале XX в. безнадежно архаически и обусловило конечный провал всей внутренней политики Александра Павловича.

„Игра“ Александра I выпадала из стиля эпохи: романтизм требовал постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась моделью ее поведения. Такой стиль построения личности воспринимался как величественный. „Протеизм“ Александра I воспринимался современниками как „лукавство“, отсутствие искренности. Глагол „надувать“ часто мелькает в оценках царя даже его близким окружением. Меняя маски, чтобы „пленить“ всех, Александр всех отталкивал. Один из самых талантливых актеров эпохи, он был наименее удачливым актером.

Есть эпохи, когда искусство властно вторгается в быт, эстетизируя повседневное течение жизни: Возрождение, барокко, романтизм, искусство начала XX века. Это вторжение имеет много последствий. С ним, видимо, связаны взрывы художественной талантливости, которые приходятся на эти эпохи. Конечно, не только театр оказывал мощное воздействие на проникновение искусства в жизнь интересующей нас эпохи: не меньшую роль здесь сыграли скульптура и — в особенности — поэзия. Только на фоне мощного вторжения поэзии в жизнь русского дворянства начала XIX века понятно и объяснимо колоссальное явление Пушкина.

Необходимо обратить внимание еще на одну сторону вопроса: бытовое течение жизни и литературное ее отражение дают личности разную меру свободы самовыявления. Человек вмерзает в быт, как грешник Дантова ада в лед Каины[246]. Он теряет свободу движения, перестает быть творцом своего поведения. Люди XVIII века еще в значительной мере жили под знаком обычая. Надындивидуальное течение быта автоматически предопределяло поведение индивида. И хотя авантюризм, получивший в XVIII столетии неслыханное распространение, открывал для наиболее активных людей века выход за пределы рутины каждодневного быта, это был, с одной стороны, путь принципиально уникальный, а с другой стороны, открыто и демонстративно аморальный, это был путь личного утверждения в жизни

при сохранении ее основ. Герой плутовского романа не разрушал окружающую его жизнь: вся его энергия, все умение выбиться из социальной обоймы были направлены на то лишь, чтобы улечься в ту же обойму, но наиболее выгодным и приятным для себя образом. Его активность объективно не разрушала, а утверждала общий порядок жизни.

Именно потому, что театральная жизнь отличается от бытовой, взгляд на жизнь как на спектакль давал человеку новые возможности поведения. Бытовая жизнь по сравнению с театральной выступала как неподвижная: события, происшествия в ней или не происходили совсем, или были редкими выпадениями из нормы. Сотни людей могли прожить всю жизнь, не пережив ни одного „события“. Движимая законами обычая, бытовая жизнь заурядного русского дворянина XVIII века была „бессюжетна“. Театральная жизнь представляла собой цепь событий. Человек театра не был пассивным участником безлико текущего хода времени: освобожденный от бытовой жизни, он вел бытие исторического лица — сам выбирал свой тип поведения, активно воздействовал на окружающий его мир, погибал или добивался успеха.

Взгляд на реальную жизнь как на спектакль не только давал человеку возможность избирать амплуа индивидуального поведения, но и наполнял его ожиданием событий. Сюжетность, то есть возможность неожиданных происшествий, нежданных поворотов, становилась нормой. Именно сознание того, что любые политические перевороты возможны, формировало ощущение молодежи начала XIX века. Революционное сознание романтической дворянской молодежи имело много источников. Психологически оно было подготовлено, в частности, и привычкой „театрально“ смотреть на жизнь. Именно модель театрального поведения, превращая человека в действующее лицо, освобождала его от автоматической власти группового поведения, обычая. Пройдет немного времени — и литературность и театральность поведения жизненных подражателей героям Марлинского или Шиллера сама окажется групповой нормой, препятствующей индивидуальному выявлению личности. Человек сороковых-шестидесятых годов будет искать себя, отталкиваясь от литературности. Это не отменяет того, что период начала XIX века, период, который пройдет под знаком вторжения искусства — и в первую очередь театра — в русскую жизнь, навсегда останется знаменательной эпохой в истории русской культуры.

Театр и живопись — два полюса, взаимопритягательные и взаимно отталкивающиеся. Даже в рамках театра такие жанры, как опера, тяготели более к живописи, а драма — к подчеркнутой театральности. Сложно располагался в этом пространстве балет. Таким образом, перед нами — когда мы определяем эти жанры — вырисовываются не застывшие, замкнутые области искусства, а полюса, характеризующие его пространство.

Однако каждый из этих полюсов определялся не только разными средствами выражения, но и различными образами жизни. То, что можно было спеть, нельзя было адекватно станцевать; аудитория, которая в Петербурге, не сомневаясь, шла на оперное пение на итальянском языке, не испытывая затруднений в понимании смысла, вряд ли пошла бы на драматическое представление итальянского спектакля. Различные виды искусств создавали различную действительность, и жизнь, стремившаяся стать копией искусства, впитывала эти различия.

В сражении под Аустерлицем семнадцатилетний корнет 4-го эскадрона кавалергардского полка граф Павел Сухтелен был ранен сабельным ударом по голове и осколком ядра в правую ногу. Он был взят в плен и в толпе русских офицеров замечен проезжавшим Наполеоном, который пренебрежительно отозвался о юности пленника. Сухтелен озадачил Наполеона, ответив ему известными стихами из „Сида“:

Je suis jeune, il est vrai, mais aux fimes

bien nees

La valeur n'attend point le nombre des annees[247].

По приказу Наполеона на эту тему была написана картина для Тюльерийского дворца.

В этом эпизоде перед нами с классической четкостью выступает триада „сцена — жизнь — полотно“: юный Сухтелен осмысляет свое поведение в нормах театра, а Наполеон безошибочно выделяет в реальной жизненной ситуации сюжет картины.

Мы уже говорили о взаимосвязи сцены и бытового, реального поведения людей начала XIX века. Сейчас нам предстоит ввести третий компонент — живопись.

Связь между этими видами художественного текста была в интересующую нас эпоху значительно более очевидной и тесной, чем это может представиться читателю нашего времени. Общность живописи и театра проявлялась, прежде всего, в отчетливой ориентации спектакля на чисто живописные средства: тяготение сценического текста спектакля не к непрерывному течению, имитирующему временной поток во внехудожественном мире, а отчетливое членение спектакля на отдельные синхронно организованные неподвижные „срезы“, каждый из которых заключен в сценическом обрамлении, как картина в раме, и внутри себя организован по строгим законам композиции фигур на живописном полотне.

Только в условиях функциональной связи между живописью и театром могли возникнуть такие явления, как, например, юсуповский театр в Архангельском (под Москвой). Для театра Юсупова были написаны замечательные, сохранившиеся до сих пор декорации Гонзага. Декорации эти — произведения высокого живописного искусства с исключительно богатой и сложной игрой художественных пространств (все они представляют собой фантастические архитектурные композиции). Однако наиболее интересно их функциональное использование в спектакле: они не были фоном для действия живых актеров, а сами собой представляли спектакль. Перед зрителями под специально написанную музыку, при помощи системы машин декорации сменяли друг друга. Эта смена картин и составляла спектакль.

Появлением такого восприятия текста, при котором вперед выдвигалось общее для сцены и картины, а разница — движение — выступала как второстепенный элемент низшего уровня, может быть объяснено распространение такого вида зрелищ, как „живые картины“ — спектакли, действие которых составляло композиционное расположение неподвижных актеров в сценическом кадре. Движение здесь изображалось, как в живописи, динамическими позами неподвижных фигур. Привычный созерцатель картины не удивляется тому, что ее неподвижное полотно обозначает динамические сцены. Он восстанавливает движение в своем сознании. Глядя на картину Брюллова „Последний день Помпеи“, он не задаст вопроса: „Почему все герои остановились?“ Представление об их движении естественно возникает в его уме.

„Нормальное“ впечатление от театра, напротив того, основано на динамике актерских жестов и постоянном перемещении персонажей в пространстве сцены. Поэтому изображение картины средствами театра подчеркивает ее статичность, нарушенное ожидание динамики. Для того, чтобы уподобить театр картине, необходимо было создать специальные средства, противостоящие художественному опыту зрителей. Сцена отождествлялась в этом случае с живописью, а не со скульптурой, хотя по ряду признаков, казалось бы, сближение с последней более естественно. Значимость таких категорий, как рамка, замыкающая пространство, и цвет, делали невозможным отождествление сцены с групповой скульптурой. Объемность сценического действия рекомендовалось скрадывать, и неподвижный актер отождествлялся не с более „похожей“ статуей, а с фигурой на картине. Это показывает, что речь идет не о каком-то естественном сходстве, а об определенном типе художественного преображения. Показательно, что Гёте в продиктованных им Вольфу и Грюнеру и впоследствии обработанных и изданных Эккерманом „Правилах для актеров“ (1803) предписывал: „Сцену надо рассматривать как картину без фигур, в которой последние

заменяются актерами. <…> Не следует выступать на просцениум. Это самое невыгодное положение для актера, ибо фигура выступает из того пространства, внутри которого она вместе с декорациями и партнерами составляет единое целое“[248]. Исходя из существовавших в ту пору правил расположения фигур на полотне, Гёте запрещает актерам находиться слишком близко к кулисам. Противоположную тенденцию наблюдаем в „Ревизоре“ Гоголя. Слова Городничего: „Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..“ — по замыслу автора должны были быть брошены в зрительный, зал, разрушая театральное пространство. Характерно, что при постановке „Ревизора“ в 1950 г. Игорю Ильинскому было указано произносить эти слова, повернувшись спиной к публике и обращаясь к актерам на сцене.

Уподобление сцены картине рождало специфический жанр живых картин (отметим, что если для Карамзина, по его собственному признанию, реальный пейзаж становился эстетическим фактом, когда воспринимался сквозь призму литературной трансформации, то для молодого Пушкина такую роль играла „пейзажная“ театральная декорация и сгруппированные перед ней актеры — „везде передо мной подвижные картины…“). Однако на основе развитой системы подобного восприятия сцены могло рождаться вторичное явление: возникали театральные сюжеты, требовавшие изображения на сцене с помощью живых актеров имитации живописного произведения. Затем следовало оживление псевдокартины. Так, 14 декабря 1821 г. в бенефис Асенковой Шаховской поставил на петербургской сцене одноактную пьесу „Живые картины, или Наше дурно, чужое хорошо“. „Здесь являлось несколько живых картин, устроенных в глубине театра, в разном роде и несколько портретов на авансцене“[249]. Сюжет водевиля Шаховского состоял в осмеянии мнимых знатоков, которые осуждали творения русского живописца, противопоставляя ему иностранные образцы. Хозяин-меценат пригласил их на выставку. После того, как все полотна были подвергнуты критическому разносу, оказывается, что это не живопись, а живые картины, а портрет хозяина — он сам. В таком представлении самое движение артистов на сцене является вызывающей удивление аномалией[250].

Однако эти крайние проявления отождествления театра с картиной интересны, в первую очередь, потому, что наглядно раскрывают норму восприятия театра в системе культуры начала XIX века. Спектакль распадался на последовательность относительно неподвижных „картин“. В этом нельзя видеть случайность. Напомним, что Гёте в уже цитированном произведении (этим беседам писатель придавал большое значение, называя их „грамматикой“ или „элементами“ — по аналогии с Эвклидом — театра) определял, что персонажи, играющие большую роль, должны быть на сцене менее подвижными по сравнению с второстепенными. Так, он указывал, что в сценическом расположении „с правой стороны всегда стоят наиболее почитаемые особы <…> Стоящий с правой стороны должен поэтому отстаивать свое право, не позволять оттеснять себя к кулисам и,

не меняя своего положения (курсив мой. —

Ю. Л.) левой рукой сделать знак тому, кто на него напирает“[251]. Смысл этого положения будет ясен только, если мы учтем, что Гёте исходит из сценического закона той поры, согласно которому движется актер, расположенный слева, стоящий справа — неподвижен. Особенно примечателен § 91 в главе „Позы и группировка на сцене“. В нем утверждается, что правила картинного расположения и выразительных поз вообще применимы лишь к персонажам „высокого“ плана: „Само собой разумеется, эти правила должны преимущественно соблюдаться тогда, когда надо изображать характеры благородные и достойные. Но есть характеры, противоположные этим задачам, например, характер крестьянина или чудака“[252].

Результатом было то, что стремление связывать игру актера с определенным стабильным набором значимых поз и жестов, а искусство режиссера — с композицией фигур гораздо резче обозначалось в трагедии, чем в комедии. С этой точки зрения, внетеатральная жизнь и

трагедия являлись как бы полюсами, между которыми комедия занимала срединное положение.

Естественным следствием охарактеризованного выше сближения театра и живописи было установление относительно стабильной и входящей в общий язык сцены актерской пластики — мимики, поз и жестов, а также тенденция к созданию „грамматики сценического искусства“, явственно ощущаемая в сочинениях как теоретиков, так и практиков — педагогов сцены. Показательна роль, которую играет иллюстрация, изображающая жест и позу в театральных наставлениях тех лет. Рисунок становится как бы инструкцией и объяснением по отношению к театральному действию. С этим можно было бы сопоставить функцию рисунка в режиссерской деятельности С. Эйзенштейна. В ранний период, когда основу режиссерских усилий составляет монтаж фигур в кадре и монтаж кадров между собой, рисунок чаще всего имеет характер плана; но когда основным приемом делаются жест и поза актера перед объективом, монтируемые в как своего рода инструкции резко повышается, приближаясь к обучающей функции рисунка в театральном искусстве XVIII века.

Разделение в стиле поведения „высоких“ и „низких“ персонажей на сцене имело соответствие в особой концепции бытового поведения человека. В его поведении в сфере внехудожественной действительности выделялись два пласта: значимое, несущее информацию, и не сопряженное с какими-либо значениями. Первое мыслилось как набор поз и жестов, исторический поступок неразрывно был связан с жестом и позой. Второе не имело ни значения, ни урегулированного характера, повторяемость здесь не наблюдалась. Жест не был знаком и поэтому становился незаметным. Первое поведение тяготело к ритуалу. Оно вовлекало в свою сферу искусство и активно на него воздействовало. Ошибочно думать, что искусство эпохи классицизма уклонялось от изображения реального жизненного поведения людей (в таком свете оно предстало, когда целостная картина мира этой эпохи разрушилась и заменилась другой), но реальным и жизненным оно считало „высоко“ ритуализированное поведение, которое, в свою очередь, само черпало нормы из высоких образцов искусства, а не поведение „крестьянина и чудака“, по терминологии Гёте.

В предромантическую эпоху границы эти сдвинулись: сначала именно частная жизнь простых людей стала восприниматься как историческая и в нее были внесены поза и жест, прежде свойственные описанию и изображению государственной сферы действительности. Так, в жанровых картинках Греза больше позы и жеста, чем в жанровой живописи предшествующей эпохи, а Радищев вносит античную статуарность в сцену доения коровы[253]. В дальнейшем знаковое поведение вторгается в разнообразные сферы повседневного быта, вызывая его театрализацию.

Определенную театрализацию частной жизни можно усмотреть и в XVIII веке, однако здесь перед нами будет явление принципиально иного порядка, например — воздействие народного ярмарочного балагана. Яркий пример — организация быта Василия Васильевича Головина. Сын стольника, посланный Петром в 1713 году в Голландию, Головин числился при Академии, был камер-юнкером, занимал сравнительно неважные должности; при Бироне был взят в Тайную, где подвергся бесчеловечным пыткам: его поднимали на дыбе, гладили по спине раскаленным утюгом, кололи под ногти раскаленными иглами, били кнутом и проч., — за большую взятку был освобожден по отсутствии вины и после долгое время проживал в своем поместье безвыездно. Быт этот, описанный в курьезной книжке „Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского“, представлял непрерывный и строго выдержанный спектакль: „Вставши рано поутру, еще до восхода солнечного, он прочитывал полуношницу и утреню, вместе с любимым своим дьячком Яковом Дмитриевым. По скончании утренних правил, являлись к нему с докладами и рапортами дворецкой, ключник, выборной и староста. Они обыкновенно входили и выходили по команде горничной девушки, испытанной честности, Пелагеи Петровны Воробьевой. Прежде всего она произносила: „Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа“, а предстоящие отвечали: „Аминь!“ Потом она уже говорила: „Входите, смотрите, тихо, смирно, бережно и опасно, с чистотою и с молитвою, с докладами и за

приказами к барину нашему Государю, кланяйтесь низко Его боярской милости, и помните ж, смотрите накрепко!“ Все в один голос отвечали: „Слышим, матушка!“ Вошедши в кабинет к Барину, они кланялись до земли и говорили: „Здравия желаем, Государь наш!“ — „Здравствуйте, — отвечал Барин, — друзья мои непытанные и немученные! не опытные и не наказанные“. Это была его всегдашняя поговорка. „Ну! что? Все ли здорово, ребята, и благополучно ли у нас?“ На этот вопрос прежде всего отвечал с низким поклоном дворецкий: „В церкви святой, и в ризнице честной, в доме вашем Господском, на конном дворе и скотском, в павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на птичьих прудах и во всех местах, милостию Спасовок“, все обстоит, Государь наш, Богом хранимо, благополучно и здорово“. После дворецкого начинал свое донесение ключник: „В барских ваших погребах, амбарах и кладовых, сараях и овинах, улишниках и птичниках, на ветчинницах и сушильницах, милостию Господнею, находится, Государь наш, все в целости и сохранности, свежую воду ключевую из святого Григоровского колодца, по приказанию вашему Господскому, на пегой лошади привезли, в стеклянную бутыль налили, в деревянную кадку постановили, вокруг льдом обложили, изнутри, кругом призакрыли и сверху камень навалили“. Выборный доносил так: „Во всю ночь, Государь наш, вокруг вашего Боярского дому ходили, в колотушки стучали, в трещетки трещали, в ясак звенели, и в доску гремели, в рожок, Сударь, по очереди трубили, и все четверо между собою громогласно говорили; нощные птицы не летали, странным голосом не кричали, молодых Господ не пугали, с барской замаски не клевали, на крыши не садились и на чердаке не возились“. В заключение староста доносил: „Во всех четырех деревнях, милостию Божию, все обстоит благополучно и здорово: крестьяне люди Господские богатеют, скотина их здоровеет, четвероногие животные пасутся, домашние птицы несутся, на земле трясения не слыхали и небесного знамения не видали: кот Ванька (это был любимый кот барина. Однажды он влез в вятер, съел там приготовленную для барского стола животрепещущую рыбу и, увязши там, удавился. Слуги, не сказав о смерти кота, сказали только о вине, и Барин сослал его в ссылку. — Примечание бакалавра П. Казанского. —

Ю. Л.) и бабка Зажигалка (так названа та женщина, от неосторожности которой сгорело Новоспасское в 1775 году. Василий Васильевич так был испуган этим пожаром, что всем дворовым людям велел стряпать в одной особой комнате, а дворовых было у него более трех сот человек; естественно, что приказание никогда не было исполняемо. — Примечание его же. —

Ю. Л.) в Ртищеве проживают и по приказу Вашему Боярскому невейку ежемесячно получают, о преступлении своем ежедневно воздыхают и Вас, Государь наш, слезно умоляют, чтобы Вы гнев боярский на милость положили и их бы, виновных рабов своих, простили“»[254].

Показательно, однако, что театрализация такого типа не имеет тяготения делить бытовое действо на «неподвижные» картины, фиксировать позы и мимику.

Головин, столкнувшийся с реальностью бироновской эпохи, противопоставил ей жизнь, превращенную в непрерывный театр одного актера. Окружающая человека жизнь воспринималась как бы с двух точек зрения: театральной и реально бытовой. То, что оценивалось как высокое, значимое, «правильное», имеющее историческое значение, переводилось на язык театра, который мощно вторгался в каждодневную жизнь. Все же «неважное», бытовое, остававшееся за пределами театрализации, как бы не замечалось.

За этим делением мы легко обнаруживаем более глубокое различие: самосознание эпохи соединяло представление о значимом, «высоком», «историческом» поведении как о поведении первого рода. «Исторический поступок» был так же связан с жестом и позой, как «историческая фраза» — с афористической формой. Показателен пример: 9 сентября 1830 года Пушкин сообщал Плетневу о смерти дяди В. Л. Пушкина. Он писал: «Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав:

как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre ? la bouche»[255] (XIV, 112). Несколько другую версию сообщает кн. П. А. Вяземский: «В. Л. Пушкин, за четверть часа до кончины, видя, что я взял в руки „Литературную газету“, которая лежала на столе, сказал мне задыхающимся и умирающим голосом: „Как скучен Катенин!“ — который в то время печатал длинные статьи в этой газете. „Allons nous en, — сказал мне Александр Пушкин, — il faut laisser mourir mon oncle avec un mot historique“»[256]. Для того чтобы слова Василия Львовича и его поведение сделались историческими, они должны: 1) быть последними словами умирающего, связываться с отдельным, статистически изолированным и одновременно важнейшим, завершающим моментом жизни; 2) восприниматься как афоризм; 3) к ним должен быть приложим определенный жестовый код, поза, утвержденная как историческая. Так, в данном случае поведение Василия Львовича отождествляется с позой умирающего воина, на щите, с боевым кличем на устах. Интересно вспомнить, что смерть В. Л. Пушкина вызвала другую легенду. Ссылаясь на одного из близких знакомых поэта, П. В. Анненков рассказывал, что умирающий В. Л. Пушкин «поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг друга, отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван зала. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником»[257]. В данном случае бытовое поведение тоже становится историческим, поскольку, через жест и позу, соединяется с легендой, но уже иного типа, с легендой об Анакреоне, подавившемся виноградной косточкой, легкомысленном поэте, легкомысленно встречающем переход к вечности. Можно отметить противоположный случай: на полях элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» Пушкин написал: «Это умирающий В<асилий> Л<ьвович> — а не Торквато» (XII, 283). При этом следует подчеркнуть, что для Пушкина само противопоставление двух типов поведения уже теряло смысл.

В свете сказанного объясняется не только «картинность» театра, но и театральность картин в XVIII веке. Сцены, изображенные художниками, производят впечатление воспроизведения театра, а не жизни. Это дало повод в эпоху, когда культурный код XVIII столетия был забыт, утверждать, что художники тех лет не изображали действительности или не интересовались ею. Это, бесспорно, ошибочно. Дело здесь не только в том, что мир идей для рационалиста картезианского толка был в большей мере действительность, чем текущие формы быта. Дело в том, что, как мы видели на примере с Сухтеленом, для того чтобы осознать факт жизни как сюжет для живописи, его надо было предварительно смоделировать в формах театра.

Приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что театрализация живописи не есть свойство исключительно классицизма — она в равной степени свойственна и предромантизму, и романтизму. Так, предромантик Карамзин в 1802 году, предлагая сюжеты для картин из русской истории, сознательно располагает их как сцены. Так, говоря о живописных сюжетах, связанных с княжением Ольги, Карамзин замечает: «Художнику… остается выбрать любое из десяти возможных

представлений »[258]. Взгляд на картину как на исторический сюжет, пропущенный сквозь призму «представления», проявляется, в частности, в том, что живописный текст ассоциируется не только с рядом поз, но и с определенными словами, которые Карамзин вкладывает в уста персонажей воображаемых картин: «Князь, сказав: „Ляжем зде костьми; мертвые бо срама не имут“, обнажает мечь свой: вот минута для живописца!»[259]

Взаимный перевод театра на язык живописи и живописи на язык театра вырабатывает некоторый доминирующий стиль эпохи, который, сосуществуя с другими, оказывается, однако, на определенном этапе главенствующим. Он влияет, что уже неоднократно указывалось, на поэзию. Однако, разрывая в определенном отношении с традициями Державина, поэзия русского ампира оказывается более связанной со скульптурой, чем с живописью. Е. Г. Эткинд отмечает, что если начальная мысль пушкинской оды «Вольность» «выражена в форме целой многофигурной композиции: поэт, в венке и с лирой, гонит от себя

богиню любви и призывает другую богиню, то у Батюшкова — его аллегорические группы скульптурны»[260].

Сходные наблюдения сделал А. М. Кукулевич относительно поэтики Гнедича: «От актуальных эстетических проблем, стоявших в начале 20-х годов перед русской поэзией, от проблемы показа внутреннего мира героя, его душевных переживаний, его мировосприятия и т. д. идиллия Гнедича была далека. Напротив, ей были несомненно родственны эстетические принципы изобразительных искусств, принципы живописи и скульптуры, в аспекте винкельмановского неоклассицизма. Реалистические тенденции „гомеровского стиля“… с этими принципами органически связаны. Недаром Гнедич, характеризуя стиль гомеровских поэм, подчеркивал именно пластическую сторону их поэтики: Гомер не описывает предмета, но как бы ставит его перед глазами; вы его видите».[261]

Однако еще резче это воздействовало на процесс взаимоотношения искусства и поведения людей той эпохи. С одной стороны, имело место уже отмеченное нами воздействие театрально-живописного сознания на бытовое поведение человека той эпохи, с другой — автор мемуаров, записок и других письменных свидетельств, на которые опирается историк, отбирал в своей памяти из слов и поступков только то, что поддавалось театрализации, как правило еще более сгущая эти черты при переводе своих воспоминаний в письменный текст. Это имеет непосредственное значение для позиции исследователя, пытающегося реконструировать по текстам внетекстовую реальность.

В таком случае особенно ценными для историка являются своеобразные тексты «на двух языках» типа беседы генерала Н. Н. Раевского, записанной его адъютантом К. Н. Батюшковым: «Мы были в Эльзасе <…> Кампания 1812 года была предметом нашего болтанья.

„Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы <…> Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих“. „Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили“. — „За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!“ — „Но помилуйте, ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: „Вперед, ребята; я и дети мои откроем вам путь ко славе“ — или что-то тому подобное“. Раевский засмеялся: „Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувелисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован Римлянином. Et voil? comme on ?crit l'histoire!“[262]»[263]

Однако неосторожно было бы считать, что для восстановления подлинных событий «римский» (вернее, «театральный») колорит следует снимать как принадлежащий не реальному поведению участников событий, а тексту, описывающему это поведение. То, что дезавуированная самим Раевским легенда отнюдь не была чужда его реальному поведению и, видимо, совсем не случайно возникла, а также то, что утверждение Раевского, что он не выражается «витиевато», не следует принимать чересчур прямолинейно. Во-первых, речь и жест воздействуют и на поведение. Во-вторых, вполне можно допустить, что, беседуя с Батюшковым, Раевский перекодировал свое реальное поведение в другую систему — «генерал-солдат», простодушный герой и рубака. Ведь тот же Батюшков, но уже не со слов Раевского, а по собственным впечатлениям, рассказал другой эпизод, очевидцем которого он был. Раевский во время лейпцигского сражения с гренадерами находился в центре боя. «Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевской стоял в

цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною. Внезапно он был ранен в середину груди. Поскакали за лекарем. „Один решился ехать под пули, другой воротился“. Обернувшись к Батюшкову, раненый Раевский произнес: „Je n'ai plus rien du sang qui m'a donn? la vie. Ce sang l'est ?puis?, vers? pour la patrie“[264].[265]

И это он сказал с необыкновенною живостию. Изодранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжело раненного генерала, лучшего, может быть, из всей армии, беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты, одним словом — все обстоятельства придавали интерес этим стихам».

Приведенная цитата еще раз свидетельствует, сколь неосторожно было бы относить театральность поведения лишь за счет описания и безусловно доверять неспособности Раевского изъясняться «витиевато».

Культура активно влияет на то, каким образом современник видит и описывает свою эпоху. Между ней и действительностью возникает сложная система взаимодействий. Раевский был абсолютно чужд позы и показной декламации: он осмыслял мир через театр, а на театр смотрел глазами действительности. Исторический момент и героический поступок естественно осмыслялись средствами трагедии и сцены. При этом показательно, что патриот и враг галломании щеголей, Раевский выражает свои чувства стихами из французской трагедии. В эту минуту для него существовало не то, на каком языке он говорит, а то, что он сближает свои чувства с самыми высокими средствами выражения.

Толстой в «Севастопольских рассказах» описал сцену: офицеры под огнем артиллерии горцев, для того чтобы скрыть естественное чувство страха, заставляют себя говорить на неинтересные им темы. Между тем как естественное чувство простого солдата выражается в искренних бранных междометиях. Раевский, как и другие люди его эпохи, не похож на героев Толстого. Для него французская цитата есть искреннее и наиболее точное выражение его подлинных чувств. И это только подчеркивается процитированными уже его словами, критикующими «римскую рамку» восприятия современности. Конечно, взгляд на реальность сквозь призму «римской» театральности имеет предел. Естественность его выражается, в частности, в том, что он не исключает обычного, обыденного восприятия событий и не противостоит ему.

Так, в примере с генералом Раевским важно, что он мог вести себя в сфере реального поведения и как герой трагедии, «римлянин», и как «генерал-солдат». Когда Раевский осуществлял второе поведение, а современники осознавали его в системе первого — создавалась легенда, как это было с эпизодом на мосту в Дашковке. Однако оба кода принадлежали к входившим в круг реально возможных.

Есть эпохи — как правило, они связаны с «молодостью» тех или иных культур, — когда искусство не противостоит жизни, а как бы становится ее частью. Люди осознают себя сквозь призму живописи, поэзии или театра, кино или цирка и одновременно видят в этих искусствах наиболее полное, как в фокусе, выражение самой реальности. В эти эпохи активность искусства особенно велика. Между толстовским убеждением в том, что искусство есть отражение жизни и ценится в первую очередь правдивостью, и толстовским же отрицанием искусства — органическая связь. XVIII — начало XIX века — эпоха, пронизанная молодостью. Ей присуща и молодая непосредственность, и молодая прямолинейность, и молодая энергия. В подобные эпохи искусство и жизнь сливаются воедино, не разрушая непосредственности чувств и искренности мысли. Только представляя себе человека той поры, мы можем понять это искусство, и, одновременно, только в зеркалах искусства мы находим подлинное лицо человека той поры.

Итог пути

Смерть выводит личность из пространства, отведенного для жизни: из области исторического и социального личность переходит в сферы вечного и неизменного.

Тем не менее мы связываем переживание смерти со своеобразием той или иной культуры, ведь образ смерти, мысли о ней сопровождают человека и на всем протяжении его жизни, и на всех этапах истории. Идея смерти намного обгоняет самое смерть. Она становится как бы зеркалом жизни, с той только поправкой, что отражение здесь не пассивно: каждая культура по-своему отражается в созданной ею концепции смерти, а смерть бросает свое зловещее или героическое отражение на каждую культуру.

Своеобразие XVIII века, быть может, нигде не проявилось с такой силой, как в переживании смерти. Традиционные, унаследованные от отцов православно-христианские представления хотя и прочно сохранились в основной массе дворянства, но испытывали сильное воздействие деистических и скептических идей Просвещения, которые проникали в быт и каждодневное поведение людей.

При всем обилии философско-религиозных идей и концепций, которые сменяли друг друга в головах людей XVIII — начала XIX века, отчетливо выступает одна их общая черта: все страсти, помыслы и желания сосредоточены на земной жизни. Даже размышления о неизбежности смерти вызывали страстную устремленность к удовольствиям жизни:

Жизнь есть небес мгновенный дар;

Устрой ее себе к покою.

Г. Державин. «На смерть князя Мещерского»

Смерть была моментом, в котором пересекались христианские представления о бессмертии души и восходившие к античности, воспринятые государственной этикой идеи посмертной славы. Поразительный пример этому — эпизод смерти С. Н. Марина. Марин — известный поэт-сатирик, острослов и выдумщик разнообразных гвардейских проказ — был одновременно видным военным деятелем, участником всех наполеоновских войн. Многократно раненный, он выполнял в 1812 году ответственные поручения при действующей армии. Уволенный от службы по ранениям, он по инициативе Багратиона был 19 августа 1812 года представлен к ордену Владимира 3-й степени. Награда не успела. Марин от ран скончался и был отмечен следующим приказом: «По случаю кончины Марина остается без движения». Потрясает выход в типично римско-языческом стиле, который нашел в этом случае Александр I: он приказал Оресту Кипренскому нарисовать портрет Марина с орденом на шее. Не случайно тема посмертной славы в поэзии вызывала античные (языческие), а не христианские ассоциации. Так, весь цикл «памятников» — Ломоносова, Державина, Пушкина — представлял собой открытую вариацию традиции Горация. Еще более показательно в этом отношении стихотворение Державина «Лебедь», где откровенно античный образ поэта-лебедя воплощает даруемую поэтической славой победу над смертью. Кстати, тема не славного родом, но избранного богами поэта — прямая отсылка к горацианской традиции:

Да, так! Хоть родом я не славен,

Но, будучи любимец муз,

Другим вельможам я не равен,

И самой смерти предпочтусь.

Не заключит меня гробница,

Средь звезд не превращусь я в прах;

Но, будто некая цевница,

С небес раздамся в голосах.

И се уж кожа, зрю, перната

Вкруг стан обтягивает мой;

Пух на груди, спина крылата,

Лебяжьей лоснюсь белизной. <…>

«Вот тот летит, что, строя лиру,

Языком сердца говорил,

И, проповедуя мир миру,

Себя всех счастьем веселил».

Прочь с пышным, славным погребеньем,

Друзья мои! Хор муз, не пой!

Супруга! Облекись терпеньем!

Над мнимым мертвецом не вой.

Уже само воплощение мысли о смерти в образах, развернутых полностью вне христианства, было решительно невозможно до XVIII века. Если Ломоносов хотя и с явной проекцией на себя самого, но все же перевел античного поэта с его представлением о бессмертии, то Державин и Пушкин создали совершенно оригинальные, ориентированные на свои реальные биографии, представления о вечном величии русского поэта. Тема бессмертия души в этих текстах отсутствует, но нельзя утверждать, что это продиктовано античным источником. Пушкин, в частности, сознательно вводил в свое стихотворение и христианский мотив милосердия («И милость к падшим призывал»), и цитату из Корана, включив ее в последний стих — наиболее ударное место текста[266].

Если люди идеологии раскола в Петровскую эпоху обращали весь свой дух к мыслям о смерти и посмертном бытии, то дворянская государственность этих лет была настолько занята земными делами, что у нее просто не оставалось времени для размышлений о «потусторонних» вопросах. Если упоминается необходимость не щадить ради государства

свою жизнь, то только как обоснование права не щадить и жизни других. Петр I в укоризненном письме сыну напоминал, что для общего дела не жалеет собственной жизни и потому не может пощадить его, «непотребного». У того же Петра I мысль о смерти вызывала лишь обострение тех же самых государственных забот, которые занимали его и при жизни [267].

Уже к середине XVIII века смерть сделалась одной из ведущих литературных тем. Это явилось отражением существенных сдвигов в самой жизни. Петровская эпоха была отмечена идеей группового бытия. Человек как бы растворялся в государстве, и собственная смерть казалась незначительной перед лицом государственной жизни. Для той части дворянства, которая сохраняла старые формы быта, переживание смерти зависело от системы традиционных церковных представлений и — еще больше — от тщательно соблюдаемых обрядов. Однако немалые пласты в русском дворянстве оказались перед необходимостью выйти за пределы этих представлений. Прежде всего это было связано с преломлением обстоятельств войны в сознании людей. Военное поведение в XVIII веке приобретало черты, резко отличающие его от предыдущих столетий. Оно стало глубоко личным. Слава, честолюбие, жажда подвига — все эти переживания уже в значительно меньшей степени относились к роду и семейству и почти полностью определяли индивидуальную судьбу. Это отразилось, в частности, в том, что награды начали приобретать персональный характер. Такие награды, как денежные дачи солдатам, участникам сражения, или медали для офицеров, еще были групповыми — они выдавались отличившимся полкам или подразделениям. Но ордена с самого начала их введения были индивидуальными, а самый почетный боевой орден — Св. Георгия — мог быть завоеван офицером только за личный подвиг. Подвиг мог увенчиваться не только орденом, но и смертью. Смерть тоже сделалась личной и начала представлять как бы высшую награду честолюбия. Принц де Линь, желая польстить Екатерине II, сказал ей, что, родись она мужчиной, она была бы знаменитым полководцем и выиграла бы сотни сражений. Честолюбивая императрица отвечала ему, что он ошибается: она была бы убита молодой, в одном из первых сражений. Переплетение военной смерти и подвига, венчавшего большую карьеру, отразилось в надгробных надписях этих лет. Пушкин хотя и не без оттенка иронии, но с почти документальной точностью воспроизвел надпись на могиле отца Татьяны Лариной:

Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,

Господний раб и бригадир,

Под камнем сим вкушает мир.

(2, XXXVI)

Между указанием на принадлежность Господу и названием чина — союз «и», соединяющий однородные члены: служба занимает место в одном ряду с христианским определением «Господний раб». Верность пушкинского текста жизненной реальности подтверждается сопоставлением с подлинными надгробными надписями тех лет. Упоминаемый нами в другом месте сотрудник Петра I Иван Неплюев сам сочинил незадолго до смерти надгробную надпись, оставив место лишь для дня кончины, — он завещал высечь на своей могиле: «Здесь лежит тело действительного тайного советника, сенатора и обоих Российских орденов кавалера Ивана Неплюева. Зрите! Вся та тщетная слава, могущество и богатство исчезают, и все то покрывает камень, тело ж истлевает и в прах обращается. Умер в селе Поддубье, 80-ти лет и 6 дней, ноября 11-го дня 1773 года»[268].

Благочестивый призыв, с которым обращается уже покойный Неплюев к проходящим мимо

его могилы, включает в себя тем не менее подробное перечисление орденов и чинов, завоеванных государственной службой. Даже из-под камня Неплюев гордится своими государственными заслугами, противореча собственной традиционно смиренной надписи.

Однако с наибольшей силой характерная для века жажда личной, ни с кем не делимой славы отразилась в надписи на могиле А. Суворова. Державин посетил умирающего опального полководца в доме его родственника графа Хвостова в Петербурге. Суворов, которого мнение потомства волновало и в эту минуту, спросил Державина, что бы он написал на его могиле. Державин отвечал, что много слов тут не надо, достаточно — «Здесь лежит Суворов». Умирающий пришел в восторг: «Помилуй Бог, как хорошо». В этой надписи, в ее лаконизме, напоминающем язык Цезаря, в отказе перечислять чины, должности, ордена и заслуги, была высокая гордыня: то, что составляет неподражаемое «я» полководца, личностное достояние — выше всех наград.

Представление, что ценность личности — в ее самости, неповторимости, в тех качествах, для которых Карамзин нашел новое слово — «оригинальность», было чертой, в которой выразился век. Подобно личным успехам по службе и карьере, личной славе, личному богатству, личным подвигам, о которых будут вспоминать потомки, или личным достоинствам, которые интимно оценит Екатерина II, смерть тоже входила в личную судьбу. Люди допетровской Руси стремились не посрамить род, обновить славу предков, передать потомкам доброе имя или богатство. Честолюбие XVIII века стремилось передать истории личную славу, точно так же, как владельцы огромных богатств в эти десятилетия стремились все растратить при жизни. В одно и то же время у людей одного и того же круга сталкивались две взаимоисключающие позиции. Жажда наслаждения — личного, физического и немедленного. Она измерялась количественно и заглушала заботу о детях, разрушала фамильные богатства. Живым воплощением ее стал Григорий Потемкин с его титанической мужской силой и неистощимым влечением ко все новым и новым утехам. Завершением этих порывов становились хандра, разочарование, терзавшее великолепного князя Тавриды. Нам трудно представить себе расточительность, охватившую все общество. Владельцы огромных состояний превращались в банкротов.

Другой полюс занимала жажда славы. Она облекалась в античные формы и тоже имела личный характер. Те, кто не думал о материальном положении своих детей, порой, впадая в противоречия, заботились о памяти в отдаленном потомстве, совершали поступки, сомнительные с точки зрения добродетели. Так, строгий моралист, филантроп и масон Иван Владимирович Лопухин никогда не возвращал долгов и оправдывал это тем, что раздавал большие суммы нищим. Эта эпоха кричащих противоречий порождала и глубоко противоречивое отношение к смерти.

Для дедов — людей допетровской эпохи — и отцов, живших в воинственное время, смерть была лишь завершением жизни, ее естественным рубежом и неизбежным итогом. На нее не жаловались и ею не возмущались — ее просто принимали как неизбежность. Конец XVIII века, пересматривая все, пересмотрел и этот вопрос. Темой размышлений сделался самый факт смерти. В чем ее смысл? Какова ее цель? И как жить, помня о ее неизбежности? Для средневекового человека конца не было: смерть ощущалась лишь как переход от временного к вечному, от мнимого к истинному. Человек второй половины века, современник Вольтера и читатель Гельвеция, с улыбкой превосходства отвернулся от отцовских верований. Взамен он получил сомнения или отчаяние. Но зато он приобрел и огромную свободу. Он как бы вырос до гигантских размеров и оказался один на один, лицом к лицу с вечностью. Это было и упоительное, и странное чувство. В конце XVIII века в Петербурге нашла себе нескольких адептов философия итальянского художника и поэта Тончи, о котором позже вспоминал П. Вяземский. Тончи проповедовал крайний агностицизм, объявляя, что единственная данная человеку реальность — это он сам. «Он говаривал на своем смелом языке, что система его сближает человека с создателем с глазу на глаз»[269]. Не все разделяли эти экстремальные мысли, но породившая их гипертрофия личности была чертой эпохи.

Во второй половине XVIII века изменилось и отношение к самоубийству, хотя оно могло получать весьма различные мотивировки и соответственно окрашиваться в разные идейные тона.

Одним из следствий этого явилась подлинная эпидемия самоубийств, охватившая в XVIII веке Англию, Францию и Америку, а затем, с некоторым запозданием, Германию и Россию. Проблема самоубийства, волновавшая Руссо, широко дискутировалась на страницах философских изданий. Однако когда немецкий юноша Иерузалем покончил с собой, это событие побудило Гёте в повести «Страдания юного Вертера» (1774) сделать самоубийство средоточием всех проблем, волновавших молодое поколение этой эпохи. Повесть Гёте, в свою очередь, не только возбудила читательское внимание, но и вызвала ответную волну самоубийств. Круг замкнулся. Именно этому вопросу суждено было стать тем пунктом, в котором философские споры и судьбы литературных героев пересекались с реальным поведением целого поколения молодых людей. Как ни велико было, однако, воздействие повести Гёте, она только потому смогла сыграть такую роль, что выразила идеи, носившиеся в воздухе. Гёте еще учился в Лейпциге, в университете (где, как известно, он не сильно преуспел в науках), когда именно там суждено было произойти событиям, впервые поставившим русскую молодежь перед суровой необходимостью подвергнуть просветительскую идею о праве человека распоряжаться своей жизнью практическому испытанию. Среди русских молодых людей, оказавшихся в 1760-е годы в Лейпцигском университете, находился более взрослый по возрасту, чем остальные студенты, молодой человек Федор Васильевич Ушаков. В Лейпциге, где он особенно усердно изучал философию (сохранились, в частности, его замечания о философии Гельвеция), Ушаков заболел и вскоре скончался. Умирающий Ушаков прочитал своим сотоварищам лекцию в духе философии Гельвеция. А. Радищев приводит последнюю беседу Ушакова с врачом: «Не мни, — вещал зрящий кончину своего шествия, томным хотя гласом, но мужественно, — не мни, что, возвещая мне смерть, востревожишь меня безвременно или дух мой приведешь в трепет. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностию!»[270] Перед смертью Ушаков передал Радищеву свои сочинения и, совершенно в духе умирающего Сократа, вел с друзьями философские беседы о смерти. Когда предсмертные боли стали непереносимо мучительными, Ушаков решил покончить с собой и просил у своего ближайшего друга А. М. Кутузова яда. Кутузов и его друг Радищев не решились исполнить просьбу Федора Васильевича Ушакова. События эти изложены Пушкиным в его статье о Радищеве несколько иначе, чем в радищевской биографии Ушакова. Источники пушкинской статьи нам не очень ясны[271] (можно предположить участие Карамзина). По крайней мере, роль Радищева в этом эпизоде, в версии Пушкина, выглядит гораздо более активной. Ушаков «умер на 21 году своего возраста от следствий невоздержанной жизни, но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей[272]. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений» (XII, 31).

Пушкин несколько преувеличивал значение этого биографического эпизода в философии и судьбе Радищева. Мысль о праве на самоубийство была слишком серьезной и слишком глубоко врезалась в мировоззрение Радищева, чтобы ее связывать с каким-либо одним, хотя бы и очень существенным, биографическим эпизодом. Она не только многократно проявляется в различных сочинениях Радищева, но и органически входит в его концепцию свободы. Вслед за Монтескье и другими философами Просвещения, Радищев утверждает, что человек, не боящийся смерти, делается свободным. Власти тирана, покоящейся на страхе смерти, он не подчинен. Поэтому готовность человека самовольно уйти из жизни есть высшая гарантия его свободы. Самоубийство в концепции Радищева не является ни малодушным уходом из жизни, ни бездушным отчаянием. Добродетельный отец в главе «Крестьцы» из «Путешествия из Петербурга в Москву», преподнося сыновьям урок героической добродетели, благословляет их не только на борьбу, но и на гибель. Готовность

добровольно уйти из жизни становится последним предельным выражением чувства свободы: «Если ненавистное щастие изтощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения; тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри. — В наследие вам оставляю слово умирающего Катона»[273]. Связь самоубийства и гражданской доблести многократно акцентировалась Радищевым (сравним в уже цитировавшемся «Житии Федора Васильевича Ушакова»: «Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умреть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое»[274]. Готовности к самоубийству, как и вообще к героической гибели, Радищев отводил особое место. Рабство противоестественно, и человек не может не стремиться к свободе. Но привычка, страх, суеверие и обман удерживают его в цепях. Для того чтобы совершился переход к свободе, необходимо возмущение. Вызвать его может героическая гибель, самоубийство того, кто не поколеблется принести свою жизнь в жертву.

Однако далеко не во всех случаях самоубийство вписывалось именно в такой философский контекст. Право человека распоряжаться своей жизнью и смертью порой проецировалось на глубокий пессимизм, питавшийся противоречием между философскими идеалами и русской действительностью. Важно подчеркнуть, что попытки самоубийства на этой почве сделались в эти годы явлением, которое, в отношении к общему составу «книжной» молодежи, можно считать массовым. Рассмотрим более подробно один случай, интересный именно тем, что он полностью принадлежит не литературе, а жизненной реальности.

7 января 1793 года в седьмом часу вечера застрелился молодой ярославский дворянин Иван Михайлович Опочинин. В оставленной им обширной записке он обращался к людям — в первую очередь к своему брату — со следующими просьбами, свидетельствующими, что самоубийство Опочинина было тщательно и хладнокровно обдумано и что единственная его причина имела философский характер: «Моя покорнейшая просьба — кто в сей дом пожалует [275]: умирающий человек в полном спокойствии своего духа просит покорно, ежели кто благоволит пожаловать к нему, дабы не произошли напрасные на кого-нибудь подозрения и замешательства, прочесть нижеследующее:

Смерть есть не иное что, как прехождение из бытия в совершенное уничтожение. Мой ум довольно постигает, что человек имеет существование движением натуры, его животворящей; и сколь скоро рессоры в нем откажутся от своего действия, то он, верно, обращается в ничто. После смерти — нет ничего!

Сей справедливый и соответствующий наивернейшему правилу резон, — сообщая с оным и мое прискорбие в рассуждении краткой и столь превратной нашей жизни, заставил меня взять пистолет в руки. Я никакой причины не имел пресечь свое существование. Будущее, по моему положению, представляло мне

своевольное и

приятное существование. Но сие будущее миновало бы скоропостижно, а напоследок самое отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно мою судьбу»[276].

Документ этот, конечно, не был известен Ф. Достоевскому. Тем более поразительны культурно-психологические пересечения. Для Достоевского самоубийство было логическим следствием философии материализма (вспомним образ Ипполита Терентьева в «Идиоте»). Действительно, хотя в настоящей книге мы рассматриваем конкретно-исторический материал, связанный с определенной эпохой, нельзя не заметить перекличек письма

Опочинина с двумя историческими моментами: временем послереформенного психологического упадка (80-е и 90-е годы XIX века) и периодом между первой русской революцией и мировой войной. Это — оборотная сторона утопического максимализма положительных идеалов.

Далее в предсмертном письме Опочинина читаем: «О! Если бы все несчастные имели смелость пользоваться здравым рассудком, имея в презрении протчее суеверие, ослепляющее почти всех слабоумных людей до крайности, и представляли бы свою смерть как надлежит в истинном ея образе, — они бы верно усмотрели, что столь же легко отказаться от жизни, как, например, переменить платье, цвет которого перестал нравиться». Последнее замечание вскрывает психологические глубины предсмертного письма: Опочинин декларирует полный атеизм, но психологически он подразумевает и людей, которые будут его читать, и бессмертие: жизнь человека есть лишь платье, которое можно произвольно поменять. Но такая презумпция предполагает, как минимум, и другого человека, который смотрит на платье, когда платье снято. На уровне логического рассуждения Опочинин высказывает свои идеи, но в сравнениях он «проговаривается», обнажая подспудный психологический пласт личности. Это противоречие выступает в дальнейшем в тексте письма, из которого так и остается неясным, кто и в ком разочаровался: «человек» ли в «платье» или «платье» в «человеке»: «Я точно нахожусь в таком положении. Мне наскучило быть в общественном представлении: занавеса для меня закрылась. Я оставляю играть роли на несколько времени тем, которые имеют еще такую слабость.

Несколько частиц пороху через малое время истребят сию движущуюся машину, которую самолюбивые и суеверные мои современники называют бессмертною душою!

Господа нижние земские судьи! Я оставляю вашей команде мое тело. Я его столько презираю… Будьте в том уверены». Распорядившись в обращении к брату об отпуске на свободу своих крепостных слуг, Опочинин обращается к своей главной жизненной привязанности. В том месте письма, которое у человека иной культурной ориентации заняли бы слова, обращенные к ближним и друзьям, он пишет: «Книги! Мои любезные книги! Не знаю, кому оставить их? Я уверен, что в здешней стороне оне никому не надобны… Прошу покорно моих наследников предать их огню.

Оне были первое мое сокровище; оне только и питали меня в моей жизни; оне были главным пунктом моего удовольствия. Напоследок, если бы не оне, моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я бы давно оставил с презрением сей свет». Характерное несовпадение: философы, книги которых читает Опочинин, имеют целью просветить людей, снять, по выражению Радищева, с их глаз «завесу природного чувствования» и представить жизнь в ее истинном виде. Опочинин читает их сочинения, чтобы хоть на минуту забыть о жизни и погрузиться в иной, более высокий мир, то есть читает атеистические сочинения как свое Священное писание! Идеи просветителей опровергаются всей окружающей реальностью, но Опочинин (как блаженный Августин, сказавший: «Верую, ибо абсурдно») верит философам, а не окружающей его жизни. Заключительным аккордом является то, что этот убежденный атеист завершает свое последнее письмо обращением к Высшему божеству (переводом из Вольтера, приблизительно в то же время сделанным и Радищевым). Этот отрывок под названием «Молитва» заключал известную антиклерикальную «Поэму о естественном законе», направленную как против суеверий, так и против атеизма. В переводе Радищева «Молитва» звучала так:

Тебя, о Боже мой, тебя не признавают, —

Тебя, что твари все повсюду возвещают.

Внемли последний глас: я если прегрешил,

Закон я Твой искал, в душе Тебя любил.

Не колебаяся на вечность я взираю;

Но Ты меня родил, и я не понимаю,

Что Бог, кем в дни мои блаженства луч сиял,

Когда прервется жизнь, на век меня терзал…

Предсмертное послание Опочинина заканчивается такими словами:

Вот я какой спокойный дух имею, что я некоторые стихи сочинил с французского диалекта при своем последнем конце:

О, Боже, которого мы не знаем!

О, Боже, которого все твари возвещают!

Услыши последние вещания, кои уста мои произносят.

Если тогда я обманулся, то в исследовании Твоего закона.

Без всякого смущения взираю я на смерть, предстоящую

пред моими очами…

На этом месте публикатор (Л. Н. Трефолев) счел нужным оборвать перевод, видимо шокированный его скептическим содержанием, хотя и пометил, что в рукописи переведено все стихотворение. Письмо Опочинина завершается обращением к брату:

Любезный брат Алексей Михайлович! Ты обо мне не беспокойся: мне давно была моя жизнь в тягость. Я давно желал иметь предел злого моего рока. Я никогда не имел ни самолюбия, ни пустой надежды в будущее, ниже какого суеверия. Я не был из числа тех заблужденных людей, которые намерены жить вечно на другом небывалом свете. Пускай они заблуждаются и о невозможном думают: сия у них только и есть одна пустая надежда и утешение. Всякий человек больше склонен к чрезвычайности, нежели к истине. Я всегда смотрел с презрением на наши глупые обыкновения. Прошу покорно, братец, в церквах меня отнюдь не поминать! Верный слуга и брат твой Иван Опочинин.

Мы привели столь подробно предсмертное письмо Опочинина не потому, что его поступок был уникальным, а по причинам прямо противоположным. Это был голос достаточно обширной группы в поколении 1790-х годов, и отличался он разве что развернутостью мотивировок. Документы свидетельствуют о целом ряде подобных фактов. В 1792 году молодой М. Сушков (ему исполнилось всего семнадцать лет) написал повесть «Российский Вертер». Это был юноша прогрессивных воззрений, не приемлющий несвободу. Перед тем как покончить с собой, он отпустил на волю своих крепостных. О повальном увлечении самоубийствами писал в письме А. Б. Куракину от 8 сентября 1772 года Н. Н. Бантыш-Каменский, своеобразно связывая его с влиянием Французской революции: «Что это во Франции? Может ли просвещение довести человека в такую темноту и заблуждение!

Злодейство в совершенстве. Пример сей да послужит всем, отвергающим веру и начальство. Говоря о чужих, скажу слово и о своем уроде Сушкове, который Иудину облобызал участь [277]. Прочтите его письмо: сколько тут ругательств Творцу! сколько надменности и тщеславия о себе! Такова большая часть наших молодцов, пылких умами и не ведущих ни закону, ни веры своей»[278]. В другом письме Бантыш-Каменского А. Б. Куракину от 29 сентября находим: «Писал ли я к вам, что еще один молодец, сын сенатора Вырубова, приставив себе в рот пистолет, лишил себя жизни? Сие происходило в начале сего месяца, кажется: плоды знакомства с Аглицким народом…»[279] 27 октября он же писал: «Какой несчастный отец сенатор Вырубов: вчера другой сын, артиллерии офицер, застрелился. В два месяца два сына толь постыдно кончили жизнь свою. Опасно, чтоб сия Аглинская болезнь не вошла в моду у нас. Здесь в клобе появилися на всех дамах красные якобинские шапки. В субботу призваны были к градоначальнику все marchandesses des modes и наистрожайше, именем Самой, запрещена оных продажа, и вчера в клобе ни на ком не видно оной было»[280]. Представление о самоубийстве как специфической черте «английского поведения» было широко распространено. Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» ввел в первое же письмо, написанное «путешественником» из Англии, рассказ некоего «кентского дворянина» — разумеется, литературный. Здесь сообщалось, что «Лорд О*** был молод, хорош, богат; но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии — и казалось, что жизнь, подобно свинцовому бремени, тяготила душу и сердце его. Двадцати пяти лет женился он на знатной и любезной девице <…> В один бурный вечер он взял ее за руку, привел в густоту парка и сказал:

я мучил тебя; сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть — прости! В самую сию минуту нещастный Лорд прострелил себе голову и упал мертвой к ногам оцепеневшей жены своей». Вероятно, это место напоминал читателю Пушкин, говоря об Онегине:

Он застрелиться, слава Богу,

Попробовать не захотел,

Но к жизни вовсе охладел.

(1, XXXVIII)

Самоубийство, которое Карамзин, вслед за многими европейскими писателями, считал результатом английского климата, в сознании Бантыш-Каменского (тоже называвшего его «английской болезнью») связывалось с французским вольнодумством и вызывало в памяти не образ лорда О, а силуэты якобинцев. Бантыш-Каменский вряд ли был одинок в таком сближении.

В тех же «Письмах русского путешественника» Карамзин приводит пример и «философского самоубийства». В одно из июньских писем из Парижа он вставляет следующий эпизод, якобы сообщенный ему его слугой Бидером: «Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газеты: „читайте!“ Я взял и прочитал следующее: „Сего Майя 28 дня, в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелился слуга господина N. Прибежали на выстрел, отворили дверь… нещастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir[281]; а на дверях: aujourd'hui mon tour, demain le tien[282]. Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разныя философическия мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасныя произведения новых философов; вместо утешения извлекал из каждой мысли яд для души своей, необразованной

воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние, и в самом деле был выше его, как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами, покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не дозволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он

сын любви, и весьма трогательно описывает нежность

второй матери своей, добродушной кормилицы; отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique)[283] 100, бедным 48, заключенным в темнице за долги 48, луидор тем, которые возмут на себя труд предать земле прах его, и три луидора другу своему, слуге Немцу…“»

Тема самоубийства многократно фигурирует в повестях и поэзии Карамзина («Бедная Лиза», «Сиерра-Морена» и др.). Во всех этих произведениях самоубийство трактуется в духе штюрмерской традиции, как проявление крайней степени свободы человека. Исключение составляет лишь один случай, интересный именно своей уникальностью. Резким противоречием на фоне остальных высказываний Карамзина звучит опубликованная им в «Вестнике Европы» в конце сентября 1802 года статья «О самоубийстве». Условия публикации ее необычны: номер, в котором она была помещена, видимо печатался в ускоренном порядке, в результате чего в этом месяце вышло вместо двух три номера; это сбило педантически точное соблюдение правильности выхода номеров. Статья была переводная и, видимо, печаталась в экстренном порядке — другие переводы из этого же номера данного немецкого журнала были опубликованы Карамзиным значительно позже. Статья содержала уникальную в творчестве[284] Карамзина резкую критику самоубийц и самоубийств, а также «опасных» философов, проповедующих право человека лишать себя жизни. В опубликованной вскоре повести «Марфа-Посадница» Марфа, которую автор называет «Катоном своей республики» (ср. культ Катона в сочинениях Радищева), идет на казнь, отбрасывая самоубийство как проявление слабости души. О покончивших с собой героях римской истории она говорит: «Бесстрашные боялись казни». Появление этих выпадов тем более удивительно, что в дальнейшем Карамзин опять высказывался о самоубийстве вообще и об античных героях-самоубийцах в спокойных и даже сочувственных тонах. Разгадка неожиданных нападок Карамзина на теоретиков самоубийства, видимо, заключается в их непосредственной близости к гибели Радищева. Акт самоубийства автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и отклик Карамзина представляли собой как бы завершение вспышки самоубийств и дискуссии вокруг этого, приходящихся на конец XVIII века. Отдельные самоубийства как факты реальной действительности, конечно, продолжали повторяться, но внимание общественной жизни перенеслось на другие проблемы.

Начало XIX века, воцарение Александра I в России, создание империи Наполеона во Франции было временем эпохи великих войн. Походы и сражения более четверти века перекатывались по всей Европе от Испании до Москвы. Изменился быт, и изменился образ смерти. Альфред де Мюссе в «Исповеди сына века» писал: «Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так привлекательна, так величественна, так великолепна! Она так походила на надежду, побеги, которые она косила, были так зелены, что она как будто помолодела, и никто больше не верил в старость. Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было. Были только трупы или полубоги». Слова Мюссе с некоторыми поправками применимы и к поколению русских людей начала XIX века. Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, но сражения, в которых участвовала русская армия, начались в 1799 году, возобновились в 1805-м и практически не прекращались до самого начала Отечественной войны. Характерной чертой психологии молодого поколения военных, начинавших боевую жизнь в последние годы XVIII века, было осмысление себя сквозь призму образов героической античности. Известный патриот 1812 года Сергей Глинка пережил в юношеские годы страстное увлечение античными идеалами, и это наложило яркий отпечаток на его восприятие смерти. Поколение, которое вступало в жизнь в Петербурге и в Москве, как и те, о ком писал Мюссе, связывало смерть не со старостью и болезнями, а с молодостью и подвигами. Сергей Глинка позже вспоминал:

«Голос добродетелей древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет»[285]. Поколение, еще не принимавшее участие в войне, находило поприще для античных добродетелей в готовности жертвовать жизнью высоким идеалам дружбы и патриотизма (самопожертвование ради любви включало совершенно иную культурную тональность). Глинка приводит пример: «Были у нас свои Катоны, были подражатели доблестей древних греков, были свои Филопемены. Был у нас Катон-Гине, поступивший из кадет в корпусные офицеры и в учителя математики. Если бы он был на месте Регула, то, вероятно, и ему довелось бы проситься из стана ратного у Сената Римского распахать и обработывать ниву свою. Кроме жалованья не было у него ничего; но был у него брат, ценимый им свыше всех сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила Кастора и Поллукса. Но это герои баснословные. На поприще исторической любви братской Гине стал наряду с Катоном Старшим, который на три предложенные ему вопроса: кто лучший друг? отвечал: брат, брат и брат. Брат нашего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно занемог. Весть о болезни брата поразила нашего Катона-Гине. Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко смирился под ледяным помостом. Саней не на что было нанять, но была душа, двигавшая и ноги, и сердце, и Гине отправился к брату пешком, в одних сапогах и даже без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги или деньги? Но что такое просить? Одолжиться. Древний римлянин терпел, а не просил. С небольшим в полтора суток Гине перешел залив, навестил, обнял брата и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства. Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить за него, он отвечал: „Не изменю должности моей“. Отдежурил и слег в постель, в бреду жестокой горячки видел непрестанно брата, говорил с ним и с именем его испустил последнее дыхание»[286].

Не случайно Глинка вырос в кадетском корпусе, где рядом с бюстом Александра Македонского стоял Катон Утический, а во время лекций он «читал украдкою то Дидерота, то Буффлера, то Вольтера, то Ж. -Ж. Руссо». При первом же конфликте с корпусным начальством, по его словам, «подвиг Катона, поразившего себя кинжалом, когда Юлий Цезарь сковал его цепями, кружился у меня в голове»[287].

Эпоха наполеоновских войн наполнила античную образность реальным содержанием. Если Денису Давыдову — главе партизанского отряда — пришлось одеться в «народное платье» и повесить вместо ордена на шею икону Николая-Угодника, то есть принять вид, соответствующий национальному духу и народной войне, то это не означало, что античные образы перестали волновать участников военных походов. Многочисленные источники дают нам и противоположную точку зрения: многие документы свидетельствуют о том, что в эпоху наполеоновских войн раненый или умирающий офицер нередко переживал свою судьбу сквозь призму представлений о высоких подвигах и героических примерах истории. Когда декабрист-художник Федор Толстой создавал свои знаменитые барельефы 1812 года и стилизовал их в духе античной традиции, это была не просто дань эстетическим условностям классицизма, но и отражение того, как непосредственные участники событий видели мир.

Однако «античная помпа» не могла сделаться не только единственной, но даже основной системой образов, сквозь призму которых современники воспринимали 1812 год. Точнее эти ощущения выразил Денис Давыдов, закончивший очерк «Тильзит в 1808 году» словами: «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть»[288]. Достаточно просмотреть самые различные списки людей первой половины XIX века, чтобы убедиться, какие потери понесли те, кому в 1812 году было восемнадцать — двадцать пять лет. Между поколениями Крылова и Пушкина в русском обществе мы замечаем истинный провал: он образован вычеркнутыми из жизни людьми, чьи трупы устилали пространство между Москвой и Парижем. И хотя это была великая эпоха, тень которой упала на всю историю Европы, нельзя не подумать о тех, кто так и не написал своих книг и не высказал своих идей, быть может предназначавшихся для того, чтобы направить историю России по иному, менее трагическому пути.

Невозможно даже бегло перечислить имена тех, кто вошел бы в самый сжатый список погибших в эти годы. Слова из стихотворения Лермонтова «Бородино»:

…И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел, —

не были только поэтической гиперболой: свидетельства современников и самые приблизительные подсчеты рисуют такую же картину. В стихотворении Лермонтова рассказ ведется от лица артиллериста, а предполагаемое место действия — батарея Раевского. А вот то же место сражения, описанное с вдвойне другой точки зрения: во-первых, сражение у батареи дается глазами французского офицера, во-вторых, оно описано языком не поэзии, а прозы, сознательно имитирующей документальность. Речь идет о «Взятии редута» П. Мериме: «Сквозь голубоватый пар видны были за полуразрушенным бруствером русские гренадеры с наведенными на нас ружьями, неподвижные как статуи. Мне кажется, я еще сейчас вижу каждого солдата с левым глазом, устремленным на нас, а правым — скрытым за наведенным ружьем. В амбразуре в нескольких шагах от нас человек подле пушки держал зажженный фитиль. Я вздрогнул и подумал, что настал мой последний час.

— Сейчас начнется бал! — вскричал капитан. — Добрый вечер!

Это были последние слова, которые я от него слышал. Барабанный бой раздался в редуте. Я увидел, как опустились все ружья. Я закрыл глаза и услышал страшный грохот, сопровождаемый криками и стонами. Я открыл глаза, удивляясь, что еще жив. Редут снова был окутан дымом. Меня окружали раненые и убитые. Капитан лежал у моих ног; его голову раздробило ядро, и меня всего забрызгало его мозгом и кровью. Из моей роты осталось на ногах только шесть человек и я».

На батарее Раевского был убит и начальник артиллерии, двадцативосьмилетний генерал Александр Иванович Кутайсов. В районе той же центральной батареи на кургане дивизия П. Г. Лихачева упорно сдерживала атаки французов. Сам Лихачев, немолодой генерал, заработавший чин подпоручика и первые награды еще в Суворовских походах, страдавший все время отступления от жестокого ревматизма, командовал дивизией сидя на стуле, поставленном на холме. Потеряв почти весь личный состав дивизии, Лихачев обнажил шпагу и, ковыляя на больных ногах, пошел навстречу атакующим французам. Он был изранен, но чудом сохранил жизнь. Взятый в плен, Лихачев был подведен к Наполеону, который распорядился отправить его в Париж на лечение. Однако по дороге, в Кенигсберге, генерал умер от ран.

На Бородинском поле пролилась кровь двух из пяти братьев-генералов Тучковых. Марина Цветаева в стихотворении «Генералам двенадцатого года» писала:

Ах, на гравюре полустертой,

В один великолепный миг,

Я видела, Тучков-четвертый,

Ваш нежный лик. <…>

И вашу хрупкую фигуру,

И золотые ордена…

И я, поцеловав гравюру,

Не знала сна…

В одной невероятной скачке

Вы прожили свой краткий век…

Александр Алексеевич Тучков-четвертый действительно принадлежал к наиболее романтическим фигурам 1812 года. Отец его был генералом, три брата — так же, как и он, боевыми генералами, активно участвовавшими в военных событиях той поры. Все братья Тучковы вошли в русскую историю. Тучков-первый и Тучков-четвертый пали на Бородинском поле. Тучков-второй — Сергей, тоже боевой генерал, вошел в историю, в частности, как друг Пушкина во время его южной ссылки и как один из основателей той кишиневской масонской ложи, членом которой был поэт и которая, можно полагать, была замаскированным филиалом тайного общества декабристов (возможно, «Ордена русских рыцарей»). Настойчивое свободолюбие Сергея Тучкова, его дружба с такими людьми, как Пнин и Пушкин (Тучков давал Пушкину читать копию оды «Вольность» Радищева), его ненависть к Аракчееву не только характеризуют собственные убеждения генерала, но и бросают отсвет на всю атмосферу семьи, в которой, видимо, сочетались воинские подвиги со свободолюбивыми настроениями.

Александр Алексеевич Тучков прожил жизнь, пропитанную той атмосферой романтизма, которая пленила юную Цветаеву. Молодым человеком он, как толстовские герои Андрей Болконский и Пьер Безухов, пережил романтическое увлечение генералом Бонапартом и даже собирался ехать сражаться в его армии в Египте. Однако во Франции, где он проходил курс математических наук, учился философии и артиллерийскому искусству, он встречался с убежденным республиканцем Л. Карно и слушал его критику властолюбивого генерала. Вернувшись в Россию, Тучков в 1806 году женился на Маргарите Михайловне Нарышкиной, сестре Михаила Михайловича Нарышкина, в дальнейшем члена «Союза благоденствия» и Северного тайного общества, а после осужденного по четвертому разряду на двенадцать лет каторги. Вскоре после свадьбы Тучков отправился в действующую армию. В бою под Голыминым он впервые принял участие в сражении, где, как сказано в официальном донесении, «под градом пуль и картечей действовал как на учении». В 1807 году он, действуя под начальством Багратиона, проявил «храбрость и хладнокровие» и был награжден Георгиевским орденом 4-й степени. После сражения при Фридленде он писал брату Николаю (Тучкову-первому): «Не взирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров. Я участвовал в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестока была последняя, где в продолжение 20 часов я был подвергнут всему, что только сражения представляют ужасного. Счастье вывело меня невредимым из боя. Спасение мое приписываю чуду»[289].

После Тильзитского мира Тучков был переведен в армию, участвовавшую в Шведской кампании. В начале мая он проделал со Своим отрядом опаснейший марш, пройдя через глубокие снега в тыл шведской армии и форсировав морской путь к столице Швеции. Этот рискованный марш решил исход войны. В кругах, близких к семейству Тучковых, упорно держались разговоры о том, что Маргарита Михайловна, как героиня бетховенского «Эгмонта», переодевшись в мужской костюм, сопровождала мужа в этом тяжелом и опасном походе. Мы не знаем, соответствовал ли этот слух истине, но он вполне гармонирует с той атмосферой романтизма и героизма, которой была окружена вся семья Тучковых. В войне 1812 года Тучков принял участие как командир бригады в составе армии Барклая де Толли, которая прошла весь боевой путь от западной границы до Бородина. В Бородинском

сражении командуемая им бригада входила в дивизию Коновницына и вместе с нею в разгар сражения была перетянута от Утицы к деревне Семеновская, в самый центр сражения. В момент, когда бой принял опасный характер и солдаты Ревельского полка заколебались, Тучков, схватив знамя Первого батальона, бросился вперед. Картечь сразила его на месте [290]. Через несколько часов в районе деревни Утица был смертельно ранен Тучков-первый. Когда французы отступили и на Бородинском поле начали рыть могилы для павших, жена Тучкова, в глубоком трауре, в сопровождении монаха из ближнего монастыря, обходила поле в поисках трупа мужа. Тело найти не удалось. На предполагаемом месте его гибели вдова возвела церковь и монастырь, в котором после смерти своего сына постриглась и провела всю оставшуюся жизнь.

Конечно, было бы заблуждением рассматривать поведение людей 1812 года только сквозь призму романтики. Героиня повести Пушкина «Рославлев» грустно-иронически писала: «Все закаились говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни». Однако настроение романтической молодежи, к которой принадлежал и Тучков-четвертый, Пушкин передал героине своей повести. Полина и героиня-повествовательница в беседе с французским пленным узнают, что Москва сожжена русскими патриотами, чтобы лишить армию Наполеона провианта и отдыха: «Полина и я не могли опомниться. — Неужели, — сказала она, — Синекур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так… О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки[291] и жжет свою столицу.

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновенным. — Твой брат… Он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».

В годы после Отечественной войны смерть как бы исчезает из сознания той молодежи, которая, вернувшись с полей сражения, приехав из-за границы, с особенной силой чувствовала жажду жизни и потребность в деятельности. Смерть как бы переносится во вчерашний день — думали о завтрашнем, о проектах, реформах, порой об успехах на службе. Размышления о смерти мало кого волновали. Все старались двигаться. Остановиться: жениться, поселиться в Москве, стать, как персонаж Грибоедова, «московский житель и женат», умереть для общества, — казалось делом столь же безнадежным, как действительно, на самом деле умереть. Поэзия Жуковского с ее потусторонностью и memento mori казалась настолько несвоевременной, что поэта начали подозревать в неискренности и придворном карьеризме. Даже вспышки дуэлей в это время отзывались не отчаянием и безысходностью, а молодечеством и жаждой жизни. Когда во время пребывания русских офицеров в Париже отставные наполеоновские офицеры, надев фраки на плечи, с которых только что были стянуты мундиры Великой Армии, специально затевали в кафе с ними ссоры, это воспринималось как продолжение войны. В дальнейшем же бретерство и связанные с ним дуэли также оставались характерной чертой офицерского, особенно гвардейского быта, однако среди той части молодежи, которая, захваченная идеалами «Союза благоденствия», культивировала филантропию и просвещение, бретер и дуэлянт выглядел человеком пустым и отсталым. Иное дело, когда сама дуэль окрашивалась в тона общественного протеста. Такова была, например, дуэль Новосильцева и Чернова и продуманный К. Рылеевым ритуал похорон, превращенный в манифестацию.

По мере приближения к роковой черте 1824/25 года мироощущение членов тайного общества приобретало трагический и жертвенный характер. Тема смерти — добровольного жертвоприношения на алтарь отечества — все чаще звучит в высказываниях членов тайного общества. Характерны слова, сказанные Александром Одоевским в момент выхода на Сенатскую площадь: «Умрем, братцы, ах, как славно умрем!» Тема жертвенной гибели

пронизывает поэзию Рылеева, но, что для нас в данном случае особенно важно, тема эта становится определяющей линией его жизненного поведения. Историк литературы проанализирует предсмертную исповедь Наливайко из одноименной поэмы:

Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает

На утеснителей народа, —

Судьба меня уж обрекла.

Но историка культуры еще более привлекут стихи, написанные Рылеевым в Петропавловской крепости:

И плоть и кровь преграды вам поставит,

Вас будут гнать и предавать,

Осмеивать и дерзостно бесславить,

Торжественно вас будут убивать,

Но тщетный страх не должен вас тревожить,

И страшны ль те, кто властен жизнь отнять

И этим зла вам причинить не может.

Трагический поворот этических вопросов в последние годы перед восстанием декабристов изменил отношение к дуэли. Если бретерская традиция создавала культ победителя, то теперь выплывала трагическая сторона победы, покупаемой ценой убийства. Не случайно первая же глава «Евгения Онегина», написанная после 14 декабря, посвящена была трагедии победы. Незадолго до восстания такую же трагедию («убив на поединке друга») пережил декабрист Е. Оболенский.

Последекабристский период ощутимо изменил концепцию смерти в системе культуры. Прежде всего, смерть вносила истинный масштаб в карьерные и государственные ценности. Николай I, который был убежден, что «может все» (слова его в беседе со Смирновой-Россет), разговоров о смерти не терпел и всегда их обрывал. В таких разговорах раскрывалась ограниченность и тщета его власти, и в этом, возможно, была одна из причин того, почему мысль о смерти привлекала самых разных людей николаевской эпохи.

Е. Баратынский посвятил смерти целое стихотворение:

Смерть дщерью тьмы не назову я

И, раболепною мечтой

Гробовый остов ей даруя,

Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!

О светозарная краса!

В руке твоей олива мира,

А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий

Из равновесья диких сил,

В твое храненье всемогущий

Его устройство поручил.

А человек! святая дева!

Перед тобой с его ланит

Мгновенно сходят пятна гнева,

Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою

Людей недружная судьба:

Ласкаешь тою же рукою

Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —

Условье смутных наших дней,

Ты всех загадок разрешенье.

Ты разрешенье всех цепей[292].

Пушкин, с легкой иронией пародируя романтический культ смерти, предлагал Дельвигу, при посылке ему черепа одного из его предков, на выбор:

Изделье гроба преврати

В увеселительную чашу,

Вином кипящим освяти

Да заедай уху да кашу

Или как Гамлет-Баратынской <…>

Над ним задумчиво мечтай.

(III (1), 72)

Лицо эпохи отразилось и в образе смерти[293]. Смерть давала свободу. Смерть искали в Кавказской войне, казавшейся бесконечной, и на дуэли. Под дулом дуэльного пистолета человек освобождался от императорской власти и от петербургской бюрократии. Возможность увидеть своего врага лицом к лицу и направить на него свой пистолет давала лишь миг свободы. Не понимая этого, мы не постигнем, почему Пушкин пошел к барьеру, а Лермонтов бравировал готовностью подставить грудь под выстрел. Там, где вступала в права смерть, кончалась власть императора.

Каждая эпоха имеет два лица: лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы не поймем и другого.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Птенцы гнезда Петрова»

XVIII век в истории русской культуры начинается Петровской эпохой. Лев Толстой в письме А. А. Толстой утверждал, что, «распутывая поток» исторических событий, он нашел именно в этой эпохе «начало всего».

На оценках петровского периода скрещивались шпаги всех, кто размышлял о судьбах русской истории. Спектр оценок развертывался во времени от языковских строк:

Железной волею Петра

Преображенная Россия, —

взятых Пушкиным в качестве эпиграфа к роману «Арап Петра Великого», до утверждения, что петровская реформа скользнула по поверхности русской жизни и затерялась в финских лесах и болотах (Д. С. Мережковский).

Вхождение в сущность этого спора увело бы нас от нашей темы. Мы прикоснемся к ней лишь с одной стороны — показав судьбы двух людей этой эпохи. Причем, в соответствии с задачей нашей книги, мы не изберем так называемых великих людей, а рассмотрим дюжинные, типичные характеры. Наших героев можно будет назвать «простыми людьми» дворянского мира этой эпохи. Однако «типичность» их проявится, в частности, в том, что это будут люди деятельные, а не безликие, плывущие по течению. Эпоха рождала деятельного человека. Но эта же эпоха заставляла его оценивать свою деятельность.

Род Неплюевых, известный уже в XV веке, происходил от боярина Андрея Ивановича Кобылы (середина XIV века), но к концу XVII века измельчал, обеднел, хотя и сохранил родственные связи со многими преуспевающими вельможами. Иван Неплюев, который будет предметом нашего внимания, родился, как это следует из его собственной обширной автобиографии (на нее мы будем в дальнейшем опираться), «в 1693-м году, ноября 5-го числа, в воскресенье поутру, по полуночи в 7 часов, в Новгородском уезде, в усадище Наволоке»[294]. Сам Иван Иванович Неплюев вряд ли мог запомнить час своего рождения. Но в этой записи отразился его характер — точный, расположенный к документам, фактам, а не к переживаниям.

Неплюев принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему от Федора Ивановича Неплюя-Кобылина, жившего в начале XV века. Неплюевы были новгородского происхождения (сама фамилия их указывает на северные области России: «неплюй», по указанию Даля, — олений теленок до полугода). Род их упоминается в московских летописях XVII века — род крепкий, но обедневший. Мать Неплюева была из князей Мышецких — тоже из рода старинного и обедневшего. Отец Неплюева был ранен в баталии со шведами под Нарвой и вскоре умер, оставив жену и малолетнего сына. Жизнь Ивана Ивановича Неплюева, казалось бы, должна была пойти по обычной для небогатого дворянина стезе: шестнадцати лет он женился по приказу матери и стал самостоятельным помещиком, имея 80 душ крепостных крестьян. Жена его, урожденная Татищева, внесла в семью 20 душ крепостных. Молодой Неплюев вскоре стал отцом одного, потом второго сына (этот ребенок родился во время его паломничества по монастырям). Все развивалось по традиции. Неожиданный перелом наступил, когда молодого, но уже не школьного возраста человека и отца двух детей вызвали «для учения». Его назначают в Новгородскую математическую школу. Оттуда — в Нарвскую навигационную, а затем в Петербургскую морскую академию. В 1716 году два десятка молодых людей из числа учившихся были вызваны в Ревель (Таллинн), и Неплюев, оставив — на этот раз надолго — беременную жену, с группой молодых людей, среди которых были Василий Квашнин-Самарин, Василий Татищев (в будущем известный моряк и дальний родственник историка Татищева), Семен Дубровский, Семен Мордвинов, поднялся на борт корабля «Архангел Михаил» под командованием капитана-англичанина Рю. В составе большого флота они прибыли в Копенгаген, причем на последнем участке на флагманский корабль взошел Петр и был поднят императорский флаг. 28 августа Петр осмотрел всех гардемаринов и тридцать из них, в том числе и Неплюева, направил в Венецию обучаться морскому делу (двадцать человек с той же целью были отправлены во Францию, а четверо предназначено к обучению архитектурному делу). Деньги на дорогу им были даны по приказу царя послом в Дании князем Василием Лукичом Долгоруким. Это тот самый Василий Лукич Долгорукий, который потом сыграет активную роль в «затейке» верховников и которого Анна Иоанновна со своим своеобразным остроумием публично протащит за нос, а несколько лет спустя отрубит ему голову.

Получив высочайшее распоряжение, молодые люди, еще недавно и в мыслях не предполагавшие, что им предстоит такое путешествие, отправились в Венецию. Прежде чем они ступили на палубы венецианских кораблей, им довелось пережить много неожиданных приключений.

По пути в Венецию один из молодых людей умер. Но главные потрясения ждали их в Венеции. 10 января 1718 года князь Михаил Прозоровский[295], сговорившись с монахом из монастыря святого Павла на Афоне, бежал в Корфу. Убегая, он оставил письмо: «Мои государи, предражайшие братия и други! Понуждающая мя ревность моя до вас и не оставляет усердия сердца моего любви вашей и приятности, сущия являемый многия в прешедшую довольную бытность мою завсегда с вами конечно удостойте забвению сице, ныне Господу моему тако Своими праведными судьбами изволившу устроити о моем

недостоинстве»[296]. Далее Прозоровский просил друзей распорядиться присылаемыми к нему деньгами и препоручал их Божьему покровительству.

Другое происшествие было гораздо более драматическим. Размещенные на острове Корфу в ожидании распределения по кораблям, молодые люди направлены были небольшими группами на жительство в частные дома. Портовая жизнь с ее непривычными развлечениями представляла много соблазнов. Результаты не замедлили сказаться. В. М. Квашнин-Самарин был найден однажды утром убитым недалеко от местного трактира. Осмотр тела обнаружил несколько смертельных ранений шпагой, обломок ее остался в одной из ран убитого. Молодые люди, собравшись, решили осмотреть друг у друга шпаги. Они обнаружили, что у Алексея Арбузова шпага обломана и заново отточена, а брадобрей-итальянец рассказал, что Арбузов перед восходом солнца явился к нему и уговорил заново отточить обломанную шпагу. Под давлением улик Арбузов сознался в убийстве, оправдывая себя тем, что напившийся, огромного телосложения Квашнин-Самарин начал его душить и грозил ему смертью…

Однако не только неприятные результаты неприспособленности к новой ситуации ожидали молодых людей: вскоре их распределили по галерам[297].

Петр Первый в специальной инструкции — жесткой, но эффективной — предписывал русских гардемаринов назначать на галеры по одному: этим он рассчитывал ускорить обучение их языку. Однако венецианские адмиралы оказались снисходительнее и русских гардемаринов назначали на корабль по двое.

Неплюев с успехом прошел эту тяжелую школу, приняв участие в ряде сражений с турецким флотом. В выданном ему дипломе говорилось, что «господин Иван Неплюев обе прошедшие кампании был содержан на галере дворянина Виценца Капелло супракомита[298], с оным был на баталии с турками 19-го числа июня, штиль новый, 1717 году, в заливе Елеус, в порте Пагания, и при взятии двух фортец, Превезы, Вонницы, и при крепкой осаде фортецы Дульцина от венециян. А ныне оный господин Неплюев по указу отзывается во свое отечество; того ради даем ему для подтверждения вышеписанного сие наше свидетельство, которое ему во уверение о себе объявить своему монарху. Дан в Корфу 1-го числа февраля 1718 года. Маре Венето»[299].

Из Венеции молодые люди должны были последовать в Испанию для продолжения обучения в искусстве морских сражений. Идея Петра была ясной: его интересовало не теоретическое обучение, а практика морского боя. Поэтому он хотел, чтобы будущие русские моряки получили бы опыт сражений с лучшими флотами мира. А лучшими флотами и одновременно потенциальными противниками русского флота были турецкий и английский. Поэтому Петр отсылал своих гардемаринов именно в те государства, где можно было приобрести навык сражений с турками и англичанами. Одна сторона этого опыта удалась блестяще: будущие морские офицеры участвовали в морских боях с турками. Однако в Испании дело пошло хуже: молодые люди упорно добивались, чтобы их посадили на галеры и дали им возможность действовать в сражениях. Однако испанцы настаивали на ином: они хотели, чтобы приехавшие из России моряки проходили теоретическое обучение.

Молодые люди тем временем уже достаточно овладели итальянским и французским языками. По крайней мере, когда у берегов Франции им пришлось судиться с капитаном, который, вопреки договору, соглашался кормить их только в море, требуя, чтобы во время остановок они питались за свой счет, Неплюев все выступления на суде произносил на французском языке и выиграл дело. Однако испанского языка «московиты» не знали, и Неплюев сердито писал русскому президенту в Голландии, что учиться танцам и фехтованию они могут и в Петербурге. В результате последовало распоряжение Петра — возвращаться домой. Через Италию и Голландию Неплюев вернулся в Петербург.

Петр не очень надеялся на выданные за границей аттестаты и, по свидетельству Неплюева, приказал приравнять приехавших из-за границы гардемаринов к остальным, подвергнув их равному с другими испытанию: «Я хочу их сам увидеть на практике, а ныне напишите их во флот гардемаринами». Рассказывая об этом, Неплюев зафиксировал сцену, которая, видимо, произвела на него впечатление: несмотря на то, что Петр высказал свое мнение в категорической форме, граф Григорий Петрович Чернышев, ревнуя о пользе дела и справедливости, вступил с ним в спор и одержал победу: «Грех тебе, государь, будет: люди по воле твоей бывшие отлученные от своих родственников[300] в чужих краях и по бедности их сносили голод и холод и учились по возможности, желая угодить тебе по достоинству своему и в чужом государстве были уже гардемаринами, а ныне, возвратясь по твоей же воле и надеясь за службу и науку получить награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали, ни практики такой не имели»[301].

Неплюев пишет не мемуары, а дневник, и это позволяет нам видеть живые отпечатки его настроений, еще не сглаженных примиряющим временем. В том месте записей, к которому мы подошли, отчетливо проявляется авторская тенденция. Дворянин, честно служащий отечеству, патриот и одновременно бедняк на государевом жалованье — таков образ того, чьи чувства выражает Неплюев. Он-то и есть истинный «птенец гнезда Петрова», а Петр — его защитник и единомышленник. Они оба — товарищи по труду на пользу государства. С неприкрытым раздражением отзывается Неплюев о тех молодых дворянах, которые не учились, не ездили за границу, а теперь претендуют на лучшие места в государстве. Неплюев пишет о тех, кто, как и он, будучи отлученным от отечества, подвергался насмешкам и ругательствам «по европейскому обычаю, в нас примеченному», и нуждался в высочайшей защите.

В сознании Неплюева создается схема, носившая в Петровскую эпоху официальный характер. В высказываниях самого Петра, в сочинениях Феофана Прокоповича и других официальных идеологов пропагандируется идея: все «общенародие», во главе которого стоит сам император, трудится. Патриотизм определяется двумя словами: «труд» и «общенародие». Ломоносов, перенесший эту идею в более поздние годы, писал:

Исчислите у нас Героев

От земледельца до Царя…[302]

Идея монарха-труженика родилась в кругах реформаторов еще до Петра. Сторонник просвещения Симеон Полоцкий уже во второй половине XVII века прославил монарха-труженика короля Альфонса в стихотворении, красноречиво озаглавленном «Делати»:

Алфонс краль арагонский неким обличися,

яко своима в деле рукама трудися.

Даде ответ краль мудрый: «Егда Богом крали

и естеством не к делу руце восприяли?»

Научи сим ответом: царем не срам быти,

рукама дело честно своима робити[303].

В дальнейшем идеал этот публицистами Петровской эпохи, а потом Ломоносовым был слит с образом Петра Великого:

Рожденны к Скипетру, простер в работу руки… [304]

Слово «работа», как героическое, дошло до Г. Державина именно в связи с образом Петра:

Оставя скипетр, трон, чертог,

Быв странником, в пыли и поте,

Великий Петр, как некий Бог,

Блистал величеством в работе[305].

Феофан Прокопович в речи, посвященной окончанию Северной войны, утверждал, что «плод мира» — всего «общенародия» облегчение. Противниками являются защитники старины, долгие бороды, как именовал их Петр I, «кои по тунеядству своему ныне не в авантаже обретаются».

Неплюев причислял себя к тем истинным патриотам, которые терпят обиды от тунеядцев, красочно охарактеризованных другим поборником Петра — И. Посошковым: «домо соседям своим страшен яко лев, а на службе хуже козы»[306]. Именно в этом месте записок Неплюева сухая, почти протокольная речь мемуариста окрашивается живыми деталями и подлинным чувством.

30 июля 1720 года состоялись экзамены в присутствии самого царя, который, по свидетельству Голикова, приветствовал молодых людей словами: «Трудиться надобно»[307]. Неплюев успешно выдержал испытания и был оставлен в Адмиралтействе, где регулярно встречался с царем. Описанные им эпизоды принадлежат к самым ранним в мифе о царе-труженике. Рассказывает их Неплюев с искренним чувством. По его словам, граф Григорий Петрович Чернышев, который в эту пору был камер-советником в адмиралтейств-коллегий и покровительствовал Неплюеву, предупреждал его всегда говорить государю правду и прямо признаваться в грехах, буде таковые случатся. Как-то Неплюев, подгуляв накануне, запоздал на службу: «Однажды я пришел на работу, а государь уже прежде приехал. Я испужался презельно и хотел бежать домой больным сказаться, но, вспомянув тот отеческий моего благодетеля совет, бежать раздумал, а пошел к тому месту, где государь находился; он, увидев меня, сказал: „Я уже, мой друг, здесь!“ А я ему отвечал: „Виноват, государь, вчера был в гостях и долго засиделся и оттого опоздал“. Он, взяв меня за плечо, пожал, а я вздрогнулся, думал, что прогневался: „Спасибо, малый, что говоришь правду: Бог простит! Кто бабе не внук! А теперь поедем со мной на родины“[308]. Я поклонился и стал за его одноколкою. Приехали мы к плотнику моей команды и вошли в избу. Государь пожаловал родильнице 5 гривен и с нею поцеловался: а я стоял у дверей; он мне приказал то же сделать, а я дал гривну. Государь спросил бабу-родильницу: „Что дал поручик?“ Она гривну показала, и он засмеялся и сказал: „Эй, брат, я вижу, ты даришь не по-заморски“. „Нечем мне, царь-государь, дарить много; дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то бы, здесь живучи, и есть было нечего“.

Государь спросил, что за мною душ и где испомещен? Я все рассказал справедливо и без утайки. А потом хозяин поднес на деревянной тарелке в рюмке горячего вина[309]; он изволил выкушать и заел пирогом с морковью. А потом и мне поднес хозяин; но я отроду не пивал горячего, не хотел пить. Государь изволил сказать: „Откушай, сколько можешь; не обижай хозяина“. Что я и сделал. И из своих рук пожаловал мне, отломя, кусок пирога, и сказал: „Заешь! Это родимая, а не итальянская пища“»[310]. Образ царя-труженика Неплюев иллюстрирует рассказом о том, как он был представлен Петру, а «государь, оборотив руку праву ладонью, дал поцеловать и при том изволил молвить: „Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все оттого: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству“»[311].

Описывая свое позднейшее назначение послом в Константинополь, Неплюев включает в мемуары подлинную программную речь, в которой Петр, согласно Неплюеву, излагает теорию просвещенного монарха, ответственного перед Богом за благо подданных и государства. Перед читателем создается такая сцена: бедный, молодой возрастом, не имеющий связей, но усердный и достойный слуга отечества назначается государем на ответственный дипломатический пост. «Я упал ему, государю, в ноги и, охватя оные, целовал и плакал. Он изволил сам меня поднять и, взяв за руку, говорил: „Не кланяйся, братец! Я ваш от Бога приставник, и должность моя — смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять, буде хорош будешь, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь; а буде худо, так я — истец; ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать; служи верою и правдою! В начале Бог, а при нем и я должен буду не оставить“»[312].

Эти записи, составляющие, как было сказано, несколько обособленную часть мемуаров Неплюева, возможно, несут на себе черты более поздней обработки. В них чувствуется ностальгия, заставившая Фонвизина в 1781 году (в «Недоросле») вложить в уста Стародума такое описание Петровской эпохи: «Тогда один человек назывался ты, а не вы. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного». Как бы в подтверждение мнений Стародума в воспоминаниях Неплюева Апраксин, Головкин и другие «птенцы гнезда Петрова» обращаются в разговорах с императором на «ты».

Постепенно все более стилизуя свой образ под характер чиновника-патриота, Неплюев подчеркивает в себе бескорыстие, противопоставляющее его жадности других вельмож. Так, перед отъездом на новую должность, «пришед к генерал-адмиралу (Ф. М. Апраксину. —

Л. Ю .) прощаться, донес ему, что я отъезжаю, и просил его о неоставлении меня по заочности; он мне на сие только сказал: „Дурак!“ Я, поклонясь его сиятельству, докладывал, что не знаю, чем его прогневал, а он мне на то отвечал то же слово: „Дурак!“» Причиной этой изумившей Неплюева оценки явилось его бескорыстие: «Для чего ты не просил государя, чтоб давать в твое отсутствие по складу твоего чина жалованье жене» [313]. То, что для Неплюева — патриотическое бескорыстие, для его собеседника — «дурачество».

Неплюев осознает себя «человеком Петра», и смерть императора переживает как личную трагедию. В его описании известия об этом выступает не только риторика не очень умелого повествователя, но и искреннее чувство. Он пишет: «Я омочил ту бумагу слезами, как по должности о моем государе, так и по многим его ко мне милостям, и ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве». Сочетание должностной риторики и искренне прорвавшегося «ей-ей не лгу» как нельзя лучше передавало чувства тех людей, к которым принадлежал и Неплюев. Это было глубоко личное чувство: если меншиковы, долгорукие, остерманы или Голицыны сразу втянулись в борьбу за государственный «пирог», то люди вроде Неплюева или Дмитрия Кантемира, не имевшие твердой опоры в государственной верхушке, со смертью Петра I теряли почву под ногами. И лично, и своими убеждениями они были связаны с продолжением политики деспотической европеизации и государственного просвещения. Крах этой политики

был для них и личным несчастьем. Но, не имея опоры в родственных связях со «случайными людьми», не успев при жизни Петра обогатиться и одновременно испытывая боязнь не только за себя, но и за «новую Россию», эти люди были умелыми дельцами — знали свое дело, нужны были государству, каким бы оно ни было, потому что хорошо работали. В последующие десятилетия они проявят себя одновременно просвещением и казнокрадством (В. Н. Татищев) или бескорыстием и жестокостью (как Неплюев). Но до конца своих дней они будут ностальгически обращаться к Петровской эпохе как времени своей героической молодости.

Неплюев отправился в Турцию. Это была трудная служба, требовавшая ловкости и умения, чтобы компенсировать отсутствовавшую у него опытность. И английский, и французский послы интриговали против русской дипломатии. Вдобавок Неплюев заразился инфекционным заболеванием — он считал, что это чума, возможно он перенес какую-то из форм тифа, — и, боясь за семью и крепостных слуг, подверг себя строгой изоляции[314]. Не успел он оправиться от болезни, как отношения России и Порты достигли критического предела. Жену и младших детей пришлось отправить в Россию.

Служебная деятельность Неплюева как дипломата развертывалась с переменным успехом. Еще при жизни Петра Великого, после занятия русскими войсками Баку, он вел переговоры с Персией и провел их весьма успешно. В последние годы царствования Анны Иоанновны отношения с Турцией осложнились, и русский посол был отозван. Неплюеву было приказано, по возвращении в Россию, остаться на Украине, в тогдашней ее административной столице Глухове, и ведать украинскими делами, одновременно сохраняя и службу по делам Порты. В это время он был награжден орденом Александра Невского и землями на Украине.

После смерти своей первой жены Неплюев остался вдовцом с несколькими детьми. Ему было 47 лет. В это время он посватался к Анне Ивановне Паниной и тем породнился с ее братьями, известными в будущем Никитой и Петром Ивановичами Паниными. Таким образом он, чиновный, но без сильных родственных связей дворянин, укоренялся в той среде, которая к середине XVIII века сделалась реальной носительницей власти. Именно она, а не выскакивавшие из ничтожества и часто в него возвращавшиеся фавориты и не обедневшие дворяне, скатывавшиеся до уровня однодворцев, составляла реальную государственную силу в XVIII веке. Казалось, Неплюев достиг вершины. Служба и дальнейшая жизнь его могла спокойно продвигаться по карьерным ступеням. Однако XVIII век не любил исхоженных дорог: век еще был слишком молодым, дюжинные пути еще не сложились. В женское царствование сидящие на троне персоны порой неожиданно менялись, а каждая такая перемена влекла за собой непредсказуемые изменения в государственных и придворных судьбах. Императрица Анна внезапно умерла, и после «смуты на престоле» царицей оказалась дочь Петра I — Елизавета. В Глухов прискакал Алексей Бутурлин и, одновременно с известием о начале нового царствования, сместил Неплюева с занимаемой им должности. Новая царица объявила награды, выданные Анной Иоанновной, недействительными. «Все указы, какого бы звания ни были, данные в бывшее правление, уничтожаются, а все чины и достоинства отъемлются, и посему, — заключает Неплюев, — я увидел себя вдруг лишенным знатного поста, ордена и деревень»[315]. Молодая жена Неплюева, вдруг переместившаяся с вершин власти и могущества на опасное место супруги человека, который завтра, может быть, окажется государственным преступником, «впала в меланхолию», от коей не могла избавиться до конца жизни, а Неплюев, зная по опыту, что отсутствующий всегда виноват, поспешил в Петербург. По пути он узнал, что его обвиняют в связях с Остерманом.

Прибытие в Петербург было невеселым. Своей опоры при новом дворе он не имел, а рассчитывать на дружеские связи не приходилось. Как писал Фонвизин в «Недоросле», при дворе «двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи». Никита Панин позже вспоминал, что в опаснейшие годы, во времена процесса Артемия Волынского, Неплюев спас князя Н. Ю. Трубецкого, а этот последний отплатил спасителю тем, что, оказавшись при Елизавете у власти, старался

Неплюева утопить, утверждая, что в нем «душа Остерманова». Неплюеву было велено находиться в Петербурге под домашним арестом. Однако никаких оснований для обвинения следствием обнаружено не было. Ему возвратили орден Александра Невского, но украинские поместья уже успели растащить новые «случайные люди». В двусмысленном положении не обвиненного и не оправданного он получил назначение «ехать в Оренбургскую экспедицию командиром, которая экспедиция учреждена в 1735 году для новоподдавшегося Киргиз-Кайсацкого[316] кочующего между морей Каспийского и Аральского народа и для распространения коммерции, утверждения от того степного народа границы»[317].

Салтыков-Щедрин через сто лет в книге очерков «Господа ташкентцы» показал, что колонизация азиатских народов приводила к распространению крепостного права на эти народы и одновременно превращала собственных крестьян в разновидность колониального народа. Салтыков писал, что «Ташкент» расположен на всем пространстве России.

Однако в интересующую нас эпоху картина усложнялась тем, что еще не исчерпана была возможность отождествлять европеизацию и просвещение: ведь еще в 1840-х годах В. Белинский приветствовал французскую колонизацию северной Африки как успех просвещения.

Неплюев развил на огромном пространстве от Саратова до Казахстана исключительно энергичную деятельность. Он переносит на новое, более удобное место город Оренбург, строит пограничные крепости, усиливает освоение степных земель и одновременно, с коварством и жестокостью, которым мог бы позавидовать английский колонизатор той же эпохи, ссорит башкиров и «киргиз-кайсаков», натравляя их друг на друга. С наивной искренностью он рассказывает о типично колонизаторских приемах подавления башкирского восстания. Причину восстания он видит в том, что «по их суеверию… они состоят правоверные под игом безверного христианского народа»[318].

В царствование Елизаветы Петровны положение Неплюева оставалось двусмысленным: наделенный практически неограниченной властью на огромном пространстве между Волгой и казахскими степями, он, однако, по-прежнему не имел сильных заступников в Петербурге, при дворе Елизаветы. Назначение его в конце елизаветинского царствования сенатором только ухудшило его положение: он не поладил с наследником и имел неосторожность вступить в конфликт с его окружением. Смерть Елизаветы и воцарение Петра III сделали его положение прямо угрожающим.

Однако и тут «век фаворитов» сделал еще один резкий поворот, на сей раз — благоприятный для Неплюева. Бестужев и Рылеев в сатирической песне 1824 года позже описывали этот момент так:

Как капралы Петра

Провожали с двора

Тихо.

А жена пред дворцом

Разъезжала верхом

Лихо[319].

Когда, по словам Пушкина, «мятеж поднялся средь Петергофского двора» и Екатерина, надев

гвардейский мундир, отправилась в Петергоф завоевывать трон, она вверила именно Неплюеву охрану столицы и защиту малолетнего наследника Павла. Это сразу резко повысило положение Неплюева, и в дальнейшем он, по собственному его выражению, «употреблялся во все дела».

Неплюев терял зрение и вынужден был просить о полной отставке. Вскоре он ослеп полностью и начал спокойно и с педантической систематичностью, как все, что он делал, готовиться к смерти, продолжая, однако, — теперь уже диктуя — свой дневник. До последних дней он остался человеком Петровской эпохи. Так, уже умирая, смертельно тоскуя и желая встретиться с сыном, он, однако, в последнем, диктуемом письме наставляет его, что если долг по службе препятствует его приезду, то последнюю встречу можно и отменить. Внуки его уважают, но он им кажется странным чудаком со своей верой в просвещение и так и не исчерпывавшеюся жаждой знаний. Отправленный за границу учиться внук Иван изучил итальянский язык, но не мог удержаться, чтобы с иронической почтительностью не заметить, что сделал это ради удовольствия деду.

Неплюев сам ясно сознавал себя человеком уже прошедшей эпохи. Голиков засвидетельствовал, со слов самого Неплюева, его последний разговор с Екатериной: «Написав просительное к императрице письмо о увольнении своем от службы, поехал с оным в день воскресный на куртаг во дворец; его подвели к ее величеству… старец заговорил, что он ослеп и не может исправлять должности службы. „Я разумею тебя, — сказала на сие великая Екатерина, — я разумею тебя, Иван Иванович; ты, конечно, хочешь проситься в отставку; но воля твоя, я прежде не оставлю тебя, пока не отрекомендуешь мне на свое место человека с таковыми же достоинствами, с каковыми и ты“. Толь лестная монархини речь тронула его даже до слез. Что ж он ответствовал на оную? „Нет, государыня, мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огнь и воду, инако воспитывались, инако мыслили и вели себя, а ныне инако воспитываются, инако ведут себя и инако мыслят; итак, я не могу ни за кого, ниже за сына моего, ручаться“»[320].

«Птенцы гнезда Петрова» уходили, их место занимали временщики или вольтерьянцы-просветители, щеголи или бунтари-руссоисты, внуки соратников Петра и отцы декабристов.

Михаил Петрович Аврамов — критик реформы

Михаил Петрович Аврамов не был ни врагом Петра Великого, ни противником его реформ. Публицисты Петровской эпохи в полемическом задоре делили все общество на защитников реформ и просвещения и ее врагов — невежд, поборников закоснелой старины. Реальность была более сложной.

В действительности старина совсем не была закоснелой: пронизанный смутами и бунтами, церковным расколом и государственными реформами XVII век перепахал всю сферу культуры[321]. «Старое» и «новое» причудливо перемешивались. Петровская эпоха еще более обострила эти конфликты. Пример Михаила Аврамова для нас интересен именно тем, что здесь граница старого и нового пройдет сквозь душу одного человека и трагически ее разорвет. В образе И. Неплюева пред нами предстала сама эпоха в ее целостности. Этот слуга государя и государства, рядовой воин «века Просвещения» не знал сомнений. Он был натурой целостной, практиком, а не мыслителем. У Аврамова, казалось бы, корни те же. И тем более заметна контрастность этих двух личностей.

Михаил Аврамов родился в 1681 году и принадлежал, как и Иван Неплюев, дворянской служилой среде. Государева служба была в этом мире единственным источником

существования. Она же давала и определенную социальную позицию. На службу он поступил ребенком: десяти лет он уже был определен в Посольский приказ, с которым и оставался связанным почти всю свою жизнь.

Вначале судьба Аврамова развивалась по дюжинным путям рядового московского подьячего. Однако, когда ему исполнилось восемнадцать лет, он был прикомандирован в качестве секретаря к русскому послу в Голландии Андрею Артемоновичу Матвееву. А. А. Матвеев, в будущем граф, был одним из энергичнейших и одареннейших дипломатов Петра I. Сын Артемона Матвеева, сброшенного стрельцами на копья во время бунта 1682 года, он был убежденным «западником». Андрею Артемоновичу было двадцать два года. Хорошо образованный, свободно говоривший по-латыни, он жил на европейский манер, дружил с иностранцами, а жена его — первая в придворных русских кругах перестала красить щеки, что считалось обязательным для традиционной допетровской женской моды. С. М. Соловьев в «Истории России» процитировал слова иностранца, который был шокирован тем, что Андрей Матвеев вместе с его другом, князем Борисом Голицыным, уходя с пира, унесли со стола конфеты, а несколько блюд, особенно им понравившихся, отослали своим женам. Историк ошибался, видя в таком поведении поступок простодушных «московитов», не знакомых с европейским просвещением. Обряд отсылки понравившегося блюда родным или друзьям был традиционным не только в России. То, что для историка казалось жестом простодушного дикаря, для человека XVI–XVII веков выглядело как лестная для хозяина похвала его угощениям. Приехав в Голландию, Матвеев оказался в исключительно трудной ситуации: Россия начала войну со Швецией и одновременно заинтересована была в развитии дипломатических и торговых отношений с Голландией и Англией. Голландия же, в условиях «войны за испанское наследство», не желала конфликтов со Швецией, с которой к тому же была связана союзным договором. Постоянное вмешательство французской дипломатии еще более усложняло вопрос. Поражение Петра I под Нарвой подорвало авторитет России и лично императора, про которого шведы распространяли в европейской печати слухи, что он сошел с ума. Позиция Матвеева была исключительно трудной, и тем не менее он проявил большое искусство дипломата. Он вел борьбу со шведскими дипломатическими интригами, с одной стороны, а с другой — должен был разъяснять Петру I сущность сложившейся ситуации. Петра он, не обинуясь, информирует о горьком положении авторитета России и лично государя: «Шведский посол с великими ругательствами, сам ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу особу злословит, будто вы, испугавшись приходу короля его, за два дни пошли в Москву из полков, и, какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может»[322]. И одновременно Матвеев составляет распространенный им в шведской печати «материал», дискредитирующий Карла XII, ведет активные дипломатические интриги, нанимает, пользуясь негласной поддержкой некоторых шведских чиновников, мастеровых и ремесленников для русской службы.

Вся эта напряженная работа проходит через руки дипломатического секретаря — Михаила Аврамова. Не учитывая этого, мы не поймем того неизменного доверия, которое в дальнейшем оказывал ему Петр I, несмотря на сложность их будущих отношений. Петр никогда не забывал тех, кто в это критическое время деятельно сочувствовал ему.

Несмотря на напряженную работу секретаря, Аврамов учился (это тоже должно было импонировать Петру) «рисованию и живописному художеству»[323]. Приходится признать, что нам известно далеко не все относительно деятельности Аврамова в это время. Сам он позже упоминал, что в Голландии он «был похвален и печатными курантами опубликован»[324]. Подробности эпизода нам неизвестны, однако сам Аврамов с гордостью вспоминал о нем много лет спустя при весьма печальных для него обстоятельствах. Очевидно, что жизнь в Голландии была для Аврамова периодом, когда он полностью почувствовал себя европейцем, как позже В. Тредиаковский во время своего пребывания в Париже. Однако возвращение на родину и более близкое созерцание «европеизации» вызвало у него противоречивые чувства. По приезде в Москву он с 1922 по 1711 год служит дьяком в

Оружейной палате. Петр неоднократно проявлял к нему дружеское доверие, а с 1711 по 1716 год поручил ему издание «Ведомостей» — единственной в те годы русской газеты. В 1712 же году Аврамов, как директор Санкт-Петербургской типографии, приехал в столицу. Свои отношения с Петром I он позже описал так: «За труды мои от его величества до толика был пожалован и возлюблен и допущен до таковой милости, что чрез два года в пожалованном от его ж величества доме моем во всякую неделю благоизволил бывать у меня время довольное, и со всяким своим монаршеским благим увеселением изволил приятно веселиться многократно, и с благочестивейшею великою Государынею императрицею Екатериною Алексеевною, и с министрами имел в доме моем столовое кушанье…»[325]

«Столовые кушанья» Петра I хорошо известны и подтверждены многочисленными свидетельствами. Вряд ли пиры в доме Аврамова протекали в той чинной обстановке, которую воссоздавала его позднейшая, проникнутая «благочинием» память. Но в те годы это Аврамова не беспокоило. Никаких следов попечений о морали или критики петровского окружения мы не находим в панегирике, который он посвятил государю в 1712 году. Это исключительно редкое издание (сохранился лишь один экземпляр, а может быть, и отпечатан был только он) имеет замысловатое название, начинающееся словами: «понеже бог творец есть…». Это обширное, в 48 стихов, рифмованное сочинение типа раешника, которое сам автор определил как «приветственный стих Петру I М. П. Аврамова»:

Слава богу обогатившему великую Россию

Ему же хвала посетившему славную Ингрию

Еже в России положи сокровища драгия,

Во Ингрии открыл стези своя благия

Яко дарова монарха премудраго Петра Перваго,

России и Ингрии державца Великаго…

Все сие премудрым Его Величества приходом учинися,

кровь неприятельская яко вода пролися.

Похищенное свое же наследственное Ингрию и прочая:

премудро возвратил

и во Ингрию прекрасное место возлюбив, во свое имя

преславную крепость сотворил[326].

В тексте примечательно употребление заглавных букв: «бог» Аврамов пишет со строчной буквы, но «Его Величество» — неизменно с прописной. Если первое можно отнести за счет его очень индивидуального правописания, то второе — явное выражение его пиетета к Петру I. По крайней мере, никаких следов желания поставить церковные ценности выше государственных в этом документе нет.

В период директорства Аврамова работа издательства активизируется. В 1712 году выходит первое точно датируемое книжное издание — «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» Э. Кромпейна. Аврамов принимает активное участие в выпуске «Книги

Марсовой, или воинских дел»; книга была снабжена многочисленными иллюстрациями и свидетельствовала о высоком уровне печатного дела. Содержание книги составляли «реляции и юрналы». Издание вызвало интерес и несколько раз перепечатывалось. Здесь же увидела свет и замечательная педагогическая книга «Юности честное зерцало» (1717). Отец Суворова, В. И. Суворов, опубликовал здесь же свой перевод книги «Истинный способ укрепления городов» дю Фэ и де Комбре (1724). В следующей главе мы увидим В. И. Суворова следователем по делу Долгоруких, во время которого подсудимые подвергались жестоким пыткам. В духе своего времени генерал Суворов-старший служил государству на разных дорогах… Особенно же достойна внимания изданная в 1717 году «Книга мироздания, или Мнение о небесно-земных глобусах» Х. Гюйгенса.

Об опубликовании этой книги Аврамов в своем жизнеописании рассказывает следующее: «…егда в прошлом 1716 году поднес его императорскому величеству генерал Яков Брюс новопереведенную атеистическую книжищу, со обыклым своим пред Государем в безбожном, в безумном, атеистическом сердце его гнездящимся и крыющимся хитрым лыцением, весьма лестно выхваляя оную и подобного ему сумасбродного тоя книжищи автора Христофора Гюенса, якобы оная книжища весьма умна и ко обучению всенародному благоугодна, а наипаче к мореплаванию весьма надобна, и таковою своею обыклою безбожною лестию умысленно окрал Государя; которую книжищу приняв Государь и не смотря призвав меня, накрепко изволил мне приказать для всенародной публики напечатать оных целый выход, 1200 книг; и по тому именному указу, по отбытии его величества, рассмотрел я оную книжищу, во всем богопротивную, вострепетав сердцем и ужаснувшись духом, с горьким слез рыданием, пал пред образом Богоматери, бояся печатать и не печатать; но, по милости Иисус Христове, скоро положилося в сердце моем, для явного обличения тех сумасбродов-безбожников, явных богоборцев, напечатать под крепким моим присмотром, вместо 1200 книг, токмо 30 книг, и оные запечатав, спрятал до прибытия Государева. Егда его величество изволил возвратиться из Голландии в С. -Петербург, тогда я, взяв вышереченную напечатанную сумасбродную книжищу, трепещущ поднес его величеству, донесчи обстоятельно, что оная книжища самая богопротивная, богомерзкая, токмо единому со автором и с безумным льстивым его подносителем, переводчиком Брюсом, к единому скорому угодна в срубе сожжению: которую тогда его величество для рассмотрения принять от меня изволил и, рассмотря, спустя две недели, в народ публиковать их не приказал, а изволил приказать оные напечатанные книжищи для отсылки в Голландию отдать сумасбродному переводчику Брюсу по многой его к Государю докуке»[327].

Это позднейшее свидетельство, возможно, не полностью достоверно. По крайней мере, сведения об уничтожении книги Гюйгенса сомнительны, хотя уже в XVIII веке она стала крайне редкой. Второе издание книги с пометой, что первое вышло в 1717 году, было опубликовано в Москве в 1724 году. В любом случае Аврамов, видимо, активно препятствовал ее распространению. Однако подлинной трагедией для Аврамова сделалось другое издание, о котором он рассказал следующее. В самый разгар его служебных успехов «исконный всякого христианского добра завистник, лукавый сатана, за небрежное мое роскошное житие, возмог с лукавыми возмущенными помыслы прикоснуться сердцу моему, подустил, окаянный, якобы для наивящщей его величеству рабской моей доброй послуги, надобно просить у его величества новопереведенных и его величеству от некоторых якобы разумных людей поднесенных Овидиевых и Вергилиевых языческих книжищ для прочитания и ведения из них о языческих фабулах. И по моему прошению тотчас мне оные книги изволил его величество пожаловать, которые я читал денно и нощно с прилежанием и с охотою, и читанием их обезумился, выхвалял те книги его величеству, и выпрося о напечатании оных у его императорского величества указ, краткую из оных одну книжицу выбрав с абрисами лиц скверных богов и прочего их сумасбродного действа, в печать издал и несколько напечатав, велел оные в народе публиковать и продавать. Таковыми, сатаны наученными, услугами от Бога дарованный смиренномудрый мой ум в оной моей жизни стал быть весьма помрачен. За то всем миролюбцам[328] крайне стал быть угоден, и наипаче тогда, безумный, разглашен от

многих умным человеком»[329].

Мучения раздвоенной личности Аврамова заставляют вспомнить пушкинский отрывок, воссоздающий душевную борьбу человека, оказавшегося на пересечении средневековых и ренессансных представлений, тянущегося к земной красоте и воспринимающего это чувство как греховное:

В начале жизни школу помню я;

Там нас, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья.

Внутренний порыв уносит героя из мира строгих попечений «смиренной жены» в «великолепный мрак чужого сада». Здесь он соприкасается душой с античным миром красоты:

Всё — мраморные циркули и лиры,

Мечи и свитки в мраморных руках,

На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё наводило сладкий некий страх

Мне на сердце; и слезы вдохновенья,

При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья

Влекли меня волшебною красой:

То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой —

Был гневен, полон гордости ужасной,

И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,

Сомнительный и лживый идеал —

Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

(Пушкин, III (1), 254–255).

Колебания между притягательностью новизны и глубокой верой в ее греховность объединяют пушкинского героя и Аврамова при всех эпохальных, культурных и психологических их различиях. Аврамова увлекла обстановка творческого напряжения, расшатывания всех запретов, простора для деятельности, привлекательной беспринципности и вседозволенности, которые царили в узком кругу приближенных к императору. Позже, оценивая этот период как грехопадение, он писал: «От таковой человеческой тщетной славы паче и паче разгордевся, потерял от Бога смиренномудрое житие и оттоле совершенно уже начал жить языческих обычаев погибельное пространное и широкое[330] словолюбное и сластолюбное житие». Аврамов обличает себя в том, что «впал во всякие телесныя прелестныя, непотребныя мира сего непрестанные роскошныя дела и забавы, в пьянство, в ненасытный блуд и многая прелюбодейства и в прочия безумныя дела и злодейства»[331].

Процитированный отрывок, конечно, вернее представлять себе как риторическую формулу, чем как точное описание реальной жизни автора. Сравним, например, в послании Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь: «А мне, псу смердящему, кому учити и чему наказати, и чем просветити? Сам бо всегда в пианьстве, в блуде, в прелюбодействе, в скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе»[332].

Однако словесное сходство покаянных речений Аврамова и Ивана Грозного прикрывает глубокое различие между процитированными отрывками. Юродствующее покаяние — слишком риторично, чтобы быть простодушной непосредственной исповедью. Покаяние Грозного — хитрая ловушка, которую он расставляет своей обреченной аудитории. Он не верит в эти слова, а его слушатели не должны посметь в них не верить.

Аврамов же простодушно уверовал в свою риторику, ужаснулся бездне своей греховности, и это сломало ему жизнь.

Неплюев представлял собой пример человека исключительной цельности, не знавшего раздвоения и никогда не мучившегося сомнениями. В полном контакте со своим временем, он посвятил жизнь практической государственной деятельности. Личность Аврамова была глубоко раздвоенной. Практическая деятельность петровского служаки сталкивалась в нем с утопическими мечтаниями. Создав в своем воображении идеализированный образ старины, он предлагал новаторские реформы, считая их защитой традиции. В его проектах смешивались петровские идеи, никоновская мысль о постановке сильной, управляющей церкви («священства») выше государственности, аввакумовская жажда пострадать за старину и веру. В проекте распространения на все новооткрываемые земли православного христианства он соединял апостольский энтузиазм с конквистадорским жаром открывателя новых областей. Все эти противоречия с трудом уживались в не очень гибком уме этого «птенца гнезда Петрова». Он продолжал преклоняться перед личностью императора и пронес это преклонение через всю жизнь, хотя и был уверен, что болезнь Петра после подписания им Духовного Регламента была не случайной. Даже в позднейших показаниях он торопливо обходит вопрос о причинах духовного кризиса, пережитого им во второй половине 1710-х годов. Однако вряд ли можно считать случайным, что перелом этот хронологически совпал с делом царевича Алексея[333]. Аврамов не порвал ни со службой, ни с Петром I, но начал носить под мундиром тяжкую власяницу, а на обедах с участием царя (о которых он в том же жизнеописании вспоминал почти с восторгом) отказывался от спиртных напитков, ссылаясь на мнимую чахотку. Видимо, и издательская работа его начала страдать. Пользуясь продолжавшимся благоволением Петра, Аврамов неоднократно пробовал заводить с ним разговоры, имеющие целью направить политику в сторону ксенофобии и сближения с церковью. Речи Аврамова, видимо, не оказывали на Петра I серьезного влияния, но он продолжал терпеливо их выслушивать. Тем, кто оказывал ему поддержку в критические дни первых лет царствования, Петр был склонен прощать очень многое.

Положение Аврамова переменилось со смертью Петра I. Продолжая, по старой привычке, подавать при Петре II и Анне Иоанновне на высочайшее имя советы и проекты, клонившиеся

к восстановлению патриаршества, Аврамов вступил в конфликт с Феофаном Прокоповичем. Он простодушно вмешался в борьбу между Феофаном и сторонниками патриаршества, искренне надеясь в этом переплетении честолюбивых интриг найти цель для мученического подвига. В результате Аврамов был втянут в целый клубок следствий и судебных дел, в итоге которых оказался в ссылке на Камчатке. Здесь судьба втянула его в новую цепь конфликтов.

Берега Охотского моря в эти годы были своеобразным узлом, где связывались биографии ученых-первопроходцев и политических ссыльных, причем вторые часто выполняли и функции первых. Судьба свела его с двумя людьми. Первый из них — Алексей Ильич Чириков. Это был один из тех талантливых и преданных науке людей, которым развязала ум и руки Петровская эпоха. Он начал службу гардемарином флота в 1716 году, а в дальнейшем показал себя настолько энергичным и способным воспитателем моряков, что вне очереди, «другим не в образец», был произведен в лейтенанты. Затем, по просьбе Беринга, правой рукой которого он сделался, несмотря на молодость, Чириков был переведен на Тихий океан и совершил экспедицию к берегам Америки. Плавая по берегам Тихого океана и энергично содействуя обживанию берегов Охотского моря, Чириков внес значительный вклад в науку и в освоение Дальнего Востока. Лучше всего его характеризует то, что когда он, вернувшись с расстроенным вконец здоровьем в Петербург, скончался, в наследство семье моряка-ученого достались лишь долги.

Оказавшись в ссылке в Охотске, Аврамов не упал духом. Он переписывался с семьей, искал способов добиться оправдания и одновременно занялся просвещением местного населения. О деятельности Аврамова и Чирикова в целях распространения просвещения на Дальнем Востоке мы узнаем из доноса, поданного на них Г. Г. Скорняковым-Писаревым.

Г. Скорняков-Писарев также принадлежал к тому кругу людей, которых называют «птенцами гнезда Петрова». В течение многих лет он был постоянным сотрудником императора в военных и гражданских делах, и Голиков имел основания называть его в числе близких соратников Петра. Скорняков-Писарев выполнял поручения царя по строительству системы каналов вокруг Ладожского озера, преподавал артиллерийские и математические науки. Однако высокое доверие к нему Петра I проявилось не в этом: именно ему Петр доверил проводить следствие и кровавый суд над своей первой женой и ее окружением. Затем Скорняков-Писарев участвовал в суде над царевичем Алексеем и в последующей после суда пытке, во время которой царевич, по некоторым данным, умер. Включение Скорнякова-Писарева в число тех, кто должен был организовывать похороны царевича Алексея и, следовательно, тех, кому были открыты страшные тайны суда, — показатель высокого доверия. За большим доверием последовала большая награда — чин гвардии полковника.

Скорняков-Писарев получал затем от Петра многочисленные поручения, но организационных талантов не проявил. Несколько раз он попадал в опалу, но умел выпутываться из сложных обстоятельств, и последним его карьерным успехом было то, что он находился в числе лиц, несших гроб императора. В последовавших за смертью Екатерины I интригах Скорняков-Писарев просчитался: встал на сторону дочерей Петра, за что и поплатился: был разжалован, бит кнутом и сослан в отдаленное сибирское зимовье. Однако через некоторое время, по просьбе Беринга, он был направлен в Охотск, где ему было поручено «заселить» безлюдную местность, а также совершить многочисленные другие, благие для этого края действия. Бюрократическое остроумие при этом проявилось в том, что, располагая огромными полномочиями, Скорняков-Писарев оставался сам заключенным: на работу ходил под конвоем, а ночевать возвращался в камеру.

Но «птенец гнезда Петрова» не собирался долго оставаться на Дальнем Востоке. А путь к возвращению был один: обнаружить заговор, разоблачить его и этим вновь завоевать себе милость в Петербурге. На этот путь он и встал. В посланном в Петербург доносе он сообщал: «Он, Аврамов, яко всем ведомый старый ханжа, притворя себе благочестие и показывая себя

святым, сдружился великою дружбою с подобным себе ханжею ж, капитаном Чириковым, и его, Чирикова — в именины благословил иконою пресвятыя Богородицы, именуемыя Казанския, которую он, Чириков, с великою благостию, яко от святого мужа принял». Скорняков-Писарев отсылал также захваченную у Аврамова молитву, поясняя при этом, что «сия молитва зело сумнительна». Доносил он также, что Аврамов называет себя «безвинным за веру» испытания терпящим и что некоторые люди оказывают ему помощь одеждой и едой, «как Чириков дал уже ему две пары платья, шубу и десять рублей». Скорняков-Писарев представлял себя поборником просвещения, разоблачающим обманы суеверов (эти доносы, от имени просвещения разоблачающие обманы и суеверия, лучше всего воссоздают мир, где все понятия причудливо переместились): «А понеже всем добрым людям известно, яко никаким иным образом так мочно у простого народа выманивать деньги, как притворным благочестием, и показывая себя молитвенником, как он плут Аврамов в Охотске себя называл и как такие ж воры и плуты в присутствии моем в Тайной канцелярии являлись»[334]. Скорняков-Писарев не пропустил случая напомнить, что он не всегда был ссыльным, а сиживал и в Тайной канцелярии как следователь. Скорняков-Писарев самовольно присвоил себе права защитника государственности. Чириков и тем более Беринг были ему не подвластны, но Аврамова он обыскал и найденные у «плута и ханжи Михаила Аврамова» «схороненные в сумках книжки» и даже вызвавшие у него подозрения закладки в книжках отправил в Иркутск. Самого же Аврамова, дабы «иных бы каких ханжеских воровских не учинил» дел, заковав, отправил с солдатом в Якутск. Пока Скорняков-Писарев осуществлял свой хитроумный план, который должен был открыть ему обратный путь в Петербург, туда, по прогонной почте, следовали письма Аврамова, в которых он просил жену и детей молить Бога за своих благодетелей, в числе которых он называл и Скорнякова-Писарева.

Между тем в Петербурге дело шло своим чередом. В 1742 году Тайная канцелярия прекратила дело М. Аврамова и распорядилась его освободить. Вновь оказавшийся в Петербурге Аврамов не успокоился и подал новый, всеохватывающий проект реформы. Здесь соединялись его идеи всеобщего просвещения и благосостояния с требованием передачи церкви государственной власти. Он писал «о просвещении непросвещенного народа во всей вселенной», предлагал осуществить денежную реформу, а накопив достаточные средства, выкупить крепостных крестьян и оживить торговлю, ссудив купцам значительные суммы. Одновременно он предлагал воплотить в жизнь проекты Петра Великого и тут же — усилить церковную цензуру и передать священникам надзор за благочестием паствы! Необходимость перечисленных и множества других реформ М. Аврамов пояснил следующим образом: «Таковые истинные правила христианские, с помощью всемогущего Бога, могут охранять нас убогих от неусыпных коварного сатаны тончайших льстивых его подлогов; понеже часто и с правого пути забегает лестно окаянный, показуя, якобы и на созидание дел благих радеет. И под таким зловымышленным своим воровским вкратчися покрывалом, всеспасительное узаконенное истинное Христово и святыя Его церкви учение опровергнуть и до конца, хитрец, искоренить желает. И не токмо в распутное, но и в самое атеистическое житие ввергнуть радеет, как в начале прельстил и обольстил иностранцев»[335].

Защищая право церкви на милосердие, обеспечение нищих и противопоставляя это петровскому тезису: подлинное спасение души заключено в службе государству и государю, как неоднократно утверждал Феофан, — М. Аврамов по-прежнему настаивал не только на самостоятельности, но и на прерогативе церкви перед государством. Особенно обрушивался он на западное просвещение, вновь нападая на «печатные атеистические книжищи» Гюйгенса, а также Фонтенеля, «в них же о сотворении мира так напечатано: мирозрение или мнение о небесно-земных глобусах и украшении их, которых множественное число быти описует, называя странными древних языческих лживых богов именами; землю же с Коперником около солнца обращающуюся и звезды многие толикими же солнцы быти… и на оных небесных светилах… таковым же землям, яко же и наша, быти научают, и обитателей на всех тех землях, яко же и на нашей земле, быти утверждают, и поля, и луга, и пажити, и

леса, и горы, и пропасти, и моря, и прочие воды, и звери, и птицы, и гады, и всякое земледелие, и рукоделие и музыки, и детородные уды, и рождение и все прочее, яже на нашей земле, тамо быть доводят. И между тем всем о натуре воспоминают, якобы натура всякое благодеяние и дарование жителям и всей дает твари: и тако вкратчися хитрят везде прославить и утвердить натуру, еже есть жизнь самобытную»[336].

Все эти проекты имели последствием то, что совсем не трудно было предсказать: Аврамов вновь оказался в Тайной канцелярии. После допросов его «с пристрастием» (то есть под пыткой) даже Тайная канцелярия вынуждена была признать, что никакой особой вины за Аврамовым не имеется, «как он те противные книги сочинял от сущей простоты своей». Ему было дозволено жить при монастыре «под крепким присмотром до кончины живота его никуда неисходна»[337]. Но этой «милостью» Аврамов воспользоваться уже не успел: он скончался в тюрьме 24 августа 1752 года. Путь автора широких проектов был завершен.

Нет ничего легче, как посмеяться над странными ретроградными идеями бывшего сотрудника Петра I, или сослаться на «кричащие противоречия», или указать на недостаточную образованность Аврамова, или хотя бы, наконец, на влияние на него нервных потрясений. Но думается, справедливее будет сказать о другом: сподвижник Петра Великого, Михаил Аврамов принадлежал к первому поколению деятелей реформы. Он оставил старину «Безропотно, как тот, кто заблуждался // И встречным послан в сторону иную»

(Пушкин, VII, 124). В этом поколении были, видимо, люди, которые так долго ждали реформы, так на нее надеялись и так в нее уверовали, что не могли уже примириться с ее реальным кровавым лицом. Они выдумывали утопические проекты будущего и создавали утопические образы прошедшего — лишь бы не видеть настоящего. Получи они власть, они бы обагрили страну кровью своих противников. В реальной ситуации они проливали свою собственную кровь. Эпоха расколола людей на догматиков-мечтателей и циников-практиков. К первым — на русском престоле — принадлежал Павел I, ко вторым — Екатерина II. Но на этом небе высвечиваются, как звезды, просто люди. Примером их может быть названа княгиня Наташа Долгорукая. О ней пойдет речь в главе «Две женщины».

Век богатырей

К концу XVIII века в России сложилось совершенно новое поколение людей. Изменение характеров развивалось с такой быстротой, что в течение столетия мы отчетливо можем различить несколько поколений, своеобразную лестницу человеческих типов.

Люди последней трети XVIII века, при всем неизбежном разнообразии натур, отмечены были одной общей чертой — устремленностью к особому индивидуальному пути, специфическому личному поведению.

Люди начала XVIII века стремились влиться в какую-то группу: стать «птенцами гнезда Петрова», защитниками правоверия, уйти в скит или бежать в Европу. Но всегда ими руководит желание стать частью какого-либо единства, сделать его законы своими собственными правилами. Для человека конца XVIII века, если можно позволить себе такое обобщение, характерны попытки найти

свою судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность. Такая устремленность будет психологически обосновывать многообразие способов поведения.

Желание совершить неслыханное оказывается порой сильнее религиозно-этических стимулов: оно будет толкать и к героическому поступку, и к надежде «попасть в случай», —

преодолев все препятствия, занять первое место у престола власти.

Движение века разрывалось от противоречий: «регулярное государство» нуждалось в исполнителях, а не в инициаторах и ценило исполнительность выше, чем инициативу. Эта сторона эпохи была уже заложена в петровском «регулярном» государстве. Однако она противоречила ее же потребности в сознательной инициативе. Свой идеал «апология исполнительства» нашла в прусской идее дисциплины, а утопическое воплощение — в государственной фантастике Павла I. Павел I считал себя продолжателем Петра, но из противоречивого целого петровского века он избрал только «регулярность».

Другая сторона потребностей века строилась на принципиально иной основе и порождала совсем иной человеческий тип.

Жажда выразить себя, проявить во всей полноте личность создала и героев и чудаков, характеры часто дикие, но всегда яркие. Пушкин, обличая продуманное властолюбие Екатерины II, с основанием видел в ее поступках сухой расчет — размах и фантазии Г. Потемкина, его постоянная тяга к преодолению тесных рамок возможного дополняли реализм императрицы. Обширный «потемкинский фольклор» пронизан поэзией безграничности. П. А. Вяземский в «Старой записной книжке» привел такой красноречивый эпизод:

«В Таврическом дворце в прошлом столетии князь Потемкин, в сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит чрез уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра.

Левашев : Какая прекрасная ванна!

Князь Потемкин : Если берешься ее всю наполнить (это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово), я тебе ее подарю.

Левашев (обращаясь к Долгорукову): Князь, не хотите ли попробовать пополам?»[338]

Неуемный ни в государственных планах, ни в разврате, Потемкин и Пушкину казался выразителем своей эпохи. Целую серию анекдотов о Потемкине он включил в свой Table-Talk. Все они соединяют размах и разврат. Приведем один из таких анекдотов:

«Когда Потемкин вошел в силу, он вспомнил об одном из своих деревенских приятелей и написал ему следующие стишки:

Любезный друг,

Коль тебе досуг,

Приезжай ко мне;

Коли не так,

Лежи…

Любезный друг поспешил приехать на ласковое приглашение»

(Пушкин, XII, 173).

Однако современники видели в характере Потемкина поэтическое противоречие между величием и ничтожеством. Державин в знаменитой оде «Фелица» создал сатирический портрет фаворита, который кружит «в химерах мысль» свою:

То плен от персов похищаю,

То стрелы к туркам обращаю;

То, возмечтав, что я султан,

Вселенну устрашаю взглядом;

То вдруг, прельщайся нарядом,

Скачу к портному по кафтан.

Но тот же Державин после смерти Потемкина был захвачен контрастом высоты и падения фаворита, пережившего свою власть, и увидел трагическую поэзию его образа:

Чей труп, как на распутье мгла,

Лежит на темном лоне нощи?

Простое рубище чресла,

Две лепты покрывают очи… <…>

Чей одр — земля; кров — воздух синь;

Чертоги — вкруг пустынны виды?

Не ты ли счастья, славы сын,

Великолепный князь Тавриды[339]?[340]

Люди конца XVIII века, прежде всего, поражают неожиданностью ярких индивидуальностей. Читая их биографии, кажется, что читаешь романы. Романы эти бывают разные: плутовские, героические, сентиментальные. Но если при чтении биографий людей 1812 года в сознании возникает поэма, то конец XVIII века выражает себя именно в романе.

Возьмем, например, ныне совершенно забытого, не оставившего следов на страницах истории офицера Нечеволодова. Нам он интересен именно как обычный человек, а между тем слово это менее всего к нему подходит. Жизнь его — длинная цепь событий, которые не могут считаться обычными. Полумифическую биографию его, о которой рассказывали в армейских кругах, сохранил М. И. Пыляев. Здесь все настолько укладывается в полковые легенды тех лет, что трудно отделить факт от мифа, но второй для нас, возможно, даже интересней первого. Сначала — рождение в небогатой харьковской дворянской семье, детство, прославившее его неуемным озорством, и солдатская служба (покровителей, видимо, не нашлось). Участие в суворовских походах, проявления безумной храбрости, ранения и награды… «При защите крепости Бреста, он поместился в амбразуре и, как отличный стрелок, бил оттуда французов на выбор, но вдруг ядро, пущенное с неприятельской батареи, сбило амбразуру и ветхая каменная стена рухнула и придавила его; его вытащили полураздавленного и едва живого. В Италии Нечеволодов не раз участвовал с Суворовым в сражениях, переходил с ним Альпы, Чертов мост и из уст знаменитого

полководца слышал благодарность и похвалу. Окончил войну поручиком с бриллиантовыми знаками Св. Анны II степени на шее — награда в этом чине в то время была исключительная» [341].

Казалось, что перед молодым, храбрым офицером, увенчанным орденами и ранами, должен открыться блестящий, но в общем предсказуемый путь наград и чинов. Однако авантюрная эпоха, воспитавшая Нечеволодова, повела его по совсем иным дорогам. Он совершил какое-то преступление: говорили о дуэли с родным братом, который был убит на месте (а Нечеволодов — уже который раз! — не ранен). Последовало разжалование, лишение орденов и ссылка в один из самых глухих углов России. Оттуда — бегство кораблем в Англию. Нечеволодов обдумывал уже планы участия в английских колониальных походах, когда судьба свела его с русским послом в Англии. Заступничество вельможи обеспечило ему прощение императора и право возвратиться в Россию. Он приехал в Россию, был восстановлен в чине, однако ордена ему не возвратили. Как и следовало лихому кавалеристу (Нечеволодов служил в егерях), он влюбился ни больше ни меньше как в одну из самых завидных невест Польши, графиню Тышкевич, и добился ее расположения. Но о согласии родственников нечего было и думать, и он женился «угоном» — тайно увез невесту из замка.

…Участие в наполеоновских войнах принесло Нечеволодову новые приключения. В составе корпуса Платова он был истоптан копытами французской кавалерии и получил многочисленные раны, но остался в строю, и вскоре мы его находим во главе лихой кавалерийской атаки, увенчавшейся блестящей победой. Казалось бы, раны, чин подполковника и ордена (как восстановленные старые, так и полученные новые) должны были бы остепенить героя, утихомирить его беспокойный характер. Но не тут-то было! Вскоре после окончания европейских походов Нечеволодова, оценив его лихость и боевые заслуги, перевели в гвардейский драгунский полк. Тут он повел себя истинно по-драгунски: проиграл в карты 17 тысяч казенных денег и был вновь разжалован в рядовые. Желая облегчить возможность возвращения Нечеволодову чинов, начальство сослало его на Кавказ. Тут, как подлинный романтик, читатель Пушкина и Байрона, он (вторично) женился — на этот раз на черкешенке. Конец его Илиады напоминает описанную в «Евгении Онегине» судьбу Зарецкого:

… некогда буян,

Картежной шайки атаман,

Глава повес, трибун трактирный,

Теперь же добрый и простой

Отец семейства холостой… [342]

(6, IV)

Нечеволодов вновь — теперь уже в третий раз! — получил назад все свои ордена и в чине майора умер на Кавказе в селе Карагач.

Эти бурные характеры рождались на переломе двух веков, когда история достигла крутого поворота. Европа подходила к рубежу великих перемен. Ничто не казалось вечным. Все авторитеты пошатнулись, и перед сильной волей и беспокойным характером открывались возможности, казавшиеся безграничными. Время рождало героев бескорыстной самоотверженности и бесшабашных авантюристов. Люди мелкого масштаба становились

вторыми — первые появлялись на вершинах культуры эпохи.

А. Н. Радищев

Александр Николаевич Радищев — одна из самых загадочных фигур в русской истории. О нем написано много. И тем не менее недоуменных вопросов его жизнь и личность возбуждает гораздо больше, чем дает нам удовлетворительных ответов. Заметно стремление декабристов не связывать свои идеи с его именем и традицией. Пушкин, который на протяжении всей своей жизни так или иначе обращался к имени Радищева, исчерпал всю гамму оценок, увенчав их в черновом автографе «Памятника» словами: «… в след Радищеву восславил я свободу» (III (2), 1034). Восторженные отзывы Герцена столь же естественны, как и раздраженные реплики Достоевского. В дальнейшем имя Радищева начало часто упоминаться, а после того как в годы первой русской революции запрет с его имени был снят, сделалось обязательным в работах по русской литературе и истории. Академическое трехтомное издание Полного собрания сочинений, несмотря на уродливую безграмотность третьего тома, обезображенного после ареста Г. А. Гуковского неквалифицированной рукой Д. С. Бабкина[343], сделало наследие Радищева доступным для научного изучения. С тех пор работы о нем исчисляются сотнями. Однако нас интересует не то, что, как правило, привлекало авторов этих трудов, — не сочинения Радищева и не отвлеченные философские воззрения. Наше внимание обращено на личность Радищева, на то, как в его характере и поведении отразилась культура эпохи.

Пушкин в статье, написанной в 1836 году и до сих пор вызывающей у нас достаточное число вопросов, отметил, что в Радищеве отразилась его эпоха, и вместе с тем дал ему безжалостную характеристику: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения» (XII, 36). Слова Пушкина несправедливы и полемически раздражительны, но в них есть одна истина: Пушкин назвал широкий круг разнородных источников, влияние которых на Радищева убедительно доказывается. Однако пушкинский список можно было бы значительно расширить, введя туда и немецких философов, и масонских теоретиков, и итальянского юриста Беккариа, и многие десятки других имен. Радищев обладал обширнейшими сведениями в юриспруденции, в географии, геологии, истории. В сибирской ссылке он прививал оспу жителям — в ту пору это была не просто медицинская новинка, а своеобразное поприще, на котором сражались просвещение и невежество. Екатерина сделала прививку наследнику Александру Павловичу в Царском Селе, а Радищев прививал оспу в далекой и полудикой Сибири.

Если бы надо было характеризовать Радищева одним словом, то лучше всего подошло бы определение «энциклопедист». Термин «энциклопедист» в XVIII веке отнюдь не покрывался понятием о всесторонне образованном человеке. Энциклопедист — это, прежде всего, человек, охватывающий своими знаниями все области науки в их единстве. Этим он противостоит средневековому ученому, который принципиально отбрасывал от себя практическую сферу: ремесла, технику, промышленность. Одновременно энциклопедист соединяет науку не только с практикой, но и с социологией и политикой. Для него нет отвлеченных знаний. Наука и культура — всегда формы деятельности. Так, например, Радищев не просто постоянно увеличивает круг своих знаний, но и в духе эпохи Просвещения неизменно вмешивается в общественную жизнь в самых разных ее сферах: в торговлю и экономику как чиновник, в географию и геологию как ссыльный. Даже во время трагического для него путешествия в Сибирь, только что пережив страшное следствие в руках небезызвестного С. И. Шешковского («домашний палач кроткия Екатерины» — называл этого

человека Пушкин), еще больной от варварского путешествия в оковах и в летнем костюме, в котором он был арестован, из Петербурга в Москву, он возобновляет научные наблюдения над местами, куда его забросила судьба.

Но пожалуй, решающая черта энциклопедиста — постоянное стремление не только изучить, но и переделать мир. Энциклопедист убежден, что судьба поставила его свидетелем и участником нового сотворения мира. Поэтому он может не приходить в отчаяние в самые критические моменты своей биографии. Так, Кондорсе, скрываясь на чердаках и в подвалах Парижа от гильотины и Робеспьера, писал утопический проект будущего счастливого преобразования общества. Слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты роковые» — сжато и точно передают это мироощущение. Мы встречаем иногда противопоставление двух терминов: «просветитель» и «революционер», полагая, что первый надеется исправить мир просвещением, а второй — насилием. Такая антитеза была чужда XVIII веку: просветитель хотел переделать мир на основах разума, а вопросы тактики были для него второстепенными.

Однако русское Просвещение далеко не во всем совпадало с французским. Прежде всего, просветитель, наблюдающий Французскую революцию, террор и падение республики, находился в принципиально иной позиции, чем его французские предшественники: там были безграничные надежды, здесь — горькие итоги. Но дело не только в этом: чем дальше на восток, тем острее становился вопрос о практике просветительских идей. Уже Шиллер в «Заговоре Фиеско в Генуе» и в «Дон Карлосе» встал перед вопросом, который не тревожил французских просветителей, — как соединить теорию с практикой? Для России этот вопрос сделался основным. Пушкин уличал Радищева в противоречиях и видел в этом недостаток. Для Радищева такая позиция была принципиальной. Он не согласовывал свои практические действия с теорией, а брал в руки, как хватают в разгаре боя, то оружие, которое употребительно, те теории, которые могли послужить его заветной практике. Так, например, построен знаменитый трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». Его объединяющая мысль — необходимость героической личности, готовой отдать жизнь за свободу человека. Далее разбираются два варианта: человеческое существо материально, со смертью кончается для человека все, и — душа бессмертна и смерть — лишь переход к высшей форме жизни. Радищев не отдает предпочтения ни той, ни другой концепции, и за это его неоднократно упрекали, обвиняя в эклектике, непоследовательности или же предполагали цензурные уловки — спасительное средство для тех, кто не может совладать с материалом. Радищев же сам дал очень ясный ответ: человек может думать, что с жизнью все кончается, или предполагать бессмертие души. Но в любом случае он должен преодолеть страх смерти и быть готовым принести себя в жертву своим убеждениям.

Таким образом, основной поворот убеждений Радищева — педагогический. Надо воспитать героизм, и для этой цели могут быть использованы все философские концепции, на которые можно опереться. Зато в идее героизма у него никогда не было ни колебаний, ни двойственности. Более того, он создал (и попытался осуществить на практике) целую концепцию героизма: мир погружен в рабство, но рабство не есть естественное состояние человека. Даже насилие не может объяснить загадку возникновения деспотизма, человек создан для свободы и он везде в цепях — недоумевал Руссо. Просветители склонны были объяснять это глупостью народа, его темнотой и суеверием, поскольку утверждение, что рабство — результат насилия, вступало в противоречие с тем, что угнетатели всегда находятся в меньшинстве и, следовательно, с просветительской точки зрения, сила не на их стороне. Позже Герцен в повести «Доктор Крупов» носителем истины сделал мальчика-дурачка. Герой Герцена видит, как щуплый управляющий порет физически крепких мужиков-крестьян. «Дураки», — говорит глупый мальчик. «Глупость» как источник правильного взгляда на жизнь будет встречаться и у молодого Крылова. В одной из его ранних сатирических повестей — «Похвальная речь в память моему дедушке, говоренная его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу» юный дворянин Звениголов «на втором

году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. <…> На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно». Но когда он вздумал распространить эти привычки на купленную отцом собаку, со стороны последней, верной голосу природы, немедленно последовал бунт: угнетатель был укушен. «Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови». На недоуменный вопрос Звениголова последовал ответ отца-помещика: «Друг мой! — сказал беспримерный его родитель, — разве мало вкруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, если не хочешь быть укушен. Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь». Естественная «глупость» дураков и животных противостоит противоестественной глупости рабов.

Для западного просветителя основной задачей было сформулировать истину, для русского — найти пути ее осуществления. Это придавало русскому Просвещению специфическую окраску: соединение практицизма и утопизма. Необходимо было указывать пути осуществления идеалов, а любые из этих путей заведомо были утопическими. Радищев разработал своеобразную теорию русской революции, которую он тщательно обдумывал на протяжении долгих лет. Рабство противоестественно. Быть рабом так же противоречит самой природе человека, как, например, постоянно стоять вверх ногами. Но люди доверчивы и неинициативны: стоять вверх ногами сделалось их вековой привычкой. Привычки, обычаи, традиции для просветителя — именно те силы, которые противостоят разуму и свободе. Для борьбы с ними необходим «зритель без очков» (так называл Радищева А. Воронцов), то есть тот, что смотрит на мир свежим взором философа. Свобода начинается словом философа. Услышав его, люди осознают неестественность своего положения. Как человеку, привыкшему мучительно стоять вверх ногами, достаточно простого слова: «Глупец, стоять надо вверх головой!», так слово философа рождает свободу:

… Но мститель, трепещи, грядет.

Он молвит, вольность прорекая, —

И се молва от край до края,

Глася свободу, протечет.

Возникнет рать повсюду бранна,

Надежда всех вооружит;

В крови мучителя венчанна

Омыть свой стыд уж всяк спешит.

А. Радищев «Вольность»

Итак, переход от рабства к свободе мыслится как мгновенное общенародное (и поэтому не требующее большого кровопролития) действие. В более ранних вариантах своей теории Радищев допускал пролитие лишь одной капли крови, основываясь на традиции английской революции (в текстах середины 80-х годов, когда только Англия продемонстрировала опыт революционной практики). Он допускал суд над тираном и его общенародное осуждение:

Ликуйте, склепанны народы!

Се право мщенное природы

На плаху возвело царя.

«Вольность»

Однако исторический опыт внес изменения. Просветитель останавливался с изумлением не только перед фактами рабства и деспотизма — само существование народного долготерпения оставалось для него загадкой. Все слова были уже сказаны философами Просвещения, но это не привело к свободе. Народы оставались равнодушными к истинам просветителей или осуществляли их в кровавых и, по мнению Радищева, искаженных формах. Разбудить народ оказалось не так просто. Якобинская диктатура не вызвала сочувствия Радищева. Он увидал в ней все тот же деспотизм в других одеждах. Позже Герцен выразил самую сущность трагедии Просвещения, сказав, что тайна мировой истории — это загадка человеческой глупости. Именно эта загадка заставляла Радищева мучительно искать выход за пределы человеческой глупости.

Пушкин писал: «…заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников» (XII, 32).

Эту мысль Пушкина неоднократно пытались оспорить. Мы знаем ряд примеров, когда Радищева пробовали представить вождем обширной, но оставшейся по непонятным причинам неразоблаченной политической группы или хотя бы вдохновителем легального литературно-общественного движения. Так, В. Н. Орлов, издавая в 1935 году в Большой серии «Библиотеки поэта» сборник стихотворений поэтов «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», броско поставил на книге титул: «Поэты-радищевцы». Это же название было закреплено в программной статье В. А. Десницкого, открывавшей книгу. Однако искусственность связывания этих разнородных по талантам и по общественным позициям поэтов была очевидна: в «радищевцах» слишком мало оказалось собственно радищевского. Личные знакомства и искреннее уважение к автору «Путешествия из Петербурга в Москву» — еще недостаточно прочная связь для того, чтобы увидеть в этих второстепенных поэтах подлинных продолжателей Радищева. Г. А. Гуковский с присущей ему меткостью окрестил поэтов «Вольного общества» «детьми лейтенанта Шмидта». Однако за публикацией В. Орлова стояла обширная архивная работа, и в целом книга его, если забыть о хлестком названии, была очень полезна. Этого нельзя сказать про опыт Д. Бабкина, пытавшегося на совершенно фантастической почве создать представление, что Радищев был чуть ли не руководителем революционного кружка в Петербурге конца 1780-х — начала 1790-х годов[344] и вдохновителем сплоченного демократического движения в литературе. В книге Д. Бабкина такое количество фактических ошибок и произвольных утверждений, что серьезное восприятие этого исследования делается невозможным.

Многим, интересующимся творчеством Радищева, памятна сенсация, которую произвела книга Георгия Шторма «Потаенный Радищев»[345]. Она привлекла внимание. После 30-тысячного тиража первого издания вскоре понадобился второй — 100-тысячный. Успех книги был подкреплен восторженной статьей Ираклия Андроникова «Для будущих веков дар» [346]. Концепцию Шторма, согласно которой взгляды Радищева не претерпели никаких изменений, рецензент принимал полностью. Однако центром статьи было другое: собрав обширный материал (здесь нельзя не отдать должного изобретательности и трудолюбию Г.

Шторма), автор книги возводит всех близких и далеких родственников и знакомых Радищева в его общественно-политических единомышленников. Создается впечатление, что Радищев был окружен разветвленной политической группой, состоящей в основном из его родственников. Концепция книги, опирающаяся в основном на догадки, изложенные как доказанные факты, не встретила широкого научного одобрения и, после первых сочувственных отзывов А. В. Западова и И. Л. Андроникова, большинство исследователей присоединилось к критическому мнению Г. П. Макогоненко и автора этих строк[347].

Радищев не создал ни заговора, ни партии, ибо для просветителя XVIII века они представляются в принципе ложной дорогой. Надежда возлагалась на истину. В «Путешествии из Петербурга в Москву» есть эпизод: к царю является Истина. Она говорит ему, что взгляд его искажен бельмами, и, как глазной хирург, совершает над ним операцию. После того, как бельма удалены, царь обретает подлинное зрение. Ему открывается истина в ее настоящем виде. Мы уже упоминали, что А. Воронцов называл Радищева «зрителем без очков», но Радищев хотел быть и глазным хирургом. Его инструментом была истина. Такой подход в принципе отвергал самый вопрос тактики или необходимость конспирации и заговора.

Проблема права человека оборвать свою жизнь была одним из узловых моментов европейского Просвещения. Она рассекала два основных узла на пути свободы. Первый представлял собой бунт против Господа. Получив свободу самому решать вековой вопрос «быть или не быть», человек присваивал себе внешнюю функцию божества. От слов Гамлета до размышлений Вертера и от романов Достоевского до цветаевского «отказываюсь быть» самоубийство вбирало в себя идею высшего бунта:

На твой безумный мир

Ответ один — отказ.

М. Цветаева «О слезы на глазах!..»

Другой аспект этой проблемы имел политическую окраску. Еще Монтескье связал «античное самоубийство» со свободолюбием. Идея эта многократно высказывалась философами XVIII века, а в России — Я. Княжниным и многими другими писателями. Княжнин завершает свою трагедию «Вадим Новгородский» сценой, получившей у читателей XVIII века широкий отклик. После того, как дочь Вадима — Рамида — закалывается для того, чтобы спасти себя от порабощения, Вадим восклицает: «О дочь возлюбленна! Кровь истинно геройска!» И, обращаясь к тирану:

В средине твоего победоносна войска,

В венце, могущий все у ног твоих ты зреть, —

Что ты против того, кто смеет умереть?

(Заколается)

А Федор Иванов заканчивает свою трагедию «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» словами героини, обращенными к сыну:

У матери своей ты чувствовать учись.

О нем ли (то есть о царе. —

Ю. Л.) сожалеть? —

Жалей ты о свободе.

Жалей о Новграде, жалей о сем народе.

В Царе ты изверга, во мне пример свой зри:

Живя без подлости, без подлости умри.

(Заколается)[348].

Идеи эти по-разному варьировались многочисленными философами и публицистами. Однако в сочинениях Радищева они приобретали индивидуализированный характер.

Размышляя над проблемами рабства и свободы, Радищев подошел к вопросу, обсуждавшемуся еще французскими философами. Последние видели свою миссию в том, чтобы произнести слова истины, — Радищеву существенно было, чтобы слова эти были услышаны. Так появляется мысль о том, что истина требует пролития крови. Но не той крови, которая щедро обливала доски гильотины, а крови философа, проповедующего правду. Люди поверят, полагал Радищев, тем словам, за которые заплачено жизнью.

Одно слово, и дух прежний

Возродился в сердце Римлян,

Рим свободен, побежденны

Галлы; зри, что может слово;

Но се слово мужа тверда… [349]

«Муж твердый» — это герой-философ, оплачивающий истину собственной кровью. С этой точки зрения, преследования философов деспотами — своеобразная проверка истины его философии.

Пушкин изумлялся «дерзости» Радищева: «… не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян» (XII, 36). Слова Пушкина написаны с позиций, несовместимых со взглядами Радищева: Пушкин стремился к реальным, пусть небольшим, полезным действиям, Радищев — к абсолютному преобразованию, даже если возможность его сомнительна. В этом смысле арест и ссылка, так же как и последующее самоубийство, были запрограммированы Радищевым. В крепости на вопрос Шешковского о том, какие цели он преследовал, Радищев ответил, что «хотел прослыть острым писателем». Это сознательный перевод разговора на ложный путь. Издание книги не было чисто литературным поступком — оно представляло собой действие, политический акт, рассчитанный на народный отклик. Трагедия Радищева была не в том, что

его приговорили к смертной казни, а потом сослали в Сибирь, а в том, что ожидаемый им взрыв не произошел. Народ промолчал, слова остались неуслышанными. «Народ[350] наш книг не читает», — горько заметил Радищев позже.

Пробуждение народа мыслилось Радищеву как результат своего рода психологического шока: героическая гибель великодушного философа, сознательно идущего на смерть, потрясет народ и разбудит его политическое самосознание. Уже после сибирской ссылки Радищев нарисовал такую картину рождения революции в результате «слова мужа тверда»:

…Как то древле слово жизни

Во творении явилось,

Было слово се Камилла.

Мужи славны, украшенье

Вы отечества во Риме;

Вы, к нему любовью рдея,

Все на жертву приносили,

Самую забыв природу.[351]

Но таким воздействием обладает, как пишет Радищев, только «слово мужа тверда», то есть того, кто добровольно принимает смерть — не из эгоистических побуждений, а руководствуясь высокими гражданскими чувствами. Если же надежды вызвать свободолюбивый взрыв современников нет, то «пропагандистское» самоубийство может иметь другую цель — это обращение к истории и потомкам, к тем, кто воскресит память своих героических предшественников.

Героическое самоубийство сделалось предметом размышлений Радищева еще в начале его творческого пути. Готовность к смерти возвышает героя над тираном и переносит человека из обычной жизни в мир исторических деяний.

«Правила общежития относятся ко исполнению, обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи непротивны закону, если закон неполагает добродетели преткновений в ея шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известныя нам, многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях, противоречиями. И от того трудно становится, исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко оне находятся в совершенной противуположности.

Понеже добродетель, есть вершина деяний человеческих, то исполнение ея, ни чем недолженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданскаго и священнаго, столь святыя в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Недерзай николи нарушения ея прикрывати робостию благоразумия. Благоденствен без нее будеш во внешности, но блажен николи.

Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести, название честнаго человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в

тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Товарный Афинский Сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей, пред его добродетелию». И далее: «Блажени, непретерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте щастливы во плавании вашем. Се искренное мое желание. Естественный силы мои изтощав движением и жизнию, изнемогут и угаснут; оставлю вас на веки; но се мое вам завещание. Если ненавистное щастие, изтощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли неостанется, если доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения; тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри. — В наследие вам оставляю слово умирающаго Катона»[352].

«Героическое самоубийство» и его политические последствия были предметом многолетних размышлений Радищева, и в этом смысле его собственное самоубийство предстает в нетрадиционном свете. Пушкин, видимо (со слов Карамзина)[353], объяснил поступок Радищева испугом перед шутливой угрозой Завадовского. Эта версия, конечно, тенденциозна, так же как и процитированные Пушкиным слова Карамзина: «Честный человек не должен заслуживать казни» (XII, 30).

Мы сказали, что Радищев ожидал от издания «Путешествия из Петербурга в Москву» не литературных, а исторических последствий. Такие же представления он, вероятно, связывал и со своей гибелью. Можно высказать убедительные предположения, что даже самые, казалось бы, импульсивные действия Радищева имеют обдуманный характер и как бы второй раз разыгрывают поступки римских героев. Так, например, само самоубийство автора «Путешествия» выглядит как мгновенное, под влиянием аффекта, необдуманное действие. Радищев думал о самоубийстве долгие годы, но в момент действия все оказалось роковым образом неподготовленным. У него, видимо, не нашлось яда, и он выпил «крепкой водки», то есть смеси азотной и серной кислоты, которую его сын употреблял для чистки эполет. Страшные мучения заставили Радищева перерезать себе горло. Перед нами — все признаки аффекта, мгновенно принятого решения. Но посмотрим описание смерти Митридата в поэме Радищева «Песнь историческая». Строки эти писались почти непосредственно перед самоубийством[354].

Он мечем свою жизнь славну

Ненадежную исторгнул,

Не возмогши ее кончить

Жалом острым ада сильна…

Таким образом, историк, размышляющий над гибелью Радищева, наблюдает одно и то же событие как бы в двух пучках света: один высвечивает из темноты сурового римлянина и философа-рационалиста, строящего свою жизнь не под влиянием импульсов, а следуя нормам книжного героизма. Другой луч освещает нам страстного, экспансивного человека, силой разума подчиняющего свои душевные движения чуждым им требованиям теории.

Один из секретов личности и биографии Радищева состоит в том, что по темпераменту и характеру он был прямой противоположностью той личности, роль которой он сам себя заставлял разыгрывать всю сознательную жизнь. Приведем один пример.

Суд и ссылка застали Радищева вдовцом. Отправленный в далекую Сибирь (конечным местом ссылки был безлюдный Илимск в Восточной Сибири, но вначале Радищев еще мог

надеяться, что участь его будет несколько смягчена и ему позволят остановиться в каком-либо более людном месте Западной Сибири), он задержался по пути. Вскоре к нему прибыла Екатерина Александровна Рубановская — свояченица, младшая сестра его покойной жены. Екатерина Александровна была замечательная женщина. Как это случается с девушками, она была втайне влюблена в мужа своей сестры, но скрывала свои чувства. В страшную минуту ареста Радищева она проявила не только мужество и верность, но и ум и находчивость. Собрав все драгоценности дома, она отправилась через бушующую Неву на лодке (мосты не работали) в Петропавловскую крепость. Там она передала их палачу Шешковскому, который был не только «кнутобойца» (выражение Г. Потемкина), но и взяточник. Этим Радищев был избавлен от пыток. В дальнейшем она проявила силу характера, предварив подвиг декабристок. Радищев бросал открытый вызов предрассудкам. И правила православной церкви, и обычаи категорически препятствовали браку со столь близкой родственницей, но свободные нравы екатерининской эпохи, конечно, не осудили бы прилично скрытый адюльтер. Однако Радищев не пошел по этому пути. Как просветитель, поклонник разума и враг предрассудков, он вступил с ней в официальный брак[355].

Описанный эпизод можно было бы охарактеризовать так: разум и философия побеждают предрассудки и невежество. В таком виде сходные сюжеты неоднократно возникали в литературе эпохи Просвещения. Суровый к самоубийству Радищева, Карамзин в свое время в повести «Остров Борнгольм» прославил даже любовь брата и сестры, а церковные препятствия объявил предрассудками. Однако, рассматривая этот брак, мы видим перед собой не хладнокровного философа, осуществляющего своего рода социологический эксперимент, а страстного человека, совершающего поступки под влиянием мощного голоса эмоций, а потом post-factum объясняющего их по моделям философии.

Сухие, скорее напоминающие паспортные протоколы характеристики отца в мемуарах его сыновей рисуют в этом отношении достаточно яркие черты. Так, Николай Александрович заканчивает рассказ о жизни отца словами: «…честность и бескорыстие были отличительными его чертами. Обхождение его было просто и приятно, разговор занимателен, лицо красиво и выразительно, рост средний»[356]. Более красноречив портрет, нарисованный младшим сыном, Павлом: «Радищев умер 53 лет от роду. Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу (к этому месту в одном из вариантов текста следует добавление: „это был его единственный порок, если только это можно назвать пороком“. —

Ю. Л.). Он был нрава прямого и пылкого, умел сносить горести с стоической твердостью, чужд был лести, был в дружбе непоколебим, забывал скоро оскорбления, обхождение его было простое и приятное»[357].

К этому можно добавить, что он отлично владел шпагой, ездил верхом и был прекрасным танцором — черты, с трудом вписывающиеся в облик философа. Видный петербургский чиновник, он казался странным, поскольку, служа на таможне, не брал взяток. О нем рассказывали в Петербурге, что, получая из рук Екатерины орден, он не встал на колени, поскольку закон не требовал такого жеста. Для бытового наблюдателя «римлянин» в Петербурге казался чудаком.

Радищев стремился подчинить всю свою жизнь, и даже самую смерть, доктринам философов. Но не потому, что сам он по своей природе был философ-доктринер, а по прямо противоположным побуждениям. Он силой вдавливал себя в нормы «философской жизни» и одновременно силой воли и самовоспитания делал эту «философскую жизнь» образцом и программой жизни реальной.

А. В. Суворов

Во французских сатирических журналах и карикатурах революционной эпохи Суворова изображали в виде кровожадного чудовища, дикаря-людоеда. Правда, английские карикатуристы в то же самое время рисовали якобинцев, а затем и генералов революций в виде кровожадных чудовищ, пожирающих людское мясо. Таков уж был стиль эпохи: на одном полюсе должны были находиться античные герои или св. Георгий-победоносец (причем мечи и профили их были срисованы как бы с одного образца), на другом, — чудовища, пожирающие детей, и варвары-каннибалы. Европейское сознание, отразившееся в карикатурах, песнях и анекдотах, отводило место Суворову то в одном, то в другом лагере. Но никто и никогда не видел в нем заурядного генерала из тех, кто топтал тогда территорию Европы. Суворова проклинали или за него молились, о нем писали оды и поэмы или же злые сатиры, но никто от Невы до Гибралтара не говорил о нем равнодушно.

Отличительная черта Суворова — его способность производить на современников самые противоположные впечатления. Биографы пытались свести воедино противоположные оценки Суворова и как-то примирить их. А. Петрушевский — автор подробнейшей, до сих пор сохранившей ценность, хотя и написанной более ста лет назад биографии Суворова, склонен был в поведении фельдмаршала видеть лишь продуманную и строго рациональную деятельность расчетливого полководца. Петрушевский подчеркивал в Суворове высокие воинские качества и умение владеть душами солдат. Результатом, по мнению исследователя, стало то, что в солдатском сознании Суворов превратился в исполнителя Божественной воли: «Бог дал ему змеиную мудрость, ведал он „Божьи планиды“, умел разрушать и волшебство, козни дьявола и именем Божиим, крестом да молитвой»[358]. Однако исследователь не замечает, что сверхъестественные свойства не просто приписывались волевому полководцу солдатским суеверием, а возникали в результате деятельности самого Суворова. Из исследования Петрушевского видно, что солдаты приписывали своему полководцу не только благочестие, но и традиционные для народного сознания свойства колдуна: «Знал он все на свете, проницал замыслы врагов, чуял в безводных местах ключи»[359]. Итак, и в солдатских глазах Суворов выступал то в облике благочестивого воина, откладывавшего сражение до конца обедни, то колдуна, проницающего замыслы врага. Вряд ли такое поведение могло возникать как итог строго логических замыслов полководца. Противоречия оценок преследуют на каждом шагу тех, кто стремится понять Суворова. Но самое главное противоречие — в том, что хотя характер Суворова в глазах исследователя все время двоится по самым разным признакам, в результате возникает образ поразительного единства, характер, который нельзя спутать и которому нет подобного в истории.

Видимо, это и входило в «сверхзадачу» самого Суворова. Человек своей эпохи, эпохи героического индивидуализма, он не хотел быть никому подобным и не терпел подражающих ему. Как некогда Цезарь, он предпочитал быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Постоянная ориентация на античные образцы (любимым героем Суворова был Юлий Цезарь) вызывалась желанием не подражать, а преодолевать. Он советовал молодым военачальникам выбирать себе в качестве образца какого-нибудь античного героя. Но лишь затем, чтобы преодолеть и победить его. Это в чем-то напоминает позицию Ломоносова, завещавшего ученикам не подражать ему, а идти дальше.

Противоречивость поведения была для Суворова принципиальной. В столкновениях с противниками он использовал ее как тактический прием, лишая своих недругов ориентации. Они часто не могли понять, с кем имеют дело: с кукарекающим юродивым или с образованным философом, цитирующим по памяти отрывки из сочинений античных авторов и современных стратегов. Это был сознательный прием, но мы упростим ситуацию, если не заметим, что сознательное у Суворова зачастую менялось местами с бессознательным. Начиная играть, он заигрывался. В поведении его были детские черты, противоречиво сочетавшиеся с поведением и мыслями военного теоретика и философа. Между этими двумя

типами поведения современники усматривали противоречие, вызывавшее у них недоумение. Одни видели в этом только тактику поведения, например ловкий маневр, рассчитанный произвести впечатление на солдат. Другие — враги Суворова — говорили о варварстве, дикости или коварстве как о характере полководца. Психолог обнаружит здесь конфликт различных самоосознающих личностей. Но историк не может не заметить в этом случае двух противоположных и вместе с тем родственных культурных тенденций. Обе они сложно связаны с веком Просвещения. Первая тенденция обращена к «естественным» свойствам человека. Так, кажущееся ретроградным отрицательное отношение Суворова к госпиталям и медицине может вызвать осуждение, но нельзя не вспомнить звучащих той же «смелой нелепостью» высказываний на этот счет Ж. -Ж. Руссо и Льва Толстого. Кажущееся порой назойливым обращение к «естественности» и упорно надеваемая маска «простака» не могут не напомнить Руссо.

Суворов часто иронизировал над идеями Руссо, но, видимо, читал его произведения достаточно внимательно. Рассуждения Суворова о простоте и героизме римской жизни прямо перекликаются с соответствующими местами из Руссо. То же самое можно сказать и о суворовском противопоставлении римского героя и изнеженного франта: «Часто розовые каблуки преимуществовать будут над мозгом в голове, складная самохвальная басенка — над искусством, тонкая лесть — над простодушным журчаньем зрелого духа». Восклицание: «Отец один!» — вполне может быть воспринято как выражение глубокой религиозности, но когда в качестве примера доблести здесь же рядом берутся герои древнего Рима, оттенок века Просвещения становится очевидным: «Верь лутче тому консулу, который из-под сохи торопитца прежде времени достигнуть конца, чтоб бежать опять под соху»[360].

Примечательно противоречие: Суворов, критикуя, с одной стороны, религиозные взгляды Руссо[361], с другой — ищет идеал в образцах античной добродетели. Именно здесь он черпает принцип — «добродетель и геройство выше благородного происхождения». «Ныне самые порядочные — младшие офицеры не из „вольного дворянства“»[362] (в оригинале «Wolni — Dworianstva»). Далее Суворов предлагает «во время войны этот закон породы[363] позабыть». Затем следует презрительное: «Полковники „преторианцы“ плохи…», правда с ограничивающим замечанием: «выключая конную гвардию». «Преторианцы» «офицеров своих раздражают придворными манерами, изнеживают, к высшим втираются». «Они не спартанцы, а сибариты. Они презирать славу внушают»[364]. Суворов принимал проповедь «естественности» и героизма Руссо, но отвергал его деизм. Описанная картина будет не полна, если не учесть того, что стремление к «естественности» в своем крайнем выражении подводит Суворова иногда к поведению, ориентированному на традицию юродства[365]. Интересно в этом смысле свидетельство Е. Фукса, секретаря Суворова, сопровождавшего его во многих походах и игравшего при фельдмаршале своеобразную роль Эккермана. Воспоминания Фукса ценны даже тогда, когда достоверность тех или иных сообщений сомнительна: они схватывают общую атмосферу суворовского штаба[366]. «Странности, — писал Е. Фукс, — особенности или так называемые причуды делали Князя загадкою, которая не разрешена еще и поныне. Беспрестанно спрашивали и спрашивают меня: зачем наложил он на себя такую личину? И ответ мой был тот, какой и теперь: не знаю. Всегда поражало, изумляло меня, как человек, наедине умнейший, ученейший, лишь только за порог из своего кабинета, показывается шутом, проказником или, если смею сказать, каким-то прокаженным (полагаю, что Фукс оговорился, употребив „прокаженный“ вместо „юродивый“. —

Ю. Л.). Он играл с людьми комедию и на сцене резвился, а зрители рукоплескали. Однажды, вышед из терпения, отважился я спросить его, что все это значит? „Ничего — отвечал он, — это моя манера. Слышал ли ты о славном комике Карлене: он на Парижском театре играл арлекина, как будто рожден арлекином; а за кулисами и в частной жизни был пресериозный и строгих правил человек: ну, словом, Катон!“ — И чтобы пресечь разговор, приказал мне идти с поручениями…»[367] В словах Суворова, сказанных Фуксу, искренность переплетается с неизбежным при самоописаниях преувеличением логической мотивированности поведения.

Точно так же он, а вслед за ним и его единомышленники поступали, когда шаманско-колдовские его жесты объясняли только лишь стремлением произвести впечатление на солдат. Тот же Фукс писал: «Рассматривая причуды простолюдинов, которые князь себе присваивал, нельзя не согласиться, что он сие делал, чтобы, уподобляясь простым солдатам, выигрывать их любовь; в чем он и преуспевал. Как можно говорить, чтобы человек с его просвещением, образованностию, начитанностию, с необыкновенным его умом мог искренно требовать таких странностей, как, например, чтобы никто из солонки у него за столом не брал соли ножом, а Боже избави, если бы кто подвинул солонку к своему соседу или ему ее подал; каждый должен был себе отсыпать на скатерть соли, сколько ему угодно» [368]. Характерно, что эту верность русскому народному обычаю Суворов тут же объяснял примером из поведения Александра Македонского.

«Фольклорность» поведения Суворова подкреплялась тем, что в этих проявлениях он явно предпочитал жест слову. Ему, изумлявшему — в других ситуациях — своих собеседников красноречием, здесь явно начинало не хватать слов, и он переходил на глоссолалию, кукареканье, экстатическую жестикуляцию. Иногда Суворов разыгрывал целые сцены, сочетая обдуманно нелепые ситуации с импровизациями. Так, например, очень серьезно, а порой даже честолюбиво, относясь к орденам, которые становились для него символическим выражением его исторических заслуг, Суворов не скрывал презрения к «игрушечным» наградам, коими его осыпали итальянские государи и князья. Выпросив две медали для своего пьяницы-денщика Прошки, Суворов устроил подлинное шутовское действо. Надо иметь в виду, что вручение ордена в XVIII веке означало посвящение в рыцари. Поэтому ордена вручались только дворянам — рядовые награждались медалями. Мемуарист называет и врученные Прошке награды медалями, но на самом деле это были уникальные наградные знаки: принадлежа формально к медалям, они не имели основного признака медали — массовости и коллективности. Уникальные награды примыкали в этом смысле к орденам.

Таким образом, то, что было выдано Прошке, представляло собой, с точки зрения сардинского короля, почетный знак, с русской же — шутовской орден, напоминающий принадлежность святочного ритуала. В этом смысле уже само продумывание обряда награждения Прошки носило у Суворова заведомо шутовской характер; это было подчеркнуто тем, что в королевской грамоте награждаемый именовался «господином Прошкой».

Обряд был сочинен Суворовым, по-видимому, под влиянием соответствующих пародийных сцен из романа Сервантеса «Дон Кихот», где автор писал, что «в самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии (комического „посвящения в рыцари“. —

Ю. Л.) в любую минуту не лопнуть от смеха». Фукс вспоминает «о возложении двух медалей на камердинера Генералиссимуса, Прошку, который во всей армии известен был под сим именем. Наперед скажу также, что сей Прошка был человек невоздержный, ограниченного ума и дерзкий. Он отнимал иногда у него [Суворова] тарелку с кушаньем, грубил ему. Несмотря на то, Барин его, помня, что он как-то спас некогда жизнь его, снисходил к его невежеству и шутил над ним. Вдруг сей Прошка удостоивается получить от Сардинского Короля, Карла Эммануила, две медали, одну с изображением Государя Императора Павла Первого, а другую с изображением Короля и с надписью на Латинском языке:

за сбережение здоровья Суворова. <…> На пакете рескрипта, запечатанном большою Королевскою печатью, адрес следующий: „Господину Прошке, камердинеру Его Сиятельства Князя Суворова“. — Сей пакет внес Прошка своему Господину с воем и прослезил его также. Тотчас за мною посылка. Я являюсь. С восторгом кричит Граф: „Как! Его Сардинское Величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку! Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению двух медалей на грудь Прошки“. Я сел и написал: „Первый пункт: Прошке быть завтра в трезвом виде“. — „Что значит это, — сказал

Александр Васильевич, — я отроду не видывал его пьяным?“ — „Я не виноват, — отвечал я, — если я не видал его трезвым“. В одном пункте сказано между прочим, что, по возложении медалей, должен Прошка поцеловать руку своего барина, но Граф требовал настоятельно, чтобы он поцеловал руку Габета, уполномоченного Королем при Главной Квартире Суворова. На другой день церемониал совершился по пяти пунктам в точности, кроме первого, который исполнен с некоторыми ограничениями. Также в конце Габет никак не давал своей руки; Граф и Прошка за ним гонялись, и едва все трое не упали. Забыл я сказать, что Прошка в сей жаркий итальянский день был в бархатном кафтане, с большим привешанным кошельком, и уже не служил, а стоял в отдаленности от графского стула, неподвижно за столом, где пили какое-то Кипрское, прокисшее вино, за его здоровье. Нельзя не подивиться, как Граф при сем забавном случае сохранял пресерьезное торжественное лицо. Так мешал он дело с бездельем, и — это называл своею

рекреациею» [369].

Эпизод очень характерен. Задуманный как издевательское сатирическое зрелище, он перерос первоначальный замысел. Суворов «заигрывался»: зрелище фельдмаршала и пьяного Прошки, гоняющихся за сардинским дипломатом и вместе с ним чуть ли не падающих в свалке детской игры, конечно, выходило за пределы любого замысла. Обстановка игры, распространявшаяся вокруг Суворова, затягивала в себя и других. Таков, например, эпизод, рассказанный кн. Н. С. Голицыным в старости. В бытность пажем, он служил за столом на ужине Екатерины II в последний день поста, в сочельник. Приглашены были Потемкин и Суворов. Сидя за праздничным столом, Суворов демонстративно ни к чему не прикасался. «Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине. „Он у нас, Матушка-Государыня, великий постник, — отвечает за Суворова Потемкин, — ведь сегодня сочельник: он до звезды есть не будет“. Императрица, подозвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж уходит и чрез минуту возвращается с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую Императрица вручила Суворову, прибавя, что теперь уже он может разделить с нею трапезу. Этот паж был князь Александр Николаевич [Голицын]», то есть сам мемуарист[370]. В другой записи этих же воспоминаний указываются произнесенные при этом слова императрицы: «Ваша звезда взошла, фельдмаршал». Эпизод запечатлевает двойной розыгрыш: Суворов, который далеко не всегда был такой «строгий постник», демонстративно в присутствии Потемкина, известного ненавистью к любым запретам и безудержностью своих порывов, демонстрирует строгое соблюдение обрядов, а Екатерина II использует игру слов, чтобы выступить в амплуа милостивой государыни.

Но у Суворова есть и другое лицо — также отмеченное его внимательным секретарем: это мудрец, философ-стоик, ценитель не только Цезаря, но и Цицерона. Один из приемов, которыми Суворов любил изумлять собеседников, был резкий переход от одной роли к другой. Человек, только что увидевший шокирующие шутовские поступки, вдруг оказывался лицом к лицу с эрудитом и красноречивым философом. Косноязычие и глоссолалия исчезали и заменялись речью римского оратора или философскими рассуждениями на немецком, французском, английском и итальянском языках. Так, англичанин лорд Клинстон пересказывал Фуксу, не понимавшему по-английски, содержание своего разговора с Суворовым: «Сей час выхожу я из ученейшей Военной Академии, где были рассуждения о Военном Искусстве, о Аннибале, Цезаре, замечания на ошибки Тюреня, принца Евгения, о нашем Мальборуке, о штыке, и пр. и пр. — Вы верно хотите знать, где эта Академия, и кто Профессоры? угадайте!., я обедал у Суворова: не помню, ел ли что, но помню с восторгом каждое его слово. Это наш Гарик, но на театре великих происшествий; это тактический Рембрант: как тот в живописи, так сей на войне — волшебники!»[371] Подобных свидетельств современников можно было бы привести много.

Смена масок составляла одну из особенностей поведения Суворова. Если иностранного дипломата или образованного путешественника он поражал мудростью или шутовством (какая роль будет избрана в каждом данном случае — предсказать было невозможно), то

перед другими наблюдателями он выступал то ревнителем благочестия (как в примере с Потемкиным), то колдуном. Известно, что Суворов не терпел зеркал, и если останавливался на ночевку в комнатах с зеркалами, то немедленно требовал, чтобы их сняли или завесили. Колдун в зеркале не отражается, и поэтому зеркало в комнате — средство обнаружения колдуна. Суворов, конечно, в зеркалах отражался. Но в его тактику входила слава человека, не отражающегося в зеркалах. Это имело и практическое значение: ореол колдовства укреплял веру солдат в своего полководца; но это была и игра, завлекавшая самого Суворова. Возможно, что одним из образцов здесь было поведение Цезаря, умело использующего суеверия своих противников-варваров. Но Цезарь хитрил как политик, а Суворов заигрывался как ребенок или артист. Не случайно имена величайших артистов эпохи столь часто приходят на память его современникам, описывавшим характер полководца.

Яркий пример способности Суворова погружаться в самые различные миры — пользование его разными стилями для описания одного и того же события. Разнообразие стилей здесь — лишь отражение богатства фантазии; Суворов меняет свою личность и одновременно меняет образ окружающего ее мира. Примером этого могут быть два созданные им описания перехода через Альпы. Одно обращено к Ростопчину, другое — к Павлу I. Оба описания ярко отражают личность Суворова, но одновременно ориентированы и на личности его адресатов. При этом он, вероятно, допускал, что Ростопчин, в эту пору — приближенный Павла, покажет адресованное ему письмо императору. Таким образом, каждый из адресатов получит обе версии. Это превращает проблему стиля в нечто, имеющее самостоятельную ценность.

«По переходе Российских войск чрез Альпийские горы, Суворов писал к графу Феодору Васильевичу Ростопчину следующее: „Пришел в Биллинцоп… Нет лошаков, нет лошадей; а есть Тугут и горы и пропасти… Но я не живописец. Пошел и пришел… Видели и французов; но всех пустили… холодным ружьем… По колена в снегу… Массена проворен, не успел… Каменской молодой молод, но стар больше, чем Г-н Майор… А под Цирихом дурно и Лафатера ранили… цесарцы под Мангеймом; Тугут везде, Гоц нигде… Геройство побеждает храбрость; терпение — скорость, разсудок — ум, труд — лень, история — газеты… Готов носить Марию Терезию. У меня и так на плечах много сидит… Караул!. Я Руской, вы Руские!“» [372]

В письме Ростопчину Суворов имитирует неправильности своей устной глоссолалический речи. Письмо как бы перенесено в жест, и для понимания его следует не только прокомментировать все содержащиеся в нем намеки, но и представить себе жесты, топанье ногами и телодвижения, которые связаны были у Суворова с говорением такого типа. Здесь письменный текст имитирует устный.

В донесении государю перед нами не только образцовый письменный текст, но и художественное произведение. В стиль военного рапорта Суворов вводит патетику прозы Оссиана, пред романтические пейзажи, эмоциональное напряжение, резко противоречащее с обычной стилистикой репортажа.

«Победоносное воинство Вашего Императорского Величества, прославившееся храбростию и мужеством на суше и морях, ознаменовывает теперь беспримерную неутомимость и неустрашимость и на новой войне, на громадах неприступных гор. Выступив из пределов Италии, к общему сожалению всех тамошних жителей, где сие воинство оставило по себе славу избавителей, переходило оно чрез цепи страшных гор. На каждом шаге в сем царстве ужаса зияющия пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти; дремучия мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, лиющиеся дожди и густый туман облаков при шумных водопадах, с каменьями с вершин низвергающимися, увеличивали сей трепет. Там является зрению нашему гора Сент-Готард, сей величающийся колосс гор, ниже хребтов котораго громоносныя тучи и облака плавают, — и другая уподобляющаяся ей, Фогельсберг. Все опасности, все трудности преодолеваются; и при таковой борьбе со всеми стихиями неприятель, гнездившийся в ущелинах и неприступных выгоднейших

местоположениях, не может противостоять храбрости войска, являющагося неожидаемо на сем новом театре. Он всюду прогнан. Войска Вашего Императорскаго Величества проходят темную горную пещеру Унзернлох, занимают мост, удивительною игрою природы из двух гор сооруженный и проименованный

Чертовым [373]. Оной разрушен неприятелем; но сие не остановляет победителей. Доски связываются шарфами офицеров. По сим доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду. Напоследок надлежало восходить на снежную гору Винтерберг, скалистую крутизною все прочия превышающую. Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься противу и посреди водопада, низвер-гающагося с ревом и изрыгающаго с яростию страшные камни и снежныя земляныя глыбы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стремлением летели в преисподния пучины, где многие убивалися, а многие спасалися. Всякое изражение недостаточно к изображению сей картины природы во всем ея ужасе! Единое воспоминание преисполняет душу трепетом и теплым благодарственным молением ко Всевышнему, Его же невидимая всесильная десница видимо сохранила воинство Вашего Императорского Величества, подвизавшееся за святую Его Веру»[374].

Характер Суворова можно было бы определить как единство в многоголосии. Выразительную картину этой сложной структуры личности мы видим в зеркале его семейных отношений. Суворов от рождения был слаб здоровьем, невысок и тщедушен. Возможно, не без влияния биографии Цезаря он долгие годы приучал и свое тело, и свой характер к перенесению тягот воинской жизни. В дальнейшем он никогда не носил теплой одежды и любые морозы переносил в мундире. А когда Екатерина подарила ему роскошную шубу, он возил ее с собой в карете, но никогда не надевал. В этом было, конечно, противостояние манере Потемкина, переносившего на театр военных действий все капризы роскоши, но здесь скрывался и более глубокий смысл — ориентация на строгое поведение римского воина, презиравшего роскошь. «Римское поведение» означало для Суворова сознательное и непрерывное преодоление самого себя, воспитание не только силы, но и воли.

То, что все действия Суворова подразумевали не стихийное следование темпераменту и характеру, а постоянное их преодоление, доказывается разительным противоречием между неколебимой решительностью Суворова-полководца и прямо противоположными его свойствами в личной жизни. Здесь прежде всего бросается в глаза инфантильность: Суворов любил игры, но не «мужественную» карточную игру, которую он презирал (упоение опасностью он удовлетворял на поле боя), а жмурки, горелки и пятнашки, качание на качелях и всяческие проказы и шалости. Например, уже всемирно известным полководцем, после перехода через Альпы, на балах в его честь в Праге, Суворов участвовал в танцах вместе с молодыми офицерами и дамами, но при этом постоянно нарочно сбивал направление движения пар, так что все сталкивались и валились кучами. Однако нигде его инфантильность не проявлялась с такой силой, как в отношениях с женщинами. Здесь он был робок.

Женился Суворов, по правдоподобному предположению его биографа А. Петрушевского, по распоряжению отца, и то уже достигнув сорока пяти лет, на девице Варваре Ивановне Прозоровской, красивой, высокой и властной девушке не старше двадцати пяти лет (точный год рождения ее неизвестен). Невеста, видимо, была выбрана отцом Суворова и по характеру оказалась крайне неприспособленной для подобного брака: любила столицу, балы и, как все Прозоровские, не отличалась бескорыстием. В дальнейшем, когда семейная жизнь Суворовых разрушилась и превратилась в длинную цепь конфликтов, Варвара Ивановна проявила большую ловкость: воспользовавшись разногласиями между Суворовым и Павлом I, она добилась личной поддержки императора, распорядившегося в специальной резолюции удовлетворить все ее денежные претензии к мужу. Не следует торопиться с запоздавшими более чем на двести лет осуждениями жены Суворова: она принадлежала к тому типу властных и инициативных дворянских женщин, которые, освободившись из «неволи теремов»

(Пушкин), предоставляли своим мужьям командовать при штурме крепости или в морском сражении, но в домашнем быту вели себя, как мать Татьяны, которая:

…езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по суботам,

Служанок била осердясь —

Всё это мужа не спросясь.

(2, XXXII)

Чтобы объективно оценить такие характеры, надо помнить, что из таких семей выходили не только своевольные помещицы типа матери И. С. Тургенева, но и не менее непокорные декабристки, чью волю поехать за мужьями на каторгу не могли сломить ни воля императора, ни родительский авторитет.

В борьбе с женой Суворов проявлял совершенно, казалось бы, не свойственную ему нерешительность и неумение пользоваться адекватным оружием. Напору и искусству интриг он попытался противопоставить рассчитанное на психологический эффект действо, соединяющее театральность и искреннее церковное благочестие. Им была продумана и организована своеобразная церемония церковного примирения. Под Астраханью, где в то время находились супруги, в одном из сел, была выбрана бедная деревенская церковь. Суворов «явился в церковь» «одетый в простой солдатский мундир; жена его в самом простом платье; находилось тут и несколько близких им людей. В церкви произошло нечто вроде публичного покаяния; муж и жена обливались слезами, священник прочитал им разрешающую молитву и вслед за тем отслужил литургию, в время которой покаявшиеся причастились Св. Тайн»[375]. Этот сложный ритуал имел глубокий смысл. Бедная и, что еще важнее, простонародная одежда (Суворов с умыслом оделся

простым солдатом) должна была символизировать отказ супругов от тщеславия и суетности и обратить их к высшим духовным ценностям. На Варвару Ивановну этот симбиоз церкви и театра не произвел, однако, должного впечатления: ей нужны были не символы, а вполне реальные материальные ценности.

Еще более наглядно сложность семейных переживаний Суворова проявилась в его отношении к дочери Наташе[376]. Она была еще ребенком, когда Суворов начал ревниво высматривать в ней черты своего характера. Он писал одному из своих корреспондентов, что малолетняя дочь его закаляет себя: бегает поздней осенью босиком по замерзающей грязи. Однако особенно ярко отношение Суворова к дочери выразилось в письмах к ней: изображая сражения с турками, в которых он принимал участие, Суворов переводит события на язык детских сказочных игр, но при этом, как часто бывало, увлекается и заигрывается сам.

При разрыве с женой Суворов оставил девочку у себя, а затем отдал ее в Смольный институт. Разлука сделалась причиной появления целого ряда писем к Наташе. И если Суворов определял свою «Науку побеждать» как разговор с солдатами на их языке, то в переписке с дочерью он стремился перейти на детский язык. Это придает письмам двойной интерес: с одной стороны, они демонстрируют, каким рисуется Суворову детский мир, с

другой — показывают, как легко он перевоплощается в ребенка — уже не «притворяется», а превращается в него. В письмах к «суворочке» (как полководец называл свою дочку) он сознательно ищет формы перехода на ее язык, и это получает, особенно в начале переписки, характер искусственности. К подлинному детскому языку Суворов приближается, когда от подражания переходит к возбужденной глоссолалической речи; иными словами, он парадоксально удаляется от детского языка именно тогда, когда его имитирует. Так, в письме от 27 июля 1789 года, сообщая о сражении с турками, он описывает все события в переводе на детский, по его представлениям, язык, то есть на язык игры: «На другой день мы были в R?fectoire[377] с турками. Ай да ох! Как же мы потчевались! Играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями в твою голову величины; у нас были такие длинные булавки, да ножницы кривые и прямые: рука не попадайся: тотчас отрежут, хоть голову»[378]. Как правило, Суворов не заботится о создании целостной метафорической картины. Используя старые фольклорные образы (сравним, например, описание битвы как пира или игры в «Слове о полку Игореве»)[379], он переносит повествование в образную систему пиров или игр: «После того уж я ни разу не танцевал», но тут же: «Прыгаем на коньках» (это в августе, на Черноморском побережье!). Описания типа: «Играем такими большими кеглями железными, насилу подымешь, да свинцовым горохом» поддаются элементарной дешифровке; по функции эти метафоры — сравнения, а не загадки, но иногда структура образа усложняется, и читатель не может уже логически отделить серьезное содержание и игровое выражение. Когда Суворов пишет: «У нас сей ночи был большой гром, и случаются малые землетрясения», а после этого сообщает, что заболел, простудившись: «Ох, какая ж у меня была горячка: так без памяти и упаду на траву…»[380] — то игра между первичными и метафорическими смыслами приобретает более сложный характер. Рассмотрим с этой точки зрения письмо к дочери от 20 декабря 1787 года из Кинбурна. Первая половина письма представляет явную имитацию детской речи; но образы из детского мира и широкое использование уменьшительных и ласкательных суффиксов не могут скрыть однозначного смысла описываемого: «У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы, а как вправду потанцовали, то я с балету вышел — в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили: насилу часов чрез восемь отпустили с театру в камеру». Заметим, что метафоры такого рода характерны не только для фольклора, но и для табулирования в солдатской речи определенной боевой лексики (сравним, например, такой же прием в военных письмах Петра I).

Однако во второй половине того же письма метафора приобретает значительно более сложный характер. Письмо писано из Кинбурна, и остается неясным: представляет ли вторая часть воспоминание о реальной поездке в более безопасное место на лимане или является результатом поэтического воображения, создающего контрастную первой части письма идиллическую картину природы: «Везде поют лебеди, утки, кулики; по полям жаворонки (в декабре? —

Ю. Л.), синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры: пропасть! Прости, мой друг Наташа; я чаю, ты знаешь, что мне моя матушка Государыня пожаловала Андреевскую ленту „За веру и верность“»[381]. В приведенной цитате стиль резко ломается. Первая картина — утопия природы в мире зла — напоминает то место из «Жития» протопопа Аввакума, где измученный гонениями Аввакум с семьей по пути из Даурии вновь в Москву попадает, занесенный бурей, в мир земного, природного «рая»: «…насилу место обрели от волн. Около ево, горы высокие, утесы каменные и зело высоки, — дватцеть тысящ верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки… Лук на них ростет и чеснок, — больши романовскаго луковицы, и слаток зело. Там же ростут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красныя и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерледи и омули, и сиги, и прочих родов много. <…> А все то у Христа тово света наделано для человеков»[382]. Однако окончание суворовской идиллии резко ломает весь ее стиль и всю иерархию ценностей письма. Для Суворова Андреевский орден и идиллия природы уживаются в едином ряду. Но

и здесь картина не столь проста: орден для Суворова не то же, что предел мечтаний гоголевского чиновника — «Владимир 3-ей степени». У Гоголя орден — знак пустоты, выражение, не имеющее содержания. Для Суворова это внешнее выражение внутреннего достоинства. Знак связан с обозначаемым как кожа и тело. Это — момент непрочного равновесия между достоинством и его знаком. Уже в Александровскую эпоху, когда мундиры и ордена еще сохранят свою гипнотическую прелесть[383] (Чацкий признается, что лишь недавно к ним «от нежности отрекся»), хорошим тоном считается уже демонстрировать к ним хотя бы показное презрение. Не только Карамзин смущенно улыбается, когда юноша Пушкин застает его отправляющимся на придворный прием, при мундире, но и такие карьеристы, как Алексей Орлов или М. Воронцов, в дружеском кругу находят должным иронизировать над орденами.

Письма к дочери — это письма к ребенку, и именно соприкосновение с инфантильным миром и миром женским составляло для Суворова значительную часть прелести общения. Этот мир привлекал, так как был одновременно и чужим и своим. К сыну Суворов был более холоден, но еще характернее то, насколько он отчуждался от «суворочки» по мере ее взросления. Когда «суворочка» достигла возраста невесты, Суворов долгое время проявлял нескрываемую враждебность к ее возможным женихам. Летом 1793 года он написал Д. Хвостову сумбурное письмо, пронизанное глубоким волнением: «Младенчество флота опрокинуло крепости, детство Наташи — ее кораблекрушение»[384]. Перспективы замужества Наташи, сплетаясь со служебными неприятностями Суворова, вызвали запись в письме к гр. Хвостову от апреля того же года: «Недолго мне жить. О, Боже! Жених Н[аташе]. На что ж свет коптить»[385]. Замужество дочери (мужем ее стал Зубов — родственник фаворита Екатерины II) развело их окончательно. Письма Суворова делались все более краткими. Так, например, в письме из Киева от 20 марта 1796 года значилось всего два слова: «Великая грязь». Подчеркивая чуждость миров своего и зубовского, в одном из писем он иронически замечал, что по вопросам приличий Наташа может осведомляться у Зубовых. Но еще более показательно не это ироническое замечание, а другой документ. В 1792 году Суворов на отдельном листе записывал горькие слова о своем одиночестве и непризнанности. Он отмечал с гордостью: «Без денег, без мызы и саду…», «без друзей и без гласа — никому [мне] не равен. <…> Без имения я получил себе имя. Судите — никому не равен». И вдруг, без всякой связи, как бы задумавшись, внизу Суворов приписал: «Я забываю Наташу…»[386] Из души уходило детство. Суворов последних месяцев сменил веселую игру в инфантильность на трагическое одиночество.

По тому же типу игры строились и отношения Суворова с солдатами. Эта сторона деятельности фельдмаршала освещена особенно подробно и не требует больших дополнений. Но для того чтобы проникнуть в культурно-психологическую сторону вопроса, полезно на минуту отвернуться от документов и посмотреть, как преломилась личность Суворова в сознании Льва Толстого. В «Войне и мире» Толстого привлекает внимание персонаж, в котором писатель создал образ, соединяющий черты офицера и начальника с народностью и как бы отцовским отношением к солдатам. Это — капитан Тушин. Тушин не похож на «героя фрунта»: он слаб, маленького роста; в первоначальной редакции Толстой даже подчеркнул эти «неармейские» его черты. Выстрелы пушек заставляют «каждый раз вздрагивать его слабые нервы». Он «ковылял от одного орудия к другому», батарейцы «на две головы выше своего офицера и вдвое шире его»[387]. Эти резкие черты слабости потом были смягчены, но самый образ народной непоказной храбрости, очищенной от фрунта, остался. Толстой особенно подчеркнул элемент игры в поведении своего героя и соединение героизма с детством. «Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще

трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал

винты.

В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. <…> у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад. <…>

„Ну-ка, наша Матвевна“, — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был

дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

„Ишь задышала опять, задышала“, — говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра»[388].

Герой Толстого, конечно, не портрет Суворова. Толстой сделал нечто большее. Он как бы подверг реальное историческое лицо художественному изучению и извлек из него то, что в образе Суворова, по мнению Толстого, связано было с народностью. Показательно, что Толстой ввел своего героя в обстановку заграничных походов, а не Отечественной войны 1812 года. Суворов был человеком другой эпохи; для Отечественной войны Толстому нужен был Кутузов. Характерно, что те настроения, которые Толстой дает своим героям на Бородинском поле, в образе Тушина отсутствуют.

Суворов был человеком XVIII века и включал в себя противоречия своей эпохи.

Одним из этих противоречий было сочетание искреннего православия, не задетого деизмом, и столь же искреннего культа античного героизма, доблести героев Древнего Рима и Греции. Сочинения Саллюстия, Тацита, Плутарха и других авторов этого круга Суворов читал постоянно и любил цитировать на память. Более того, он находил в них образцы для подражания и в его стиле разговорность и фольклорность смешивались с латинообразным синтаксисом и «греческой помпой» (выражение Белинского). Вместе с тем понятие патриотизма для Суворова противостояло идее внутренних гражданских конфликтов. Это было чувство объединяющее, а не разъединяющее. Суворов мог раздражаться на Потемкина и даже Екатерину, открыто фрондировать перед Павлом, но никогда не переходил через черту, за которой начиналось отрицание системы. По воспоминаниям Фукса, он сказал однажды: «Если бы Силла (Сулла. —

Ю. Л.) и Марий встретились нечаянно на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы; Патриций обнял бы Плебеянина, и Рим не увидел бы кровавой реки»[389]. Здесь за Алеутскими островами легко просвечивалась Россия. В ней Суворов и хотел бы увидеть примирение «Патриция» и «Плебеянина». Это, несмотря на глубочайшее

разочарование Суворова в Павле, не дало ему возможности примкнуть к назревавшему в конце 90-х годов военному заговору, куда его приглашал, согласно относительно недавно обнаруженным данным, М. В. Каховский. Суворов заткнул ему рот рукой со словами: «Молчи, молчи, кровь граждан». (Характерно это совершенно «римское» выражение «граждане» — слово, которое Павел ненавидел и требовал заменять словом «мещанин».) Каховский после того, как заговор стал известен императору, был 13 февраля 1800 года неожиданно отставлен и скоропостижно умер при неясных обстоятельствах[390]. Видимо, с этим же связана и неожиданная опала, которой подвергся возвращающийся из Итальянского похода победоносный фельдмаршал: торжественный прием был отменен и Суворов одиноко скончался в доме своего родственника графа Хвостова.

Краткий последний период жизни Суворова был связан с глубокими трагическими размышлениями. Он отрицательно отнесся, что было совершенно естественно, к Французской революции и долго не оставлял планов похода из Италии во Францию. Но это не означает еще, что его политические симпатии последних лет для нас полностью ясны. История втягивала Суворова в новую войну — войну, в которой политические вопросы становились в один ряд со стратегическими. Турецкие войны не требовали от стратега политических размышлений, но уже в Италии события приобрели новый характер. По данным близких к Суворову людей можно свидетельствовать, что изгнание французов из Италии сначала возбуждало у него мысли об объединении Италии под эгидой Австрии и России. Эта мысль напоминала политические мечты Данте. Однако события показали невозможность союза с Австрией, а политический эгоизм последней, кровавая резня, учиненная монархистами в Неаполе, способствовали не только военному, но и политическому разочарованию в целях Итальянского похода.

Даже после отступления через Альпы и все более усложняющихся отношений с Австрией Суворов не оставлял планов похода и во Францию. Тем более знаменательно, что, планируя вторжение через границу с Швейцарией, он специально оговаривал, чтобы в действии не участвовали эмигранты-роялисты, потому что они зальют всю Францию кровью. Суворову приходилось втягиваться в политические вопросы, а это трагически противоречило фундаменту, на котором строился его патриотизм. Е. Фукс зафиксировал один крайне интересный эпизод. В Праге, где армия отдыхала после Швейцарского похода, Фукс застал главнокомандующего за оживленной беседой, которая продлилась более часа и заставила Суворова отложить все срочные дела. Это был разговор с простого вида стариком. Собеседник Суворова оказался одним из богемских братьев[391], потомков гуситов. Разговор касался Яна Гуса и Констанцского Собора (Суворов называл Констанц по-чешски — Костниц), а когда собеседник удалился, Суворов заговорил о своеобразии грядущих войн. Турецкие походы не были, по его мнению, борьбой верований: религиозных или политических. Суворов сказал: «В Турции, в праздном моем уединении, заставлял я толковать себе Алькоран и увидел, что Магомет пекся не о царствии небесном, а о земном». Грядущие войны, приближение которых Суворов предчувствовал, будут войнами убеждений: «Нам предоставлено увидеть новый, также ужасный, феномен: политический фанатизм!!!» Далее Суворов выразил уверенность, что надвигающаяся военная буря захватит Европу, а не Россию. Он специально заставил записывающего его речи Фукса прибавить, что речь идет о чужбине, а Россию ожидает тишина, и связал с этим отзыв армии на родину. Но тут же мемуарист зафиксировал странные слова, поразительно напоминающие мысли Радищева и совершенно неожиданные в устах Суворова: «Спокойствие — удушье. Так тишина на море бывает предвестницею бурного урагана. Так, тлеющий под пеплом угль угрожает сокрушить все пламенем» — и прибавил: «Запиши последнее для графа Федора Васильевича Ростопчина»[392] — то есть для передачи Павлу.

Суворов до конца остался человеком, для которого идея изменения политического порядка была несовместима с чувством патриотизма. Даже устранение Павла ценою «крови граждан» противоречило самым коренным его убеждениям. И тем не менее павловское царствование

не прошло для него даром. Это был крутой поворот, который противоречил основной идее XVIII века — достоинству человека как высшей ценности. Павел понял связь этой идеи с «веком философов» и Французской революцией. Его слова о том, что «в России велик только тот, с кем говорит император, и только до тех пор, пока он с ним говорит», не были прихотью деспота, а в лапидарной форме выражали полное отрицание «века философов». Павел был последователен. Суворов оставался человеком екатерининской эпохи и, сам того не замечая, был глубоко захвачен идеей уважения в себе человека. В январе 1797 года, в письме к гр. Хвостову, Суворов писал: «Я Генерал Генералов» — «Я не пожалован при пароле». Но у гневной записки — характерный конец: «Я, Боже избавь, никогда против отечества»[393]. И все же Суворов не сдержал гневного взрыва — выражения чувства собственного достоинства. 11 января 1797 года он подал Павлу прошение об отставке, ссылаясь на «многие раны и увечья», а на другой день написал второе письмо. Адресовано оно было все тому же Хвостову, но в действительности адресовалось Павлу. В 1820-е годы Пушкин написал «Воображаемый разговор с Александром I». Шутя он доверял бумаге то, что хотел бы сказать Александру. Это была ироническая игра с весьма серьезным смыслом. Суворов не шутил — он писал то письмо, которое надо было бы отправить императору, но которое послать было невозможно. Как это часто в переписке с Хвостовым, последний был тем нулем, на месте которого можно было вообразить любого адресата, вплоть до самого себя [394]. Суворов пишет: «В начале Ваши розы крыли России терны: Ваши лавровые листы открывают трухлый корень, древо валится. Иначе, веря Вам, как мудрому, я бы, под отрывом моей головы, возможен бы был Великому Государю иногда дать противостояние прусского или иного чужестранного с россиянином даже топографиею». И в конце письма, уже после подписи, прибавил: «Всемогущий Боже, даруй, чтоб зло для России не открылось прежде 100 лет, но и тогда основание к сему будет вредно»[395].

Суворов и Радищев — люди, принадлежавшие как бы к двум полюсам своей эпохи. Говоря это, мы имеем в виду не только различие во взглядах и общественной позиции — речь идет о противостоянии всего человеческого облика: быта, культуры, духовных ценностей. И все же они принадлежат одному веку — веку, который кончился вместе с ними. Между войнами Суворова и войной 1812 года лежит глубокая грань, подобная же грань отличает Радищева от декабристов.

Смерть застигла Суворова на историческом переломе. Павел ненадолго пережил опального фельдмаршала. Есть биографическая легенда. Одна версия ее восходит к Фуксу и повествует: «В тот день, когда в городе Нейтитчене завещал мне князь у гробницы Лаудона сделать на своей надпись: „Здесь лежит Суворов“, беседовал он много о смерти о эпитафиях; также, что он желал положить кости свои в отечестве»[396]. Есть и другой вариант этой истории: согласно устной традиции, Державин посетил умирающего опального Суворова и на вопрос, что тот напишет на гробе полководца, якобы ответил, что многих слов не нужно, достаточно: «Здесь лежит Суворов». Суворов, согласно этой версии, отвечал: «Помилуй Бог, как хорошо!»

Как бы то ни было, но в обоих случаях зафиксирована воля самого Суворова. В ней прозвучал голос человека второй половины XVIII века — ставившего превыше всего не чины, не ордена, а свою неповторимую личность.

Павел принял меры к тому, чтобы изгнать из армии «дух Суворова». Военные части не сопровождали гроб фельдмаршала — император погнал их на парад. Но это только увеличило авторитет скончавшегося полководца. Державин посвятил смерти Суворова два стихотворения: «Снигирь» — предназначавшееся для печати — и, оставшееся в рукописях, «Восторжествовал — и усмехнулся…». «Снигирь» — стихотворение, которое неожиданностью своего поэтического языка должно было подчеркнуть основную мысль: неожиданность, нестабильность, непредсказуемость личности Суворова. Демонстративен отказ от оды или торжественного панегирика покойному. В стихотворении выделено противоречие между величием и обыденным, но острота именно в том, что обыденное и

оказывается подлинно величественным:

Кто перед ратью будет, пылая,

Ездить на кляче, есть сухари;

В стуже и в зное меч закаляя

Спать на соломе, бдеть до зари.

Особенно горько звучал стих: «скиптры давая, зваться рабом». Однако более прямо свои чувства по этому поводу Державин выразил в незаконченном и в не предназначавшемся для печати, менее художественно значимом, чем гениальный «Снигирь», но и более прямо выражающем мысль поэта стихотворении «Восторжествовал — и усмехнулся…»:

Восторжествовал — и усмехнулся

Внутри души своей тиран,

Что гром его не промахнулся,

Что им удар последний дан

Непобедимому герою,

Который в тысящи боях

Боролся твердой с ним душою

И презирал угрозы страх.

Державин воспринял происшедшее сквозь призму идей XVIII века: как столкновение героя и деспота. Так же истолковал двумя годами позже поэт И. П. Пнин гибель Радищева.

Оба эти события завершили эпоху «людей XVIII века».

Две женщины

Д. Фонвизин включил в рукописный журнал «Друг честных людей, или Стародум» (не опубликованный при его жизни)[397] вызвавший восторг Пушкина «Разговор у княгини Халдиной». В нем Пушкин увидал не столько сатиру, сколько правдивое бытоописание — живую картину нравов XVIII века.

«Статья сия замечательна не только как литературная редкость, но и как любопытное изображение нравов и мнений, господствовавших у нас лет сорок тому назад. Княгиня Халдина говорит Сорванцову „ты“, он ей также. Она бранит служанку, зачем не пустила она гостя в уборную[398]. „Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?“ — „Да

ведь стыдно, B<аше> C<иятельство>“, — отвечает служанка. — „Глупа, радость“, — возражает княгиня». «Все это, вероятно, было списано с натуры», — замечает Пушкин (XI, 96).

Отрывок Фонвизина — действительно яркая картина нравов «модного общества модного века». И княгиня Халдина, и Сорванцов — люди одного круга. Контраст им представляет Здравомысл, но образ резонера лишил Фонвизина возможности создать объемное противопоставление, и поэтому, хотя нарисованная Фонвизиным картина, как отмечал Пушкин, обладает документальной точностью, нам выгоднее, в данном случае, опереться на подлинные документы.

Как часто случается, талант писателя сыграл здесь двоякую роль. Фонвизин выпукло обрисовал характеры людей, воплощающих одну — «модную» — сторону жизни общества. Но история постоянно создает мифы о себе самой, и ярко запечатленная черта эпохи становится для потомства образом этой эпохи в целом. Когда век Просвещения сменился романтизмом, дети создали сатирический миф об отцах:

Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной…

Но эта важная забава

Достойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян:

Ловласов обветшала слава

Со славой красных каблуков

И величавых париков.

(4, VII)

Романтический миф и перо сатириков создали одностороннюю картину эпохи — богатой, сложной и противоречивой. Даже щеголь XVIII века часто не напоминал той карикатуры, которая прочно вошла в наше сознание. Образ «русского скитальца», волновавший Ф. Достоевского, также зародился в XVIII веке. Его, как чувствительный сейсмограф, отметил Н. Карамзин.

Но тем более насущна необходимость высветить ту культурную традицию, которая не была связана с изгибами моды, а отражала гораздо более глубинные процессы зарождения характера. Характер, который мы называем «человеком XVIII века», сформировался тогда, когда век сделался предметом размышления, начал искать свой собственный образ в зеркалах эпохи. Не случайно литература этого периода, как отмечал еще В. Белинский в своих последних статьях, началась с А. Кантемира — с сатиры. То, что русская литература XVIII века началась с сатиры, обычно завершающей литературный этап, было результатом не старческой мудрости, а юношеского нетерпения, оборотной стороной того порыва к идеалу, который позже был заявлен в стихах Ломоносова. В реальной жизни, в человеческом быту этот порыв с наибольшей силой отразился в женских характерах.

Из достаточно обширного круга источников мы выберем два, воссоздающие трагедию князя

Ивана Алексеевича Долгорукого и княгини Натальи Борисовны Долгорукой (урожденной Шереметевой), с одной стороны, и жизнь Александра Матвеевича Карамышева и его жены Анны Евдокимовны — с другой. Такая «вилка» (пользуясь артиллерийской терминологией) позволит, во-первых, охватить хронологический период между 30-ми и 70–80-ми годами XVIII века и, во-вторых, осветить семейный быт от его социальных верхов до рядовой дворянской массы. В первом эпизоде мы будем сталкиваться с потомками старинных боярских родов, презрительно глядящих на нововыдвинувшихся «птенцов гнезда Петров» и курляндскую знать эпохи Анны Иоанновны, в другом окажемся погруженными в семейную драму дворянина-ученого, унаследовавшего от родителей «13 мужеска пола душ в Челябинском уезде, Екатеринбургской области, да в Тобольском уезде 6 душ»[399]. Пересечение этих столь различных и столь сходных трагедий высветит нам объемные черты эпохи.

Погружаясь в трагедию княгини Натальи Борисовны Долгорукой, невозможно удержаться от чувства восхищения, слитого с болью. В конфликте, который мы будем рассматривать, доминирующую роль играют женская судьба и женский характер. Этот характер и эта судьба обладают такой красотой, которая невольно подталкивает историка на опасный путь увлекательных метафор и слишком эффектных обобщений. Знаменательная деталь: жизнь Натальи Борисовны Долгорукой стала сюжетом, волновавшим многих поэтов, особенно Ивана Козлова. Воссоздавая ее жизнь, они подчиняли реальность романтическим литературным канонам, поэтизировали ее. Однако действительность поэтичнее, чем ее «поэтизации», и страшнее романтических ужасов.

Культурный портрет Натальи Долгорукой надо начинать с воспоминаний о ее происхождении, несмотря на то, что ее родители умерли, когда она была еще девочкой, а родственники отреклись, как только она начала свое восхождение на Голгофу. Краткую, но исторически точную характеристику рода Натальи Борисовны дал Пушкин. В «Полтаве» рядом с Петром Великим появляются

И Шереметев благородный, И Брюс, и Боур, и Репнин, И, счастья баловень безродный, Полудержавный властелин.

Шереметев и Меншиков здесь объединены как «птенцы гнезда Петрова» и противопоставлены. «Благородный» — в данном случае не метафора и не похвальное качество характера, а точное указание на сословное происхождение. Рифма «благородный — безродный» очерчивает границы петровского окружения.

Шереметев действительно был «благородным». Он принадлежал к старинному роду, породнившемуся, по женской линии, с царской фамилией. Это не был род, тесно связанный с вершинами русского допетровского общества, но занимал в нем прочное место.

В определенном смысле «петровская реформа» началась до Петра, и Шереметевы принадлежали к той московской знати, которая активно приложила руку к осуществлению реформ. «При царе Алексее Михайловиче некоторые обнаружили… склонность к иноземным обычаям. Знаем, что выделявшегося своими способностями среди родичей, но рано умершего Матвея Васильевича Шереметева протопоп Аввакум обличал как принявшего „блудолюбный“ образ. Это значит, что Матвей Васильевич обрил себе бороду»[400]. Двойственная культурная ориентация наложила печать уже на юношеские годы будущего фельдмаршала. С одной стороны, он связан через Киевскую академию с предшествующей эпохой: на всю жизнь сохранил он почтение к киевским святыням и завещал даже похоронить себя, где бы он ни умер, в Киевской лавре. С другой — Шереметев в это же время находится под влиянием типичного человека Петровской эпохи, иностранца Гордона, командующего войсками на Украине. Связь Гордона и отца Бориса Шереметева — не только служебная: отлучаясь из Киева, последний препоручает сына заботам Гордона. Отношения семьи Шереметевых и молодого Петра в самом начале его самостоятельного правления нам не очень ясны, и мы не можем точно объяснить, почему именно Борису Петровичу Шереметеву

Петр I поручает исполнить один свой, видимо, очень важный замысел. В 1697 году Борис Шереметев, под именем ротмистра Романа, отправляется в заграничное путешествие. Он посещает Краков, где встречается с королем Августом II, и Вену — для переговоров с императором Леопольдом I. Здесь ему доверяются исключительно ответственные переговоры, связанные с планами союза против Турции. Это важное поручение могло быть дано Петром I только близкому по воззрениям человеку. Но все же до данного момента оно не несло в себе ничего, выходящего за пределы путей, уже проложенных в ту пору. Далее начинаются неожиданности. Шереметев в странном для русского дипломата той поры сообществе иезуита Вольфа отправляется в Рим, где он принят папой и целует папскую туфлю. Затем он отправляется на остров Мальту, где проявляет знания моряка, осуществляя почетное командование флотом во время морского парада. Первым в России Шереметев получает орден и клейноды мальтийского рыцаря. Заехав на один день (для этого пришлось специально отклониться от прямого маршрута) в Киевскую лавру, чтобы приложиться к мощам святых угодников, он спешит в Москву, чтобы в мальтийском орденском костюме (и, конечно, бритым) предстать перед Петром. Царь принимает его чрезвычайно милостиво.

Весь этот эпизод может показаться лишь одной из экстравагантных подробностей той красочной эпохи: русский боярин — мальтийский рыцарь. Однако на самом деле мы сталкиваемся с гораздо более интересным явлением. Стрелецкий бунт, потребовавший экстренного возвращения царя в Москву, разрушил грандиозный и, видимо, очень дорогой для царя план (этим отчасти, может быть, объясняется жестокое поведение Петра по отношению к стрельцам). Молодой Петр направлял острие своих планов не в Балтику, а к выходам в Средиземное море. Так родилась идея объединенного удара Европы против Турции. Из Голландии, посетив Лондон и Париж, Петр собирался направиться в Вену, где должен был встретиться с Шереметевым. Таким образом, обе нити: Ватикан — Мальта и Голландия — Англия — Франция должны были связаться в единый узел. Бунт в Москве помешал этому — история заставила переменить планы.

Среди «птенцов гнезда Петрова» Шереметев занимал особое место. Он был органически связан с допетровским временем, и враги реформ порой возлагали на него надежды. И тем не менее он, человек

этой, Петровской эпохи, оказался живым доказательством органичности самой реформы, ее связи с динамикой предшествующего периода. Те же черты мы видим и в его дочери, неразрывно связанной с национальной традицией, психологически напоминающей Марковну — многотерпеливую жену протопопа Аввакума и одновременно принадлежащей новому времени и языком, и воспитанием.

Маршал Шереметев в быту — не человек старины, и домашний быт его был устроен на европейский «манер». Но он не был и выскочкой, «новым человеком» Петровской эпохи. Связи быта Шереметева с допетровской традицией были глубоки и повлияли на воспитание его многочисленных детей (от первого брака — дочери Софья, Анна и сын Михаил, от второго — сыновья Петр, Сергей и дочери Наталья, Вера и Екатерина). Родившаяся в 1714 году Наталья Борисовна и будет одной из героинь нашего рассказа.

Другим интересующим нас лицом является Иван Алексеевич Долгорукий, которому суждено было стать мужем Натальи Борисовны. Об Иване Алексеевиче Долгоруком сохранились многочисленные сведения. Одна из его биографий, написанная Натальей Борисовной, выдержана по всем законам житийной литературы, с той только поправкой, что это житие написано рукой влюбленной женщины, пронесшей свое чувство через испытания, которые могли бы найти себе место в дантовском аде. Однако среди отзывов о князе Долгоруком различимы и другие голоса. Вот мнение страстного противника Долгоруких, образованного и умного, но беспринципного и охваченного страстями Феофана Прокоповича: «Иван сей пагубу, паче нежели помощь роду своему приносил, понеже бо и природою был злодерзостен, и еще к тому, толиким счастием (речь идет о фаворитизме. —

Ю. Л.) надменный, и не о чем, якобы себе не доводилось, не думал, не только весьма всех презирал, но и многим зело страх задавал, одних возвышая; а других низлагая, по единой прихоти своей, а сам на лошадях, окружась драгунами, часто по всему городу необычным стремлением, как бы изумленный; скакал; но и по ночам в честные домы вскакивал гость досадный и страшный, и до толикой продерзости пришел, что кроме зависти, нечаянной славы, уже и праведному всенародному ненавидению, как самого себя, так и всю фамилию свою, аки бы нарочно подвергал»[401].

Более объективную характеристику находим в донесениях испанского посла герцога де Лира: «Князь Иван Алексеевич Долгоруков отличался только добрым сердцем. Государь любил его так нежно, что делал для него все, и он любил Государя так же. Ума в нем было очень мало, а проницательности никакой, но зато много спеси и высокомерия, мало твердости духа и никакого расположения к трудолюбию; любил женщин и вино; но в нем не было коварства. Он хотел управлять государством, но не знал, с чего начать; мог воспламеняться жестокою ненавистию; не имел воспитания и образования; словом, был очень прост»[402].

Сведения современников о характере Долгорукого противоречивы. Но это не только противоречие точек зрения мемуаристов, но и противоречивость характера князя Ивана Алексеевича. Он мог быть жестоким и мстительным, будучи фаворитом, но про него же рассказывают, что когда Петр II собирался подписать поднесенный ему указ о чьей-то казни, князь Иван укусил государя за ухо и на изумленный вопрос о причине этого посоветовал вообразить, насколько отрубание головы болезненнее, чем укус в ухо. Князь Иван Долгорукий был легкомыслен и беспечен и по беспечности однажды подделал подпись Петра II, не предполагая, как его рвущиеся к власти отец, дядя и родственники используют этот фальшивый документ. Мы увидим, сколько несчастий принесла его жене, горячо его любившей, такая беспечность. А между тем увидим и то, с каким поистине сверхчеловеческим мужеством он перенес ужасную казнь, когда его по приказу Анны четвертовали в Нижнем Новгороде на Болоте, последовательно отрубив правую ногу, левую руку, левую ногу, правую руку и голову.

Легкомысленный, плохо образованный, страстно гоняющийся за любыми развлечениями, он был вполне человеком своего времени. Отцы служили государству и государю, воевали и строили заводы. Детям захотелось власти и наслаждений. Трудиться они не хотели. В этом смысле характерен человек, с которым судьба Ивана Долгорукого связана неразрывно, — император Петр II.

Сын казненного Петром I царевича Алексея мало напоминал своего отца. Ростом он был в деда. Десяти лет казался совершеннолетним, получил хорошее «европейское» образование, владел несколькими языками, в том числе латынью. Первый его воспитатель, Меншиков, хотел превратить императора в игрушку своих честолюбивых планов, но в воспитателе все-таки еще жила и традиция Петра Великого: он строго принуждал будущего императора к учению, для этой цели приставив к нему другого петровского выдвиженца — Остермана. Но политические конфликты эпохи рано захватили ребенка-императора, а обучение, которое для него как бы воплощало принудительность, быстро наскучило. После коронации, почувствовав себя главой государства, Петр II повел себя не как дед — жестокий насадитель преобразований и не как отец — мученик мечты о возвращении к прошлому, а как человек послепетровского поколения, неистово рвущийся к наслаждениям, отбрасывающий запреты и чувство долга. Властолюбивые Долгорукие и целый букет прелестных молодых женщин во главе с красавицей-теткой Елизаветой Петровной, кокетничавшей с племянником, который уже почти догнал ее ростом, не давали ему очнуться от праздников, охот, балов и других развлечений. Тем более интересно, что наблюдательный посол-испанец отметил внезапные приступы меланхолии и пресыщенность юного царя. Дальнейший путь его был прерван неожиданной смертью: он заразился оспой и скоропостижно скончался в ночь с 18 на 19 февраля 1730 года (нов. стиль).

Смерть императора застала Ивана Долгорукого в самом разгаре бесконечных праздников накануне замужества его сестры, которую рвущиеся к власти Долгорукие хотели выдать за императора и этим окончательно закрепить свое главенствующее положение при дворе. Одновременно многочисленный род Долгоруких, и особенно отец фаворита, жадный, «ума очень ограниченного»[403], по словам герцога де Лира, расхищали казну. После их падения в «московском кремле устроена была особая палатка для разбора возвращенных от них драгоценных вещей»[404]. Рассказы о кутежах и бесчинствах Ивана Долгорукого ходили по всей Москве. Через поколение дошли они и до князя Щербатова: «Князь Иван Алексеевич Долгоруков был молод, любил распутную жизнь и всеми страстьми, к каковым подвержены молодые люди, не имеющие причины обуздывать их, был обладаем. Пьянство, роскошь, любодеяние и насилии место прежде бывшего порядку заступили. В пример сему, ко стыду того века скажу, что слюбился он, иль лучше сказать, взял на блудодеяние себе, между прочими, жену К. Н. Ю. Т. (кн. Никиты Юрьевича Трубецкого. —

Ю. Л.), рожденную Г… (Настасью Головкину. —

Ю. Л.), и не токмо без всякой закрытости с нею жил, но при частых съездах у К. Т. (князя Трубецкого. —

Ю. Л.) с другими своими молодыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора, и с терпением стыд свой от прелюбодеяния своей жены сносящего. И мне самому случалось слышать, что единожды быв в доме сего К. Т., по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко. <…> Но любострастие его одною или многими не удовольствовалось, согласие женщины на любодеяние уже часть его удовольствия отнимало, и он иногда приезжающих женщин из почтения к матери его затаскивал к себе и насиловал» [405].

Таков был жених, избранный страстно влюбленной в него шестнадцатилетней Натальей Шереметевой.

Обручение было обставлено пышно: праздничный ритуал почти совпадал с торжественным ритуалом обручения императора Петра II с княжной Долгорукой, сестрой фаворита.

Две готовившиеся свадьбы проходили на фоне сложного переплетения личных и политических интересов. Большой, но не дружный клан князей Долгоруких стремился закрепить за собой все источники государственной власти и богатства. Политика была для них лишь средством получить доступ к должностям и имуществам. Боясь конкуренции, они пошли даже на тактический союз со своими постоянными соперниками, князьями Голицыными. Голицыны принадлежали к тому лагерю старой знати, который уходил корнями в глубокую древность (Голицыны — потомки литовского князя Гедимина), но к этому времени уже пережили культурную переплавку. Родственники фаворита правительницы Софьи, Голицыны были близки к «западническим» кругам допетровского царствования. Это — семья, сочетавшая европейскую образованность и боярское недоверие к самодержавию. Их манила не столько допетровская старина, сколько шведская вельможная конституционность. Испанский посол герцог де Лириа вносил в свое донесение, что «дом Голицыных, упавший было во время владычества Долгоруковых, поднял голову и вздумал ввести образ правления, подобный Английскому»[406].

10 февраля 1720 года испанский посол, сообщая о согласии принцессы Анны Иоанновны занять русский престол, записывал: «Ета весть наполнила радостию всех тех, кои хотели управлять государством, как республикою»[407]. Это был, конечно, замысел феодально-аристократической республики с фиктивной властью государя. Себя Голицыны чувствовали скорее европейскими феодалами, чем старыми московскими боярами. Эти настроения князь Дмитрий Михайлович Голицын, когда «затейка»[408] верховников

провалилась, выразил словами: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за отечество; мне уже немного остается жить; но те, которые заставляют меня плакать, будут плакать более моего»[409]. Не совсем ясно, кого имел в виду Д. Голицын в своем предсказании: эгоистических Долгоруких или враждебное верховникам дворянство, — но он оказался пророком.

Лагерь ненавистников вельможной аристократии не был единым: сюда входили и такие сподвижники Петра, как Феофан Прокопович — просвещенный, но утонувший в интригах «птенец гнезда Петрова», и теоретики абсолютизма, ученики Пуфендорфа и поклонники Петра, видевшие в самодержавии кратчайший путь к просвещению: историк Василий Татищев и поэт Антиох Кантемир, а также и огромная масса мелкого «шляхетства», которая думала о расширении не просвещения, а крепостного права и с мучительной завистью смотрела на богатство вельмож. «Шляхетство» не хотело ни реформ, ни просвещения, а желало лишь спихнуть ухвативших власть «случайных людей», чтобы поделить их места. Оно-то, в конечном счете, и победило.

Внезапная смерть молодого императора смешала все карты. Долгорукие напрасно предпринимали попытки сохранить власть, державшуюся лишь на шаткой основе фаворитизма, и совершали действия, которые можно объяснить лишь растерянностью и готовностью защищать свои преимущества преступными путями.

Влюбленные глаза Натальи Шереметевой сохранили трогательный образ ее жениха, повергнутого в отчаяние неожиданной смертью императора. Из окна она наблюдала церемониал похорон: впереди шел духовный чин, «потом, как обыкновенно бывают такие высочайшие погребения, несли государственные гербы, кавалерию, разные ордена, короны; в том числе и мой жених шел перед гробом, нес на подушке кавалерию, и два ассистента вели под руки. Не могла его видеть от жалости в таком состоянии: епанча траурная предлинная, флер на шляпе до земли, волосы распущенные, сам так бледен, что никакой живости нет. Поравнявши против моих окон, взглянул плачущими глазами с тем знаком или миною: кого погребаем? в последний, последний раз провожаю. Я так обеспамятовала, что упала на окошко: не могла усидеть от слабости»[410]. Нельзя не отметить характерную черту эпохи. Непосредственная, захватывающая читателя искренность не исключает того, что из-под пера Натальи Долгорукой выходит текст высокохудожественный, в котором, как и в ее сознании, зримые бытовые образы и реалии (характерные слова: «мина» в значении «выражение лица», «кавалерия» и др.) сочетаются с риторическими оборотами. Во фразе: «Кого погребаем? в последний, последний раз провожаю» — бросается в глаза переход от первого лица множественного числа к единственному и немотивированный повтор («в последний, последний раз»). Это объясняется тем, что первая часть приведенного отрывка — цитата из знаменитой и тогда всем известной речи Феофана Прокоповича на похоронах Петра I, а вторая часть — непосредственное восклицание, выражающее личную горесть. Последняя же сцена — падение плачущей невесты на окно, — конечно, не могла быть написана рукой допетровской боярышни. Воспоминания писались в 1762 году, и отзвук нового отношения к своим чувствам слышен в искреннем рассказе Натальи Борисовны.

Однако не все смотрели на Долгоруких такими глазами. Сама же княгиня вспоминает, как она в коляске проезжала в день приезда Анны Иоанновны в Петербург: «Как я поехала домой, надобно было ехать через все полки, которые в строю были собраны. <…> Боже мой! Я тогда света не видела и не знала от стыда, куда меня везут и где я. Одни кричат: „это отца нашего невеста!“ Подбегают ко мне: „матушка наша, лишились мы своего государя!“ Иные кричат: „прошло ваше время, теперь не старая пора!“ Принуждена была все это вытерпеть, рада была, что доехала до двора своего; вынес Бог из такого содому» (с. 14). По городу распространялись слухи и сплетни, подхватываемые порой немецкой печатью, которая жадно следила за перипетиями разыгравшейся в Москве трагедии. Рассказывали, что едва Петр II испустил дыхание, из спальни его в залу, где собрались Сенат и высшие чины, выбежал с

обнаженной саблей князь Иван Долгорукий и силой пытался заставить их присягнуть своей сестре. Слух этот совершенно лишен вероятности, но весьма характерен. Видимо, разговоры и слухи, расползавшиеся по Москве и Петербургу, были откровенно враждебны Долгоруким. Все предвидели их падение. А между тем верховники предпринимали последние отчаянные попытки удержаться у власти. План возвести на престол невесту государя, княжну Долгорукую, сразу же отпал как нереальный, но в ходе его обсуждения было изготовлено поддельное завещание Петра II в пользу Екатерины Долгорукой, легкомысленно подписанное беспечным князем Иваном, который легко подделывал подпись императора. Есть основания полагать, что он поставил подпись, уступая просьбам старших Долгоруких и даже не подозревая серьезности своего поступка. Заговорщики испугались, и поддельный документ не был использован, но недружные и вздорные Долгорукие не смогли сохранить тайны, и темные слухи о ней просочились в общество. Феофан Прокопович записал мнение «не тех, кто легко и скоропостижно рассуждал» (бесспорно, свое собственное): «Но осторожные головы глубочае нечто проницали и догадывалися, что господа Верховные иный некий от прежнего вид царствования устроили и что на нощном оном многочисленном своем беседовании сократить власть царскую и некими вымышленными доводами акибы обуздать и, просто рещи, лишить самодержавия затеяли»[411].

«Осторожные головы» догадывались о следующем: отбросив планы возведения на престол «государыни-невесты», Долгорукие задумали иное. Мужское потомство рода Романовых пресеклось со смертью Петра II, но имелись женские кандидатуры. Старшая дочь царя Ивана (брата Петра I) отпадала, потому что была замужем за иностранцем — герцогом Мекленбургским, но имелась принцесса Елизавета, дочь Петра Великого и, следовательно, прямая наследница престола. Однако верховники предпочли правившую в Митаве вдовствующую герцогиню Курляндскую, бездетную среднюю дочь царя Ивана, Анну Иоанновну. Для сохранения власти верховники предприняли отчаянные шаги. Анне Иоанновне в Митаве были предложены ограничивавшие самодержавие «кондиции», якобы выражающие единодушно выдвинутое условие ее коронации. Анна согласилась и направилась в Москву, причем Долгорукие и Голицыны, окружив ее, как стеной, ревниво пресекали любые контакты ее со своими противниками. Однако есть основания полагать, что Анна Иоанновна ко времени въезда в Москву уже получила достаточную информацию и лукавила, соглашаясь принять «кондиции». Противники верховников тоже посылали к ней гонцов. По прибытии в Москву «верховники» держали ее как пленницу, но и это оказалось тщетным. Так, например, в Москве говорили, что Феофан Прокопович, который, как духовный пастырь, должен был готовить Анну к коронации, подарил ей часы, под циферблат которых были вложены записки, содержавшие политическую информацию.

«Затейка» не удалась. Тучная, огромного роста, на голову выше всех окружавших ее мужчин, Анна Иоанновна публично порвала «кондиции», а Василия Лукича Долгорукого в отместку за то, что он хотел «провести государыню за нос», публично протащила за нос. Таково было остроумие новой императрицы. Участь Долгоруких была решена.

Свадьба и обручение Натальи Шереметевой и Ивана Алексеевича Долгорукого проходили в совсем разных условиях. Обручение было отпраздновано в канун Рождества 1729 года в Москве, на Воздвиженке, в старинном доме Шереметевых, как государственное торжество. Обручальное кольцо жениха стоило двенадцать тысяч, а невесты — шесть тысяч рублей. Наталью Борисовну засыпали подарками, которые она не успевала разбирать: драгоценностями, кольцами, мехами, редкими восточными тканями. На торжестве присутствовал юный император, и никто не мог даже предположить, что жить ему осталось меньше месяца. С Рождества 1729 по конец января 1730 года — таково краткое счастье Натальи Долгорукой. Об этих днях она писала: «Все кричали: „Ах, как она счастлива!“ Моим ушам не противно было это эхо слышать; а не знала, что это счастье мною поиграет: показало мне только, чтоб я узнала, как люди живут в счастии, которых Бог благословит. Однако, я тогда ничего не разумела, молодость лет не допускала ни о чем предбудущем

рассуждать; а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущею. Казалось, ни в чем нет недостатку; милый человек в глазах, в рассуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывный, а при том природные чести, богатство, от всех людей почтение: всякой ищет милости, рекомендуется под мою протекцию; подумайте, будучи девке в пятнадцать лет так обрадованной! Я не иное что воображала, как вся сфера небесная для меня переменилась» (с. 5–6). Но с неожиданной смертью императора, по словам княгини Долгорукой, вся ее «обманчивая надежда кончилась». «Со мною, — писала она, — так случилось, как с сыном царя Давида Нафаном: лизнул медку, и пришло было умереть. Так и со мною случилось: за двадцать шесть дней благополучных, или сказать радостных, сорок лет по сей день стражду; за каждый день по два года придет без малого» (с. 7–8).

Приказом царицы Анны Иоанновны Долгоруких сначала разослали по дальним деревням. Однако в пути их догнал новый приказ — князя Алексея с женой, сыном Иваном, дочерью — «порушенной невестой» Петра II, младшими сыновьями и дочерями и невесткой Натальей Борисовной сослать в отдаленное глухое место Сибири — тот самый Березов, куда незадолго перед этим Долгорукие заслали вместе с семьей свергнутого ими Меншикова. Им разрешено было взять с собой лишь по одному человеку из слуг на каждого и ограниченное число повозок. Постоянно ссорившиеся между собой Долгорукие, особенно женская часть семьи, не скрывали своей враждебности к шестнадцатилетней невестке, а она, хорошо подготовленная к придворной жизни: знающая иностранные языки, хорошо танцующая, любительница веселых праздников и красивых лошадей, — совершенно не представляла себе, куда их везут и что их там ожидает. Долгорукие правдами и неправдами захватили с собой немалое число драгоценностей, а старый князь уже в пути, в Сибири, одолжил известное количество денег (сибиряки знали, сколь «пременны» придворные судьбы, и ссыльному вельможе одалживали охотно). Неопытная Наталья Борисовна не взяла с собой почти ничего. Лишь небольшую сумму ей удалось одолжить у своей воспитательницы: преданная немка — учительница (в семье Шереметевых ее почему-то называли «мадам») сопровождала княгиню в Сибирь и была с княгиней так долго, как ей было разрешено, а при расставании отдала все свои деньги.

В трудных условиях начал проявляться благородный характер Натальи Борисовны. Среди вздорной и постоянно ссорившейся семьи Долгоруких она резко выделялась самопожертвованием и стойкостью. Княгиня Долгорукая пишет: «Мне как ни было тяжело, однако принуждена дух свой стеснять и скрывать свою горесть для мужа милого; ему и так тяжело, что сам страждет, при том же и меня видит, что его ради погибаю. Я в радости их не участница была, а в горести им товарищ, да еще всем меньшая, надобно всякому угодить. Я надеялась на свой нрав, что я всякому услужу» (с. 23).

Путешествие по Сибири было долгим и очень трудным. До Касимова ехали сухим путем. Дальше надо было пересаживаться на барку и плыть по реке. Здесь же Наталье Борисовне пришлось расстаться со своей воспитательницей-немкой, о которой она пишет с большой теплотой и благодарностью: «Моя воспитательница, которой я от матери своей препоручена была, не хотела меня оставить, со мною в деревню поехала; думала она, что там злое время проживем; однако не так сделалось, как мы думали, принуждена меня покинуть. Она — человек чужестранный, не могла эти суровости понести; однако, сколько можно ей было, эти дни старалась, ходила на то бесчастное судно, на котором нас повезут; все там прибирала, стены обивала, чтобы сырость сквозь не прошла, чтоб я не простудилась; павильон поставила, чуланчик загородила, где нам иметь свое пребывание, и все то оплакивала» (с. 33). Те тяготы пути, что были не под силу искренне любившему Наталью Борисовну «чужестранному человеку», оказались по плечу воспитанной в холе «княгинюшке», которой недавно исполнилось шестнадцать лет.

В характере Натальи Долгорукой старина и новизна переплетались органично. Она принадлежала своему времени по привычкам и языку. В ее воспоминания попадают такие выражения, как «я ни с кем не буду

корреспонденции иметь» (правда, тут же она прибавляет: «или переписки»),

«для компании, подле меня сидит», «чтоб не смеяться, видя такую смешную

позитуру» (курсив везде мой. —

Ю. Л.). Она не забывает своего высокого положения и в Сибири: жалуется на то, что «ниже рабы своей не имела», а в ссылке, увидев офицера, думавшего «о себе, что он очень великий человек», которому «подло с нами и говорить», она не может удержаться, чтобы не заметить: «из крестьян, да заслужил чин капитанский».

В таких людях XVIII века, как Аврамов или Н. Опочинин, столкновение старины и новизны оборачивалось утратой внутреннего единства. В Наталье Борисовне Долгорукой это же столкновение порождало исключительную цельность характера. Особенно это отражалось в ее отношении к религии. Ее муж, как и вся среда, в которой она находилась до ссылки, не принадлежали к вольнодумцам, но здесь религия была привычкой и традицией, сливалась с бытом, гораздо больше напоминала систему традиционных жестов, чем духовные поиски. В этом кругу Наталья Борисовна выделяется искренностью и глубиной религиозного чувства. Здесь характер, чувства и мысли «жены бывшего фаворита» сливаются с народно-религиозными представлениями, столь далекими от «боярского» сознания. В начале своих «Записок» Наталья Борисовна Долгорукая пишет: «Не всегда бывают счастливы благороднорожденные; по большей части находятся в свете из знатных домов происходящие бедственны, а от подлости рожденные происходят в великие люди, знатные чины и богатства получают. На то есть определение Божие. Когда и я на свет родилась, надеюсь, что все приятели отца моего и знающие дом наш блажили день рождения моего, видя радующихся родителей моих и благодарящих Бога о рождении дочери. Отец мой и мать надежду имели, что я им буду утеха при старости. Казалось бы и так, по пределам света сего ни в чем бы недостатку не было… но Божий суд совсем не сходен с человеческим определением. Он по своей власти иную мне жизнь назначил, об которой никогда и никто вздумать не мог и ни я сама» (с. 2–3).

Так рассуждала перенесшая все жизненные невзгоды женщина, которая, по собственным ее словам, от природы «очень имела склонность к веселию».

Жизнь умудрила, но не сломила княгиню Долгорукую. В сильных характерах несчастье лишь увеличивает потребность в идеале. Глубокое религиозное чувство стало органической основой жизни и бытового поведения. Потеря всех материальных ценностей жизни породила напряженную вспышку духовности.

Княгиня Долгорукая проявляет столько любви, кротости и подлинного героизма по отношению к своему злополучному мужу, которого она называет «мой товарищ», «мой сострадалец». Она даже, одновременно с этими воспоминаниями, пишет его житие, превращая своего грешного и беспечного мужа в святого мученика. В следующем разделе настоящей главы читатель увидит, как создательница других мемуаров стилизует себя самое в святую, а мужа своего — в слабого душой грешника. Кроткая, любящая Долгорукая видит в своем муже святого, а говоря о себе, подчеркивает черты человеческой слабости.

А слабости у Ивана Алексеевича, как мы видели, имелись, сохранились они и после всего пережитого. Он был доверчив и беспечен. Сосланный почти на край света — Березов был расположен в нездоровой, сырой местности, а острог, в котором заключены арестанты, окружен со всех сторон водой, — он быстро завязал новые знакомства. Пользуясь попечительством местного воеводы, который был по-сибирски хлебосольным и помирал от скуки в этом забытом Богом краю, князь Иван начал приглашать к себе гостей и сам из острога ездить в гости. Покровительствовал Долгоруким и специально присланный из Тобольска с командой майор сибирского гарнизона Петров. Все тяготы падали на Наталью

Борисовну. С двумя сыновьями (младший родился очень болезненным) она прожила все эти годы, летом и зимой, в сарае, где вместо пола была утоптанная земля, а тепло давали две наскоро поставленные печки. Иван Алексеевич в это время не отказывал себе в тех удовольствиях, которые мог представить ссыльному Березов. Он пил и кутил со знакомыми и незнакомыми, и выпив, позволял себе с детской доверчивостью болтать лишнее. Затрагивал в хмельных разговорах он и императрицу. Конечно, нашлись люди, которые донесли на Долгоруких. В Березов был прислан капитан Сибирского полка Ушаков — родственник страшного Ушакова, начальника Тайной канцелярии, — ловкий и, видимо, опытный следователь, решивший сделать себе на чужой крови карьеру. Он прибыл в город инкогнито, легко вошел в доверие Ивана Долгорукого, пил с ним, подталкивая его на опасную болтовню, а когда для следствия был собран достаточный материал, уехал. Беспечный князь Иван проводил его как искреннего друга. Между тем над ним неожиданно грянул гром: из Тобольска прибыл приказ — отделить князя Ивана от семьи и держать строго. Его заключили в сырую земляную тюрьму. Наталья Борисовна была в отчаянии: «Отняли у меня жизнь мою, безпримернаго моего милостиваго отца и мужа, с кем я хотела свой век окончить, и в тюрьме была ему товарищ; эта черная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат» (с. 15). Заживо закопанного в похожую на могилу землянку князя Ивана морили голодом — кормили только, чтоб не помер. Наталья Борисовна слезами и мольбами умилостивила часовых, и те, сами рискуя (доносчики были рядом), разрешали ей ночью подносить еду к окну землянки.

Ушаков и поручик Василий Суворов — отец генералиссимуса Суворова — проводили в Тобольске следствие, в ходе которого князь Иван подвергался жестоким пыткам. В тюрьме он содержался в ручных и ножных кандалах, прикованный к стене. Он пал духом и рассказал даже то, о чем его не допрашивали, — об изготовлении поддельного завещания Петра II и о своей фальшивой подписи под этим документом. Это не только решило участь князя Ивана, но и вовлекло в дело весь клан Долгоруких. Их начали арестовывать в разных концах государства и свозить в Шлиссельбургскую крепость, куда был отправлен и князь Иван Долгорукий. Здесь пошли новые допросы и пытки. Дело завершилось огромным числом казней. Нещадно наказаны были не только Долгорукие, но и общавшиеся с ними в Березове чиновники, офицеры и солдаты. Биты кнутами с урыванием ноздрей были священники, не донесшие о том, что узнали на исповеди.

Страшнее всех поплатился князь Иван Алексеевич: в Нижнем Новгороде, на Болоте, где совершалась казнь, его четвертовали (по другой версии он был колесован). Мучения он перенес с чрезвычайной твердостью, вслух молясь Господу. Легкомысленный щеголь, франт, жадный до развлечений фаворит — все это с него слетело. Он вдруг обернулся русским боярином под топором Ивана Грозного. В русском дворянстве XVIII века сохранилось древнее представление о том, что казнь за убеждения, участие в борьбе за власть и защиту чести не позорит. Более того, она превращала того, кто вчера был интриганом и честолюбцем, в мученика. Этот взгляд тонко отобразил Пушкин, вложив в уста отца Гринева сожаление о том, что сын его заслужил не честную казнь, а бесчестное прощение: «Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести[412]; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым». И когда княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, задним числом пересматривая свою жизнь, описывала в одном из вариантов воспоминаний своего ветреного мужа как мученика и страстотерпца, она не только отдавала долг любви. Видимо, ее глазам открылось что-то такое, что действительно в нем было, но проявилось только в момент казни.

Наталье Борисовне никто даже не удосужился сообщить о гибели ее мужа, и она продолжала еще ждать и надеяться, когда разрубленные куски тела ее мужа были уже зарыты в Новгороде на Болоте. На свое прошение, в котором она умоляла соединить ее с мужем, какова бы ни была его судьба, ответа не последовало. Только после смерти Анны Иоанновны

ей было разрешено вернуться из Березова. Княгиня Долгорукая посвятила себя воспитанию сыновей (младший, болезненный, умер молодым), а когда старший подрос, она постриглась в монахини под именем Нектарии. Воспоминания, написанные ею для старшего сына и своей невестки, остаются одним из самых проникновенных документов, раскрывающих душу женщины XVIII века.

Мемуары Анны Евдокимовны Лабзиной (по первому браку — Карамышевой) правильнее было бы назвать «житием, ею самою написанным». Такое название сразу высвечивает определенную традицию, в перспективе которой этот текст следует понимать. Читатель, конечно, вспомнил «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». В еще большей мере в памяти возникает образ боярыни Морозовой. Реальная же судьба мемуаристки, хотя и перенесшей ссылку за свои убеждения, даже приблизительно не напоминала судеб мучеников «старинного правоверия»[413]. Однако в подобных случаях самооценка, то, каким человек видит мир, не менее существенна, чем «объективная» оценка постороннего наблюдателя. Лабзина видела свою жизнь как длинное, мучительное испытание, «тесный путь» нравственного восхождения сквозь мир греховных искушений к святости. Развратный муж, проводящий жизнь в греховных мерзостях, не лишенный природной доброты, но слабый и утопающий в бездне плотских наслаждений, — таков один сюжетный центр ее рассказа. Другой — она сама, твердо шествующая по пути добродетели сквозь душевные страдания и физические муки. И если муж — воплощенный искуситель, то на другом полюсе неизменно находится Учитель, руководящий ею, подчиняющий себе ее дурную волю лаской и нравоучением.

В таком сюжете нетрудно увидеть стереотипы традиции, которая простиралась от житийной литературы до книг Джона Беньяна, английского мистика XVII века, чьи произведения пользовались в России большой популярностью. (Под именем Иоанна Бюниана они многократно издавались в 80-е годы XVIII века.)

Воспоминания А. Е. Лабзиной невозможно понимать как наивно-«фотографическое» воспроизведение реальности, что зачастую делают их комментаторы. Последние уподобляются судье, который полностью отождествил бы свидетельства одной из тяжущихся сторон с истиной, ссылаясь на то, что точка зрения другой стороны ему неизвестна. Анна Евдокимовна Лабзина написала свое житие — нам предстоит использовать его как материал для анализа историко-психологической реальности.

Для того чтобы оценить достоверность текста, надо, прежде всего, восстановить ту точку зрения, с которой он написан. А для этого полезно сосредоточить внимание не только на том, что видел автор текста, но и на том, чего он не видел, что оставалось за пределами его зрения, для чего у него не было ни глаз, ни слов.

Что же не видела и что видела Анна Евдокимовна Лабзина в своем первом муже?

Во всех подробных мемуарах мы не находим ни одного слова о том, что составляло основу жизни Карамышева. Мемуаристка показывает нам его только в те минуты, когда видит. Появляется ли он после научных исследований на побережье Белого моря, в дверях ли ее дома в Петербурге или в Нерчинске, — он всегда приходит «из ниоткуда» и, уходя сквозь эти же двери, отправляется «в никуда». Мир же Анны Евдокимовны резко разграничен. Это мир праведности — ее кабинет и спальная комната. Из этого мира ведут две двери: одна на Путь Спасения, по которому ее поведет Наставник, другая — на путь греха. Эта пространственная модель для самой муаристки в полном смысле слова отождествляется с бытовой реальностью. Все предметы, события, люди располагаются в этом пространстве, и, в зависимости от места в нем, они получают роли в описываемом мемуаристкой мире. Она как бы ставит перед читателем спектакль своей жизни, властно распределяя между актерами жесты и монологи. Обилие прямой речи бросается в глаза (причем все упоминаемые ею люди говорят одним и те же — ее собственным — языком). Напомним, что между временем

записи и изображаемыми событиями прошла четверть века.

Применим прием, к которому прибегает современная кинематография, чтобы преодолеть театральный монологизм, — резко сдвинем точку зрения и посмотрим, что же оставалось за пределами той театральной сцены, на которой разыгрывает Лабзина свои мемуары. Что же представлял собой ее муж, Александр Матвеевич Карамышев?

Карамышев — бедный «сибирский дворянин» (само сословное положение этой категории людей было сомнительно, несколько напоминая статус однодворцев), почти без состояния и сирота; он из милости был воспитан в доме состоятельного уральского помещика Е. Я. Яковлева, который, умирая, завещал ему в жены свою малолетнюю дочь. Мать Карамышева на положении подруги-приживалки подолгу гостила в доме Яковлевых. Служебная карьера Карамышева выглядит на фоне обычных путей русских дворян XVIII века достаточно экзотически. Ни армейская, ни тем более гвардейская служба в ней не упоминаются. Карамышева отдают в Екатеринбургский Горный университет, а затем — в гимназию при Московском университете. Университетское образование давало право на офицерский чин, и, получив диплом, молодые дворяне обычно облачались в мундиры. Карамышев пошел по другому пути: он уехал за границу и поступил в Уппсальский университет. Государственные дотации в этих случаях, как правило, бывали невелики. А так как мы не располагаем никакими данными о помощи какого-либо «вельможи-благодетеля», то жизнь за границей лишенного состояния молодого дворянина-студента должна была быть очень нелегкой. Даже более чем через полвека и относительно обеспеченный, хотя и зависевший от скуповатой матери Андрей Кайсаров, обучаясь за границей, вынужден был в Геттингене «питаться тощими немецкими супами», а в Лондоне — хлебом и луком.

Однако бытовые трудности не отразились на успехах Карамышева. Своим научным руководителем он избрал великого Линнея (уже этот факт говорит о незаурядности подготовки и интересов А. М. Карамышева). Еще более показательно, что и Линней выделил молодого русского студента и стал активно руководить его научными интересами. Под руководством Линнея и химика и металлурга Валлериуса Карамышев прослушал курсы естественных наук и химии и в 1766 году защитил на латинском языке диссертацию «О необходимости развития естественной истории в России». «Эта диссертация… была, по-видимому, задумана самим Линнеем, который еще в 1764 году писал к жившему тогда в Барнауле шведскому пастору и естествоиспытателю Э. Лаксману, что думает заставить Карамышева защищать диссертацию по какому-либо предмету из естественной истории Сибири; Лаксман доставил и много материалов для диссертации Карамышева»[414].

Латинский язык не входил в обычное образование русского дворянина XVIII века. Он был даже своеобразной «лакмусовой бумажкой»: подобно тому как французский язык сделался знаком дворянской образованности и влек за собой представления о светском галломане, латынь являлась как бы обязательным признаком учености, «неприличной» для дворянина, педантизма, которым щеголяли образованные поповичи. Насколько глубоко погрузился в латынь Карамышев, свидетельствует латинское стихотворение в честь наук, написанное им в Упсале.

Когда Карамышев вернулся в Россию, он был направлен на рудники в Петрозаводск, где проявил себя настолько хорошо, что быстро получил повышение. Потом последовали разные службы. Карамышев получил место преподавателя в Горной академии в Петербурге. Хорошая служба на видном месте, личное знакомство с Потемкиным, участие в дворцовых праздниках и, что не менее важно, возможность преподавать и вести научную деятельность. Казалось бы, можно было удовлетвориться и провести на этом месте весь оставшийся век, спокойно повышаясь в чинах и копя деньги к старости. Однако преданность науке, видимо, взяла верх. Никакие другие побуждения не смогли бы увлечь его в служебное путешествие к Белому морю, где приходилось жить в заливаемых водой землянках, а потом отказаться от выгодного, «на виду» петербургского места и добиться направления в Сибирь. Здесь

Карамышев развил исключительно энергичную и очень плодотворную организационную деятельность, модернизируя серебряные рудники и отыскивая новые источники руд. Одновременно он составлял для Академии наук ценные коллекции сибирских минералов и флоры. При этом, в отличие от многих сибирских «конкистадоров», он, видимо, соединял свои естественнонаучные интересы с воззрениями просветителей XVIII века. По крайней мере, даже жена, которую никак нельзя заподозрить в сочувствии ему и желании его идеализировать, не могла не отметить в своих воспоминаниях, что при отъезде его из Нерчинска каторжники провожали его со слезами. В житийном стиле своих воспоминаний Анна Евдокимовна так описывает сцену расставания его с каторжниками: «Мы остановились, и Александр Матвеевич стал их уговаривать: „Друзья мои, вы так же будете счастливы и спокойны, как и при мне. Начальник у вас добрый: он вас будет беречь. Я его просил об вас, только будьте таковы, каковы были при мне!“ — „Мы давно таковы, но нам все было худо! Мы до тебя были голодны, наги и босы и многие умирали от стужи! Ты нас одел, обул, даже работы наши облегчал по силам нашим, больных лечил, завел для нас огороды, заготовлял годовую для нас пищу, и мы не хуже ели других. И мы знаем, что ты много твоего издерживал для нас и выезжаешь не с богатством, а с долгами, — но Бог тебя не оставит! Ты это в долг давал и тебе вдесятеро возвратит Отец Небесный!“»[415]

Все стороны разнообразной научной деятельности Карамышева не нашли никакого отражения в мемуарах его жены. Она их просто не заметила. В ее лексиконе были другие слова: «добродетель» и «грех», и при переводе на этот язык мир представлялся совершенно отличным, от того, в котором жил ее муж.

Трагедия, отраженная в мемуарах Лабзиной, — это не только конфликт несовместимых характеров, темпераментов и возрастов — это драматическое столкновение двух культур, не имеющих общего языка и даже не обладающих самой элементарной взаимной переводимостью.

Рассмотрим жизнь Анны Евдокимовны в том виде, в каком она предстает перед нами в мемуарах. Но при этом не следует забывать, что о чувствах и страданиях девочки — девушки — молодой женщины, сироты, переданной в бесконтрольную власть мужа, превосходящего ее многими годами, рассказывает нам уже пожилая дама, властная воспитательница своих племянниц (собственных детей у нее нет). Она старше своего второго мужа, которого боготворит, на восемь лет. Ее глубокая добродетель и искренняя филантропия соединяются с сильной волей, властолюбием и чуть-чуть окрашены ханжеством. Свои мемуары она сознательно пишет как исповедь святой души в поучение душам, взыскующим спасения. Она сурова и нетерпима. Если ее второй муж, известный масон Лабзин, стремится исправлять свои недостатки и воспитывать свою душу[416], то ее более увлекает исправление других — заблудших — душ и их наставление.

Для того чтобы представить себе облик той Анны Евдокимовны Лабзиной, глазами которой читателю предлагается глядеть на историю ее жизни, имеет смысл обратиться к мемуарам ее воспитанницы. Мемуары проникнуты восторженным отношением к Лабзиной, в них господствует не осуждение, а преклонение. И именно в них мы находим показания о суровости воспитательницы, которая требовала, чтобы провинившиеся племянницы целую ночь выстаивали на коленях у входа в ее комнату в ожидании прощения. Но и тут прощения не давалось, и они уходили в слезах, проникнутые сознанием своей греховности. «Три раза в год она меня целовала, — пишет мемуаристка, — а именно: после причащения моего Святых Тайн, в день Светлаго Воскресения и в день моих именин, а в прочее время подавала мне руку, после чего имела привычку отряхивать оную, как будто замаралась от губ моих» (с. XIX). Воспоминания Анны Лабзиной резко делятся на две части. Первая из них посвящена детству и годам, предшествующим раннему замужеству. Принятая мемуаристкой житийная схема с большим трудом накладывается на биографическую реальность. В результате образ матери у Лабзиной отчетливо двоится. С одной стороны, это трафаретный житийный стереотип: мать святой — благочестивая, достойная женщина, проводящая дни свои в благих мыслях и

молитвах. Она покровительствует нищим, помогает узникам, которые с рыданием приемлют ее благодеяния. Тут невольно вспоминаются слова Пушкина из «Пиковой дамы» в описании похорон графини: «Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. „Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного“». Пушкинская цитата — не карикатура и не издевка. Это бытописательная картина, свидетельствующая о нормальных отношениях агиографии (житийности) и бытовой реальности. Недоразумение возникает лишь тогда, когда понимание языка утрачено и принадлежащий другой культуре читатель начинает воспринимать священный текст как бытовую реальность или превращать бытовую реальность в священный текст. Средневековая традиция не впадала здесь в противоречие, поскольку отчетливо разделяла: пастырь должен осуществлять священное поведение и реализовывать апостольские законы в своей каждодневной практике; простец живет в грехе и, не впадая в гордыню, должен смиренно подчиняться правилам этой жизни. Спасение его — в сознании своего греха и в покаянии. Своевольно приписывать себе святое поведение — грех гордости. Анна Евдокимовна Лабзина впадает именно в этот грех. Приписывая себе святость, она одновременно разрешает себе и суд над поведением своего мужа.

Однако в первой части ее воспоминаний стереотип «детства святой» не может заслонить интересных для историка культуры и психолога реалий. Так, например, она рассказывает о том, что в ее детское воспитание входил спорт, что ребенка приучали (совсем по рецептам Руссо) переносить физическую нагрузку, ограничиваться простой пищей, закалкой предупреждали болезни. Совсем особняком стоит следующий эпизод, рисующий мать мемуаристки как женщину почти патологической нервозности, подверженную таким эксцессам сентиментализма, которые никак не связать со стереотипами «святого» поведения.

Мемуаристка рассказывает, что после смерти отца мать ее более чем на год заперлась в темной комнате, отказалась видеться с детьми и вела со скончавшимся мужем беседы, полные страстного любовного чувства. Все попытки обратить ее к реальности встречали с ее стороны резко агрессивную реакцию, завершавшуюся вспышками истерики. Детей она возненавидела, сопротивляясь их праву на ее любовь. Только насильственное вторжение родственника заставило ее выйти из этого мистического пространства. Затем естественно последовал взрыв истерики и длительное церковное покаяние, которое возвратило ее в бытовую реальность.

Дальнейшая часть мемуаров строится по уже упомянутой схеме. Роль руководителей, направляющих мемуаристку на праведный путь, выполняют, сменяя друг друга, несколько персонажей. Но по мере того как они занимают это место, их речи и поступки становятся совершенно одинаковыми. Центральный из них — писатель М. Херасков. Литературная сторона деятельности Хераскова, его обширное наследие в стихах и прозе, его место в русской литературе и административные должности — а их было немало — все это остается абсолютно за пределами внимания мемуаристки. Она этого просто не замечает, как не замечала она научной деятельности своего мужа, как не замечала она, что жена Хераскова — известная писательница и что дом Хераскова был активно включен в политическую жизнь эпохи. Вообще, вряд ли будет большой ошибкой сказать, что для историка мемуары Лабзиной одинаково интересны тем, что она замечает и описывает, и тем, чего она не видит и не описывает. Для историка культуры такие пропуски и вызывавшая их «слепота» — факты не менее красноречивые, чем иные подробные описания. Женщину-ребенка (ибо к Хераскову Лабзина попала, когда ей едва исполнилось пятнадцать лет) Херасков превратил в материал психологического эксперимента в духе XVIII века. Вольтер в своей повести «Простодушный» предложил всей Европе опыт столкновения «естественного человека» и «противоестественного» общества. Идея «естественного человека», освобожденного от предрассудков и следующего только голосу Природы, сделалась подлинным увлечением

XVIII века. От екатерининского вельможного педагога Бецкого до многочисленных утопистов разной степени мятежности, от утопий Руссо до гомункулуса[417] масонов и Фауста — вся интеллектуальная Европа бредила идеей совершенного человека. Педагогический эксперимент и общественная утопия органически переплетались друг с другом. У всех этих сюжетов была одна общая черта: подопытное дитя изолировалось от жизни и подвергалось особому, «естественному» воспитанию. Именно такой эксперимент проделал Херасков с юной Лабзиной. Прежде всего — изоляция. И даже если сделать поправку на то, что мемуаристка явно стилизует картину и увеличивает степень педагогической последовательности ее реального воспитания в доме Хераскова, картина получается достаточно красноречивой. Круг ее знакомств, чтения и разговоров строго контролируется. Согласно педагогике Руссо, воспитатели озабочены не увеличением знаний воспитанницы, а как можно более долгим сохранением ее «естественного» незнания. Таков рассказанный Лабзиной эпизод о случайном присутствии ее при литературном разговоре о романах. Херасков был сам автором многочисленных романов, и, конечно, в его доме обсуждались не «опасные» для дам французские романы вроде «Ловеласа»; обсуждался какой-либо, по выражению Пушкина, «нравоучительный и чинный» роман. И тем не менее воспитанницу оберегали от этих опасных разговоров.

Еще перед замужеством ей было дано наставление от «благодетельницы» — относиться к книгам с большой осторожностью: «Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит мать[418] твоя. И когда уж она тебе посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться». Тот же порядок продолжался и в доме Хераскова: «… утром заниматься хорошей книгой, которыя мне давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего. Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уж несколько раз слышала. Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны[419], о каком она все говорит Романе, а я его у них никогда не вижу. Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которыя так называются; „но тебе их читать рано и нехорошо“. И они, увидя мою детскую невинность и во всем большое незнание, особливо, что принадлежит к светскому обхождению, начали меня удалять; когда у них бывало много гостей, — и я сиживала у моего благодетеля и отца, хотя мне сначала и грустно было». Херасков искусственно изолировал свою воспитанницу «от опасного мира»: ее «в гости никуды не брали, ни в театры, ни на гулянья». Ее даже не допускали к мужу[420]: «Муж мой тогда никакой власти надо мной не имел, и он был целые дни в Корпусе; так как он заводился вновь, то и дела было много» (с. 47–48). Заметим в скобках, что последняя оговорка проскочила у Лабзиной невольно: обычно она твердо убеждена, что все время вне дома Карамышев проводил, погрязая в разврате.

Молодая Лабзина была поставлена судьбой на пересечении двух взаимно противоположных идей эпохи. Обе они покрываются обычно туманными терминами «сентиментализм» или «предромантизм». Сюда включаются и воспринятые масонами принципы педагогики, которые то противопоставляли педагогике руссоистов, то смешивали с ней. Именно таков был путь, по которому хотел вести свою воспитанницу Херасков. Однако был и противоположный путь: крайне радикальные деятели Просвещения, стоявшие на его левом фланге, выступили во второй половине XVIII века как смелые реформаторы нравственности. Именно здесь они нашли поле сражения двух основных борющихся сил эпохи: «просвещения» и «предрассудка». В литературе этого времени мы встречаем настоящий поток художественных и публицистических произведений, проповедующих свободу чувств, мораль, основанную на стремлении к счастью и наслаждению. Этика, ограничивающая право человека на счастье, объявлялась, с этой точки зрения, нравственным деспотизмом и относилась к числу средневековых предрассудков. Н. Карамзин пишет ряд повестей, дерзко декларирующих безграничность любви. Ограничения, разделяющие взаимную любовь брата и сестры («Остров Борнгольм»), замужней женщины и ее любовника («Сиерра-Морена»), предрассудки «благородства» и богатства, разрушающие любовь («Бедная Лиза»), повторяются потом в многочисленных художественных произведениях. Дело не

ограничивается литературой: второй брак А. Радищева, женившегося на сестре своей умершей жены, был открытым вызовом предрассудкам. Перчатка была брошена не самим поступком — русское общество XVIII века, пережившее многочисленные «тайны» двора Екатерины II, трудно было удивить, — а тем, что Радищев открыто защищал нравственность и свободу такого поведения и отстаивал свое право на него. Обсуждение этого вопроса в печати встречало, естественно, цензурные трудности, поскольку здесь вольнодумство вторгалось в сферы духовной цензуры. Однако с повестки дня вопрос этот никогда не снимался. В 1789 году, на самом краю, отделявшем цензурный «либерализм» 1780-х годов от строгостей девяностых, малоизвестный молодой прозаик Николай Эмин опубликовал первую часть романа «Игра судьбы». Второй части не суждено было появиться. Роман повествовал о судьбе молодой женщины, выданной замуж за старого, но просвещенного и благородного человека. Муж вскоре убеждается, что жена относится к нему как к отцу, его не любит и что взаимная любовь связывает ее с его молодым другом. Желая убедиться, насколько подлинно их чувство, муж подвергает молодых людей испытаниям. В это время героиня заболевает оспой и теряет красоту. Однако ничто не в силах разрушить любовь. Поняв это, муж принимает важное решение. Здесь первая часть романа кончалась. Вторая часть оказалась далеко за пределами самых широких цензурных возможностей. Не попав в печать, она была для нас потеряна, но общий ход ее смелого сюжета мы можем, как кажется, в общих чертах реконструировать.

Руссо в романе «Юлия, или Новая Элоиза», ставшем для целого поколения европейских читателей катехизисом любви, смело решит проблему «треугольника»: Юлия пламенно любит своего учителя Сен-Пре и становится его любовницей. Сословные предрассудки делают их брак невозможным. В дальнейшем Юлию выдают замуж за пожилого и почтенного господина де Вольмара. Юлия уважает святыню брака, а нравственный Сен-Пре, победив свою страсть, становится преданным другом семейства. Смелость Руссо была не в том, что он изобразил адюльтер, — тема эта так же стара, как и сама литература, — а в том, что он, как некогда Абеляр, раскрыл в ней источник нравственности. Молодой Эмин пошел, по-видимому, дальше Руссо, хотя имел дело с бесконечно более строгой «цензурой нравов». Он заставил просвещенного мужа, лишь формально бывшего супругом своей юной и нравственной жены, самого передать женщину в руки ее возлюбленного, после чего все трое, поселившись в одном доме, связали себя истинными узами философского уважения свободы чувств. Конечно, такой сюжет не мог быть опубликован. Сходные темы мы находим в замыслах Н. Чернышевского, особенно сибирских, в частности в его идее написать роман о трех молодых людях — двух мужчинах и женщине, — заброшенных кораблекрушением на необитаемый остров. Молодые люди, испытав трудный искус любовных увлечений и мучительных вспышек ревности, приходят к «естественной», по мнению Чернышевского, мысли — слиться в «любовном треугольнике».

Подобные эксперименты в области этики, чаще всего — теоретические, — как правило, осуществлялись людьми высокой личной нравственности. Обрушивались же на них «с лицемерными гоненьями» те самые «люди света», которые позволяли себе на практике любые формы тайного разврата.

Сложность реальной картины увеличивалась еще тем, что просветительские идеи, опускаясь с высот теории в бытовое поведение, как правило, молодых людей, легко смешивались с нравственной распущенностью, лишь прикрывавшей себя модными словами. Нам трудно определить, каково было реальное поведение Карамышева, поскольку в сознании его жены эти, по сути дела, весьма различно мотивированные действия вели все в ту же пропасть греха. А мы вынуждены смотреть на Карамышева глазами Лабзиной, поскольку ее воспоминания — единственный наш источник. Мы должны воспринимать его поведение уже переведенным на идейный язык его жены. Поэтому выяснение того, что же представляла описываемая Лабзиной реальность, остается проблематичным. Приведем пример.

Мемуаристка сообщает, что в Петербурге ее муж целые ночи проводил за карточной игрой,

оставляя ее одну, и приходил домой с грязными от карт руками. В этом описании реальностью является лишь ночное отсутствие и грязные руки Карамышева. Причины же того и другого принадлежат интерпретации мемуаристки. Мы не можем проверить степень их обоснованности, но способны сравнить их с другими, альтернативными предположениями.

Карамышев — химик и преподаватель. В описываемое время он организовывал лабораторию и вел как преподавательские, так и исследовательские эксперименты. Одновременно он осуществлял и большую административную работу. Времени ему, видимо, не хватало. Можно предположить, что ряд опытов проводился в ночное время или, по крайней мере, длился до позднего вечера. Усталость, испачканные руки и одежда в равной мере могут быть результатами как картежной игры, так и научных экспериментов. Мы остановимся перед этой альтернативой и не будем пытаться угадать, чем именно занимался Карамышев в это время, но отметим лишь, что для его жены тут никакой альтернативы не было: она была заранее уверена, что он предается разврату, а уверенность, предпосланная наблюдению, неизбежно деформирует то, что мы видим.

Итак, мы можем лишь реконструировать некоторые стороны поведения Карамышева. И если мы вспомним, что Карамышев — европейски образованный человек, крупный ученый и что доброту его характера не отрицала даже сама Лабзина, то скорее можно будет предположить, что он сознательно «воспитывал» свою жену в духе своего понимания «философских идей». В согласии с натурализмом XVIII века Карамышев отделял любовь как

нравственное чувство от естественного полового влечения. Этим он, видимо, оправдывал то, что, получив в жены тринадцатилетнюю девочку, долгое время не воспринимал ее как женщину. Столь же категорично, как и ее масонские воспитатели, Карамышев приобщал свою молодую жену к противоположной системе взглядов и поведения — к свободомыслию и вольнодумству. Однако и добронравие, и свободолюбие внедрялись в душу и ум девочки-женщины с напором, напоминающим насилие.

Великий скульптор-философ Фальконе воспроизвел в мраморе один из основных символов XVIII века — статую Галатеи в момент оживления мрамора (тема эта привлекала и Руссо). Фальконе изобразил рождение жизни и мысли в неживом и бесчувственном материале под влиянием творческой силы Просветителя. Именно такую роль отводил век Просвещения философу-государю, а просветительская педагогика — творцу-учителю. Идеальным объектом просвещения казалась женщина-ребенок, tabula rasa[421] в двойном смысле. В одном третьестепенном, ныне совершенно забытом романе первых лет XIX века герой, желая создать себе в жены идеальную женщину, изолирует ее с младенческого возраста, заключая ее в отдельном помещении, лишенном окон, где она, обнаженная (одежда — ложный вымысел человеческой цивилизации!) растет в естественном неведении предрассудков. Герой посещает ее также без одежд. Таким образом, устранение всех предрассудков как бы возрождает естественное счастье первого человека. С той или иной степенью последовательности идея «естественного воспитания» получила широкое распространение. По сути дела, от нее недалек Алеко в ранних вариантах пушкинской поэмы «Цыганы». Здесь герой обращается к своему новорожденному сыну с монологом, где рисует программу воспитания «естественного человека»:

Дитя любви, дитя природы

Расти на воле без уроков,

Не знай стеснительных палат

И не меняй простых пороков

На образованный разврат

Пускай цыгана бедный внук

Лишен и неги просвещенья

И пышной суеты наук —

Зато беспечен, здрав и волен…

(

Пушкин , IV, 445)

Но то, что выглядело поэтически привлекательно в философских трактатах или поэмах, принимало совершенно иной вид при попытках реализовать теорию на практике. Можно предположить, что именно это произошло с Карамышевым, занявшимся воспитанием своей жены. Даже перечисляя все грехи своего мужа, Лабзина никогда не обвиняла его ни в жестокости, ни в отсутствии любви к себе, а уж тем более в скупости или каких-либо подобных пороках. Главным упреком Карамышеву был его разврат. Однако даже сквозь ее описания в поведении Карамышева просматривается последовательная, хотя и очень, на наш взгляд, странная, педагогическая система.

На первом этапе он делает свою малолетнюю жену свидетельницей любовных сцен между ним и его любовницей. Затем, когда Анна Евдокимовна уже становится женщиной, он предлагает ей завести любовника и сам берется обеспечить ее «кандидатом». Видимо, таким способом Карамышев полагал приобщить жену к свободе, при этом все время подчеркивая, что он ее любит и что ни его, ни ее свобода не затрагивают связи их сердец. Даже сквозь призму пересказов Лабзиной перед нами выступает поразительная сцена конфликта двух типов превращения философских теорий XVIII века в бытовое поведение: «…сколько я ему ни говорила, что неужто я не могу усладить его жизни и разве ему приятнее быть с чужими, — он отвечал: „Разве ты думаешь, что я могу тебя променять на тех девок, о которых ты говоришь? Ты всегда моя жена и друг, а это — только для препровождения времени и для удовольствия“. — „Да что ж это такое? Я не могу понять, как без любви можно иметь любовниц“. <…> Он засмеялся и сказал: „Как ты мила тогда, когда начнешь филозофствовать! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что есть наслаждение натуральное, и я не подвержен никакому ответу“» (с. 77–78). На подобное «просвещение» Лабзина просила мужа, чтобы он «оставил меня в глупых моих мнениях». Здесь вспоминаются и слова протопопа Аввакума своим противникам: «Умны вы с дьяволом», и нападки Руссо на умствования как источник разврата.

С такой же прямолинейностью и грубым насилием Карамышев пытался «отучать» свою жену и от других «предрассудков». Реальный быт столичного «просвещенного» дворянства давно уже к этому времени расстался с обязательным соблюдением постов. Известный мистик, министр просвещения в эпоху Александра I, князь А. Н. Голицын вспоминал эпизод, свидетелем которого он был, когда, в бытность свою пажом, прислуживал за столом Екатерины II. Во время позднего ужина в рождественский сочельник, в котором участвовали Потемкин и Суворов, стол был скоромным, и Суворов сидел, не прикасаясь к пище. На вопрос императрицы Потемкин насмешливым тоном отвечал, что Суворов — богомолец и будет поститься «до звезды»[422]. Екатерина II остроумно вышла из положения, приказав пажу подать из ее кабинета звезду ордена Андрея Первозванного и подала ее Суворову со словами: «Фельдмаршал, ваша звезда взошла».

Однако расстояние между практическим нарушением правил поста и демонстративными

поступками этого рода было очень велико. Карамышев придавал своему поведению в этих случаях характер «воспитательного поступка»[423]. Он не только не постился сам, но и насаждал «просвещение», заставляя свою рыдающую жену есть в пост скоромное.

Но диалога между мужем и женой не получалось: они говорили на разных языках. Его просвещение для нее было грехом. Их разделяла граница моральной непереводимости. А. Е. Лабзина на «просветительские» опыты мужа отвечала обличительной речью: «Я за тобой девятый год и не видала, когда б ты хоть перекрестился; в церькву не ходишь, не исповедываешься и не приобщаешься. Чего ж я могу ожидать лучшего? Нет мне, несчастной, никакой надежды к возвращению моего потерянаго спокойствия» (с. 69).

Таким образом, внимательное чтение текста позволяет нам высветить то, что лежит за его пределами: две культурные традиции, разделяющие в конце XVIII века русское дворянское общество, борются за воспитание молодой женщины. Причем следует отметить, что на поведение обеих конфликтующих сторон наложила отпечаток общая гуманность культуры XVIII века. Она выступает в поведении Хераскова. А даже самые обличительные описания Карамышева Лабзиной показывают в нем человека доброго, хотя и раздражительного. Он заботится о своих беззащитных подчиненных, и суровые «воспитательные мероприятия» в отношении к жене неизменно сменяются у него периодами нежности. Таким образом, мы становимся свидетелями не конфликта между добротой и злобой, а взаимной слепоты противоположных культур. Драматизм ситуации усугубляется тем, что два эти человека, говорившие на взаимно непереводимых языках и разгороженные стеной обоюдного непонимания, определенное время любили друг друга и причиняли взаимную боль, искренне желая друг другу добра.

Не будем, однако, забывать, что столкновение масонской и грубо вульгаризированной просветительской педагогики в их борьбе за внутренний мир героини мемуаров остается как бы за пределами текста. Сам же текст строится как восхождение мемуаристки по трудному пути, ведущему к Спасению. Это своеобразное «житие», автор которого с достигнутых им высот созерцает пройденный ею «узкий путь». Весь рассказ о своей жизни Лабзина организует, как уже было сказано, по агиографической схеме. Эпизоды реальной жизни становятся для нее достойными включения в мемуары, только если их можно распределить по канонам житийных сюжетов. Весь текст пронизан стилизованными монологами, которые превращают его в некоторое драматическое действо, своего рода назидательную пьесу. В мемуарах практически нет ни одной бытовой детали, которая не являлась бы иллюстрацией того или иного идейного положения. И тем не менее мемуары Лабзиной — ценный источник для историка. Он не увидит здесь подробной, объективной картины мира. Здесь он найдет глаза, которые на этот мир смотрят.

Люди 1812 года

А. А. Муравьев-Апостол с глубоким основанием сказал о поколении декабристов: «Мы были дети двенадцатого года». Война 1812 года дала целому поколению русской дворянской молодежи тот жизненный опыт, который привел мечтательных патриотов начала XIX века на Сенатскую площадь. Характер данной книги заставляет нас взглянуть на войну глазами историка военных действий, описывающего сражения и борьбу социально-политических и личных интересов не с вершины великих исторических событий, а так, как видел ее русский офицер, «свинца веселый свист заслышавший впервой». Нас будет интересовать каждодневный облик военных событий — та история, которую так живо чувствовал Лев Толстой, тот военный быт, внутри которого происходило духовное созревание молодых офицеров 1812 года[424].

Отечественная война 1812 года взорвала жизнь всех сословий русского общества, да, собственно говоря, и всей Европы. Войны в Европе не прекращались с 1792 года, они вспыхивали то на Рейне, то в Италии, захватывали то Альпы и Испанию, то Египет. Но когда война охватила пространство от Сарагосы до Москвы и на карту были поставлены, с одной стороны, империя Наполеона, а с другой — судьба всех народов Европы, события приобрели такую грандиозность, что эхо их до сих пор звучит в окружающем нас мире.

Война 1812 года началась в обстановке общественного подъема. Навязанный России в 1807 году мир и союз с Наполеоном воспринимался как поражение и позор. Наполеон, опьяненный военными успехами, допустил в Тильзите ряд серьезных ошибок. Заставив Россию принять экономически разорительные для нее условия, он одновременно не удержался от демонстративных жестов, оскорбительных для гордости русских[425]. В последовавшие за этим годы отношения между двумя главными в то время империями Европы накалились до предела. Дело явно шло к войне, и мысль о ней была популярна не только в армии, но и в массе русского дворянства.

Нельзя, однако, полагать, что в обществе не было колебаний. Прежде всего, двойственной была позиция самого царя. Слабовольный, но злопамятный (Александр I испытывал к Наполеону личную ненависть: он навсегда запомнил унижения, которым неосторожно подверг его торжествующий император Франции. Кроме того, Александр не мог не считаться с охватившей страну волной патриотизма. Александр I с глубоким недоверием относился и к М. И. Кутузову, и к Ф. В. Растопчину, однако он вынужден был предоставить обоим важнейшие должности, уступая общественному мнению.

Вместе с тем русский император был охвачен нерешительностью: Наполеон казался ему непобедимым. Александр все еще не мог забыть «солнце Аустерлица». Позже Пушкин писал: «Под Аустерлицем он бежал, В двенадцатом году дрожал».

Одновременно Александр I, глубоко не доверявший России, преувеличивал слабость своей империи. Это определило поведение царя в дни перед началом войны. С одной стороны, он подготавливал армию к войне и занимал бескомпромиссную позицию в дипломатических переговорах: инструкция, которую Александр дал направлявшемуся к Наполеону Балашову, фактически означала начало войны. Еще важнее детали, ставшие известными уже в недавнее время: вместе с Балашовым к Наполеону был отправлен с разведывательными заданиями молодой офицер, в будущем — один из лидеров декабризма, Михаил Орлов[426]. Характер сведений, которые должен был сообщать Орлов, ясно говорил о том, что в императорском штабе готовились к войне. Да и отчетливая ориентация самого Наполеона на войну не оставляла никакой другой возможности.

И все же Александр I до последней минуты надеялся на то, что пугавшей его войны удастся избежать. Известие о том, что Наполеон перешел Неман, застало императора в поместье Беннигсена. Историки зафиксировали слова Александра I, свидетельствовавшие о непримиримом настроении русского царя. Другую сторону ощущений императора в эту решительную минуту описал современник, получивший уникальную возможность стать свидетелем того, что Александр I тщательно скрывал. Государственным деятелям Александр в эти дни охотно повторял понравившееся ему выражение, что он скорее отпустит бороду и будет питаться одним хлебом, чем пойдет на мир с Наполеоном. В этом обществе царь демонстрировал твердость. Но был свидетель, перед которым Александр не счел нужным скрывать охватившую его растерянность. Это — карлик графа Платона Зубова, находившийся в эту пору вместе с зубовскими детьми в доме Беннигсена. В своих простодушных, написанных языком, далеким от литературности, мемуарах он рассказывает о поведении царя в первые минуты по получении известия о. вторжении Наполеона. Царь напрасно искал в переполненном гостями доме место, где бы он мог незаметно предаться чувствам. Автор мемуаров рассказывает, что Александр попросил карлика спрятать его от посторонних глаз, и карлик отвел русского императора в детскую, но и там ему не нашлось

места…[427]

Не менее показательно письмо Александра I к особенно близкой ему сестре — Екатерине Павловне. Письмо свидетельствует о неверии в себя, несправедливо низкой оценке главных русских полководцев и о паническом страхе царя перед Наполеоном. Не случайно бессмысленность и — более того — вред для русской армии от пребывания в ней императора вскоре осознали даже его сторонники. Решение о том, что государь должен покинуть армию, приняли ближайшие к нему вельможи, включая А. А. Аракчеева. Хотя приехавший в Москву император был торжественно встречен патриотически настроенными жителями и это несколько подсластило пилюлю, однако в Петербург Александр прибыл отнюдь не победителем.

Нельзя также не учитывать голосов (правда, крайне немногочисленной, а после падения М. М. Сперанского — совершенно умолкнувшей) группы политических деятелей, которые считали, что внутренние реформы России более необходимы, чем военные действия, и опасались, что война с Наполеоном надолго отбросит исполнение конституционных планов.

Подавляющее большинство русского общества было охвачено резкими антинаполеоновскими настроениями. Они были настолько сильны, что в напряженные моменты войны различие между отдельными идейными группами зачастую смазывалось. Приведем два характерных примера.

Николай Михайлович Карамзин, уезжая из Москвы (он покидал ее одним из последних, успев спасти лишь рукописи своей «Истории Государства Российского»), встретил при выезде из города своего старого знакомца, известного патриота, добродушного Сергея Глинку. Глинка — человек неуравновешенный, легко соединявший исключительную мягкость души с вспышками крайнего энтузиазма, — находился на вершине трагического восторга. Стоя в толпе возбужденного народа и почему-то размахивая большим ломтем арбуза, он пророчествовал о будущем ходе событий. Увидев Карамзина, Глинка обратился к нему с трагическим вопросом: «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!»[428] Карамзин молча сжался в глубине кареты — и вовремя: дискуссия с Глинкой в раскаленной атмосфере этого дня могла стоить писателю жизни.

Однако описанный эпизод имеет смысл сопоставить с другим, происшедшим в это же время. Карамзин, которого Глинка, по старой памяти, представил галломаном, провел день следующим образом. Накануне, отправив семью из Москвы, он переехал в дом к Ф. В. Растопчину, с которыми его связывали отношения свойства (они были женаты на сестрах). Характеры и симпатии Карамзина и Растопчина в «обычное» время были столь различны, что в иной ситуации их объединение могло бы изумить. В последние же дни перед сдачей Москвы Карамзин вечерами в доме Растопчина пророчил гибель Наполеона не хуже Сергея Глинки. Более того; утром того дня, когда Глинка разоблачал его «галломанию», Карамзин собирался лично принять участие в сражении у стен Москвы и покинул столицу только тогда, когда стало ясно, что она будет сдана без боя. Перед этим он благословил нескольких своих молодых друзей сразиться и погибнуть у стен Москвы.

Лев Толстой в «Войне и мире» глубоко проник в динамику общественных отношений и общественной психологии, показав, как вчерашний бонапартизм русских свободолюбцев в момент, когда война перенеслась на территорию России, сменился героическим патриотизмом. Патриотические настроения охватили и мужчин и женщин, что прекрасно передано и в «Войне и мире», и в уже неоднократно упоминавшемся нами пушкинском «Рославлеве», и в незаконченной драме-мистерии А. Грибоедова «1812 год».

Война с первых же дней изменила повседневную жизнь армии, создала совершенно новый быт, полностью противоположный довоенному порядку. Русская армия начала XIX века (в

отличие от армии петровской и суворовской в XVIII столетии) была «парадной армией». Под бой барабана и звуки флейты она должна была вышагивать, поднимая ногу, как в балете.

«Парадная армия» не только отличалась обилием условностей, бессмысленных с точки зрения логики войны. Унаследованная от прусской армии фрунтомания была не причудой Павла I и Павловичей, а политикой. Подобно тому, как дрессировщик, в подавляющем большинстве случаев, является естественным врагом животного, что исключает возможность их солидарности и сговора, прусская система обучения делала солдата и офицера врагами. Солдат ненавидел офицера больше, чем неприятеля, и офицер отвечал ему тем же. Прусская методика не только радовала глаза Павловичей балетной стройностью движений, но и воспитывала войско, в котором офицеры не могли бы в случае переворота рассчитывать на поддержку солдат. Такую армию можно было использовать для блистательной демонстрации вдохновенных изобретений фрунтомании, но для войны она не годилась. Не случайно в среде Павловичей повторялись слова: «Война портит армию».

1812 год отбросил подобные представления. Ему не нужна была «армия парадов». Истории стала необходимой народная армия, ей потребовались огромные массовые усилия, массовые жертвы.

У войны много разных сторон. Нас, как уже говорилось, интересует та сторона событий, которая волновала Л. Толстого и Стендаля, — поведение человека на войне.

Александр Твардовский писал:

Города сдают солдаты,

Генералы их берут.

Но между генералом и солдатом стоит офицер. В 1812 году это был молодой дворянин. Многие из этих офицеров, собственно говоря, и начнут жизнь на полях сражений. О них и пойдет речь.

Война создала совершенно новый стиль и темп жизни не только для солдат, но и для офицеров, особенно для тех, чей военный опыт был невелик. К трудностям похода они не успели привыкнуть. Например, если в дни отступления у генералов оставались коляски, денщики, деньги, то младшие офицеры в первые же дни войны все это растеряли: исчезли куда-то коляски, отстали денщики, крепостные повара оказались где-то совсем в других деревнях. А ведь офицеры в ту пору должны были питаться за свой счет, пищу надо было покупать самим — в разоренной стране и, как правило, почти не имея денег. (Не следует полагать, что офицер русской армии в массе своей был богатым. Хорошо обеспеченные молодые люди служили обычно в гвардии, армейский офицер очень часто происходил из небогатой семьи, и денежные его возможности были весьма невелики.)

Из дневника генерала Н. Н. Муравьева-Карского мы узнаем о бытовых условиях жизни молодого офицера в начале войны: братья Муравьевы сразу же оказались в прожженных, рваных шинелях; один из них заболел. При отступлении хаты были забиты ранеными, которых просто бросали на произвол судьбы; начался тиф, появились вши… Все это для молодых людей, которых воспитывали французы-гувернеры и которые проводили детство в Швейцарии, оказалось совсем новым. Но они увидели в первую очередь не свои невзгоды — они увидели Россию, народные страдания.

Трудно себе представить, насколько изменялась жизнь офицера, попадавшего в боевые

условия. На войне само собой отпало множество ненужных, но в мирное время обязательных деталей армейской жизни. Отпали не только парады, но и побудки, потому что на войне никого не будят и никого спать не укладывают — этим занимается неприятель. Здесь уже не требуют с солдат петличек, вычищенных сапог. А главное — офицерская молодежь оказалась гораздо ближе к солдатам.

До войны офицер встречался с солдатами как командир роты или батальона. Он приходил на время учений, к восьми утра, а примерно к двенадцати — часу дня он уходил. Дальше солдатами занимался фельдфебель. Теперь солдат и офицер — все время рядом, и мы увидим, какое огромное влияние окажет это на молодежь будущего декабристского поколения.

Между офицером и солдатом уже в период отступления сложились совершенно новые отношения. Их не следует идеализировать: отношения эти во многом вырастали на почве крепостного быта. Но помещик и крестьянин были не только врагами. Основной массе крестьян привилегированное положение барина казалось естественным — ненависть направлялась против «плохого» барина. Офицеры для солдат по-прежнему оставались господами, но теперь (а не во время парада!) существование их было осмысленно, мотивированно: воевать без них невозможно. Одновременно и офицеры увидели в солдатах соучастников в историческом событии. Особенно ярко проявился новый стиль отношений в партизанской жизни.

Н. Троицкий недавно показал, что партизанское движение задумано было еще до того, как Денис Давыдов изложил его принципы Кутузову[429]. Однако история справедливо связала партизанскую войну с именем Д. Давыдова. Поэт и воин-партизан оказался не только смелым практиком партизанского движения, но и разработал до сих пор уникальную его теорию. Он отметил неизбежную

народность партизанской войны, неизбежность сближения в ней солдата и офицера.

Очень интересно Денис Давыдов писал о том, что народная война потребовала совершенно иных навыков. Когда гусары Давыдова впервые показались в русских деревнях, в тылу у врага, русские мужики их чуть не перестреляли, потому что мундиры — и французские и русские в золотом шитье — были для крестьян одинаково чужими и они приняли гусар за французов. «Тогда, — пишет Давыдов, — я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но и приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным»[430]. Николаевского ордена в России не было, но этот святой, чей образ в народном сознании иногда даже заслонял Христа, глубоко национален. Происходит двойная замена: символа военного — церковным и дворянского — общенародным. Икона св. Николая и самим Давыдовым воспринималась как знак его сближения с народом — как и сама партизанская деятельность. Вопрос имел и практическую сторону. Только в таком виде (армяки, борода, икона), а главное — не говоря по-французски (что тоже было запрещено гусарам-партизанам), отряд Дениса Давыдова начал быстро обрастать крестьянами, и это послужило сигналом к народной войне, которая сыграла столь большую роль в окончательной судьбе наполеоновской армии и еще большую — в перестройке сознания русского образованного человека, дворянина.

Следует отметить и еще одно обстоятельство. Реальный быт всегда располагается в реальном пространстве. Молодые офицеры с первых дней войны были «выброшены» в совершенно новое пространство. В 1812 году (и вообще в ту пору) война была маневренная, подвижная, окопов не рыли, даже в таких больших сражениях, как Бородинское, — лишь наскоро сделанные флеши. Для русской армии война началась с отступления: по Смоленской дороге двигалась первая армия, потом, когда она соединилась со второй, — вся армия. Колонна растянулась на 30–40 верст. Кавалерист мог проскакать это расстояние за несколько

часов. Поэтому съездить в соседний полк к приятелю, к брату, к соседу по поместью стало вдруг очень просто: фактически вся офицерская молодежь России была собрана в эти дни на Смоленской дороге. Офицеров сближали и материальные трудности, о которых говорилось выше, и общий патриотический подъем, и общие мысли о судьбах страны. Шли нескончаемые беседы и споры. В них рождался новый человек — человек декабристской эпохи.

Просматривая фронтовые дневники и письма молодых офицеров этих дней (написанных зачастую по-французски), мы встречаем здесь напряженные размышления о России, о народе, а рядом с ними — мысли о литературе, рисунки и т. д. Мы с удивлением замечаем, что молодые офицеры в краткие часы ночного отдыха находят время спорить об искусстве, о человеческих нравах и привычках. Заглянем в дневник А. Чичерина.

В 1812 году молодому офицеру Александру Чичерину исполнилось девятнадцать лет (Чичерин едва дожил до двадцати лет, был тяжело ранен в Кульмском сражении и умер в военном госпитале в Праге; он похоронен там же, на русском кладбище; памятник ему стоит до сих пор). Юноша этот вел дневник (естественно, на французском языке). Воспитателем его был Малерб — довольно известный в Москве преподаватель. Он обучал и декабриста М. Лунина — и Лунин впоследствии назвал Малерба в числе людей, наиболее сильно на него повлиявших…

Семеновский офицер Чичерин живет в одной палатке с князем Сергеем Трубецким — будущим декабристом, затем — неудачным диктатором 14 декабря и многолетним каторжником, в одной палатке с Иваном Якушкиным — тоже будущим декабристом и каторжником. Сюда заезжает и Михаил Орлов, декабрист. Да и сам Чичерин, если бы через год его не сразила пуля француза из корпуса маршала Вандома, наверное, тоже попал бы в Сибирь.

Дневник Чичерина начинается сразу после Бородинского сражения (существовали и предшествующие дневники, но они, к сожалению, потеряны). Юноша (по сути дела — почти мальчик) записывает свои впечатления и рисует. Между Бородинским сражением и приходом русской армии в Москву он отмечает: «За один день я сделал три рисунка, написал две главы»[431].

Все записи Чичерина очень интересны: содержание дневника — реальная бытовая, во многом — случайная, то есть настоящая жизнь. «После Бородинского сражения мы обсуждали ощущения, которые испытываешь при виде поля битвы; нечего говорить о том, какой ход мысли привел нас к разговору о чувстве. Броглио (старший брат лицеиста — однокурсника Пушкина. —

Ю. Л.) не верит в чувство. <…> — Все это химеры, говорил Броглио, одно воображение: видишь цветок, былинку и говоришь себе: „Надо растрогаться“ и, хотя только что был в настроении самом веселом, вдруг пишешь строки, кои заставляют читателей проливать слезы. Я спорил, возражал ему целый час… Наконец пора было ложиться спать, а назавтра мы прошли через Москву» (с. 17).

Если бы Чичерин описывал свои чувства не в походном дневнике, а — через много лет — в мемуарах, он обязательно написал бы, что они думали в ночь перед тем, как «прошли через Москву», о судьбах России. И это была бы правда: конечно, именно такие мысли наполняли молодых офицеров перед оставлением Москвы. Но об этих сокровенных мыслях — слишком болезненных, — как правило, вслух не говорят — говорить о них нецеломудренно. Однако Чичерин и его собеседники читали Шиллера и Шекспира, и они сознают себя свидетелями великих событий. Но при этом анализируют в первую очередь свое к ним отношение. Не случайно те из них, кто выживет, сделаются романтиками. В ночь после Бородина молодые люди отрывают время от сна, чтобы осмыслить прошедший день, понять и проанализировать

свои чувства, сделать военные события фактами самосознания. Мы как бы подсмотрели самую интимную сторону исторического процесса — превращение события в факт мысли. Именно здесь начинается трансформация исторического действия — войны с Наполеоном — в факт исторического сознания, в события на Сенатской площади.

Следующая запись: «Война так огрубляет нас, чувства до такой степени покрываются корой, потребность во сне и пище так настоятельна, что огорчение от потери всего имущества[432] незаметно сильно повлияло на мое настроение — а я сперва полагал, что мое уныние вызвано только оставлением Москвы» (с. 17). Этот мальчик хотел бы быть только патриотом, но он еще должен есть, он еще должен спать, ему еще нужны простые средства к жизни, и это его, юного романтика, сильно огорчает.

Последняя запись интересна и в другом смысле: постоянное самонаблюдение закономерно приводит Чичерина к мыслям об искренности, об истинном смысле его настроений. Ему хочется подвергнуть самого себя, свой внутренний мир строгому самоанализу и строгому анализу своего анализа. В размышлениях Чичерина опознается тот ход мысли, который привел от психологии сентиментализма к толстовскому психологизму.

В кармане у Чичерина оказалась ассигнация, он ее вынул: «В тоске и печали я вертел в руках несколько ассигнаций… <…> Я дрожал при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров. Поговаривали о перемирии. Оно было бы позорным… Итак, я держал в руке ассигнацию. Взглянув на нее, я увидел надпись: „Любовь к отечеству“». Этой надписью юный офицер воспламенился, но повернув ассигнацию, он «прочел „50 рублей“. Разочарование было ужасно!» (с. 17). Даже в перерывах между сражениями, записывая мысли, полные бесхитростной искренности, молодой офицер не может удержаться от чисто стернианского стиля повествования.

Духовное становление Чичерина идет очень быстро. Уже через несколько дней после оставления Москвы он записывает: «Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем» (с. 20). Запись эта исключительно интересна. Что значит — «мечтать стать государем»? Конечно, никакой кадет (а в четырнадцать лет Чичерин был в кадетском корпусе) не мог мечтать стать императором России. Но зато у всех перед глазами был Наполеон — армейский офицер-артиллерист, который стал императором и держит в руках судьбы Европы. «Мы все глядим в Наполеоны», — говорил Пушкин. Однако Чичерин в четырнадцать лет об этом перестал мечтать — он начинает мечтать о свободе. Интересны записи Чичерина тарутинского периода, когда армия вышла из Москвы. У Чичерина есть любопытные размышления о том, как он видел Москву и не мог поверить, что он ее видел. Затем Тарутино, фланговый марш, армия вышла как будто бы в тыл французам, остановилась. Короткий перерыв — начинаются беседы. Тут, во время остановки (около месяца длился перерыв в боях), происходит исключительно быстрое умственное созревание юного офицера. Вот его новая запись: «Идеи свободы, распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унизительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, — разве не может все это привести к тревогам и беспорядкам?.. Мои размышления, пожалуй, завели меня слишком далеко. Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и может быть революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека… Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все разумеет и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья своих народов!» (с. 47). Размышления Чичерина очень типичны. В 1812 году, конечно, ни один человек в России не мог желать народной революции: это было бы совершенно не ко времени, и этого не было. Надежды возлагались на государя. Но мысль о необходимости свободы, о допустимости — в крайнем случае — и революций приходит в Тарутино в голову мальчику, которому нет еще двадцати лет. Это — влияние военных событий.

Иначе, гораздо более зрелым, встретил войну другой человек, судьба которого не менее характерна. Это профессор Дерптского (ныне Тартуского) университета Андрей Сергеевич Кайсаров. Он родился в 1782 году и погиб в 1813 году: время гибели Чичерина стало временем и его смерти, только Чичерин умер под Кульмом, в южной Германии, а Кайсаров — под Бауценом, значительно северней.

Духовная жизнь Кайсарова началась в Москве, в кружке молодых свободолюбцев, в последние месяцы жизни Павла I. Молодые люди зачитывались Шиллером. Их идеалов был Карл Моор — мятежный герой трагедии Шиллера «Разбойники». Все члены кружка мечтали о тираноубийстве, но жизненные пути их быстро разошлись. Самый талантливый из них, Андрей Тургенев, рано умер. Другой блестящий талант — А. Ф. Мерзляков — стал московским профессором; о нем Пушкин позже скажет: «Добрый пьяница Мерзляков, задохшийся в университетской атмосфере». Третий член Дружеского литературного общества — В. Жуковский. Кайсаров в ту пору — молодой офицер.

Под влиянием своих увлеченных литературой друзей Кайсаров выходит в отставку. Как и все члены кружка, он восторгается Шиллером, Гёте, позже Шекспиром. Но вскоре интересы его меняются. Остро чувствуя недостатки своего образования, Кайсаров начинает заниматься политической экономией — а затем решает сделаться ученым. Этот замысел обнаруживает большую умственную самостоятельность недавнего офицера: ученый — не дворянская профессия (вспомним слова Простаковой в «Недоросле»: география — «и наука-то не дворянская»). Среди профессоров в России не было до начала XIX века ни одного наследственного дворянина. Первым потомственным дворянином, занявшим университетскую кафедру, был Г. Глинка. Это чрезвычайное событие Карамзин отметил специальной статьей в «Вестнике Европы». Однако других дворян, желавших последовать примеру Глинки и Кайсарова, не нашлось. Действие «Горя от ума» происходит позже, но и там то, что «князь Федор» — химик и ботаник, вызывает возмущение именно как нарушение дворянского этикета («хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи»). Кайсаров не напрасно «упражнялся в расколах и в безверье», подобно герою «Горя от ума»: он тоже решился избрать уникальное в дворянской среде поприще ученого.

Путь к науке начинается с изучения иностранных языков. Как столичный дворянин (мать Кайсарова — москвичка, родовое поместье — в Саратовской губернии) Кайсаров владел французским с детства. Теперь начинается энергичное изучение других языков, прежде всего немецкого и английского. Путь молодого человека, стремящегося к науке, в ту пору неизбежно приводил в Германию. Кайсаров едет в Геттинген.

Геттингенский университет занимал среди европейских учебных заведений особое место. Геттинген — немецкий город, однако политическое положение его в раздробленной Германии особое: город этот принадлежал английской короне, и на территории его действовала английская конституция — Habeas Corpus act. В Геттингене собираются свободолюбивые профессора всей Германии. Здесь же преподает знаменитый исследователь русских летописей — профессор Шлецер, долго живший в Петербурге и связавший с Россией свою молодость. Шлецер покровительствует русским студентам, и не случайно в Геттингене в начала XIX века собирается молодежь, которая потом оставит заметный след в русской культуре. Одновременно с Кайсаровым в Геттингене учится Александр Тургенев, в будущем — друг и собеседник почти всех великих писателей, историков, крупных политиков Европы, человек, который в 1811 году привезет Пушкина в Лицей, а в 1837 году — единственный из друзей — повезет тело поэта из Петербурга в Святогорский монастырь. Через несколько лет в Геттингене появится брат Александра Тургенева — Николай Тургенев, будущий декабрист. Одновременно с Кайсаровым в Геттигенском университете находился А. П. Куницын, в будущем — один из любимых преподавателей пушкинского Лицея, которому поэт посвятил строки:

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…

(Пушкин, II, 972)

Сюда же Пушкин позже приведет Ленского. Кстати, указание на то, что Владимир Ленский был «с душою прямо геттингенской», обыкновенно истолковывается как намек на романтизм героя: читатель зачастую забывает о различии геттингенских либералов и немецких романтиков. Для Пушкина же упоминание Геттингена исполнено особого и глубокого смысла, и Ленский первоначально был отнюдь не случайно охарактеризован как «крикун, мятежник и поэт», а вместо «Германии туманной» ранее стояло:

Он из Германии свободной

[Привез] учености плоды

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий прямо благородный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч.

(VI, 267)

Современный читатель утрачивает значительную часть смысла этих строк, поскольку не придает значения деталям, как всегда у Пушкина — исключительно точным. «Всегда восторженная речь», столь свойственная, например, В. Кюхельбекеру, — черта «вдохновенного» и смешного в светском обществе романтического поведения. «Кудри черные до плеч» — тоже значимая для современников черта: англоман Онегин «пострижен по последней моде», а Ленский, либеральный романтик, подобно Шиллеру, носит кудри до плеч. Итоговая характеристика Ленского: «Поклонник славы и свободы» — вполне серьезна: иронический ее оттенок в контексте пушкинской строфы связан с отношением Пушкина 1824 года к романтическому либерализму. Геттингенец Кайсаров тоже был «поклонник славы и свободы».

В Геттингене у знаменитого Шлецера Кайсаров изучает русскую историю, экономику. Здесь же в 1806 году он защищает на латинском языке диссертацию (оказалось, что для ученого необходим и этот язык: и диссертация, и весь диспут — на латыни). Замечательно название работы — «De manumittendis per Russiam servis», что нужно перевести — «О необходимости освобождения рабов в России».

Однако геттингенский студент был не только свободолюбцем — черта в эти годы не столь уж исключительная. Кайсаров с необычайной энергией занимается политическими науками. По совету своего учителя Кайсаров разрабатывает программу чрезвычайно широкого изучения

народной жизни славян. Либерализм и народность сливаются у него в единый план создания «науки о народе» с неслыханным для того времени охватом материала и проблем. В замысел его входят исследования фольклора всех славянских народов. Он посещает земли чехов, лужицких сербов и хорватов. Его интересуют и сербы, и он совершает очень опасное путешествие в захваченные Турцией районы: отношения между Турцией и Россией в те годы были крайне враждебны.

К этому времени Кайсаров — университетски образованный человек. Он проводит известный срок в Англии и Шотландии. В Англии он, в частности, собирает рукописи, касающиеся русской истории. В Эдинбурге Кайсаров получает второй диплом доктора — на этот раз медицины. В 1810 году его избирают профессором Дерптского университета. Короткое время, проведенное им после возвращения из-за границы на родине, в Саратове, окончательно убедило его отказаться от всех проторенных для дворянина дорог. Он уже связал себя с «недворянскими науками» и решил избрать для себя будущее профессора в Дерпте (Дерпт все же не совсем Россия: возможно, что стать профессором какого-либо русского университета даже Кайсаров не решился бы).

В Дерпт молодой преподаватель приехал в начале 1811 года и, по-видимому, произвел хорошее впечатление: через год его избирают деканом. Он начал вести курс русского языка, начал работать над словарем всех славянских языков (грандиозный замысел!), над словарем древнерусского языка. Но тут запахло войной (ее еще не было, но гвардия отправилась уже в Вильно, туда же отправился и император). Из Дерпта Кайсаров с еще одним университетским профессором, Рамбахом, послал Барклаю де Толли письмо, предложив организовать в армии типографию. К этому времени Кайсаров владел уже практически всеми европейскими языками: в предложенном им плане пропаганды в армии Наполеона это было необходимо. Кроме того, Кайсаров предложил издавать первую в истории России полевую армейскую газету. Она вышла (один номер удалось найти) на двух языках: на русском и на немецком. Из Дерпта Кайсаров отправил в действующую армию из университетской типографии печатный станок и несколько типографских рабочих-эстонцев (к сожалению, их имена установить не удалось).

Весь период отступления Кайсаров провел в очень трудных условиях: его товарищ, профессор Рамбах, вернулся в Дерпт и вся деятельность типографии легла на его плечи. Он получил чин майора ополчения и один начал трудное дело — издание печатной продукции в отступающей армии. По-видимому, Кайсаров был автором тех листовок, которые направлялись во французскую армию от имени Барклая де Толли.

Положение походной типографии несколько изменилось к лучшему, когда в армию приехал Кутузов. Брат Кайсарова, Паисий, был любимым адъютантом Кутузова (многим, видимо, он известен по картине «Совет в Филях»). Он оказал помощь Андрею Кайсарову в организации типографии штаба. Типография превратилась фактически в голос молодых офицеров, группировавшихся вокруг Кутузова и активно его поддерживавших.

После Бородинского сражения, во время ночного отступления, Кайсаров встретил своего старого друга, поэта В. Жуковского. Через Москву они прошли вместе. Александр Чичерин провел ночь после сражения в философских спорах с друзьями; Кайсаров и Жуковский иначе: они зашли в Успенский собор в Кремле и отслужили молебен за спасение России. Размышления Чичерина о будущем России и молебен Кайсарова и Жуковского — две стороны того нового, что переживала русская молодежь в 1812 году. Офицеры из армии Потемкина и Суворова думали и говорили о другом.

Типография Кайсарова развила особенно активную деятельность в Тарутинском лагере. Плоды ее, видимо, дошли до нас далеко не полностью. Когда Кутузов умер, Паисий и Андрей Кайсаровы пошли в партизанский отряд, и там А. С. Кайсаров погиб.

События 1812 года охватили весь дворянский мир России. Однако переживание этих событий не было однородным. Кроме рассмотренных уже Петербурга и Москвы, был еще третий мир — дворянская провинция. Облик провинции 1812 года резко отличается от ее обычной каждодневности. Большое число жителей Москвы отхлынуло в провинцию: те, кто имел поместья в Саратовской губернии, на Украине, в Орловской или Курской губерниях, направлялись в свои вотчины, чаще — в близкие к ним губернские города: время настраивало на общественность и люди предпочитали оседать группами, собираться вместе. Письма из армии и кутузовские реляции, печатавшиеся на отдельных листах толстой голубоватой бумаги, передавались из рук в руки. В это время частное письмо выполняло порой функцию газеты: его не стеснялись передавать и переписывать. Это, равно как и прилив в провинцию богатых столичных жителей, оживляло ее. Отличительной чертой 1812 года стало стирание резких противоречий между столичной, погруженной в политику, жизнью и «вековой тишиной» жизни провинциальной.

Вместе с тем драматически складывалась судьба тех, кто, покинув Москву, оказывался отрезанным от своих поместий, занятых французами, или вообще поместий не имел (как, например, Карамзин, давно уже практически передавший свою земельную собственность брату). Попавшие в Нижний, в уральские или поволжские города, часто уезжавшие из Москвы, все оставив или, как Ростовы в «Войне и мире», скинув с телег имущество, чтобы разместить раненых, оказывались в непривычно бедственном положении. Заброшенный в Нижний Новгород и кое-как там перебивавшийся Василий Львович Пушкин писал:

Примите нас под свой покров,

Питомцы волжских берегов!

Примите нас, мы все родные!

Мы дети матушки Москвы!

Веселья, счастья дни златые,

Как быстрый вихрь промчались вы!

Чад, братий наших кровь дымится,

И стонет с ужасом земля!

А враг коварный веселится

На башнях древнего Кремля!

Стихи Василия Львовича Пушкина не отличались художественной силой, но такие слова в них, как «Жилища в пепел обратились» или же сказанные о Наполеоне:

Погибнет он! Бог русских грянет!

Россия будет спасена![433] —

видимо, действовали на слушателей (Василий Львович любил читать свои стихи)

безотносительно к их художественным достоинствам.

Многие московские семьи — люди, укрепленные в Москве корнями и проводившие там всю жизнь, за исключением поездок за границу, на воды, или путешествий в родовые деревни, — оказались разбросанными в центральных и восточных губерниях России. Трагична была участь семьи Карамзина. Карамзин отправил свою семью в деревню, а сам до последней минуты оставался в Москве. Вот что он писал Дмитриеву в Петербург 20 августа 1812 года: «… отправил жену и детей в Ярославль с брюхатою княгинею Вяземскою[434]; сам живу у графа Ф. В. Растопчина и готов умереть за Москву, если так угодно Богу. Наши стены ежедневно более и более пустеют: уезжает множество». В этом письме Карамзин с неожиданной для его суховатых писем эмоциональностью пишет, что Растопчина он полюбил «как Патриот Патриота». Письмо написано в переломную для Карамзина минуту: он отказывается от начатого им огромного труда — «Истории», ибо готовится делать историю, а не описывать ее: «Я простился и с Историею: лучший и полной экземпляр ея отдал жене, а другой в Архив Иностранной Коллегии. Теперь без Истории и без дела читаю Юма о

Происхождении идей !!

<…> Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю. Увы! Василий Пушкин убрался в Нижний»[435]. В этом письме характерно многое: и чтение Юма, в котором Карамзин искал исторических ответов, и умолчание о том, что сам он собирается пойти в ополчение и драться у стен Москвы (это могло бы прозвучать как невольный упрек коренному москвичу Дмитриеву, проводившему эти дни в безопасном Петербурге), и явная ирония в адрес непатриотического, как кажется Карамзину, поступка Василия Львовича Пушкина.

Сражение под Москвой не состоялось, и Карамзин вынужден был одним из последних покинуть город. Следующее письмо Дмитриеву он написал почти через два месяца — 11 октября — из Нижнего Новгорода: «Выехав из Москвы в тот день, когда наша Армия предала ее в жертву неприятелю[436], я нашел свое семейство в Ярославле и оттуда отправился в Нижний. Думаю опять странствовать, но только без жены и детей, и не в виде беглеца, но с надеждою увидеть пепелище любезной Москвы: граф П. А. Толстой предлагает мне идти с ним и с здешним ополчением против Французов. Обстоятельства таковы, что всякой может быть полезен или иметь эту надежду: обожаю подругу, люблю детей; но мне больно

издали смотреть на происшествия решительныя для нашего отечества». Далее Карамзин как бы подводит черту предшествующей жизни: «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но История цела: Камоэнс спас „Лузиаду“[437]. Жаль многого, а Москвы всего более… <…> В какое время живем! Все кажется сновидением»[438].

Карамзину дорого достался уход из Москвы: он потерял не только труды многих лет, но и одного ребенка, умершего в дороге.

События взволновали и провинцию. Служивший в эту пору в Пензе Ф. Ф. Вигель рассказывал о впечатлении, которое произвело на него известие о взятии Москвы. «В воскресенье, 8 сентября, день рождества Богородицы, пошел я на поклонение губернатору. Я нашел его в зале, провожающего князя Четвертинского. Я худо поверил глазам своим, и у меня в них помутилось. Не будучи с ним лично знаком, много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы; знал также, что, по усиленной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк. Какими судьбами он в Пензе? Что имеет он с нею общего? Оборотясь к одному из братьев Голицыных и на него указывая: „Что это значит?“ — спросил я. — „Он приехал, —

отвечал он мне, — навестить жену свою, которая теперь с матерью находится в Пензе, проездом в Саратовское имение“. — „А что армия?“ — спросил я. — „Он видел ее на Поклонной горе, где собирались, кажется, дать последнее решительное сражение“. Приезд Четвертинского мне все сказал. Он не хочет быть дурным вестником, подумал я, и на день, на два оставляет нам еще надежду.

Целый день ходил я как шальной, избегая, елико возможно, делать вопросы. Вечером навестили меня братья Ранцовы, из коих старший был некогда моим товарищем в министерстве внутренних дел; вид их показался мрачен и угрюм. Говоря о том о сем, „завтра понедельник, — сказал я, — что-то привезет нам завтрашняя почта?“ — „Нет, — сказал мне младший Ранцов, — не ждите ее, она уже не придет“ — и… объявил мне истину. Четвертинский не мог скрыть ее от губернатора, а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или трем столь же скромным людям, так что к вечеру, кроме меня, почти весь город знал, что Москва сдана без бою»[439].

Известие о падении Москвы лишь у немногих современников вызвало ту реакцию, которая подсказала И. Кованько «Солдатскую песнь»:

Хоть Москва в руках Французов,

Это, право, не беда! —

Наш фельдмаршал князь Кутузов

Их на смерть впустил туда. [440]

Не только один Вяземский был охвачен пессимизмом. Князь М. А. Дмитриев-Мамонов, не успевший к Бородинскому сражению сформировать свой полк, присутствовал на поле боя, оставив на время место формирования. Оставление Москвы не охладило Мамонова, но избранный им в командиры полка (Мамонов был назначен шефом созданной им части) Б. А. Четвертинский явно упал духом. Вигель вспоминает, как этот блестящий молодой офицер, отличавшийся как смелостью, так и исключительной красотой[441], оставив формировавшийся полк, явился вдруг в Пензу с известиями о падении Москвы. Тот же мемуарист рисует выразительную картину реакции провинциального дворянского общества на военные известия: «Всю осень, по крайней мере, у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались. Что касается до нас, мущин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор [кн. Ф. С. Голицын] не мог упустить случая пощеголять новым костюмом; он нарядился, не знаю, с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темно-зеленого цвета с светло-зеленой выпушкой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою» [442].

Военные события сблизили Москву и провинцию России. Московское население «выхлестнулось» на обширные пространства. В конце войны, после ухода французов из Москвы, это породило обратное движение. Бенкендорф в своих мемуарах рассказывает, что Москва сразу же после ухода французов оказалась заполненной толпами жителей. Среди них были и мародеры, и окрестные крестьяне, приезжавшие с пустыми телегами, но имелось

также значительное число людей, возвращающихся на пепелище. Город возрождался с исключительной быстротой.

Сближение города и провинции, столь ощутимое в Москве, почти не сказалось на жизни Петербурга этих лет. Более того, занятие Москвы неприятелем отрезало многие нити, связывавшие Петербург со страной. Отправлявшиеся в столицу вынуждены были совершать долгие обходные пути. Известно, какую Одиссею пришлось вынести московским актерам, прежде чем они добрались до столицы. Однако Петербург не был отделен от переживаний этого времени. Защищенный армией Витгенштейна, в относительной безопасности, он гораздо меньше действовал, чем Москва и провинция, но зато имел возможность осмыслять события в некоторой исторической перспективе. Именно здесь возникли такие эпохально важные идеологические явления, как независимый патриотический журнал «Сын Отечества», в будущем сделавшийся основным изданием первого этапа декабристского движения. Многие из первых ростков декабризма оформились именно здесь, в беседах вернувшихся из военных походов офицеров.

Декабрист в повседневной жизни

Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей: выработкой общественно-политических программ и концепций, размышлениями о тактике революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. К этим (и многим другим рассматривавшимся в научной литературе) важным сторонам деятельности декабристов следует добавить еще одну, до сих пор остававшуюся в тени. Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании

особого типа русского человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история. В этом смысле они выступили как подлинные новаторы, и, быть может, именно эта сторона их деятельности оставила наиболее глубокий след в русской культуре. Специфическое, весьма необычное в дворянском кругу поведение значительной группы молодых людей, находившихся по своим талантам, характерам, происхождению, по своим личным и семейным связям, служебным перспективам[443] и т. д. в центре общественного внимания, оказало воздействие на целое поколение русских людей. Идейно-политическое содержание дворянской революционности породило и особые черты человеческого характера, и особый тип поведения, в том числе поведения повседневного, бытового. Рассмотреть некоторые из его основных признаков — такова цель настоящей главы.

Однако существовало ли

особое бытовое поведение декабриста, позволявшее отличить его не только от реакционеров и «гасильников»[444], но и от массы современных ему либеральных и образованных дворян? Изучение материалов позволяет ответить на этот вопрос положительно. Мы это и сами ощущаем непосредственным чутьем культурных преемников. Так, еще не вдаваясь в чтение комментариев, мы воспринимаем Чацкого как декабриста, хотя он не показан нам на заседании «секретнейшего союза». Мы видим его в бытовом окружении, в московском барском доме. Несколько фраз в монологах Чацкого, характеризующих его как врага рабства и невежества, конечно, существенны для нашего толкования, но не менее важна его манера держать себя и говорить. Именно

по поведению Чацкого в доме Фамусовых, по его отказу от определенного типа бытового поведения:

У покровителей зевать на потолок,

Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,

Подставить стул, поднять платок… —

он безошибочно определяется Фамусовым как «опасный человек».

Многочисленные документы отражают различные стороны бытового поведения дворянского революционера и позволяют говорить о декабристе как об определенном культурно-историческом и психологическом типе. При этом не следует, конечно, забывать, что каждый человек в своем поведении не реализует одну какую-либо программу действия, а постоянно осуществляет выбор. Та или иная стратегия поведения диктуется обширным набором социальных ролей. Каждый отдельный декабрист в своем реальном бытовом поведении отнюдь не всегда вел себя как декабрист: он мог действовать как дворянин, как офицер (уже: гвардеец, гусар, штабной теоретик), аристократ, мужчина, русский, европеец, молодой человек и проч. и проч.

Однако в этом сложном наборе возможностей существовало и некоторое специальное поведение, особый тип речей, действий и реакций, присущий именно члену тайного общества. Природа этого особого поведения нас и будет интересовать главным образом. Показательно не только то, как

мог себя вести декабрист, но и то, как он

не мог себя вести, отвергая определенные варианты дворянского поведения его поры. Последнее особенно важно для понимания еще одной стороны вопроса: многое из того, что современному читателю кажется «естественной нормой», было решительно несовместимо с поведением декабриста. Поведение это не будет нами описываться в тех его проявлениях, которые

совпадали с контурами облика русского просвещенного дворянина начала XIX столетия. Мы постараемся указать лишь на специфику, которую наложил декабризм на жизненное поведение тех, кого мы называем дворянскими революционерами.

Конечно, каждый из декабристов был живым человеком и в определенном смысле вел себя неповторимым образом: Рылеев в быту не похож на Пестеля, Орлов — на Н. Тургенева или Чаадаева. Поведение людей индивидуально, но это не отменяет законности изучения таких проблем, как «психология подростка» (или любого другого возраста), «психология женщины» (или мужчины) и — в конечном счете — «психология человека». Необходимо дополнить взгляд на историю как на поле проявления разнообразных социальных, общеисторических закономерностей рассмотрением ее как результата «деятельности людей». Без изучения историко-психологических механизмов человеческих поступков мы неизбежно будем оставаться во власти весьма схематичных представлений. И более того, именно то, что исторические закономерности реализуют себя не прямо, а посредством психологических механизмов, само по себе есть важнейший механизм истории. Он избавляет ее от фатальной предсказуемости процессов.

Декабристы были в первую очередь людьми действия. В этом сказалась и их установка на практическое изменение политического бытия России. В этом проявился и личный опыт большинства декабристов как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство не меньше, чем умение

составить тот или иной программный документ или провести теоретический диспут. Политические доктрины интересовали их, как правило (конечно, были и исключения — например, Н. Тургенев), не сами по себе, а как критерии для оценки и выбора определенных путей действия. Ориентация именно на деятельность ощущается в насмешливых словах Лунина о том, что Пестель предлагает «…наперед Енциклопедию написать, а потом к Революции приступить»[445]. Даже те из членов тайных обществ, которые были наиболее привычны к штабной работе, подчеркивали, что «порядок и формы» нужны именно для «успешнейшего действия» (слова С. Трубецкого).

В этом смысле представляется вполне оправданным то, что мы выделим для рассмотрения лишь один аспект —

поведение декабриста, его поступки, а не внутренний эмоциональный мир. Необходимо ввести еще одну оговорку: декабристы были

дворянскими революционерами, поведение их было поведением русских дворян и соответствовало в существенных своих сторонах нормам, сложившимся между эпохой Петра I и Отечественной войной 1812 года. Даже отрицая сословные формы поведения, борясь с ними, опровергая их в теоретических трактатах, они оказывались органически с ними связанными в собственной бытовой практике. Если целью движения было определенное

действие (преобразование русской действительности), то главной формой действия парадоксально оказалось

речевое поведение декабриста. Трудно назвать эпоху русской жизни, в которую устная речь: разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филиппики — играла бы такую роль. От момента зарождения движения, который Пушкин метко определил как «дружеские споры» «между Лафитом и Клико», до трагических выступлений перед Следственным комитетом декабристы поражают своей «разговорчивостью», стремлением к словесному закреплению своих чувств и мыслей. Пушкин имел основание так охарактеризовать собрание «Союза благоденствия»:

Витийством резким знамениты

Сбирались члены сей семьи…

(VI, 523)

Это давало возможность — с позиций более поздних норм и представлений — обвинять декабристов во фразерстве и замене дел словами. Однако не только «нигилисты» — шестидесятники, но и ближайшие современники, порой во многом разделявшие идеи декабристов, склонны были высказываться в этом духе. Чацкий с позиций декабризма, как показала М. В. Нечкина, упрекает Репетилова в пустословии и фразерстве. Но он и сам не уберегся от такого же упрека со стороны Пушкина: «Все, что говорит он — очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале Московским Бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело…» (Письмо к А. Бестужеву до конца января 1825 года).

П. Вяземский в 1826 году, оспаривая правомерность обвинения декабристов в цареубийстве, будет подчеркивать, что цареубийство есть действие, поступок. Со стороны же заговорщиков не было сделано, по его мнению, никаких попыток перейти от слов к делу. Он определяет их поведение как «убийственную болтовню» («bavardage atroce»)[446] и решительно оспаривает

возможность осуждать за слова как за реализованные деяния. Это не только юридическая защита жертв неправосудия. В словах Вяземского есть и указания на то, что «болтовня» в действиях заговорщиков перевешивала «дело». Свидетельства этого рода можно было бы умножить.

Было бы, однако, решительным заблуждением видеть в «витийстве резком» лишь слабую сторону декабризма и судить их тем судом, которым Чернышевский судил героев Тургенева. Задача историка не в «осуждении» или «оправдании» деятелей, имена которых принадлежат истории, а в попытке объяснения указанной особенности.

Современники выделяли не только «разговорчивость» декабристов — они подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелляционность приговоров, «неприличную», с точки зрения светских норм, тенденцию называть вещи своими именами, избегая условностей светских формулировок. Декабристов характеризовало постоянное стремление высказывать без обиняков свое мнение, не признавая утвержденного ритуала и правил светского речевого поведения. Такой резкостью и нарочитым игнорированием «речевого приличия» прославился Николай Тургенев. Подчеркнутая несветскость и «бестактность» речевого поведения определялась в близких к декабристам кругах как «спартанское» или «римское» поведение. Оно противопоставлялось отрицательно оцениваемому «французскому». Темы, которые в светской беседе были запретными или вводились эвфемистически (например, вопросы помещичьей власти, служебного протекционизма), становились предметом прямого обсуждения.

Дело в том, что поведение образованного, европеизированного дворянского общества Александровской эпохи было принципиально двойственным. В сфере идей и «идеологической речи» усвоены были нормы европейской культуры, выросшей на почве просветительства XVIII века. Но сфера практического поведения, связанная с обычаем, бытом, реальными условиями помещичьего хозяйства, реальными обстоятельствами службы, выпадала из области «идеологического» осмысления. Естественно, в речевой деятельности она связывалась с устной, разговорной стихией, минимально отражаясь в текстах высокой культурной ценности. Таким образом, создавалась иерархия поведений, построенная по принципу нарастания культурной ценности. При этом выделялся низший — чисто практический — пласт, который с позиции теоретического сознания «как бы не существовал».

Именно такая плюралистичность поведения, возможность выбора стилей поведения в зависимости от ситуации, двойственность, заключавшаяся в разграничении практического и идеологического, характеризовала русского

передового человека начала XIX века. И она же отличала его от дворянского

революционера. (Вопрос этот весьма существен, поскольку нетрудно отделить облик Скотинина от облика Рылеева, но значительно содержательнее противопоставить Рылеева Дельвигу или Николая Тургенева — его брату Александру).

Декабрист своим поведением отменял иерархичность и стилевое многообразие поступка Прежде всего отменялось различие между устной и письменной речью: высокая упорядоченность, политическая терминологичность, синтаксическая завершенность письменной речи переносилась в устное употребление. Фамусов имел основание сказать, что Чацкий «говорит как пишет». В данном случае это не только поговорка: речь Чацкого резко отличается от слов других персонажей именно своей книжностью. Он «говорит как пишет», поскольку видит мир в его идеологических, а не бытовых проявлениях.

Одновременно чисто практическое поведение делалось объектом не только осмысления в терминах и понятиях идейно-философского ряда. Оно переходило из разряда

неоцениваемых действий в группу поступков, осмысляемых как «благородные» и «возвышенные» или «гнусные», «хамские» (по терминологии Н. Тургенева) и «подлые»[447].

Приведем один на редкость выразительный пример. Пушкин записал характерный разговор: «Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. „Я женат“, — отвечал Рылеев. „Так что же, — сказал Д<ельвиг>, — разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?“» (XII, 159).

Зафиксированный Пушкиным разговор Дельвига и Рылеева интересен не столько для реконструкции реально-биографических черт их поведения (и тот и другой были живыми людьми, действия которых могли регулироваться многочисленными факторами и давать на уровне бытовых поступков бесчисленное множество вариантов), сколько для понимания их отношения к самому принципу поведения.

Перед нами — столкновение «игрового» и «серьезного» отношения к жизни. Рылеев — человек серьезного поведения. Не только на уровне высоких идеологических построений, но и в быту такой подход подразумевает для каждой значимой ситуации некоторую

единственную норму правильных действий. Дельвиг, как и арзамасцы или члены «Зеленой лампы», реализует «игровое» поведение, неоднозначное по сути. В реальную жизнь переносится ситуация игры, позволяющая считать в определенных случаях допустимой условную замену «правильного» поведения противоположным.

Декабристы культивировали серьезность как норму поведения.

Завалишин характерно подчеркивал, что он «был всегда серьезным» и даже в детстве «никогда не играл»[448]. Столь же отрицательным было отношение декабристов к культуре словесной игры как форме речевого поведения. В процитированном обмене репликами собеседники, по сути, говорят на разных языках: Дельвиг совсем не предлагает всерьез воспринимать его слова как декларацию моральных принципов — его интересует острота высказывания, mot. Рылеев же не может наслаждаться парадоксом там, где обсуждаются этические истины. Каждое его высказывание — программа.

С предельной четкостью противопоставление речевой игры и гражданственности выразил Милонов в послании Жуковскому, показав, в какой мере эта грань, пролегавшая внутри лагеря прогрессивной молодой литературы, была осознана.

…останемся мы каждый при своем —

С галиматьею ты, а я с парнасским жалом;

Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;

Потомство судит нас, а не твои друзья,

А Блудов, кажется, меж нами не судья. [449]

Тут дан важный набор противопоставлений: галиматья (словесная игра, самоцельная шутка) — сатира, высокая, гражданственная и серьезная; Шиллер, чье имя связывается с фантазией балладных сюжетов — Ювенал, воспринимаемый как поэт-гражданин; суд литературной элиты, мнение замкнутого кружка[450] — мнение потомства. Для того чтобы представить во всей полноте смысл начертанной Милоновым антитезы, достаточно указать, что она очень близка к критике Жуковского Пушкиным в начале 1820-х годов, включая и выпад против

Блудова (см. письмо Жуковскому, датируемое 20-ми числами апреля 1825 года).

Визит «к девкам», с позиции Дельвига, входит в сферу бытового поведения, которое никак не соотносится с идеологическим. Возможность быть одним в поэзии и другим в жизни не воспринимается им как двойственность и не бросает тени на характер в целом. Поведение Рылеева в принципе едино, и для него такой поступок был бы равносилен теоретическому признанию права человека на аморальность. То, что для Дельвига вообще не имеет значения (не является знаком), для Рылеева было бы носителем идеологического содержания. Так разница между свободолюбцем Дельвигом и революционером Рылеевым рельефно проявляется не только на уровне идей или теоретических концепций, но и в природе их бытового поведения.

Карамзинизм утвердил многообразие поведений, их смену как норму поэтического отношения к жизни. Карамзин писал:

Чувствительной душе не сродно ль изменяться?

Она мягка как воск, как зеркало ясна…

…Нельзя ей для тебя

единою казаться[451].

Напротив того — для романтизма поэтическим было единство поведения, независимость поступков от обстоятельств. «Один — он был везде, холодный, неизменный…» — писал Лермонтов о Наполеоне. «Будь самим собою», — писал А. Бестужев Пушкину. Священник Мысловский, характеризуя поведение Пестеля на следствии, отмечал: «Везде и всегда был равен себе самому; ничто не колебало твердости его».

«Единство стиля» в поведении декабриста имело своеобразную особенность — общую «литературность» поведения романтиков, стремление все поступки рассматривать как знаковые. Это, с одной стороны, приводило к увеличению роли жестов в бытовом поведении. (Жест — действие или поступок, имеющий не столько практическую направленность, сколько некоторое значение; жест — всегда знак и символ. Поэтому всякое действие на сцене, включая и действие, имитирующее полную освобожденность от театральности, полную естественность, — есть жест; значение его — замысел автора. И наоборот: жестовое поведение всегда в той или иной степени кажется театрализованным.) С этой точки зрения, бытовое поведение декабриста представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. Следует сразу же сказать, что «театральность» поведения в предлагаемом здесь смысле никак не означает его неискренности или каких-либо иных негативных характеристик. Это лишь указание, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл, причем оцениваются не сами поступки, а их символическое значение.

Однако подчеркнутое внимание к слову, жесту, поведению в целом, которое придает ему, в наших глазах, характер театрализованности, для самого декабриста связывалось с восприятием себя как исторического лица, а своих поступков — как исторических. Вступление в тайное общество осознавалось декабристом как переход в мир исторических лиц. Тайное общество — союз великих людей. Поведение же великого человека должно коренным образом отличаться от обыденной жизни пошлого человечества. Оно принадлежит Истории и будет изучаться философами, воспеваться поэтами.

Осознание себя как исторического лица заставляло оценивать свою жизнь как цепь сюжетов

для будущих историков, а вслед за ними — поэтов, художников, драматургов. С этой позиции в оценку собственной реальной жизни невольно вмешивался взгляд со стороны — с точки зрения потомства. Потомок — зритель и судья того, что великие люди

разыгрывают на арене истории. И декабрист всегда ощущает себя на высокой исторической

сцене. Отчетливо это чувство проявилось в словах самого молодого из декабристов, Александра Одоевского, с которыми он вышел из квартиры Рылеева на Сенатскую площадь: «Умрем, братцы, ах, как славно умрем!» С точки зрения политического деятеля, общая гибель связана с неудачей, провалом и, следовательно, может вызывать лишь горькие чувства. Но с точки зрения грядущего историка, поэта или трагика героическая смерть может выглядеть величественнее, чем прозаическая победа.

«Литературность» и «театральность» практического, будничного поведения приводила к перемещению привычных смысловых связей. В обычной жизни слово вызывает поступок: сказанное словами получает реальное завершение в действии. В жизненном поведении декабриста, как на сцене, порядок оказывается противоположным: поступок как практическое действие увенчивался Словом — его итогом, оценкой, раскрытием его символического смысла. То, что сделано, но осталось не названным в теоретической декламации, в записи историка или в каком-либо еще тексте, — пропало для памяти потомства и

как бы не существует. В жизни слово существует, если влечет за собой действие, — в воззрениях декабриста поступок существует, если увенчивается Словом. Чуждый романтизму Гёте провозгласит в «Фаусте», перефразируя Библию: «В начале было Дело». Для просветителя XVIII века в начале было Слово. Для декабриста Слово было и началом, и венцом, и импульсом к историческому действию, и его высшим смыслом.

Бытовой язык светского общества был разнообразно эвфемистичен. Вспомним знаменитое гоголевское «я облегчила себе нос», заменявшее в речи провинциальных дам называние «неприличных» действий. Связь такого языка с карамзинизмом отчетливо улавливалась современниками. Не случайно и литературному языку карамзинистов, и светской речи уже в декабристскую эпоху предъявлялось одно и то же обвинение — в жеманстве. Тенденция ослаблять, «разбалтывать» связь между словом и тем, что оно обозначает, позже вызывала у Л. Толстого устойчиво отрицательное отношение как проявление лицемерия в речи светских людей.

На том же принципе словесного «облагораживания» низкой деятельности строилась чиновническая подьяческая речь с ее «барашком в бумажке», означающим взятку, и эвфемистическим «надо доложить» в значении «следует увеличить сумму», специфическими значениями глаголов «давать» и «брать». Вспомним хор чиновников в «Ябеде» Капниста: «Бери, большой тут нет науки…» Вяземский, комментируя эти стихи, писал: «Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком бранье речь идет. Глагол

пить также само собой равняется глаголу

пьянствовать … <…> Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слово

достоин и

способен, часто хотелось бы ему прибавить: „способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения“»[452].

На этой основе происходило порой перерастание практического языка канцелярий в тайный язык, напоминающий жреческий язык для посвященных. От посетителя требовалось не только выполнение некоторых действий (дача взятки), но и умение разгадать загадки,

поскольку по их принципу строилась речь чиновников. На этом построен, например, разговор Варравина и Муромского в «Деле» А. Сухово-Кобылина. Образец такого же приказного языка находим у А. Чехова:

«— Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками. — Вот что, любезный, — сказал ему Початкин, — дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре»[453].

Однако отказ от эвфемизмов, требование называть вещи своими именами не сделали лексику декабриста стилистически «низкой», вульгарной или даже просто бытовой. Достаточно сопоставить стиль речей Чацкого и московских «старух» и «стариков», чтобы понять еще одно резкое отличие декабристского языка от языка света. Язык Чацкого книжен и патетичен, язык «грибоедовской Москвы» — сочен и привлекает нас сейчас богатством смысловых оттенков. Но с позиций самого Грибоедова речи Чацкого — патетический и гневный язык гражданина, а Москва говорит языком «старух зловещих, стариков».

И наконец, слово декабриста — всегда слово, гласно сказанное. Декабрист

публично называет вещи своими именами, «гремит» на балу и в обществе, поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и начало преобразований. Федор Глинка — один из активнейших и трогательно благородных людей эпохи, писатель, боевой офицер, полковник гвардии и полунищий бессребреник, идя на бал, записывает: «Порицать 1) Аракчеева и Долгорукова, 2) военные поселения, 3) рабство и палки, 4) леность вельмож, 5) слепую доверенность к правителям канцелярий…»[454] Он идет на бал как на кафедру — «греметь» и поучать. Тут же на балу он оглашает случаи крепостнических злоупотреблений и организует подписки для выкупа на волю крепостного поэта или скрипача. Конечно, такое поведение в свете казалось наивным и смешным. Простодушен Ф. Глинка, «неуклюж» В. Кюхельбекер, неловок и «бестактен» Пьер Безухов в «Войне и мире». Однако прямолинейность и даже некоторая наивность, способность попадать в смешные, со светской точки зрения, положения были так же совместимы с поведением декабриста, как и резкость, гордость и даже романтическое высокомерие. Поведение декабриста абсолютно исключает вовсе не эти «странности», а уклончивость, игру оценками, способность «попадать в тон» — не только в духе Молчалина, но и в стиле Петра Степановича Верховенского из «Бесов» Достоевского.

Все эти особенности речевого поведения декабриста, по сути дела, глубоко парадоксальны, так как находятся в сложном и противоречивом отношении к проблеме конспирации, подпольной деятельности.

Революционер — всегда разрушитель и борец. Поэтому без понятия конспиративности революционности быть не может. Вместе с тем, однако, положение подпольщика очень сложно соотносится с бытом и принятым поведением. Конспиратор вне круга «своих», погруженный в мир враждебного ему общества, может вести себя двумя способами.

Первый способ — романтический: оставаясь конспиратором, революционер не только не скрывает в обществе таинственного характера своей жизни, но, напротив, всячески его подчеркивает. Он не «нисходит» до того, чтобы прятать от общества свои убеждения, и, вступая в противоречие с самой сущностью конспирации, театрализует свою речь, интонации, жесты, одежду и т. д. Это — характерная черта романтической революционности. Так, М. В. Петрашевский в 1840-х годах шокировал общество и одновременно привлекал к себе его внимание подчеркнутой экстравагантностью одежды (квадратный цилиндр!) и поступков. В интересующее нас время Ник. Тургенев подводил под такое нарочитое нарушение конспиративности своеобразную теорию. Он говорил, что свободные взгляды

были приобретены молодежью не для того, чтобы нравиться «хамам». Не случайно в эпоху декабризма конспирация проявлялась в том, чтобы скрывать от «гасильников» конкретные решения и планы тайного общества, но самый факт существования общества и даже его состав, список революционеров-«конспираторов» практически не был секретным. Он был известен и императору, и очень широкому кругу лиц. Не случайно в дальнейшем, в 1821 году, декабристам пришлось прибегнуть к фиктивному роспуску тайного общества, чтобы воскресить совсем исчезнувшую конспирацию.

Перед нами — странная, парадоксальная ситуация, которая впоследствии будет часто сбивать с толку историков: декабристы выступают как странные «неконспиративные конспираторы», члены тайных обществ, которые считают неблагородным делать из своих взглядов тайну. Позже, во время следствия, некоторые, нарочито смешивая конспирирование с ложью, будут играть на декабристском представлении о неразрывности правдивости и чести. Искренность декабристов на следствии, до сих пор повергающая в изумление исследователей, логически вытекала из убежденности дворянских революционеров в том, что нет и не может быть разных видов честности.

Второй, не романтический («реалистический») способ жизни революционера связывает конспирацию с правом на двойное поведение. Чернышевский вводит в роман «Что делать?» свой вымышленный разговор с Рахметовым. Рахметов повергает повествователя в недоумение заявлением: «Вы или лгун, или подлец». Если перевести эти слова с условно-конспиративного языка на реально-политический, то они должны читаться так: «Вы или конспиратор („лжец“), или пустой болтун-либерал („подлец“)». Таким образом, конспиративность прямо подразумевает необходимость и оправданность неискренности («лжи») в отношениях с политическими противниками. Искренность в этих ситуациях вызывает презрение как политическая незрелость и прекраснодушие. Нормой для революционера оказывается жизнь в двойном мире — высокой моральности со «своими» и разрешенного аморализма в отношениях с противниками.

Романтиков XX века (типа Андрея Белого) мучили образы революционера-конспиратора, сыщика-конспиратора как людей-двойников (традиция, восходящая к Ф. Достоевскому). Для романтика декабристской эпохи конспирация всегда оставалась чем-то вынужденным и сомнительным. Ей противостояла героическая публичность открытого агитационного жеста.

Может показаться, что эта характеристика применима не к декабристу вообще, а лишь к деятелям периода «Союза благоденствия», когда «витийство на балах» входило в установку общества. Известно, что в ходе дальнейшей тактической эволюции тайных обществ акцент был перенесен на конспирацию. Новая тактика заменила светского пропагандиста заговорщиком.

Однако изменение в области тактики борьбы не привело к коренному сдвигу в стиле поведения. Становясь заговорщиком и конспиратором, декабрист не начинал вести себя в салоне «как все». Никакие конспиративные цели не могли его склонить к поведению Молчалина. Выражая оценку уже не пламенной тирадой, а презрительным словом или гримасой, он оставался в бытовом поведении «карбонарием». Поскольку бытовое поведение не могло быть предметом для прямых политических обвинений, его не прятали, а наоборот — подчеркивали, превращая в некоторый опознавательный знак.

Д. И. Завалишин, прибыв в Петербург из кругосветного плавания в 1824 году, повел себя так (причем именно в сфере бытового поведения: он отказался воспользоваться рекомендательным письмом к Аракчееву), что последний сказал Батенькову: «Так это-то Завалишин. Ну послушай же, Гаврило Степаныч, что я тебе скажу: он должно быть или величайший гордец, весь в своего батюшку, или либерал»[455]. Характерно, что, по представлению Аракчеева, «гордец» и «либерал» должны себя вести одинаково. Любопытно и другое: своим поведением Завалишин, еще не успев вступить на политическое поприще,

себя демаскировал. Однако никому из его друзей-декабристов не пришло в голову обвинять его в этом, хотя они были уже не восторженными пропагандистами эпохи «Союза благоденствия», а конспираторами, готовившимися к решительным выступлениям. Напротив, если бы Завалишин, проявив умение маскировки, отправился на поклон к Аракчееву, поведение его, вероятнее всего, вызвало бы осуждение, а сам он возбудил бы к себе недоверие. Характерно, что близость Батенькова к Аракчееву вызывала неодобрение в кругах заговорщиков.

Показателен и такой пример. Катенин в 1824 году не одобряет характер Чацкого именно за те черты «пропагандиста на балу», в которых М. В. Нечкина справедливо увидела отражение тактических приемов «Союза благоденствия». «Этот Чацкий, — пишет Катенин, — главное лицо. Автор вывел его con amore, и по мнению автора, в Чацком все достоинства и нет порока, но по мнению моему, он говорит много, бранит все и проповедует некстати»[456]. Однако всего за несколько месяцев до этого высказывания Катенин, убеждая своего друга Бахтина выступать в литературной полемике открыто, без псевдонимов, с исключительной прямотой сформулировал требование не только словами, но и всем поведением открыто демонстрировать убеждения: «Обязанность теперь стоять за себя и за правое дело, говорить истину не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах,

но и в поступках (курсив мой. —

Ю. Л.), повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы плуты не могли притворяться, будто не слыхали, заставить их сбросить личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти»[457].

Нужды нет, что под «правым делом» Катенин понимал пропаганду своей литературной программы и собственных заслуг перед словесностью. Для того чтобы личностное содержание можно было облекать в

такие слова, сами эти выражения должны были уже сделаться, в своем общем содержании, паролем целого поколения.

То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло молодым либералам отличить «своего» от «гасильника», характерно именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились и специфические черты, отличающие декабриста как дворянского

революционера. Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой — сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью. Декабристы не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости.

Элементы поведения образуют иерархию: жест — поступок — поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом.

Каждодневное поведение декабриста не может быть понято без рассмотрения не только жестов и поступков, но и отдельных и законченных единиц более высокого порядка — поведенческих текстов.

Подобно тому, как жест и поступок дворянского революционера получали для него и окружающих смысл, поскольку имели своим значением

слово, любая цепь поступков становилась текстом (приобретала значение), если ее можно

было прояснить связью с определенным

литературным сюжетом. Гибель Цезаря и подвиг Катона, пророк, обличающий и проповедующий, Тиртей, Оссиан или Баян, поющие перед воинами накануне битвы (последний сюжет был создан Нарежным), Гектор, уходящий на бой и прощающийся с Андромахой, — таковы были сюжеты, которые придавали смысл той или иной цепочке бытовых поступков.

Такой подход подразумевал «укрупнение» всего поведения, распределение между реальными знакомыми типовых литературных масок, идеализацию места и пространства действия (реальное пространство осмыслялось через литературное). Так, Петербург в послании Пушкина Глинке — Афины, сам Ф. Глинка — Аристид. Это не только результат трансформации жизненной ситуации в стихах Пушкина в литературную. Активно происходит и противоположный процесс: в жизненной ситуации становится значимым (и, следовательно, заметным для участников) то, что может быть отнесено к литературному сюжету. Так, Катенин аттестует себя приятелю своему Н. И. Бахтину в 1821 году как сосланного «недалеко от Сибири»[458]. Этот географический абсурд (Костромская губерния, куда был сослан Катенин, ближе не только к Москве, но и к Петербургу, чем к Сибири, это ясно и Катенину, и его корреспонденту) объясняется тем, что Сибирь уже вошла к этому времени в литературные сюжеты и в устную мифологию русской культуры как место ссылки, она ассоциировалась в этой связи с десятками исторических имен (в Сибирь приведет Рылеев своего Войнаровского, а Пушкин — самого себя в «Воображаемом разговоре с Александром I»). Кострома же в этом отношении ни с чем не ассоциируется. Следовательно, подобно тому как Афины означают Петербург, Кострома означает Сибирь, то есть ссылку.

Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности. Классицизм полагал, что по образцам искусства люди

должны вести себя в идеальном мире. Романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое. При кажущемся сходстве второго и третьего принципов, разница между ними весьма существенна. Идеальное поведение героя классицизма реализуется в идеальном же пространстве литературного текста. Попытаться перенести его в жизнь может лишь исключительный человек, возвысившийся до идеала. Для большинства же читателей и зрителей классицистического произведения поведение литературных персонажей — лишь возвышенный идеал, долженствующий облагородить их практическое поведение, но отнюдь не воплотиться в нем.

Романтическое поведение в этом отношении более доступно. Оно включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки (например, эгоизм, преувеличенная демонстрация которого входила в норму «бытового байронизма»:

Лорд Байрон прихотью удачной

Облек в унылый романтизм

И безнадежный эгоизм.

(3, XII)

Уже то, что литературным героем романтизма был современник, существенно облегчало подход к тексту как программе реального будущего поведения читателя. Герои Байрона и

Пушкина-романтика, Марлинского и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей из числа молодых офицеров и чиновников, которые перенимали жесты, мимику, манеру поведения литературных персонажей. Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе. Для реализма характерно, что определенный тип поведения рождается в жизни, а потом проникает на страницы литературных текстов (умением подметить в самой жизни зарождение новых норм сознания и поведения славился, например, И. Тургенев). В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переходит в жизнь.

Разумеется, отношение романтического поведения в литературе и в жизни тоже достаточно сложно и не единообразно. Прежде всего, сам «высокий» романтизм Байрона, Пушкина, Рылеева или Лермонтова довольно быстро обрел своих двойников — романтизм опошлившийся и романтическую автопародию. Коренное отличие последних от «высокого» романтизма — это отличие вторичного искусства от первичного. Романтический поэт воссоздает в своем произведении трагические и гигантские, возведенные к абсолюту законы мира — пародийные или опошленные произведения

воссоздают романтическое воссоздание законов мира. Это — изображения изображений или подражания изображениям. Подлинно романтический мир Байрона или Лермонтова всегда являлся как шокирующий своей неожиданностью, «бьющий» читателя непредсказуемостью. Романтический поэт никогда не знает, что такое завершенность, не признает ее, и сам, как Лермонтов или Гейне, готов первым осмеять «законченный», лишенный непредсказуемости романтизм. Не случайно никто не создал столько пародий на романтизм, как сами романтики. Псевдоромантический мир подражаний романтизма романтизму насквозь состоит из штампов, и потому невозможно писать «как Лермонтов» и очень легко подражать ученикам Марлинского.

И в области читательского поведения также имелось коренное различие между высоким романтизмом и его опошленными двойниками. Поведение декабристов и жен декабристов, хотя и вдохновленное литературой, было

в принципе непредсказуемым. Не случайно в Петербурге долгое время были уверены, что жены ссыльных или совсем не поедут в Сибирь, или вскоре вернутся. Генерал Раевский проявил глубокое понимание своей дочери Марии: умирая с портретом дочери в руках, он сказал, что она — самая удивительная из всех известных ему женщин («удивительное» поведение — высшая похвала).

«Массовый» романтизм поведения читателей Марлинского был, в основах своих,

подражанием подражанию. Даже ориентируясь на «мир Лермонтова», он реально воссоздавал в своем поведении мир эпигонов романтизма, хотя, повторяя слова, жесты, поступки их героев, субъективно мог ощущать себя «истинно романтической» личностью. Совсем не случайно бытовой двойник романтического героя уже в 1840-х годах сделался предметом иронического разоблачения Некрасова, Тургенева, Гончарова:

Его любимый идеал

Был Александр Марлинский,

Но он всему предпочитал

Театр Александрийский. [459]

Это был человек опошленного, предельно предсказуемого поведения. Трагизм дуэли Лермонтова, в частности, связан с тем, что его противник был типичным «читателем романтизма» — из тех, о которых писал Некрасов. Как за романтизмом шел его опошленный двойник, а за Печориным — Грушницкий, так за Лермонтовым следовал Мартынов. Романтик Мартынов был самым предсказуемым человеком в лермонтовском окружении. Декабристы

были романтическими героями, а декабристки — романтическими женщинами. Мартынов

изображал романтического героя. Люди этого типа могли подражать Лермонтову, но они всегда прочитывали его как Марлинского. Романтический поэт был убит читателем — подражателем романтизма. И это не случайно, потому что для романтического поэта «сниженный» двойник его героев — всегда пошляк, а для пошлости нет ничего более оскорбительного, чем быть опознанной как пошлость.

Поведение декабриста, как говорилось, было отмечено печатью романтизма: поступки и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведений, типовыми литературными ситуациями или же именами, суггестировавшими в себе сюжеты. В этом смысле восклицание Пушкина: «Вот Кесарь — где же Брут?» — легко расшифровывалось как программа будущего поступка.

Характерно, что только обращение к некоторым литературным образцам позволяет нам в ряде случаев расшифровать загадочные, с иной точки зрения, поступки людей той эпохи. Так, например, современников, а затем и историков неоднократно ставил в тупик поступок П. Я. Чаадаева, вышедшего в отставку в самом разгаре служебных успехов, после свидания с царем в Троппау в 1820 году. Как известно, Чаадаев был адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта И. В. Васильчикова. После «семеновской истории» он вызвался отвезти Александру I, находившемуся на конгрессе в Троппау, донесение о бунте в гвардии. Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья товарищей и бывших однополчан (в 1812 году Чаадаев служил в Семеновском полку).

Если такой поступок со стороны известного своим благородством Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 года так объяснял свой поступок: «На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку… <…> Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала не хотели верить, что я прошу о ней серьезно, затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получить то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным… <…> Дело в том, что я действительно должен был быть назначен флигель-адъютантом по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказать мое презрение людям, которые всех презирают»[460].

А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился «успокоить тетушку», якобы весьма заинтересованную в придворных успехах племянника. Это представляется весьма сомнительным: дочери известного фрондера князя М. Щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму. Если бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим барином, фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке — предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех сотоварищей по службе, которых он

«обходил» вопреки старшинству. Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был неписаным, но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести.

Именно соединение явной заинтересованности в карьере — быстрой и обращающей на себя внимание — с добровольной отставкой

перед тем, как эти усилия должны были блистательно увенчаться, составляет загадку поступка Чаадаева. Племянник Чаадаева М. Жихарев позже вспоминал: «Васильчиков с донесением к государю отправил… Чаадаева, несмотря на то, что Чаадаев был младший адъютант и что ехать следовало бы старшему». И далее: «По возвращении [Чаадаева] в Петербург, чуть ли не по всему гвардейскому корпусу последовал против него всеобщий, мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он принял на себя поездку в Троппау и донесение государю о „семеновской истории“. Ему, говорили, не только не следовало ехать, не только не следовало на поездку набиваться, но должно было ее всячески от себя отклонять». И далее: «Что вместо того, чтобы от поездки отказываться, он ее искал и добивался, для меня также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил прирожденной слабости непомерного тщеславия; я не думаю, чтобы при отъезде его из Петербурга перед его воображением блистали флигель-адъютантские вензеля на эполетах столько, сколько сверкало очарование близкого отношения, короткого разговора, тесного сближения с императором»[461]. Жихареву, конечно, был недоступен внутренний мир Чаадаева, но многое он знал лучше других современников, и слова его заслуживают внимания.

Ю. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев пытался объяснить царю связь «семеновской истории» с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв. «Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна». Далее Тынянов называет эту встречу «катастрофой»[462]. К этой гипотезе присоединяется и А. Лебедев.

Догадка Тынянова, хотя она и убедительнее всех других предлагавшихся до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между императором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Троппау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чаадаев оказался бы в свите императора, свидетельствует о том, что разговор императора и Чаадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения. Доклад Чаадаева в Троппау трудно истолковать как служебную катастрофу. «Падение» Чаадаева, видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаадаева об его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те «весьма» для Чаадаева «невыгодные» сведения о нем, о которых писал князь Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 года и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева без производства в следующий чин. Тогда же император «изволил отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны», как позже доносил великий князь Константин Павлович Николаю I.

Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки.

Обратимся к литературному сюжету, помогающему понять поведение Чаадаева. А. Герцен посвятил свою статью «Император Александр I и В. Н. Каразин» Н. А. Серно-Соловьевичу —

«последнему нашему маркизу Позе». Поза, таким образом, был для Герцена знаком определенного явления русской жизни. Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева. Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией Шиллера: Н. М. Карамзин, посетив в 1789 году Берлин, смотрел на сцене «Дона Карлоса» и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в «Письмах русского путешественника», выделив именно роль маркиза Позы. В Московском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 году, в начале XIX века царил настоящий культ Шиллера. Через пламенное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков, и его близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева — Грибоедов — в наброске трагедии «Родамист и Зенобия» вольно процитировал знаменитый монолог маркиза Позы. Говоря об участии республиканца «в самовластной империи», он писал: «Опасен правительству и сам себе бремя, ибо

иного века гражданин» [463]. Выделенные слова — перефразировка автохарактеристики Позы: «Я гражданин грядущего века».

Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант «русского маркиза Позы» (как в беседах с Пушкиным он примерял роль «русского Брута» и «русского Перикла»), проясняет многие «загадочные» стороны его поведения. Прежде всего, оно позволяет оспорить утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 году на правительственный либерализм: «Надежды на „добрые намерения“ царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры» [464]. Здесь допущена известная неточность: говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 году обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедительному предположению М. А. Цявловского[465], поддержанному другими авторитетными исследователями, Чаадаев

до своей поездки в Троппау в беседах с Пушкиным обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно увязывается с утверждением, что вера в «добрые намерения» царя побудила его скакать на конгресс.

Филипп у Шиллера — вовсе не либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а не к «добродетели на престоле» обращается со своей благородной проповедью шиллеровский Поза. Подозрительный, двуличный тиран опирается на кровавого Альбу (который мог вызывать в памяти Аракчеева)[466]. Но именно тиран нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова Позы Филиппу — слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота.

Современникам — по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседовать с Карамзиным, — было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух: «Люди мерзавцы! <…> Подлецы! вот кто окружает нас, несчастных государей!»[467]

Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения[468], он явился к нему возвестить о страданиях русского народа, так же как Поза — о бедствиях Фландрии. Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвардейском полку, восклицающим словами Филиппа:

Теперь мне нужен человек. О Боже,

Ты много дал мне, подари теперь

Мне человека! —

то слова: «Сир, дайте нам свободу мысли!» — сами приходили на язык. Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал монолог Позы.

Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа лишь в одном случае — король должен был быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия.

Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела — теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. Слова Позы: «Я не могу слугой монарха быть» — становились для Чаадаева буквальной программой. Следуя им, он отказался от флигель-адъютанства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий — это звенья одного замысла.

Из этих же соображений последовательно отказывался от всех предлагаемых ему должностей Н. Карамзин, полагая, что голос истории не должен заслоняться служебной зависимостью. Карамзин, как и маркиз Поза, берет на себя роль независимого друга, в котором нуждается одинокий тиран, окруженный льстецами. Различие, однако, состояло в том, что Александр I, глубоко презирая своих вельмож, лести которых он не верил, нуждался тем не менее не в истине и критике, а в похвалах. Болезненно неуверенный в себе, страдающий от комплекса неполноценности, он презирал тех, кто ему льстит, и ненавидел тех, кто говорит ему правду.

Как же отнесся Александр I к прошению Чаадаева об отставке? Прежде всего — понял ли он смысл поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может быть, легендарный, но и в этом случае весьма характерный, сохраненный для нас Герценом: «В первые годы царствования… у императора Александра I бывали литературные вечера… В один из этих вечеров чтение длилось долго; читали новую трагедию Шиллера.

Чтец кончил и остановился.

Государь молчал, потупя взгляд. Может, он думал о своей судьбе, которая так близко прошла к судьбе Дон-Карлоса, может, о судьбе своего Филиппа. Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый прервал ее князь Александр Николаевич Голицын; наклоня голову к уху графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслуха, но так, чтобы все слышали: — У нас есть свой Маркиз Поза!»[469]

Голицын имел в виду В. Н. Карамзина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое. По мнению Герцена, Голицын, называя Карамзина Позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью «свалить» соперника: он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя.

Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем — следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем друге абсолютно бескорыстном: известно, что даже тень подозрения в «личных видах» переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев. Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством

мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие, Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласился принять лишь портрет царя — не награду императора, а подарок друга.

Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений (важен был не их политический характер, а именно независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любившему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину. Пример Карамзина в этом отношении особенно примечателен. Охлаждение к нему царя началось с подачи в 1811 году, в Твери, записки «О древней и новой России». Второй, еще более острый эпизод произошел в 1819 году, когда Карамзин прочел царю «Мнение русского гражданина». Позже он записал слова, которые он при этом сказал Александру: «Государь, в Вас слишком много самолюбия… <…> Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы и Вашему отцу… <…> Государь, я презираю либералистов на день, мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран не сможет у меня отнять. <…> Я более не прошу Вашего благоволения. Быть может, я говорю Вам в последний раз»[470]. В данном случае критика раздавалась с позиций более консервативных, чем те, на которых стоял царь. Это делает особенно очевидным то, что не прогрессивность или реакционность высказываемых идей, а именно

независимость мнения была ненавистна императору. В этих условиях деятельность любого русского претендента на роль маркиза Позы была заранее обречена на провал. После смерти Александра Карамзин в записке, адресованной потомству, снова подчеркнув свою любовь к покойному («Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека»), должен был признать полный провал миссии советника при престоле: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества»[471]. Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который окончательно привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться русским Позой, так же как и русским Брутом или Периклесом.

На этом примере мы видим, как реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет — как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл.

Приведем еще один пример. Известен подвиг жен декабристов и его поистине великое значение для духовной истории русского общества. Однако непосредственная искренность содержания поступка ни в малой степени не противоречит закономерности выражения, подобно тому как фраза самого пламенного призыва все же подчиняется тем же грамматическим правилам, которые предписаны любому выражению на данном языке. Поступок декабристок был актом протеста и вызовом. Но в сфере выражения он неизбежно опирался на определенный психологический стереотип. Поведение тоже имеет свои нормы и правила.

Существовали ли в русском дворянском обществе

до подвига декабристок какие-либо поведенческие предпосылки, которые могли бы придать

их жертвенному порыву какую-либо форму сложившегося уже поведения? Такие формы были.

Прежде всего, следование за ссылаемыми мужьями в Сибирь существовало как вполне традиционная норма поведения в нравах русского простонародья. Этапные партии сопровождались обозами, которые везли в добровольное изгнание семьи сосланных. Это рассматривалось не как подвиг и даже не в качестве индивидуально выбранного поведения — это была

норма. Более того, в допетровском быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина (если относительно его жены и детей не имелось специальных карательных распоряжений). В этом смысле именно простонародное (или исконно русское, допетровское) поведение осуществила свояченица Радищева, Елизавета Васильевна Рубановская, отправившись за ним в Сибирь. Насколько она мало думала о том, что совершает подвиг, свидетельствует то, что с собою она взяла именно младших детей Радищева, а не старших, которым надо было завершать образование. Никто не думал ни задерживать ее, ни отговаривать, а современники, кажется, и не заметили этой великой жертвы — весь эпизод остался в пределах семейных отношений Радищева и не получил общественного звучания. Родители Радищева были даже скандализованы тем, что Елизавета Васильевна, не будучи обвенчана с Радищевым, отправилась за ним в Сибирь, а там, презрев близкое свойство, стала его супругой. Мы уже упоминали, что слепой отец Радищева на этом основании отказал вернувшемуся из Сибири писателю в благословении, хотя сама Елизавета Васильевна к этому времени уже скончалась, не вынеся тягот ссылки. Совершенный ею высокий подвиг не встретил понимания и оценки у современников.

Существовала еще одна готовая норма поведения, которая могла подсказать декабристкам их решение. В большинстве своем они были женами офицеров. В русской же армии XVIII — начала XIX века держался старый обычай, уже запрещенный для солдат, но практикуемый офицерами — главным образом старшими по чину и возрасту, — возить с собой в армейском обозе свои семьи. Так, при Аустерлице в штабе Кутузова, в частности, находилась его дочь Елизавета Михайловна Тизенгаузен (в будущем — Хитрово), жена любимого адъютанта Кутузова, Фердинанда Тизенгаузена («Феди» в письмах Кутузова). После сражения, когда совершился размен телами павших, она положила тело мертвого мужа на телегу и одна — армия направилась по другим дорогам, на восток, — повезла его в Ревель, чтобы похоронить в кафедральном соборе. Ей был тогда двадцать один год. Генерал Н. Н. Раевский также возил свою семью в походы. Позже, отрицая в разговоре с К. Батюшковым участие своих сыновей в бою под Дашковкой, он сказал: «Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны»[472]. Таким образом, самый факт следования жены и детей за мужем в ссылку или в опасный и тягостный поход не был чем-то неслыханно новым в жизни русской дворянки. Однако для того, чтобы поступок этого рода приобрел характер

политического протеста, оказалось необходимым еще одно условие. Напомним цитату из «Записок» типичного, по характеристике П. Е. Щеголева, декабриста Н. В. Басаргина: «Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рылеева „Войнаровский“ и при этом невольно задумался о своей будущности. — "О чем ты думаешь?" — спросила меня она. — „Может быть, и меня ожидает ссылка“, — сказал я. — „Ну, что же, я тоже приеду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?“»[473]. Басаргиной (урожденной княжне Мещерской) не довелось делом подтвердить свои слова: она неожиданно скончалась в августе 1825 года, не дожив до ареста мужа.

Дело, однако, не в личной судьбе Басаргиной, а в том, что именно поэзия Рылеева поставила подвиг женщины, следующей за мужем в ссылку, в один ряд с другими проявлениями гражданской добродетели. В думе «Наталия Долгорукова» и поэме «Войнаровский» был

создан стереотип поведения женщины-героини:

Забыла я родной свой град,

Богатство, почести и знатность,

Чтоб с ним делить в Сибири хлад

И испытать судьбы превратность.

Вдруг вижу: женщина идет,

Дахой убогою прикрыта,

И связку дров едва несет,

Работой и тоской убита.

Я к ней, и что же?.. Узнаю

В несчастной сей, в мороз и вьюгу,

Козачку юную мою,

Мою прекрасную подругу!..

Узнав об участи моей,

Она из родины своей

Пришла искать меня в изгнанье.

О странник! Тяжко было ей

Не разделять со мной страданье. [474]

Биография Натальи Долгорукой (см. о ней главу «Две женщины») стала предметом литературной обработки уже до думы Рылеева — в повести С. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгорукой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметева» (1815). Однако для С. Глинки этот сюжет — пример супружеской верности, противостоящий поведению «модных жен». Рылеев же включил событие в ряд «жизнеописаний великих мужей России»[475]. Этим он создал совершенно новый код для дешифровки поведения женщины. Именно литература, наряду с религиозными нормами, издавна вошедшими в национально-этическое сознание русской женщины, дала русской дворянке начала XIX века программу поведения, сознательно осмысляемого как героическое. Одновременно и автор «дум» видит в них программу деятельности, образцы героического поведения, которые должны непосредственно влиять на поступки его читателей. Таким образом, не Рылеев изобрел сюжет, где жена следует за мужем в ссылку, однако только после Рылеева такая поездка стала общественным и политическим фактом.

Можно полагать, что именно дума «Наталия Долгорукая» оказала непосредственное воздействие на Марию Волконскую. И современники, начиная с отца ее, Н. Раевского, и исследователи отмечали, что она не могла испытывать глубоких личных чувств к мужу, которого совершенно не знала до свадьбы и с которым провела лишь три месяца из года,

протекшего между свадьбой и арестом. Отец с горечью повторял признания Марии Николаевны, «что муж бывает ей несносен», добавляя, что он не стал бы противиться ее поездке в Сибирь, если был бы уверен, что «сердце жены влечет ее к мужу»[476].

Однако эти обстоятельства, ставившие в тупик родных и некоторых из исследователей, для самой Марии Николаевны лишь усугубляли героизм, а следовательно — и необходимость поездки в Сибирь. Она ведь помнила, что между свадьбой Н. Шереметевой, вышедшей за кн. И. Долгорукого, и его арестом прошло три дня. Затем последовала жизнь-подвиг. По словам Рылеева, муж ей «был дан, как призрак, на мгновенье». Н. Раевский точно почувствовал, что не любовь, а сознательное стремление совершить подвиг двигало его дочерью. «Она не чувству своему последовала, поехала к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня»[477].

Н. Раевский ошибался лишь в одном: «волконские бабы» здесь не были ни в чем виноваты. Мать С. Волконского — статс-дама Марии Федоровны — проявила холодность к невестке и полное безразличие к судьбе сына: «Моя свекровь расспрашивала меня о сыне и между прочим сказала, что она не может решиться навестить его, так как это свидание ее убило бы, и на другой же день уехала с императрицей-матерью в Москву, где уже начинались приготовления к коронации»[478]. С сестрой мужа, княжной Софьей Волконской, она вообще не встретилась. «Виновата» была русская литература, создавшая представление о женском эквиваленте героического поведения гражданина, и моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь.

Характерна в этом отношении полная растерянность декабристов в условиях следствия. Они оказались в трагической обстановке поведения без свидетелей, которым можно было бы, рассчитывая на понимание, адресовать героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без монологов, в военно-бюрократическом вакууме, не была еще предметом искусства той поры. В этих условиях резко выступали другие, прежде отодвигавшиеся, но прекрасно известные всем декабристам нормы и стереотипы поведения: долг офицера перед старшими по званию и чину, обязанности присяги, честь дворянина. Они врывались в поведение революционера и заставляли метаться от одной из этих норм к другой. Не каждый мог, как Пестель, принять своим единственным собеседником потомство и вести с ним диалог, не обращая внимания на подслушивающий этот разговор Следственный комитет и тем самым безжалостно губя себя и своих друзей.

Мощное воздействие слова на поведение, знаков на быт особенно ярко проявилось в тех сторонах каждодневной жизни, которые по своей природе наиболее удалены от общественного самосознания. Одной из таких сфер является отдых.

По своей социальной и психофизиологической функции отдых должен строиться как прямая противоположность обычному строю жизни. Только в этом случае он может стать переключением и разрядкой. В обществе со сложной системой социальных отношений отдых будет неизбежно ориентирован на непосредственность, природность, простоту, внезнаковость. Так, в цивилизациях городского типа отдых неизменно включает в себя выезд «на лоно природы». Для русского дворянина XIX века, а во второй половине его — и чиновника, строгая урегулированность жизни нормами светского приличия, иерархией чинов, сословной или бюрократической, определяет то, что отдых начинает ассоциироваться с приобщением к миру театральных кулис или цыганского табора. В купеческой среде строгой «чинности» обычного бытия также противостоял «загул», не признающий меры. Обязательность смены социальной маски проявлялась, в частности, в следующем. Если в каждодневной жизни данный член коллектива принадлежал к забитым и униженным, то «гуляя», он должен был играть роль человека, которому «сам черт не брат». И напротив, для наделенного высоким авторитетом роль его в зеркальном мире праздника будет порой включать игру в «униженного».

Обычным признаком праздника является его четкая отграниченность от остального, «непраздничного» мира. Это отграниченность в пространстве — праздник часто требует другого места (более торжественного: парадная зала, храм; или менее торжественного: пикник, трущобы) и особо выделенного времени (календарные праздники, вечернее и ночное время, в которое в будни полагается спать, и т. д.).

Праздник в дворянском быту начала XIX века был в достаточной мере сложным и многообразным явлением. С одной стороны, особенно в провинции и деревне, он был еще тесно связан с крестьянским календарным ритуалом. С другой — молодая, насчитывающая не более ста лет, послепетровская дворянская культура еще не страдала закоснелой ритуализацией обычного, непраздничного быта. Это приводило к тому, что бал, как для армии парад, порой становился не местом понижения уровня ритуализации, а, напротив, резко повышал ее меру. Отдых заключался не в снятии ограничений на поведение, а в переходе от разнообразной неритуализованной деятельности к резко ограниченномму набору чисто формальных, превращенных в ритуал способов поведения: танцы, вист, «порядок стройный // Олигархических бесед»

(Пушкин).

Иное дело — среда военной молодежи. При Павле I в войсках (особенно в гвардии) установился тот жестокий режим обезличивающей дисциплины, вершиной и наиболее полным проявлением которого был вахтпарад. Современник декабристов Т. фон Бок писал в послании Александру I: «Парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет»[479].

Там, где повседневность была представлена муштрой и парадом, отдых, естественно, принимал формы кутежа или оргии. В этом смысле кутежи были вполне закономерны, составляя часть «нормального» поведения военной молодежи. Можно сказать, что для определенного возраста и в определенных пределах они являлись обязательной составной частью «хорошего» поведения офицера (разумеется, включая и количественные, и качественные различия не только в антитезе «гвардия — армия», но и по родам войск и даже полкам, создавая в их пределах некоторую обязательную традицию).

Однако в начале XIX века на этом фоне начал выделяться некоторый

особый тип разгульного поведения, который уже воспринимался не в качестве нормы армейского досуга, а как вариант вольномыслия. Элемент вольности проявлялся здесь в своеобразном бытовом романтизме, заключавшемся в стремлении отменить всякие ограничения, в безудержности поступка. Типовая модель такого поведения строилась как победа над неким признанным корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том, чтобы совершить неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог победить. Пушкин с большой точностью охарактеризовал этот тип поведения в монологе Сильвио («Выстрел»): «Я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым». Выражение «перепил» характеризует тот элемент соревнования и страсти первенствовать, который составлял отличительную черту модного в конце 1810-х годов «буйства», стоящего уже на грани «вольнодумства».

Приведем характерный пример. В посвященной Михаилу Лунину литературе неизменно приводится эпизод, рассказанный Н. А. Белоголовым со слов И. Д. Якушкина: «Лунин был гвардейским офицером и стоял летом со своим полком около Петергофа; лето жаркое, и офицеры, и солдаты в свободное время с великим наслаждением освежались купанием в заливе; начальствующий генерал-немец неожиданно приказом запретил под строгим

наказанием купаться впредь на том основании, что купанья эти происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличие; тогда Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько минут перед этим залез в воду в полной форме, в кивере, мундире и ботфортах, так что генерал еще издали мог увидать странное зрелище барахтающегося в воде офицера, а когда поравнялся, Лунин быстро вскочил на ноги, тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь. Озадаченный генерал подозвал офицера к себе, узнал в нем Лунина, любимца великих князей и одного из блестящих гвардейцев, и с удивлением спросил: „Что вы это тут делаете?“ — Купаюсь, — ответил Лунин, — а чтобы не нарушить предписание вашего превосходительства, стараюсь делать это в самой приличной форме»[480].

Н. А. Белоголовый совершенно справедливо истолковал это как проявление «необузданности… протестов». Однако смысл поступка Лунина остается не до конца ясным, пока мы его не сопоставим с другим свидетельством, не привлекшим внимания историков. В мемуарах зубовского карлика Ивана Якубовского содержится рассказ о побочном сыне Валериана Зубова, юнкере уланского гвардейского полка В. И. Корочарове: «Что с ним тут случилось! Они стояли в Стрельне, пошли несколько офицеров купаться, и он с ними, но великий князь Константин Павлович, их шеф, пошел гулять по взморью и пришел к ним, где они купались. Вот они испугались, бросились в воду из лодки, но Корочаров, один, вытянулся прямо, как мать родила, и закричал: „Здравия желаю, Ваше высочество!“ С этих пор великий князь так его полюбил: „Храбрый будет офицер“»[481]. Впоследствии Корочаров в чине штаб-ротмистра, имея три креста, был смертельно ранен во время лихой атаки на польских уланов. Хронологически оба эпизода с купанием совпадают.

История восстанавливается, следовательно, в таком виде: юнкер из гвардейских уланов, не растерявшись, совершил лихой поступок, видимо вызвавший одновременно восхищение в гвардии и распоряжение, запрещающее купаться. Лунин, как «первый буян по армии», должен был превзойти поступок Корочарова (не последнюю роль, видимо, играло желание поддержать честь кавалергардов, «переплюнув» уланов). Ценность разгульного поступка состоит в том, чтобы

перейти черту, которой еще никто не переходил. Л. Н. Толстой точно уловил именно эту сторону, описывая кутежи Пьера и Долохова.

Другим признаком перерождения предусмотренного разгула в оппозиционный явилось стремление видеть в нем не отдых, дополняющий службу, а ее антитезу. Мир разгула становился самостоятельной сферой, погружение в которую

исключало службу. В этом смысле он начинал ассоциироваться, с одной стороны, с миром частной жизни, а с другой — с поэзией; и то и другое в XVIII веке завоевало место «антиподов» службы. Подобным буйством, уже выходящим за пределы «офицерского» поведения, было буйство знаменитого Федора Толстого-Американца. Оно также строилось по модели: «превзойти все до сих пор совершенное». Но Толстой-Американец разрушал не только нормы гвардейского поведения, но и все нормы в принципе. Этот безграничный аморализм, с одной стороны, придавал разврату Толстого романтически-титанический характер, что заставляло видеть в нем романтического героя, с другой — переходил границы всего, что могло быть официально допущено, и тем самым окрашивался в тона протеста. В поведении Толстого-Американца был не политический, а бытовой анархизм, но под пером П. Вяземского, например, он очень легко приобретал оппозиционную окраску:

Американец и цыган!

На свете нравственном загадка.

Которого, как лихорадка,

Мятежных склонностей дурман

Или страстей кипящих схватка

Всегда из края мечет в край,

Из рая в ад, из ада в рай!

Которого душа есть пламень,

А ум холодный эгоист!

Под бурей рока — твердый камень

В волненьи страсти — легкой лист![482]

Бытовое поведение Толстого-Американца являлось как бы реальным осуществлением идеалов поэзии Вяземского той поры. Характерно, что такой титанический разгул мог восприниматься как «поэзия жизни», а «беззаконная поэзия» — как «разгул в стихах».

Продолжением этого явилось установление связи между разгулом, который прежде целиком относился к сфере чисто практического бытового поведения, и теоретико-идеологическими представлениями. Это повлекло, с одной стороны, превращение разгула, буйства в разновидность социально значимого поведения, а с другой — его ритуализацию, сближающую порой дружескую попойку с травестийной литургией или пародийным заседанием масонской ложи.

Культура начала XIX века оказывалась перед необходимостью выбора одной из двух концепций. Каждая из них при этом воспринималась в ту пору как связанная с определенными направлениями прогрессивной мысли. Традиция, идущая от философов XVIII столетия, исходила из того, что право на счастье заложено в природе человека, а общее благо всех подразумевает максимальное благо отдельной личности. С этих позиций человек, стремящийся к счастью, осуществлял предписания Природы и Морали. Всякий призыв к самоотречению от счастья воспринимался как учение, выгодное деспотизму. Напротив того, в этике гедонизма, свойственной материалистам XVIII века, одновременно видели и проявление свободолюбия. Страсть воспринималась как выражение порыва к вольности. Человек, полный страстей, жаждущий счастья, готовый к любви и радости, не может быть рабом. С этой позиции у свободолюбивого идеала могли быть два равноценных проявления: гражданин, полный ненависти к деспотизму, или страстная женщина, исполненная жажды счастья. Именно эти два образа свободолюбия поставил Пушкин рядом в стихотворении 1817 года:

…в отечестве моем

Где верный ум, где гений мы найдем?

Где гражданин с душою благородной,

Возвышенной и пламенно свободной?

Где женщина — не с хладной красотой,

Но с пламенной, пленительной, живой?

Приобщение к свободолюбию мыслилось именно как праздник, а в пире и даже оргии виделась реализация идеала вольности.

Однако могла быть и другая разновидность свободолюбивой морали. Она опиралась на тот сложный конгломерат передовых этических представлений, который был связан с пересмотром философского наследия материалистов XVIII века и включал в себя весьма противоречивые источники — от Руссо в истолковании Робеспьера до Шиллера. Это был идеал политического стоицизма, римской добродетели, героического аскетизма. Любовь и счастье были изгнаны из этого мира как чувства унижающие, эгоистические и недостойные гражданина. Здесь идеалом была не «женщина — не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой», а тени сурового Брута и Марфы-Посадницы («Катона своей республики», по словам Карамзина). Богиня любви здесь изгонялась ради музы «либеральности». Тот же Пушкин в «Вольности» писал:

Беги, сокройся от очей,

Цитеры слабая царица![483]

Где ты, где ты, гроза царей,

Свободы гордая певица?

В свете этих представлений «разгул» получал прямо противоположное значение — отказа от «служения», хотя в обоих случаях подобное поведение рассматривалось как имеющее значение. Из области рутинного поведения оно переносилось в сферу символической, знаковой деятельности. Разница эта существенна: область рутинного поведения отличается тем, что личность не выбирает его себе, а получает от общества, эпохи или от своей психофизиологической конституции как нечто, не имеющее альтернативы. Знаковое поведение — всегда результат выбора. Следовательно, оно включает свободную активность субъекта поведения (в этом случае интересны примеры, когда незнаковое поведение делается знаковым для постороннего наблюдателя, например для иностранца, поскольку он невольно добавляет к нему

свою способность вести себя в этих ситуациях иначе).

Вопрос, который нас сейчас интересует, имеет непосредственное отношение к оценке таких существенных явлений в русской общественной жизни 1810-х годов, как «Зеленая лампа», «Арзамас», «Общество громкого смеха». Наиболее показательна в этом отношении история изучения «Зеленой лампы».

Слухи относительно оргий, якобы совершавшихся в «Зеленой лампе», которые циркулировали среди младшего поколения современников Пушкина, знавших обстановку 1810-х — начала 1820-х годов лишь понаслышке, проникли в раннюю биографическую литературу и обусловили традицию, восходящую к работам П. И. Бартенева и П. В. Анненкова, согласно которой «Зеленая лампа» — аполитичное общество, место оргий. П. Е. Щеголев в статье, написанной в 1907 году, резко полемизируя с этой традицией, поставил вопрос о связи общества с декабристским «Союзом благоденствия»[484]. Публикация Б. Л. Модзалевским части архива «Зеленой лампы» подтвердила эту догадку документально[485], что позволило ряду исследователей доказать эту гипотезу. Именно в таком виде эта проблема и была раскрыта в итоговом труде М. В. Нечкиной[486]. Наконец, с предельной

полнотой и обычной для Б. В. Томашевского критичностью эта точка зрения на «Зеленую лампу» изложена в его книге «Пушкин», где данный раздел занимает более сорока страниц текста. Нет никаких оснований подвергать эти положения пересмотру.

Но именно полнота и подробность, с которой был изложен взгляд на «Зеленую лампу» как побочную управу «Союза благоденствия», обнаруживает известную односторонность такого подхода. Оставим в стороне легенды и сплетни — положим перед собой цикл стихотворений Пушкина и его письма, обращенные к членам общества. Мы сразу же увидим в них нечто общее, объединяющее их к тому же со стихами Я. Толстого, которого Б. В. Томашевский с основанием считает «присяжным поэтом „Зеленой лампы“»[487]. Эта специфика состоит в соединении очевидного и недвусмысленного свободолюбия с культом радости, чувственной любви, кощунством и некоторым бравирующим либертинажем. Не случайно в этих текстах так часто читатель встречает ряды точек, само присутствие которых невозможно в произведениях, обращенных к Н. Тургеневу, Чаадаеву или Ф. Глинке. Б. В. Томашевский цитирует отрывок из послания Пушкина Ф. Ф. Юрьеву и сопоставляет его с

рылеевским посвящением к «Войнаровскому»:

Слово «надежда» имело гражданское осмысление. Пушкин писал одному из участников «Зеленой лампы» — Ф. Ф. Юрьеву:

Здорово, рыцари лихие

Любви, свободы и вина!

Для нас, союзники младые,

Надежды лампа зажжена.

Значение слова «надежда» в гражданском понимании явствует из посвящения к «Войнаровскому» Рылеева:

И вновь в небесной вышине

Звезда надежды засияла[488].

Однако, подчеркивая образное родство этих текстов, нельзя забывать, что у Пушкина после процитированных стихов следовало совершенно невозможное для Рылеева, но очень характерное для всего рассматриваемого цикла:

Здорово, молодость и счастье,

Застольный кубок и бордель,

Где с громким смехом сладострастье

Ведет нас пьяных на постель!

Если считать, что

вся сущность «Зеленой лампы» выражается в ее роли побочной управы «Союза благоденствия», то как связать такие — совсем не единичные! — стихи с указанием «Зеленой книги», что «распространение правил нравственности и добродетели есть самая цель Союза», а членам вменяется в обязанность «во всех речах превозносить добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости»? Вспомним брезгливое отношение Н. Тургенева к «пирам» как занятию, достойному «хамов»: «В Москве пучина наслаждений чувственной жизни. Едят, пьют, спят, играют в карты — все сие за счет обременных работами крестьян»[489]. Запись датируется 1821 годом — годом публикации «Пиров» Баратынского).

Первые исследователи «Зеленой лампы», подчеркивая ее «оргический» характер, отказывали ей в каком-либо политическом значении. Современные исследователи, вскрыв глубину реальных политических интересов членов общества, просто отбросили всякую разницу между «Зеленой лампой» и нравственной атмосферой «Союза благоденствия». М. В. Нечкина совершенно обошла молчанием эту сторону вопроса. Б. В. Томашевский нашел выход в том, чтобы разделить серьезные и полностью соответствующие духу «Союза благоденствия» заседания «Зеленой лампы» и не лишенные вольности вечера в доме Никиты Всеволожского. «Пора отличать вечера Всеволожского от заседаний „Зеленой лампы“», — писал он[490]. Правда, строкой ниже исследователь значительно смягчает свое утверждение, добавляя, что «для Пушкина, конечно, вечера в доме Всеволожского представлялись такими же неделимыми, как неделимы были заседания „Арзамаса“ и традиционные ужины с гусем». Остается неясным, почему требуется различать то, что для Пушкина было неделимо, и следует ли в этом случае и в «Арзамасе» разделять «серьезные» заседания и «шутливые» ужины? Вряд ли эта задача представляется выполнимой.

«Зеленая лампа», бесспорно, была свободолюбивым литературным объединением, а не сборищем развратников. Ломать вокруг этого вопроса копья уже нет никакой необходимости [491]. Не менее очевидно, что «Союз благоденствия» стремился оказывать на «Зеленую лампу» влияние (участие в ней Ф. Глинки и С. Трубецкого не оставляет на этот счет никаких сомнений). Но означает ли это, что она была простым филиалом «Союза» и между этими организациями не обнаруживается разницы?

Разница заключалась не в идеалах и программных установках, а в типе поведения.

Масоны называли заседания ложи «работами». Для члена «Союза благоденствия» его деятельность как участника общества также была «работой» или — еще торжественнее — служением. Пущин так и сказал Пушкину: «Не я один поступил в это новое служение отечеству»[492]. Доминирующее настроение политического заговорщика — серьезное и торжественное. Для члена «Зеленой лампы» свободолюбие окрашено в тона веселья, а реализация идеалов вольности — это превращение жизни в непрекращающийся праздник. Точно отметил, характеризуя Пушкина той поры, Л. Гроссман: «Политическую борьбу он воспринимал не как отречение и жертву, а как радость и праздник»[493].

Однако праздник этот связан с тем, что жизнь, бьющая через край, издевается над запретами. Лихость (ср.: «рыцари лихие») отделяет идеалы «Зеленой лампы» от гармонического гедонизма Батюшкова (и умеренной веселости арзамасцев), приближая к «гусарщине» Д. Давыдова и студенческому разгулу Языкова.

Нарушение карамзинского культа «пристойности» проявляется в речевом поведении участников общества. Дело, конечно, не в употреблении неудобных для печати слов — в этом случае «Лампа» не отличалась бы от любой армейской пирушки. Убеждение исследователей, полагающих, что выпившая или даже просто разгоряченная молодежь — молодые офицеры и

поэты — придерживалась в холостой беседе лексики Словаря Академии Российской, и в связи с этим доказывающих, что пресловутые «приветствия калмыка» должны были лишь отмечать недостаточную изысканность острот[494]. Оно порождено характерным для современной исторической мысли гипнозом письменных источников: документ приравнивается к действительности, а язык документа — к языку жизни. Дело в том, что участники заседаний и вечеров «Зеленой лампы» соединяли язык высокой политической и философской мысли, утонченной поэтической образности с площадной лексикой. Это создает особый, резко фамильярный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы». Язык, богатый неожиданными столкновениями и стилистическими соседствами, становился своеобразным паролем, по которому узнавали «своего». Наличие языкового пароля, резко выраженного кружкового жаргона — характерная черта и «Лампы», и «Арзамаса». Именно наличие «своего» языка выделил Пушкин, мысленно переносясь из изгнания в «Зеленую лампу» («Вновь слышу… // Ваш очарованный язык…»).

Речевому поведению должно было соответствовать и бытовое, основанное на том же смешении. Еще в 1817 году, адресуясь к Каверину (гусарская атмосфера подготовляла атмосферу «Лампы»), Пушкин писал, что

…можно дружно жить

С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,

Что резвых шалостей под легким покрывалом

И ум возвышенный и сердце можно скрыть.

(I, 238)

Напомним, что как раз против такого смешения резко выступал моралист и проповедник Чацкий:

Когда в делах — я от веселий прячусь,

Когда дурачиться — дурачусь,

А смешивать два эти ремесла

Есть тьма охотников, я не из их числа.

Фамильярность, возведенная в культ, приводила к своеобразной ритуализации быта. Только это была ритуализация «наизнанку», напоминавшая шутовские ритуалы карнавала. Отсюда характерные кощунственные замены: «девственница» Вольтера — «святая Библия Харит». Свидание с «Лаисой» может быть и названо прямо, с подчеркнутым игнорированием светских языковых приличий:

Когда ж вновь сядем вчетвером

С б… вином и чубуками, —

и переведено на язык кощунственного ритуала:

Проводит набожную ночь

С младой монашенкой Цитеры.

(Пушкин, II (1), 87)

Это можно сопоставить с карнавализацией масонского ритуала в «Арзамасе». Пародийная антиритуальность шутовского действия в обоих случаях очевидна. Но если «либералист» веселился не так, как Молчалин, то досуг русского «карбонария» не походил на забавы «либералиста».

Бытовое поведение не менее резко, чем формальное вступление в тайное общество, отгораживало дворянского революционера не только от людей «века минувшего», но и от широкого круга фрондеров, вольнодумцев и «либералистов». То, что такая подчеркнутость особого поведения («Этих в вас особенностей бездна», — говорит Софья Чацкому) по сути дела противоречила идее конспирации, не смущало молодых заговорщиков. Показательно, что не декабрист Н. Тургенев, а его осторожный старший брат должен был уговаривать бурно тянущегося к декабристским нормам и идеалам младшего из братьев, Сергея Ивановича, не обнаруживать своих воззрений в каждодневном быту. Николай же Иванович учил брата противоположному: «Мы не затем принимаем либеральные правила, чтобы нравиться хамам. Они нас любить не могут. Мы же их всегда презирать будем»[495].

Связанные с этим «грозный взгляд и резкий тон», отмеченные Софьей в Чацком, мало располагали к беззаботной шутке, не сбивающейся на обличительную сатиру. Декабристы не были шутниками[496]. Вступая в общества карнавализованного веселья молодых либералистов, они, стремясь направить их по пути «высоких» и «серьезных» занятий, разрушали самую основу этих организаций. Трудно представить себе, что делал Ф. Глинка на заседаниях «Зеленой лампы» и уже тем более на ужинах Всеволожского. Однако мы прекрасно знаем, какой оборот приняли события в «Арзамасе» с приходом в него декабристов. Выступления Н. Тургенева и тем более М. Орлова были «пламенными» и «дельными», но их трудно назвать исполненными беззаботного остроумия. Орлов сам это прекрасно понимал: «Рука, обыкшая носить тяжкий булатный меч брани, возможет ли владеть легким оружием Аполлона, и прилично ли гласу, огрубелому от произношения громкой и протяжной команды, говорить божественным языком вдохновенности или тонким наречием насмешки?»[497] Конечно, слова М. Орлова не следует понимать как прямую автохарактеристику. Орлов стилизовал себя как воина-рубаку, попавшего в собрание поэтов, а более обобщенно — воссоздавал ситуацию из позднейшего послания Пушкина: в «роскошные бани» и «мраморные палаты» утонченных вельмож Древнего Рима заходит «воин молодой», чтобы «… роскошно отдохнуть, // Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь». Такая стилизация мало соответствовала реальному облику Орлова. Действительно участвовавший в боевых действиях генерал М. Орлов был, однако, не фронтовиком-рубакой, а опытным разведчиком и одновременно — прекрасным оратором и умелым публицистом. Пером он владел не хуже, чем шпагой, и умел словом воодушевлять собеседников. По типу личности Орлов не тот грубоватый воин, каким он изобразил себя в арзамасской речи, а политик, не лишенный хитрости. Образцом слияния обликов полководца и политика, оратора и публициста был Наполеон, и Орлов хорошо усвоил этот опыт. Однако, подобно своему образцу, Наполеону, Орлов был лишен чувства юмора и в этом смысле действительно не походил на арзамасцев.

Выступления декабристов в «Обществе громкого смеха» также были далеки от юмора. Вот

так рисуется одно из них по мемуарам М. А. Дмитриева: «На второе заседание Шаховской пригласил двух посетителей (не членов) — Фонвизина и Муравьева <…> Гости во время заседания закурили трубки, потом вышли в соседнюю комнату и почему-то шептались, а затем, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьезны и прочее, и начали давать советы. Шаховской покраснел, члены обиделись»[498]. «Громкого смеха» не получилось.

Отменяя господствующее в дворянском обществе деление бытовой жизни на области службы и отдыха, «либералисты» хотели бы превратить всю жизнь в праздник, заговорщики — в «служение».

Все виды светских развлечений: танцы, карты, волокитство — встречают со стороны декабристов суровое осуждение как знаки душевной пустоты. Так, М. И. Муравьев-Апостол в письме к Якушкину недвусмысленно связывал страсть к картам и общий упадок общественного духа в условиях реакции. «После войны 1814 года страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. Чему же приписать возвращение к столь презренному занятию?»[499] — спрашивал он, явно не допуская предложенного Пушкиным симбиоза «карт» и «Платона».

Как «пошлое» занятие, карты приравниваются танцам. С вечеров, на которых собирается «сок умной молодежи», изгоняется и то и другое. На вечерах у И. П. Липранди не было «карт и танцев»[500]. Грибоедов, желая подчеркнуть пропасть между Чацким и его окружением, завершил монолог героя ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». Очень характерно письмо Николая Тургенева брату Сергею. Н. Тургенев удивляется тому, что во Франции, стране, живущей напряженной политической жизнью, можно тратить время на танцы: «Ты, я слышу, танцуешь. Гр<афу> Головину дочь его писала, что с тобою танцовала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une ?cossaise constitutionnelle, ind?pendante, ou une contredanse monarchique ou une danse contre-monarchique?»[501]

О том, что речь идет не о простом отсутствии интереса к танцам, а о выборе типа поведения, для которого отказ от танцев — лишь знак, свидетельствует то, что «серьезные» молодые люди 1818–1819 годов (а под влиянием поведения декабристов «серьезность» входит в моду, захватывая более широкий ареал, чем непосредственный круг членов тайных обществ) ездят на балы,

чтобы там не танцевать. Хрестоматийно известны слова из пушкинского «Романа в письмах»: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг (офицер, намеревающийся танцевать, отстегивал шпагу и отдавал ее швейцару еще до того, как входил в бальную залу. —

Ю. Л.), — нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами» (VIII (1),

55). Сравним реплику княгини-бабушки в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали редки».

Идеалу «пиров» демонстративно были противопоставлены спартанские по духу и подчеркнуто русские по составу блюд «русские завтраки» у Рылеева, которые, как вспоминает Бестужев, «были постоянно около второго или третьего часа пополудни и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и члены нашего Общества. Завтрак неизменно состоял: из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба». Эта спартанская обстановка завтрака «гармонировала со всегдашнею наклонностию Рылеева — налагать печать руссицизма на свою жизнь»[502]. (Особенность эта получала порой довольно неожиданные проявления. Так, Рылеев, занимая квартиру в доме Русско-Американской компании на Мойке, в самом аристократическом районе

Петербурга, содержал, по воспоминаниям его слуги, во дворе дома… корову как идеологический факт бытового опрощения.) М. Бестужев далек от иронии, описывая нам литераторов, которые, «ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой» (там же, с. 54), критикуют туманный романтизм Жуковского. Однако это сочетание, в котором сигара относится лишь к автоматизму привычки и свидетельствует о глубокой европеизации реального быта, а капуста представляет собой идеологически весомый знак, характерно. М. Бестужев не видит здесь противоречия, поскольку сигара расположена на другом поведенческом уровне, чем капуста, она заметна лишь постороннему наблюдателю — то есть нам. Столь же характерно и то, что Рылеев, критикуя Жуковского за ложную народность, не замечает комической парадоксальности реальной обстановки, в которой произносится его речь.

Молодому человеку, делящему время между балами и дружескими попойками, противопоставляется анахорет, проводящий время в кабинете. Кабинетные занятия захватывают даже военную молодежь, которая теперь скорее напоминает молодых ученых, чем армейскую вольницу. Н. М. Муравьев, Пестель, Якушкин, Д. И. Завалишин, Батеньков и десятки других молодых людей их круга учатся, слушают приватные лекции, выписывают книги и журналы, чуждаются дамского общества:

…модный круг совсем теперь не в моде.

Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе.

Не ездим в общества, не знаем наших дам.

Мы их оставили на жертву [старикам],

Любезным баловням осьмнадцатого века.

(Пушкин, VII, 246)

Профессоры!! у них учился наш родня

И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерья.

От женщин бегает…

А. Грибоедов «Горе от ума»

Д. И. Завалишин, который шестнадцати лет был определен преподавателем астрономии и высшей математики в Морской корпус, только что блестяще им законченный, а восемнадцати отправился в ученое кругосветное путешествие, жаловался, что в Петербурге «вечные гости, вечные карты и суета светской жизни. <…> бывало не имею ни минуты свободной для своих дельных и любимых ученых занятий»[503].

Разночинец-интеллигент на рубеже XVIII и XIX веков, сознавая пропасть между теорией и реальностью, мог занять уклончивую позицию:

…носи личину в свете,

А философом будь, запершись в кабинете[504].

Отшельничество декабриста сопровождалось недвусмысленным и открытым выражением презрения к обычному времяпровождению дворянина. Специальный пункт «Зеленой книги» предписывал: «Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей благомыслящих»[505]. Становится возможным тип гусара-мудреца, отшельника и ученого — Чаадаева:

…Увижу кабинет,

Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель

И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.

(Пушкин, II, (1), 189)

Времяпровождение Пушкина и Чаадаева состоит в том, что они вместе читают («… с Кавериным гулял[506], // Бранил Россию с Молоствовым, // С моим Чедаевым читал»). Пушкин дает чрезвычайно точную гамму проявлений оппозиционных настроений в формах бытового поведения: пиры — «вольные разговоры» — чтения. Это не только вызывало подозрения правительства, но и раздражало тех, для кого разгул и независимость оставались синонимами:

Жомини да Жомини!

А об водке — ни полслова![507]

Однако было бы крайне ошибочно представлять себе члена тайных обществ как одиночку-домоседа. Приведенные выше характеристики означают лишь отказ от старых форм единения людей в быту. Более того, мысль о «совокупных усилиях» делается ведущей идеей декабристов и пронизывает не только их теоретические представления, но и бытовое поведение. В ряде случаев она предшествует идее политического заговора и психологически облегчает вступление на путь конспирации. Д. И. Завалишин вспоминал: «Когда я был еще в корпусе воспитанником (в корпусе Завалишин пробыл 1816–1819 годы; в Северное общество вступил в 1824 году. —

Ю. Л.), то я не только наблюдал внимательно все недостатки, беспорядки и злоупотребления, но и предлагал их всегда на обсуждение дельным из моих товарищей, чтобы соединенными силами разъяснить причины их и обдумывать средства к устранению их»[508].

Культ братства, основанного на единстве духовных идеалов, экзальтация дружбы были в высшей мере свойственны декабристу, часто за счет других связей. Пламенный в дружбе Рылеев, по беспристрастному воспоминанию его наемного служителя из крепостных Агапа Иванова, «казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий»[509].

Слова Пушкина о декабристах: «Братья, друзья, товарищи» — исключительно точно характеризуют иерархию интимности в отношениях между людьми декабристского лагеря. И если круг «братьев» имел тенденцию сужаться до конспиративного, то на другом полюсе стояли «товарищи» — понятие, легко расширяющееся до «молодежи», «людей просвещенных». Однако и это предельно широкое понятие входило для декабристов в еще более широкое культурное «мы», а не «они». «Из

нас, не молодых людей», — говорит Чацкий. «Места старших начальников (по флоту. —

Ю. Л.) были заняты тогда людьми ничтожными (особенно из англичан) или нечестными, что особенно резко выказывалось при сравнении с даровитостью, образованием и безусловной честностью

нашего поколения», — писал Завалишин [510] (курсив мой. —

Ю. Л.).

Итак, декабристы требовали от молодежи героического поведения. Однако сам этот героический идеал мог двоиться, принимая (чаще всего) облик рылеевского революционного аскетизма, но также и пушкинской «жизни, льющей через край». В последнем случае интересный пример дает история масонской ложи «Овидий», членом которой был Пушкин.

О ложе «Овидий» мы знаем очень мало: вскоре после ее организации масонство в России было запрещено и все ложи распущены. Реальным напоминанием о ложе служат лишь альбомы пушкинских рукописей. Как известно, после ликвидации масонства от ложи «Овидий» остались толстые папки неисписанной бумаги, и Пушкин долгое время использовал их для творческих черновиков. Так возникли знаменитые пушкинские «масонские тетради», хорошо известные всем, кто работал с рукописями Пушкина.

Однако интересные свидетельства об этом масонском ордене все-таки можно найти. Главнейшие из них принадлежат Пушкину. После восстания декабристов Пушкин, ожидая, что преследования коснутся и его, специально предупредил Жуковского не брать его на поруки, видимо полагая, что в этом случае репрессии могут распространиться и на Жуковского. В письме Пушкин перечислил обвинения, которые могут быть ему предъявлены. Среди них первым он назвал то, что был членом ложи «Овидий», считая, что именно эта ложа вызвала всеобщее запрещение масонства в России. В этом Пушкин, возможно, ошибался (после закрытия ложи запрещение коснулось только Бессарабии; общие репрессии против масонов произошли через год — в 1822 году), однако и в таком случае мнение Пушкина весьма характерно. Попытаемся собрать сведения, которыми мы располагаем.

Прежде всего, не может не показаться странным название ложи. Обычно названиями масонских лож были имена, предметы или общие понятия, имеющие мистико-символический характер и не противоречащие христианским религиозным представлениям. Имя Овидия ни одного из этих требований не удовлетворяет. Следует заметить, что среди названий русских масонских организаций мы не можем вспомнить ни одного, которое напоминало бы это странное наименование.

Зато в «суетной» политической поэзии русского романтизма имя Овидия в эти годы повторяется достаточно часто, — опять-таки, в первую очередь, у Пушкина. Овидий в пушкинской лирике — жертва тирании. Как чувствительная жертва деспотизма, Овидий выведен в «Цыганах». Образ Овидия тревожил Пушкина и в Кишиневе. Однако характерно,

что в романтическом образе римского поэта-изгнанника у Пушкина всегда проступает тень упрека: Овидий упрекается в отсутствии гражданского мужества. Лирическое «я» Пушкина противопоставлено Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал». Название ложи именем Овидия может быть истолковано как призыв не возлагать надежд на Августа.

Как уже говорилось, в вопросе о «работах» ложи остается много неясностей. Все, что касалось ее, было тщательно скрыто. Ни М. Орлов, ни В. Раевский не упоминают о ней. Вопрос об участии генерала П. С. Пущина в декабристском движении не рассматривался совсем. Исследователи поверили на слово показанию Орлова, который представил Пущина случайным и совсем не активным участником движения, хотя остается совершенно непонятным, как мог в этом случае Пушкин, хотя бы и в шуточном послании, называть его «грядущим Квирогой» — именем одного из вождей испанской революции? Необъяснимо и другое: почему сам Пушкин придавал своему участию в ложе такое значение? В обширных исследованиях о кишиневско-декабристских связях Пушкина смысл его слов о ложе «Овидий» обойден. Не прокомментировано и его послание к Пущину.

Действительно, ложа не привлекла внимания следствия. Но в том, что разговоры о ней во время следствия не возникали, можно усмотреть одну из двух причин: либо Раевский и Орлов скрыли то, что им было известно, не желая расширять область внимания следователей, либо они и на самом деле не придавали политическому значению ложи «Овидий» особого смысла. Ни одна из этих возможностей не снимает вопроса о сущности ложи.

Ограниченность материалов принуждает к предельной осторожности. Однако представляется, что то, что в науке называют «кишиневским кружком декабристов» и даже «кишиневской ложей декабристов», скорее всего было

дружеской группой заговорщиков, принадлежавших к разным направлениям декабризма и вряд ли образовывавших единую подпольную организацию. Вполне возможно допустить

наличие разных связей отдельных кишиневских декабристов с политическими центрами движения. Например, обращает внимание интерес, проявленный в дальнейшем Пушкиным к М. А. Дмитриеву-Мамонову. Вопрос этот привлек внимание только Анны Андреевны Ахматовой, высказавшей ряд очень интересных предположений. Мы лишены возможности решить вопрос о том, каковы именно были связи ложи «Овидий»: следует ли их искать в кругах «Союза благоденствия», в замыслах Мих. Орлова или же в попытке Дмитриева-Мамонова организовать в Кишиневе собственный независимый центр. Вопрос этот, возможно, никогда не будет решен, но это еще не основание забывать о его существовании. Уже то, что ложа «Овидий» — единственная организация, связанная с тайным обществом, в которую был допущен Пушкин, должно обеспечить ей внимание историка. Вместе с тем следует помнить, что участие в ложе уже в 1820-х годах привлекло внимание именно к политической активности Пушкина. Это отразилось в недовольном тоне письменного вопроса кн. П. И. Волконского генералу И. Н. Инзову: «Почему не обратили вы внимания на занятия его [Пушкина] по масонским ложам?» Князь Волконский — человек придворный, абсолютно лишенный собственных планов действий, охарактеризованный К. Рылеевым и Ал. Бестужевым словами:

Князь Волконский баба,

Начальником Штаба… [511] —

конечно, задал этот вопрос не по своей инициативе. Бесспорно, он лишь повторял слова императора (а возможно, и просто переделал раздраженный вопрос Александра I, почему

Инзов не обратил внимания на связь Пушкина с масонами). Интонации раздраженного голоса императора, который прекрасно знал и о масонских симпатиях Инзова, и о его отечески-покровительственном отношении к Пушкину, слышатся в этой фразе. В. И. Семевский был безусловно прав, когда писал: «Уже одного имени В. Ф. Раевского достаточно, чтобы быть уверенным, что в ложе „Овидия“ разговаривали не об одной благотворительности»[512].

Однако наиболее интересный материал о ложе «Овидий» дает пушкинская поэзия, непосредственно с ней связанная. Характерно послание Пушкина из Кишинева в Каменку к В. Давыдову. Стихотворение представляет собой конспиративный текст, но сам принцип конспирации специфичен. Пушкин описывает реальные события из жизни кишиневского общества, но для посвященного сами эти события — условные знаки, подлежащие расшифровке. Так, значительное место в начале стихотворения отведено двум волновавшим южан событиям: женитьбе М. Орлова и его политическим планам.

Генерал Орлов занимал в тайном движении совершенно особое место. Опытный и решительный военный, он, единственный из всех заговорщиков, имел в подчинении реальную военную силу — дивизию, солдаты которой были энтузиастически привязаны к своему генералу. Орлов, готовя дивизию к восстанию, зашел уже очень далеко, и смелый характер его действий привлек внимание начальства. Под угрозой близкого ареста Орлов выдвинул предложение немедленных решительных действий, стремясь начать восстание до того, как у него отнимут дивизию. Однако главари южного декабризма не поддержали этого плана: ни они, ни декабристский Север не были еще готовы к восстанию. В планах М. Орлова декабристам виделось отражение его авантюризма, его «наполеоновских» замашек. Вместе с тем в момент создания пушкинского стихотворения Орлов — все еще командир дивизии — был слишком большой силой, чтобы от него можно было просто отмахнуться. В этой атмосфере неопределенности, сомнений и надежд и написано послание Давыдову.

Поэтический рассказ строится как серия намеков «для понимающих». При этом ситуация узкодоверительного разговора с друзьями создается тем, что политические намеки перемешиваются в стихотворении с не совсем пристойными рассуждениями о женитьбе Орлова, видимо активно обсуждавшейся в дружеском кругу. Стилистически этому соответствует игра двойными смыслами: неудобными для печати, с одной стороны, и конспиративными намеками — с другой. Двум злободневным событиям жизни Орлова придан единый многозначный образ — призыва солдата в армию:

…Меж тем как генерал Орлов —

Обритый рекрут Гименея, —

Священной страстью пламенея,

Под меру подойти готов…

(Пушкин, II, 178)

Шуточная форма стихотворения для современного читателя, проникшего в скрытый политический смысл текста, может показаться данью конспирации: политически злободневное содержание Пушкин вынужден маскировать ироническими интонациями, а задача историка — «снять» этот шуточный тон и обнаружить серьезное политическое содержание. Это не совсем так.

Декабристский бытовой тон включал набор стилистических возможностей. Стиль, характерный, например, для Н. Тургенева или Рылеева, — перенесенный из искусства стиль высокой гражданской патетики. Чувство комизма, шутка были такому стилю чужды. Не случайно, когда Рылеев начал писать агитационные сатиры, они получались не очень-то смешными. Однако комизм не был монополией либеральных арзамасцев или склонного к шуткам Жуковского: язвительная насмешка Чацкого сохранила для нас еще одну важную интонацию декабриста.

Стиль пушкинского послания —

сочетание «высокого» содержания с бытовым, патетики с иронией — совершенно невозможен для декабристской поэзии от В. Ф. Раевского до Рылеева, но достаточно близок к «Зеленой лампе». Образцом этого стиля можно считать послание к Пущину, также связанному с ложей «Овидий»:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел

Теперь твоя дорога;

Но ты предвидишь свой удел,

Грядущий наш Квирога.

И скоро, скоро смолкнет брань

Средь рабского народа,

Ты молоток возьмешь во длань

И воззовешь: свобода!

Хвалю тебя, о верный брат!

О каменщик почтенный!

О Кишинев, о темный град!

Ликуй, им просвещенный.

Послание раскрывает совершенно необычный облик занятий ложи «Овидий». Первая строфа прекрасно вписывается в стилистику декабристской поэзии. И упоминание насильственной революции (образы крови и стрел), и имя одного из вождей испанской революции связывают текст с злободневными политическими проблемами. Создается двойная «тайная» образность: провинциальный Кишинев (сравним Кронштадт, куда Рылеев предполагал отступить в случае неудачи в Петербурге) осмысляется сквозь образ испанского армейского центра, расположенного на крайнем юге Пиренейского полуострова: поднятая на периферийной границе революция победоносно шествует к своему «пределу» — в столицу (столицей для декабриста неизменно была Москва, и победа мыслилась как ее завоевание). Продвижение от Кишинева к Кронштадту или к Москве — русский вариант продвижения Риего и Квироги в Мадрид, а в конечном итоге — осуществление неудачной попытки Брута захватить Рим. Образность, стоящая за первой строфой стихотворения, как и ее стилистика, носит революционно-патетический характер.

Во вторую строфу вторгается совершенно, казалось бы, неуместная масонская образность («молоток»), развитая в заключительной третьей строфе («брат», «каменщик»). Свобода для «рабского народа» завоевывается с помощью масонского ритуального жеста и совершенно несовместимого с масонством политического лозунга («И возгласишь: свобода»). Напомним, что политические интересы были категорически запрещены масонству как занятия, искажающие самую цель ордена. В свое время Н. И. Новиков, мучимый сомнениями, обратился к известному теоретику масонства с вопросом: как можно отличить истинных масонов от ложных. Ответ: если в занятиях ложи обнаружится хоть след политики, то это мнимое масонство. Противопоставление нравственности и политики характеризовало масонство и в декабристскую эпоху. Следствием было то, что по мере созревания политического декабризма разрыв с масонством делался неизбежным. Даже попытки использовать масонскую структуру для конспиративной тактики оказались неудачными: масонские одежды рвались и расползались на плечах политического общества. Тем более странным кажется то, что мы узнаем о последней легальной ложе александровской эпохи.

Парадоксальное сочетание масонского «молотка» и политического призыва к свободе, комизм которого был очевиден для привычных к масонским текстам декабристов, завершалось строфой, открыто иронизирующей над попыткой одеть декабристское содержание в масонские одежды. Ясно ощутимая аудиторией масонская терминология (образ «темного града», «просвещенного» светом «братьев»-«каменщиков») комически контрастировала с образной системой первой строфы. Масонская лексика дается с отчетливой иронической интонацией. А типичный для кишиневских посланий Пушкина резкий стилевой контраст революционно-гражданской патетики и вступающей с ней в игру иронии воспроизводит пушкинское восприятие самой ложи «Овидий» — ее сущности и ее оформления.

Еще интереснее не получившее до сих пор отчетливого истолкования стихотворение «Вакхическая песня». Интуитивное читательское чувство подсказывает важность этого произведения — бесспорно, одного из лучших в поэтическом наследии Пушкина. Между тем смысл его остается недостаточно проясненным. В литературе, посвященной стихотворению, следует отметить статью Мурьянова[513]. Автор истолковывает «Вакхическую песню» как ритуальный масонский текст, произносимый перед началом орденской трапезы. Действительно, при чтении стихотворения у читателя возникают образы, связанные с масонством и напоминающие о нем. В этом смысле сближение «Песни» с вступлением Пушкина в масонскую ложу «Овидий» справедливо. Однако общее истолкование «Вакхической песни» как ритуальной масонской поэзии представляется совершенно неприемлемым.

Первые же строки стихотворения обращают нас к образности, решительно исключающей возможности ее масонского истолкования. Упоминания античной вакханалии и бокалов, поднятых за здравие возлюбленных, отсекают всякую возможность понимания текста как масонского. Провозглашение на масонском ритуальном ужине тоста:

Да здравствуют нежные девы

И юные жены, любившие нас! —

как и называние ритуального гимна «вакхальными припевами» — в равной мере невозможны. В масонской поэзии могли встречаться квазилюбовные образы и сюжеты, но они носили мистико-аллегорический характер. В пушкинском же гимне поэтика мистических аллегорий полностью отсутствует. Сам образ вакханалии ведет к античной символике и полностью

несовместим с ориентированным на библеизм масонским ритуалом.

Вместе с тем «вакханалия» понимается здесь не в поверхностном

псевдо античном смысле, а в ее подлинном, высоком значении — пира, на котором Радость возвышается до уровня культа. Это не демоническая радость романтика, а светлая, всепроникающая, объединяющая человека с космосом радость культуры греков. Композиция стихотворения — последовательное восхождение от поэтизации человеческого счастья к всеобщему благу человечества как высокому просветительскому культу.

Первая строфа «Песни» говорит о счастье, которое дается человеку любовью к «девам» и «женам». Эта высокая поэтизация любви как всеобщего закона резко отличается от героического аскетизма Рылеева («Любовь никак нейдет на ум, // Увы, моя отчизна страждет»). Следующий образ — поднятые бокалы с опущенными в них «заветными» (то есть тайными) «кольцами». Тост этот вслух не произносится. Значение его двояко: так пьют за здравие тайных возлюбленных, но так же пьют и за здоровье тех, чье имя закрыто конспирацией. В послании к Давыдову Пушкин вспоминает тосты, при которых

И за здоровье

тех и

той

До дна, до капли выпивали!.

Но

те в Неаполе шалят,

А

та едва ли там воскреснет…

Речь идет о секретном тосте в честь карбонариев и свободы. В нем едины тайная любовь и тайная политика. Это характерно для Пушкина:

Любовь и тайная Свобода

Внушали сердцу гимн простой, —

где личное чувство любви нераздельно слито с патриотическим чувством народа:

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

В следующих строках продолжается расширение образа: любовь становится космическим чувством. Она сливается с истиной и солнцем, и ей противостоят ложь и тьма. Гаснущая свеча и свет восходящего солнца — образы ложной истины, порождения рабского мира, и бессмертного солнца ума. Таким образом, в гимне, который Пушкин написал для «Овидия», его «масонство» — это союз мудрецов и свободолюбцев, утверждающих гармонию свободы и личного счастья с мировым порядком. Конечно, такой просветительский идеал уже утратил связь с масонством, но органически связан с распространенным в просветительских кругах представлением о всемирном братстве просвещенных мудрецов как о некоем «новом рыцарстве». Например, прямое отождествление свободолюбивого просвещения с рыцарством находим в «Горной идиллии» Г. Гейне. Истолкование декабристского движения как рыцарства свободы характерно для Дмитриева-Мамонова, одного из создателей декабристской организации «Орден Русских Рыцарей», сочинения которого попадали в Кишинев через М. Орлова. Факт наличия их в бумагах В. Раевского подтвержден документально. Можно предположить, что сама идея использования масонской ложи в подпольных целях декабризма отражает влияние Дмитриева-Мамонова на кишиневский кружок. Правда, вопрос о воздействии «рыцарских» идей Дмитриева-Мамонова на кишиневский кружок остается неясным и, видимо, никогда не будет выяснен. Следствие по делу декабристов обошло этот вопрос, а арест-заточение и последующее безумие Мамонова окончательно подвели под ним черту. Однако выше уже упоминалось о — фактически до сих пор не объясненном — интересе Пушкина к Дмитриеву-Мамонову в конце 1820-х годов — в период, когда имя его было прочно забыто. Образ Мамонова явно тревожил воображение поэта, и фигура его неожиданно возникает в различных пушкинских сочинениях. Так, Пушкин счел необходимым упомянуть его патриотическое поведение в 1812 году в неоконченной повести «Рославлев». Как показала Анна Ахматова, тень Дмитриева-Мамонова вставала в воображении Пушкина, импровизировавшего роман о влюбленном бесе[514]. Это свидетельствует, что имя Мамонова так и осталось для поэта окруженным ореолом таинственности — как и тайный «Орден Русских Рыцарей» и, по-видимому, практически не успевший реализоваться замысел «работ» ложи «Овидий». Существует предположение, что стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833) навеяно не только впечатлениями от посещения сошедшего с ума Батюшкова, но и памятью о Дмитриеве-Мамонове.

Предложенное понимание «Вакхической песни» позволяет реконструировать и то, каким Пушкину представлялось ее бытование. Тайный текст, конечно, не предназначался для печати. Трудно представить себе его и предназначенным для масонских альбомов. Стихотворение, в первую очередь, явно ориентировано на устное исполнение («песня»). Можно предположить, что оно связывалось с особым ритуалом: его, очевидно, должны были провозглашать (как это имело место в праздничных ритуалах масонов) в момент окончания ночи и солнечного восхода. Такие выражения, как

«эта лампада», неотделимы от

жеста: «Вакхическая песня» имеет ритуальный характер. Это ритуал посвящения воинов Разума и Свободы и в таком смысле — уникальный документ внутренней идейно-эмоциональной жизни декабризма и декабристского поведения.

Агитационность декабристской поэзии неотделима от ее прямой связи с поведением. Поведением тех, кто читает стихи, и тех, кто их слушает. Даже распространяясь письменно — печатно или рукописно — эта поэзия не живет в графических формах. «Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом», — писал Пушкин. Поэзия «воспламеняет дух» и живет в действии. И если мы представим переживание людей, завершающих ночные политические беседы и споры ритуальным празднеством свободы при восходе солнца, то окажемся в том мире высокого энтузиазма, который так важен для понимания декабризма.

Вся библиотека декабризма окажется для нас тайником без ключа, если мы вообразим дух

тайного общества как сумму рожденных им программ и документов. Изъятая из атмосферы энтузиазма,

из жестов и поведения, декабристская литература превращается в лермонтовскую морскую царевну, вытащенную из воды. И все движение теряет жизнь и окраску, будучи превращено в последовательность бумаг и формулировок (этим страдают сыгравшие большую положительную роль в изучении декабризма работы М. В. Нечкиной). Для того чтобы понять декабризм, необходимо вновь превратить формулы в поведение, увидеть жест, услышать интонацию. Слова сохранились — исчезла атмосфера. Но смысл слов будет нам до конца ясен лишь в том случае, если возродить атмосферу.

Как уже говорилось, революционеры следующих этапов часто считали, что декабристы более говорили, чем действовали. Однако понятие «действия» исторически изменчиво. Со

своей точки зрения, декабристы были именно практиками. Их заседания — их «служение».

Праздник всегда связан со свободой. Гвардейский праздник противопоставлял себя службе. В недрах декабристского тайного общества началась, но не успела завершиться выработка

своего праздника, противопоставлявшего официальному миру «тайную свободу», а вседозволенности либеральной «вольницы» — высокий героический ритуал. Пушкинское понимание праздника родственно рылеевскому в высокой и героической стилистике, но отличается от него ярко выраженной апологией радости. Такого рода празднества, по всей вероятности, получили значительно меньшую реализацию. По крайней мере, до нас не дошли сведения о них. Но это не уменьшает их значения.

Поведение дворянского революционера имело еще одну важную особенность: оно легко (вопреки идее конспирации) переходило в другие типы дворянского поведения. Необходимо учитывать, что не только мир политики проникал в ткань человеческих отношений дворянских революционеров. Для декабристов была характерна и противоположная тенденция: бытовые, семейные, человеческие связи пронизывали толщу политических организаций. Если для последующих этапов общественного движения будут типичны разрывы дружбы, любви, многолетних привязанностей по соображениям идеологии и политики, то для декабристов характерно, что сама политическая организация облекается в формы непосредственно человеческой близости, дружбы, привязанности к человеку, а не только к его убеждениям. Все участники политической жизни были включены и в какие-либо прочные внеполитические связи. Они были родственниками, однополчанами, товарищами по учебным заведениям, участвовали в одних сражениях или просто оказывались светскими знакомыми. Связи эти охватывали весь круг от царя и великих князей, с которыми можно было встречаться и беседовать на балах или прогулках, до молодого заговорщика. И это накладывало на всю картину эпохи особый отпечаток.

Ни в одном из политических движений России мы не встретим такого количества родственных связей. Не говоря уж о целом переплетении их в гнезде Муравьевых — Луниных или вокруг дома Раевских (М. Орлов и С. Волконский женаты на дочерях генерала Н. Н. Раевского; В. Л. Давыдов, осужденный по I разряду к вечной каторге, — двоюродный брат поэта — приходится генералу единоутробным братом), достаточно указать на четырех братьев Бестужевых, братьев Вадковских, братьев Бобрищевых-Пушкиных, братьев Бодиско, братьев Борисовых, братьев Кюхельбекеров. Если же учесть связи свойства, двоюродного и троюродного родства, соседства по имениям (что влекло за собой общность воспоминаний и связывало порой не меньше родственных уз), то получится картина, которой мы не найдем в последующей истории освободительного движения в России.

Не менее знаменательно, что родственно-приятельские отношения: клубные, бальные, полковые, походные знакомства — связывали декабристов не только с друзьями, но и с

противниками, причем это противоречие не уничтожало ни тех, ни других связей.

Судьба братьев Михаила и Алексея Орловых, первый из которых был одним из выдающихся руководителей декабристского движения, а второй принял активное участие в его подавлении и сделался впоследствии ближайшим другом Николая I, в этом отношении знаменательна, но отнюдь не единична. Можно было бы напомнить пример М. Н. Муравьева, проделавшего путь от участника «Союза спасения» и одного из авторов устава «Союза благоденствия» до кровавого душителя польского восстания. Однако неопределенность, которую вносили дружеские и светские связи в личные отношения политических врагов, ярче проявляется на рядовых примерах. В день 14 декабря 1825 года на площади рядом с Николаем Павловичем оказался флигель-адъютант Н. Д. Дурново. Поздно ночью именно Дурново был послан арестовать Рылеева и выполнил это поручение. К этому времени он уже пользовался полными доверием нового императора, который накануне поручал ему (оставшуюся нереализованной) опасную миссию переговоров с мятежным каре. Через некоторое время именно Н. Д. Дурново конвоировал М. Орлова в крепость.

Казалось бы, вопрос предельно ясен: перед нами реакционно настроенный служака, с точки зрения декабристов — враг. Но ознакомимся ближе с обликом этого человека[515].

Н. Д. Дурново родился в 1792 году. В 1810 году он вступил в корпус колонновожатых. В 1811 году был произведен в поручики свиты и состоял при начальнике штаба князе Волконском. Здесь Дурново вступил в тайное общество, о котором мы до сих пор знали лишь по упоминанию в мемуарах Н. Н. Муравьева: «Членами общества были также (кроме колонновожатого Гамбурга. —

Ю. Л.) офицеры Дурново, Александр Щербинин, Вильдеман, Веллингсгаузен; хотя я слышал о существовании сего общества, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурново, таились от других товарищей своих»[516]. До сих пор это свидетельство было единственным. Дневник Дурново добавляет к нему новые (цитируемые в русском переводе). 25 января 1812 года Дурново записал в своем дневнике: «Минул год с основания нашего общества, названного „Рыцарство“ (Chevalerie). Пообедав у Демидова, я отправился в 9 ч. в наше заседание, состоявшееся у Отшельника (Solitaire). Продолжалось оно до 3 часов ночи. На этом собрании председательствовали 4 первоначальных рыцаря»[517].

Из этой записки мы впервые узнаем точную дату основания общества, его название, любопытно напоминающее нам «Русских Рыцарей» Мамонова и Орлова, и некоторые стороны его внутреннего ритуала. У общества был писаный устав, как это явствует из записи 25 января 1813 года: «Сегодня два года как было основано наше Р[ыцарство]. Я один из собратьев в Петербурге, все прочие просвещенные (illustres) члены — на полях сражений, куда и я собираюсь возвратиться. В этот вечер, однако, не было собрания, как это предусмотрено уставом»[518].

Накануне войны с Францией в 1812 году Дурново приезжает в Вильно и здесь особенно тесно сходится с братьями Муравьевыми, которые его приглашают квартировать в их доме. Особенно он сближается с Александром и Николаем. Вскоре к их кружку присоединяется Михаил Орлов, с которым Дурново был знаком и дружен еще по совместной службе в Петербурге при кн. Волконском, а также С. Волконский и Колошин. Вместе с Орловым он нападает на мистицизм Александра Муравьева, и это рождает ожесточенные споры. Встречи, прогулки, беседы с Александром Муравьевым и Орловым заполняют все страницы дневника. Приведем лишь записи 21 и 22 июня: «Орлов вернулся с генералом Балашовым. Они ездили на конференции с Наполеоном. Государь провел более часу в разговоре с Орловым. Говорят, он очень доволен поведением последнего в неприятельской армии. Он весьма резко ответил маршалу Давусту, который пытался задеть его своими речами». 22 июня: «То, что мы предвидели, случилось — мой товарищ Орлов, адъютант князя Волконского и поручик кавалергардского полка, назначен флигель-адъютантом. Он во всех отношениях заслужил

этой чести» (там же, л. 56). В свите Волконского, вслед за императором, Дурново и Орлов вместе покидают армию и направляются в Москву.

Связи Дурново с декабристскими кругами, видимо, не обрываются и в дальнейшем. По крайней мере, в его дневнике, вообще подробно фиксирующем внешнюю сторону жизни, но явно обходящем все опасные моменты (например, сведений о «Рыцарстве», кроме процитированных, в нем не встречается, хотя общество явно имело заседания: часто упоминаются беседы, но не раскрывается их содержание и проч.), вдруг встречаем такую запись, датируемую 20 июня 1817 года: «Я спокойно прогуливался в моем саду, когда за мной прибыл фельдъегерь от Закревского. Я подумал, что речь идет о путешествии в отдаленные области России, но потом был приятно изумлен, узнав, что император мне приказал наблюдать за порядком во время передвижения войск от заставы до Зимнего дворца» (там же, 3540, л. 10).

К сказанному можно добавить, что после 14 декабря Дурново, видимо, уклонился от высочайших милостей, которые были щедро пролиты на всех, кто оказался около императора в роковой день. Будучи еще с 1815 года флигель-адъютантом Александра I[519], получив за походы 1812–1814 годов ряд русских, прусских, австрийских и шведских орденов (Александр I сказал про него: «Дурново — храбрый офицер»), он при Николае I занимал скромную должность правителя канцелярии управляющего Генеральным штабом. Но и тут он, видимо, чувствовал себя неуютно: в 1828 году он отпросился в действующую армию (при переводе был пожалован в генерал-майоры) и был убит при штурме Шумлы[520].

Следует ли после этого удивляться, что Дурново и Орлов, которых судьба в 1825 году развела на противоположные полюсы, встретились не как политические враги, а как если не приятели, то добрые знакомые и всю дорогу до Петропавловской крепости проговорили вполне дружелюбно.

Эта особенность также повлияла на поведение декабристов во время следствия. Революционер последующих эпох лично не знал тех, с кем боролся, и видел в них политические силы, а не людей. Это в значительной мере способствовало бескомпромиссной ненависти. Декабрист даже в членах Следственной комиссии не мог не видеть людей, знакомых ему по службе, светским и клубным связям. Это были для него знакомые или начальники. Он мог испытывать презрение к их старческой тупости, карьеризму, раболепию, но не мог видеть в них «тиранов», деспотов, достойных тацитовских обличений. Говорить с ними языком политической патетики было невозможно, и это дезориентировало арестантов.

Поэзия декабристов была исторически в значительной мере заслонена творчеством их гениальных современников — Жуковского, Грибоедова и Пушкина. Политические концепции декабристов устарели уже для поколения Белинского и Герцена. Но именно в создании совершенно нового для России

типа человека вклад их в русскую культуру оказался непреходящим. Своим приближением к норме, к идеалу он напоминает вклад Пушкина в русскую поэзию.

Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. Оно базировалось на исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движения в то, что он — великий человек. Поражает даже некоторая наивность, с которой Завалишин писал о тех своих однокурсниках, которые, стремясь к чинам, бросили серьезные теоретические занятия, «а потому почти без исключения обратились в простых людей»[521].

Это заставляло

каждый поступок рассматривать как имеющий значение, достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл. Отсюда, с одной стороны, известная картинность или театрализованность бытового поведения, о которой уже говорилось

(сравним сцену объяснения Рылеева с матерью, описанную Н. Бестужевым)[522]. Но с другой стороны, отсюда же проистекала и вера в значимость любого поступка и, следовательно, исключительно высокая требовательность к нормам бытового поведения. Чувство политической значимости

всего своего поведения заменилось в Сибири, в эпоху, когда историзм стал ведущей идеей времени, чувством значимости исторической. «Лунин живет для истории», — писал Сутгоф Муханову. Сам Лунин, сопоставляя себя с вельможей Новосильцевым (при известии о смерти последнего), писал: «Какая противоположность в наших судьбах! Для одного — эшафот и история, для другого — председательское кресло в Совете и адрес-календарь». Любопытно, что в этой записи реальная судьба — эшафот, председательство в Совете — выражение в том сложном знаке, которым для Лунина является человеческая жизнь (жизнь —

имеет значение). Содержанием же является наличие или отсутствие духовности, которое, в свою очередь, символизируется в определенном тексте: строке истории или строчке в адрес-календаре.

Сопоставление поведения декабристов с поэзией, как кажется, принадлежит не к красотам слога, а имеет серьезные основания. Поэзия строит из бессознательной стихии языка некоторый сознательный текст, имеющий более сложное вторичное значение. При этом значимым делается все, даже то, что в системе собственно языка имело чисто формальный характер.

Декабристы строили из бессознательной стихии бытового поведения русского дворянина рубежа XVIII–XIX веков сознательную систему идеологически значимого бытового поведения, законченного как текст и проникнутого высшим смыслом.

Приведем лишь один пример чисто художественного отношения к материалу поведения. В своей внешности человек может изменить прическу, походку, позу… Поэтому эти элементы поведения, являясь результатом выбора, легко насыщаются значениями («небрежная прическа», «артистическая прическа», «прическа ? la император» и проч.). Однако черты лица и рост альтернативы не имеют. И если писатель, который может их дать своему герою такими, какими ему угодно, делает их носителями важных значений, в быту мы, как правило, семиотизируем не лицо, а его выражение, не рост, а манеру держаться (конечно, и константные элементы внешности воспринимаются нами как определенные сигналы, однако лишь при включении их в сложные паралингвистические системы). Тем более интересны случаи, когда именно природой данная внешность истолковывается человеком как знак, то есть когда человек подходит к себе самому как к некоторому сообщению, смысл которого ему самому же еще предстоит расшифровать (то есть понять по своей внешности свое предназначение в истории, судьбе человечества). Вот запись священника Мысловского, познакомившегося с Пестелем в крепости: «Имел от роду более 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного с значительными чертами или физиономиею; быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный; увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие-то самое сходство с великим человеком, всеми знавшими Пестеля единогласно утвержденное, было причиною всех сумасбродств и самых преступлений»[523].

Из воспоминаний В. Олениной: «Сергей Мур[авьев]-Апостол не менее замечательная личность (чем Никита Муравьев. —

Ю. Л.), имел к тому же еще необычайное сходство с Наполеоном I, что, наверное, не мало разыгрывало его воображение»[524].

Достаточно сопоставить эти характеристики с тем, какую внешность Пушкин дал Германну, чтобы увидеть общий, по существу, художественный принцип. Однако Пушкин применяет этот

принцип к построению художественного текста и к вымышленному герою, а Пестель и С. Муравьев-Апостол — к вполне реальным биографиям: своим собственным. Этот подход к своему поведению как сознательно творимому по законам и образцам высоких текстов не приводил, однако, к эстетизации категории поведения в духе, например, «жизнетворчества» русских символистов XX века. Поведение, как и искусство, для декабристов не было самоцелью, а являлось средством, внешним выражением высокой духовной насыщенности «текста жизни» или текста искусства.

Итак, нельзя не заметить связи между бытовым поведением декабристов и принципами романтического миросозерцания. Однако следует иметь в виду, что высокая знаковость (картинность, театральность, литературность) каждодневного их поведения не превращалась в ходульность и натянутую декламацию. Напротив — она поразительно сочеталась с простотой и искренностью. По характеристике близко знавшей с детства многих декабристов В. Олениной, «Муравьевы в России были совершенное семейство Гракхов», но она же отмечает, что Никита Муравьев «был нервозно, болезненно застенчив». Если представить широкую гамму характеров от детской простоты и застенчивости Рылеева до утонченной простоты аристократизма Чаадаева, можно убедиться в том, что ходульность дешевого театра не характеризовала декабристский идеал бытового поведения.

Причину этого можно видеть, с одной стороны, в том, что идеал бытового поведения декабристов, в отличие от базаровского поведения, строился

не как отказ от выработанных культурой норм бытового этикета, а как

усвоение и

переработка этих норм. Это было поведение, ориентированное не на Природу, а на Культуру. С другой стороны, это поведение в основах своих оставалось дворянским. Оно включало в себя требование хорошего воспитания. А подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, — легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев. Н. А. Белоголовый, имевший возможность длительное время наблюдать ссыльных декабристов взором ребенка из недворянской среды, отметил эту черту: «Старик Волконский — ему уже тогда было больше 60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, <…> водил дружбу с крестьянами». «Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки». «В гостях у князя, — как вспоминает Н. А. Белоголовый, — опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапог. В салоне жены Волконский появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными салонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков». Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры.

Сказанное позволяет затронуть еще одну проблему: вопрос о декабристской традиции в

русской культуре чаще всего рассматривается в чисто идеологическом плане. Однако у этого вопроса есть и «человеческий» аспект — традиция определенного типа поведения, типа социальной психологии. Так, например, если вопрос о роли декабристской идеологической традиции применительно к Л. Н. Толстому представляется сложным и нуждающимся в ряде корректив, то непосредственно человеческая преемственность, традиция историко-психологического типа всего комплекса культурного поведения здесь очевидна. Показательно, что сам Л. Н. Толстой, говоря о декабристах, различал понятия идей и личностей. В дневнике Т. Л. Толстой-Сухотиной есть на этот счет исключительно интересная запись: «Репин все просит папа дать ему сюжет. <…> Вчера папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом —

скорее личностью его, чем идеями, — и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли вдвоем к виселице»[525].

Трактовка Толстого очень интересна; мысль его постоянно привлечена к людям 14 декабря, но именно в первую очередь — к людям, которые ему ближе и роднее, чем идеи декабризма.

В поведении человека, как и в любом роде человеческой деятельности, можно выделить пласты «поэзии» и «прозы». Так, для Павла и Павловичей поэзия армейского существования состояла в параде, а проза — в боевых действиях. «Император Николай, убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках… добивался по преимуществу безусловной подчиненности и однообразия», — писал в своих мемуарах А. Фет[526].

Для Дениса Давыдова поэзия ассоциировалась не просто с боем, а с иррегулярностью,

«устроенным беспорядком вооруженных поселян». «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа Байрона! — Пусть тот, который, не страшась

смерти, страшится

ответственности, остается перед глазами начальников»[527]. Безоговорочное перенесение категорий поэтики на виды военной деятельности показательно.

Разграничение «поэтического» и «прозаического» в поведении и поступках людей вообще характерно для интересующей нас эпохи. Так, Вяземский, осуждая Пушкина за то, что тот заставил Алеко ходить с медведем, прямо предпочел этому прозаическому занятию воровство: «…лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми. В этом ремесле, хотя и не совершенно безгрешном, но есть какое-то удальство, и следственно поэзия»[528]. Область поэзии в действительности — это мир «удальства».

Человек эпохи Пушкина и Вяземского в своем бытовом поведении свободно перемещался из области прозы в сферу поэзии и обратно. При этом, подобно тому, как в литературе «считалась» только поэзия, прозаическая сфера поведения как бы вычиталась при оценке человека, ее как бы не существовало.

Декабристы внесли в поведение человека единство, но не путем реабилитации жизненной прозы, а тем, что, пропуская жизнь через фильтры героических текстов, просто отменили то, что не подлежало занесению на скрижали истории. Прозаическая ответственность перед начальниками заменялась ответственностью перед историей, а страх смерти — поэзией чести и свободы. «Мы дышим свободою», — произнес Рылеев 14 декабря на площади. Перемещение свободы из области идей и теорий в «дыхание» — в жизнь. В этом суть и значение бытовою поведения декабриста.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

«Между двойною бездной…»

Рассмотренная нами область культуры двойственна по своей природе. На границе мира вещей, погруженных в практику, и мира смыслов и значений она выступает как практическая реальность в мире знаков или как знак в мире практической реальности. Эта двойственность и составляет ее специфику.

Но стоит к ней ближе приглядеться, как мы замечаем, что одновременно подобная двойственность является одной из основных черт механизма сознания в целом. То, что мыслит и само имеет смысл (создает сознание и сознанием является), в принципе, должно быть явлением пограничным. Эта погруженность в двойственный мир всегда остро ощущалось поэтами, которые видели в ней сущность позиции человека среди окружающего его духовно-материального пространства. О единстве-двойственности писалось неоднократно. Фактически это имел в виду сказать Державин словами:

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю[529].

Державин говорил о двоемирии, двоесущности человека, Баратынский — о том же, применительно к позиции поэта. Он создал образ «недоноска» — небесного среди земных, земного среди небесных, не святого, но и не грешника:

Я из племени духов,

Но не житель Эмпирея,

И едва до облаков,

Возлетев, паду слабея.

Смутно слышу я порой

Клич враждующих народов,

Поселян беспечных вой

Под грозой их переходов,

Гром войны и крик страстей,

Плач недужного младенца…

Слезы льются из очей:

Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,

Я мечусь в полях небесных,

Надо мной и подо мной

Беспредельных — скорби тесных!

В тучу кроюсь я, и в ней

Мчуся, чужд земного края,

Страшный глас людских скорбей

Гласом бури заглушая[530].

Тютчев создал символический образ лебедя, застывшего между двойною бездной: небесами и их отражением в воде. Таким ему рисовался и образ поэзии — отражение мира вещей в зеркалах и зеркальных отражений в реальности.

Это положение «на перекрестке» противоположностей — основа механизма сознания, порождающего новое. В частности, по той же модели строятся отношения «чужого» и «своего». Чтобы стать значимым, то есть «новым», «свое» как бы перемещается на положение «чужого», переживает «второе знакомство» с нами и вновь становится «своим». В этом смысле делается понятным дерзкое для своего времени выступление Пушкина в «Евгении Онегине» в защиту галлицизмов и даже более того — языка светских дам, пропитанного «неправильностями». Понять демонстративность, с которой Пушкин дразнил своих противников, можно только вспомнив, что дамские ошибки в русском языке и французский лепет «прекрасного пола» были традиционным, безоговорочно завоеванным полем сатиры. Здесь сходились прогрессисты и реакционеры, архаисты и новаторы.

Мы не можем в полной мере ощутить дерзость пушкинских признаний, иронических, но тем не менее — декларативных:

Неправильный, небрежный лепет,

Неточный выговор речей

По-прежнему сердечный трепет

Произведут в груди моей;

Раскаяться во мне нет силы,

Мне галлицизмы будут милы,

Как прошлой юности грехи,

Как Богдановича стихи.

(3, XXIX)

Не случайно эти строки вызвали решительную поддержку Вяземского. Пушкин предполагал даже ввести в «Евгения Онегина» письмо Татьяны в шокирующей по тем временам форме — в прозе и по-французски. Он отказался от этого решения, ограничившись его адекватами: читатель был предупрежден, что в оригинале письмо написано по-французски, а поэт является лишь его переводчиком. Русский язык в этом случае «играл роль» французского. Резкий же перелом строфики, ломающий инерцию онегинской интонации, как бы имитировал различие между стихами и прозой.

Следующий шаг был сделан Львом Толстым, который не испугался ввести в «Войну и мир» обильную французскую речь, причем характерно, что французским языком наделяется особенно щедро русское светское общество.

Мир, пограничный стилистике, — экспериментальная сфера стилистики. Границы между художественным и нехудожественным, поэтическим и прозаическим, «своим» и «чужим», трагическим и комическим и вообще все рубежи, разделяющие области культуры, — районы зарождения новых смыслов и семиотических экспериментов. При этом следует иметь в виду, что здесь мы имеем дело не с отдельными самодостаточными явлениями, подобными материальным предметам, а с функцией, ролью: поэтическое и прозаическое, «свое» и «чужое» и т. д. постоянно меняются местами, передвигаясь в едином динамическом целом культуры. Поэтому нельзя в областях культуры и быта априорно отвергнуть тот или иной элемент, как незначительный.

У данного вопроса есть и другая, более практическая сторона. Мы хотим понимать историю прошлого и произведения художественной литературы предшествующих эпох, но при этом порою наивно полагаем, что достаточно взять в руки интересующую нас книгу, положить рядом с собой словарь того или иного иностранного, древнерусского или даже современного русского языка — и понимание будет гарантировано. Но каждое сообщение состоит, в действительности, как бы из двух частей: того, о чем говорится, и того, о чем не говорится, потому что оно и так известно. Эта вторая часть сообщения опускается. Читатель-современник с легкостью восстанавливает ее сам, по своему жизненному опыту. Ему не нужно, например, объяснять, для чего служит пол в доме. Но если мы резко сменим бытовые привычки, то целый ряд подробных комментариев к тексту окажется неизбежным. Современный западноевропейский быт, привычки, принятые в некоторых мещанских сферах европейской культуры, или японская культура будут, например, давать различные решения вопроса, снимать или нет обувь, входя в комнату. Перед читателем, находящимся внутри этой культуры, вопрос не встает. Иностранец или человек другой эпохи нуждается в специальных объяснениях. Романы или газеты пишутся для современника, поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось потому, что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто, не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами. Японский путешественник XVIII века с изумлением писал: «Россия. Ее язык — это не просто тарабарская болтовня, мычание или чириканье»[531]. Это внимательный и добросовестный наблюдатель, но, естественно, он был связан со своим культурным опытом (например, когда предупреждал читателей, что землетрясения случаются в Петербурге очень редко). Еще интереснее другой пример: описывая снег в Петербурге, автор воспоминаний не только имеет в виду зиму, но и говорит, что императрица отправляется весною в Царское Село, «чтобы полюбоваться снегом»[532]. Здесь — очень тонкое выражение специфики японского восприятия природы. Житель Петербурга переживает снег как естественную, привычную красоту. И что особенно важно, зимой в России снег выпадает надолго, поэтому он влечет за собой представление о долгом, прочном и даже вечном. В Японии снеговой покров недолог и вызывает образы кратковременной, быстро исчезающей красоты. В японской образности снег хрупок и ассоциируется с чувством быстротечности земной красоты. Как же не полюбоваться ею перед ее исчезновением! Этот

оттенок меланхолического эстетизма привносится в зимние петербургские пейзажи их японским наблюдателем.

Однако не менее характерно и другое: путешественник стремится не перетолковывать чужую действительность по моделям своей, а дать ее исчерпывающе полное описание. Он с одинаковыми невозмутимыми подробностями описывает дворцовые залы и устройство уборных, и если первые описания мы еще можем найти в других источниках, то вторые совершенно уникальны[533].

Слово «понимание» коварно. Невольно навязывается представление, что это однократный, исчерпывающий акт: понимание представляется как окончательное и безусловное знание. В действительности это путь в бесконечность. Честность заключается в том, чтобы указать степень и направление приближения. Понимание можно представить себе как сеть истолкований и переводов разной степени приближенности. Именно их многочисленность и взаимная контрастность определяют уровень понимания. Представим себе пьесу Шекспира, которую смотрит современный русский зритель. Множественность переводов складывается с множественностью режиссерских интерпретаций. Но и эта последняя не дана однозначно, а сопрягается с разнообразием актерских талантов, декораторских интерпретаций и т. д. Так создается некое пространство, в отношении к которому наполняется смыслом каждая новая постановка. Мы знаем постановки, стремившиеся к музейной точности воспроизведения внешних сторон быта шекспировской эпохи. Пьеса превращалась в шекспировский музей. Знаем мы и опыты постановок в современных костюмах или в условных костюмах и декорациях, не соотносимых ни с какой конкретной эпохой. В любом случае перед нами — не Шекспир, а лишь какой-то его отпечаток. Нельзя безболезненно убрать вещи, ибо вещи — это жесты, а жест — характер. Одному из фольклористов, записывавшему сказку на сюжет «Иван и змей» вскоре после окончания войны, пришлось услышать: «Тут Иван как выхватил наган да и начал по змею палить!» Но можно представить и прямо противоположное решение, когда тот же сказочный Иван (или шекспировский герой) будет представлен на высшей ступени абстрактности, без каких-либо примет места и времени. Режиссер выберет тот вариант, который будет соответствовать его замыслу. Но для того чтобы он был свободен в выборе, он должен обладать в своем сознании запасом не только того, что будет служить его намерениям, но и того, что он отвергнет. Память его культуры должна быть намного шире его выбора. Поэтому и тот, кто действует, и тот, кто отражает реальные действия в искусстве, и тот, кто воспринимает это отражение, должны обладать запасом памяти, значительно превосходящим каждую конкретную потребность.

И наконец, последнее. Если нам не дано исчерпывающе понять прошедшее и настоящее, то мы можем осознать свою неотделимую с ними слитность. Это чувство растет от проникновения в большие исторические события в той же мере, как и от сопереживания мелких и мельчайших сторон жизни. Геометрически изоморфные фигуры различны по размерам, по форме и вместе с тем в определенном смысле — одно и то же. История, отраженная в одном человеке, в его жизни, быте, жесте, изоморфна истории человечества. Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга. Если настоящая книга внушит читателю хотя бы малую степень этого чувства, автор будет считать свою работу не напрасной.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

к книге Лотмана Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)

Групповой портрет участников русского посольства 1662 г. в Англию

Неизвестный английский художник. Х., м. 1662.

Изображены князь Петр Семенович Прозоровский (16..— не позже 1668) по прозвищу Петр Большой, дворянин Иван Афанасьевич Желябужский (1635–17..), находившийся «вторым при посольстве» в звании Курмыжского воеводы (автор «Дневных записок с 1682 по 1709 год»), дьяк Иван Давыдов и переводчик Андрей Форот.

Конклюзия Гедеона Вишневского, посвященная коронации императрицы Екатерины 16 мая 1724 г.

И. Ф. Зубов. Гравюра резцом и офортом. 1724.

Справа — Петр, показывающий Россию на глобусе, вокруг него фигуры Геркулеса, Нептуна и Афины, указывающей на Екатерину I, и аллегорические фигуры (Твердость, Слава, Истина, Благочестие и Вера). На столе две императорские короны. Внизу тексты богословских тезисов на латыни и русском и аллегорическая фигура женщины, бьющей в бубен («радость всенародная»). Гравюра была поднесена автором императрице во время коронации.

Портрет Павла I на фоне Гатчинского дворца

М. Д. Евреинов с оригинала С. С. Щукина. Миниатюра. Ок. 1800.

Император в генеральском мундире по форме Преображенского полка с отложным воротником, украшенным введенным в 1800 г. шитьем и витым эполетом на левом плече (знак генеральского чина). Через плечо — голубая лента ордена св. Андрея Первозванного, на шее — крест св. Анны (любимый орден Павла I), на груди — знак ордена св. Иоанна Иерусалимского. На поясе — офицерский шарф (введен в 1796 г.). В руках трость — элемент офицерской экипировки того времени.

Объявление о коронации императрицы Анны Иоанновны

О. Эллигер. Офорт. 1731.

Объявление (или «публикация») собравшейся в Кремле перед Грановитой палатой публике о коронации предваряется барабанным боем и звуками труб: справа изображены военные музыканты — литаврщики (конные барабанщики) и трубачи.

Портрет генерал-фельдцехмейстера светлейшего князя П. А. Зубова в костюме кавалера ордена св. Андрея Первозванного

И.-Б. Лампи-старший. Х., м. 1796

Генерал-фельдцехмейстер — высшее воинское звание для начальника артиллерии в русской армии. Зубов изображен в специальном орденском костюме состоящем из плаща (епанчи) и шляпы, надевавшемся в день ежегодного орденского праздника (30 ноября). На груди знаки ордена: звезда и цепь, которая замыкается орденским крестом с изображением распятого апостола.

Рядовой и унтер-офицер лейб-гвардии гусарского полка в 1812 г.

Литогр. 1840-е.

Лейб-гусарский полк был сформирован в 1796 г. при Павле I и имел (с 1809) при общей гусарской форме красные ментики и доломаны, синие чакчиры, золотые (у офицеров; у нижних чинов — желтые) шнуры и галуны. В 1812 г. все гусары имели общеармейский кивер с белым султаном; на кивере лейб-гусар гвардейский двуглавый орел (вместо армейской черно-оранжевой кокарды); офицеры до 1814 г. имели право носить наброшенную на плечо леопардовую шкуру. Слева изображен рядовой гусар, справа — унтер-офицер, на что указывают обложенный галуном воротник и черный конец султана.

Мундирное платье по форме лейб-гвардии конного полка, принадлежавшее Екатерине II

1770-е.

Конногвардейский полк — старейшая часть русской гвардейской кавалерии, сформирован в 1730 г. Нижнее платье, соответствующее офицерскому камзолу, красного цвета; верхнее платье, соответствующее кафтану, василькового цвета, с красным воротником и обшлагами, золотым форменным галуном и гладкими пуговицами. Императрица облачалась в платья по форме гвардейских частей для участия в ежегодных полковых праздниках.

Портрет Д. Н. Шереметева в форме обер-офицера Кавалергардского полка

О. А. Кипренский. Х., м. 1824.

Кавалергардский полк, сформированный Павлом I в 1800 г., принадлежал к тяжелой гвардейской кавалерии, имел кирасирское вооружение (каска с гребнем конского волоса, металлическая кираса, палаш — прямое тяжелое холодное оружие). На принадлежность к гвардии указывают петлицы (так наз. катушки) на воротнике и на обшлагах белого кирасирского колета. На плечах — обер-офицерские эполеты без бахромы. Эполеты и металлическое шитье у кавалергардов были серебряные, чем отличали их от конногвардейцев, имевших золотой металлический прибор. Белые замшевые обтягивающие лосины заправлены в высокие, выше колен, черные ботфорты, на руках белые перчатки с крагами.

Портрет Д. Н. Гончарова в камер-юнкерском мундире

Неизвестный художник. Х., м. 1835.

Дмитрий Николаевич Гончаров (1808–1860) — старший брат жены А. С. Пушкина, Натальи Николаевны, чиновник коллегии иностранных дел (в составе русской миссии в Персии разбирал бумаги убитого Грибоедова). Чин камер-юнкера 3 апреля 1809 г. был преобразован в почетное придворное звание, и его можно было получить, только имея уже какой-нибудь чин. Одет в парадный мундир камер-юнкера (на начало XIX в. — V класс, что соответствовало статскому советнику) темно-зеленого цвета (общего для всех гражданских мундиров) с красными обшлагами и воротником. Мундир с золотым шитьем с ниспадающими золотыми кистями по краям носился с белыми суконными панталонами до колен, белыми чулками и башмаками, шляпа к нему полагалась также шитая золотом и с белым плюмажем.

Портрет адмирала О. М. де Рибаса (1749–1800)

И.-Б. Лампи-старший. Х., м. 1796.

Испанский дворянин на русской службе, де Рибас одинаково блестяще командовал и кавалерией, и гребной флотилией, и черноморским гренадерским корпусом. Не однажды был уличен в казнокрадстве. На службу по морскому ведомству указывает мундир белого цвета с зеленым воротником и камзолом (введенный в 1745 г.). На чин — вице-адмирал (III класс, что соответствовало генерал-поручику) — указывает «полуторное» золотое шитье по борту кафтана. На мундире знаки ордена Александра Невского (восьмиугольная звезда и красная лента), св. Георгия 2-й степени (четырехугольная звезда и крупный, по моде XVIII в., крест на шейной ленте), св. Владимира (восьмиугольная, нижняя из трех, орденская звезда и крест на шее) и св. Иоанна Иерусалимского, получивший распространение при Павле I (командорский «мальтийский» белый крест на левой стороне груди, увенчанный бриллиантовой короной).

Штаб-офицер лейб-гвардии уланского Его Императорского Высочества Цесаревича Константина Павловича полка

Л. Киль. Литогр. 1821.

Мундир уланов (род легкой кавалерии) в русской армии был синего цвета, полки отличались цветом суконного (воротники, обшлага, лацканы, чепраки) и металлического (эполеты, пуговицы, аксельбанты, эмблемы на шапках) прибора. Характерная черта уланской униформы — шапка с квадратным верхом. Полк Цесаревича имел красный суконный и серебряный металлический прибор, что отличало его от лейб-гвардии уланского полка, имевшего золотой металлический прибор. Униформа старших (штаб-) офицеров отличалась от униформы младших (обер-) офицеров только наличием бахромы на эполетах.

Улан лейб-гвардии уланского Его Императорского Высочества Цесаревича Константина Павловича полка

Л. Киль. Литогр. 1818.

Нижние чины в уланских полках были вооружены длинными пиками и саблями. На литографии видна отличительная особенность униформы нижних чинов в уланских полках — эполеты (их в это время, кроме офицеров, носили только тамбур-мажоры военных оркестров).

Владимирский сервиз (тарелки, черенки ручек для ножа и вилки)

Завод Ф. Гарднера. Фарфор, роспись. 1785.

Основным элементом росписи так наз. «орденских» сервизов служили знаки российских императорских орденов (звезды, кресты, ленты). В центре тарелки изображена звезда орденасв. Владимира, учрежденного в сентябре 1782 г. Екатериной II, по краю — орденская лента (красная с двойной черной каймой), внизу на ленте крест ордена. Сервизы изготовлялись по заказу двора на заводе Ф. Гарднера и использовались в дни орденских праздников на торжественных приемах.

Знаки орденов св. Андрея Первозванного, св. Александра Невского и св. Екатерины

Рис. гуашью (из иллюстраций к рукописи «Реляции о Московии» герцога Иакова Франциска де Лириа и Херика). 1731.

Орден св. Андрея, основанный Петром I в 1698 г. — высший орден Российской Империи. Знаки ордена: звезда, голубая лента через правое плечо, Х-образный крест с изображением св. Андрея, носившийся на шее на цепи или на чрезплечной ленте у левого бедра. Женский орден св. Екатерины (с 1714) имел 2 степени — большого и малого креста, звезду и красную чрезплечную ленту с серебряной каймой. Орден св. Александра Невского, учрежденный Екатериной 1 в 1725 г., как и орден св. Андрея, степеней не имел. Знаки ордена: звезда, красная лента через левое плечо и крест красной эмали с золотыми двуглавыми орлами между лучами и изображением святого в центре.

Крест ордена св. Иоанна Иерусалимского («мальтийский» крест). Оборотная сторона креста

Гравюра резцом. Иллюстрация из кн. «Записка путешествия… боярина… Шереметева… в европейские государства…» (М., 1773).

Золотой, украшенный алмазами знак ордена св. Иоанна Иерусалимского принадлежал Б. П. Шереметеву, первому русскому кавалеру ордена.

Крест был вручен Шереметеву великим магистром ордена в резиденции на острове Мальта 9 мая 1698 г. вместе с «патентом на Малтийскую Кавалерию» с разрешением его «всегда пред всеми непостыдно на одеждах своих носити даже до кончины жизни своея». По возвращении боярина в Москву на «банкете» в доме Лефорта Петр поздравил Шереметева с кавалерством, подтвердив грамотой его право носить знак ордена и включать в свой титул звание кавалера ордена.

Портрет князя А. Б. Куракина

А. Радиг по оригиналу А. Рослина. Гравюра резцом. 1779.

Князь Александр Борисович Куракин (1752–1818) — друг детства цесаревича Павла Петровича, воспитанник графа Никиты Панина, заменившего ему отца, один из влиятельнейших русских вельмож конца XVIII в. Провел несколько лет за границей, обучаясь разным наукам. Числясь при русском посольстве в Копенгагене, получил в 1766 г. датский придворный орден «Совершенного согласия или Верности», учрежденный датской королевой Софией Магдаленой в 1732 г., со звездой и лентой которого изображен на этом портрете. Впоследствии Куракин был русским послом в Вене (1806–1808) и Париже (1808–1812, где получил прозвище «бриллиантовый князь» за роскошь костюмов), вице-канцлером империи, заведующим Коллегией иностранных дел и канцлером российских императорских орденов (с 1802).

Путешественники на почтовой станции

К. И. Кольман. Литогр. 1825.

Встреча фельдъегеря на почтовой станции

П. И. Челищев. Рис. 1830.

Фельдъегерь в военной форме, вооруженный пистолетами и саблей, приехал на почтовую станцию; на груди у него фельдъегерская сумка с документами; выскочивший навстречу в домашних тапочках смотритель кричит, требуя скорее новую тройку.

Конклюзия на престолонаследие

Г. С. Мусикийский. Миниатюра на эмали. 1717.

Изображены Петр I, Екатерина, справа — их сын царевич Петр Петрович (1715–1719), на которого Петр указывает скипетром — знаком императорской власти, что символизирует назначение царевича наследником престола вместо старшего сына от первой жены Петра, царицы Евдокии Лопухиной, царевича Алексея (1690–1718). Миниатюра была выполнена по заказу Меншикова еще до официального объявления Петра Петровича наследником (1718). Женская фигура с зеркалом справа — аллегория истины; слева, с весами — аллегория правосудия.

Внутренняя сторона крышки «пакетовой» табакерки на имя кабинет-курьера Бартенева

Императорский фарфоровый завод. Фарфор, роспись. 1750-е.

«Пакетовые» табакерки назывались так, потому что внешне напоминали небольшие почтовые конверты или пакеты. Оформленные так табакерки не только служили для хранения табака — см. в «Переписке Моды» (М., 1791) речь «женской табакерки»: «должность же наша состоит в том, что мы собою отправляем род любовной почты: мы служим потаенною кибиточкою, в которой волокита пересылает свои письма, любовные бредни и романические воображения, ибо табакерки многих женщин и девушек учинились ныне не чем иным, как кибиточками любовной почты».

Портрет С. А. Грейг

К.-Л.-И. Христинек. Х., м. 1770-е

Сара Александровна Грейг (1752–1793), урожд. Кук, жена шотландца на русской службе, адмирала С. К. Грейга (1736–1788). Изображена в корсетном платье с юбкой на фижмах. Высокая прическа с использованием шиньона из собственных волос обильно напудрена. Прическа и платье отделаны кружевами.

Портрет С.-Э. Фермор

И. Я. Вишняков. Х., м. Ок. 1750.

Внутренность «пакетовой» табакерки на имя графини Анны Петровны Шереметевой

Императорский фарфоровый завод. Фарфор, роспись. 1750-е.

Надпись внутри крышки гласит: «Я люблю душа моя тебя, Болше нежели сама себя, — !»

Реестр о цветах. Реестр о мушках

Лубочная гравюра на меди. Втор. пол. XVIII в.

Левая половина текста толкует значения цветов, например, «осиновой: гордость, вишневой: неправда, рудожелтой: свидание и целование»; правая колонка разъясняет значение мушки в зависимости от положения на теле: «среди лба: знак любви, под левой щекою: горячество, на правой руке: волокита». Текст скорее всего заимствован из «Письмовника» Николая Курганова (первое издание — 1769).

Силуэт «Исленьев, Гагина, Ал. Ан. Маслова, Григориус, Кропотова, Н. Дубовицкой»

1834.

Серия силуэтов, созданных силуэтистом-любителем Хвощинским, изображает рязанское дворянское общество 1830-х гг. и была подарена Н. Г. Рюмину на память по случаю переезда его из Рязани в Москву. В 1914 г. серия находилась в собрании Л. Н. Погожевой.

Портрет Е. С. Авдулиной

О. А. Кипренский. Х., м. 1822.

Внучка купца-миллионера Яковлева, Екатерина Сергеевна (1788–1832), жена полковника-кавалергарда (с 1810 г. — генерал-майора) А. Н. Авдулина, хозяйка особняка на Дворцовой набережной и домашнего театра на каменноостровской даче. Изображена в модном облегающем голову чепце, в руках — сложенный веер, обязательная деталь туалета дамы не в домашней обстановке; на плечи накинута шаль, так же непременный атрибут костюма русской дворянки пушкинской эпохи.

Силуэт «Вердеревская, Медынцева, царица Грузинская, Перфильева, Князева, Асатьян»

1834.

Портрет генерала Л. В. Дубельта

Неизвестный гравер с оригинала Д. Доу. После 1827.

Леонтий Васильевич Дубельт (1792–1862) изображен в форме генерал-майора, о чем свидетельствуют две звездочки (введенные как знак различия в русской армии в 1827 г.) на эполетах с густой бахромой.

Портрет генерал-майора И. О. Витта

Г. Доу с оригинала Д. Доу. Гравюра резцом. 1823.

До того, как стать начальником военных поселений на юге России, Иван Осипович Витт (1781–1840) во время войны 1812 г. командовал бригадой казачьих регулярных полков, сформированных под его командой на Украине. Изображен в парадном общегенеральском мундире, со знаками орденов св. Александра Невского (звезда), св. Георгия 3-го класса (крест белой эмали в разрезе воротника), св. Владимира 2-й степени (нижняя звезда и второй

сверху крест), с медалями за войну 1812 г. (серебряной для военных и бронзовой — дворянской) и двумя иностранными орденами: прусским Красного Орла 2-й степени и шведским Меча. Усы генерала свидетельствуют о его службе в кавалерии.

Вид города Дерпта

А. Дормье по рис. Е. М. Корнеева. 1806–1810. Гравюра резцом и офортом.

Вид на реку Эбмах (ныне — Эмайыги), на которой стоит город. На дальнем плане каменный разводной мост, построенный к предполагавшемуся посещению города Екатериной II, протестантская (слева) и православная (справа) церкви. Посетивший Дерпт проездом в 1815 г. ф. В. Ростопчин отмечал: «Дерпт — маленький красивый город… Ему чрезвычайно выгоден Университет, ибо от 300 студентов ежегодно обращается до пятисот тысяч рублей. Бывают столкновения между русскими и немцами; недавно двое поплатились жизнью… Дерпт славится в Лифляндии хорошим вкусом и тоном и подобно Парижу снабжает край модами».

Портрет корнета Александрова (Н. А. Дуровой)

Неизвестный художник. Акв. 1810.

Изображена в офицерском гусарском армейском мундире со знаком ордена св. Георгия 4-го класса, полученным за спасение раненого офицера на поле боя.

Портрет М. И. Лопухиной

В. Л. Боровиковский. Х., м. 1797.

Мария Ивановна Лопухина (урожд. графиня Толстая), сестра графа Ф. И. Толстого Американца, была женой егермейстера императорского двора Степана Абрамовича Лопухина (ушедшего в отставку после смерти Павла I). Есть сведения, что она была несчастлива в браке. Умерла в 1803 г. от чахотки. Под впечатлением от этого портрета Я. П. Полонский написал в 1885 г. «Экспромт к портрету Лопухиной»:

«Она давно прошла — и нет уже тех глаз,

И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье — тень любви, и мысли — тень печали…

Но красоту ее Боровиковский спас…»

Изображена в модном платье-«тунике» с высокой талией из тонкой полупрозрачной материи, с античной прической из собственных волос (вариант «греческого узла»).

Платье кашемировое цвета слоновой кости

1820-е.

Обувь женская

Первая четв. XIX в.

Вид Института благородных девиц (Смольного института) в Петербурге

С. Ф. Галактионов. Рис. 1824.

Портрет Г. И. Алымовой

Д. Г. Левицкий. Х., м. 1776.

Глафира Ивановна Алымова (1758–1826), выпущенная из Смольного института в 1776 г. «с шифром», изображена в платье белого цвета, установленного для воспитанниц IV (старшего) возраста. Считалась одной из лучших русских арфисток, с 1776 г. — фрейлина двора. В первом браке — за поэтом А. А. Ржевским, во втором — за И. П. Мискле, переводчиком басен Крылова на французский язык.

Портрет Е. И. Нелидовой

Д. Г. Левицкий. Х., м. 1773.

Екатерина Ивановна Нелидова (1758–1839) — одна из лучших учениц в Смольном институте, была любимицей Екатерины II за свой веселый нрав и живой ум. По окончании института

была определена фрейлиной к великой княгине Марии Федоровне, жене наследника Павла Петровича. Фаворитка Павла, после его воцарения — камер-фрейлина двора. Несмотря на то, что контролировала полностью распределение высших постов в империи, отличалась бескорыстием и часто выступала заступницей перед Павлом. После появления новой фаворитки, Лопухиной, переехала жить в Смольный монастырь. Заступничество ее за императрицу, которую Павел хотел выслать в Холмогоры, привело к высылке Нелидовой из Петербурга. После убийства Павла помогала Марии Федоровне в управлении воспитательными учреждениями.

Портрет Н. С. Барщовой

Д. Г. Левицкий. Х., м. 1776.

Наталья Семеновна Барщова (1758–1843) изображена в театральном костюме во время исполнения танцевального номера в спектакле театра Смольного института. После выпуска в 1776 г. «с вензелем» — фрейлина великой княжны Марии Федоровны, с 1809 — гофмейстерина императорского двора. Была замужем за К. С. Мусиным-Пушкиным, а после его смерти — за бароном фон дер Ховеном.

Жилая комната в мезонине дворянского особняка

Неизвестный художник. Х., м. Конец 1830-х — нач. 1840-х.

Портрет Е. Н. Хрущевой (1761–1811, в замужестве фон Ломан) и княжны Е. Н. Хованской (1762–1813, в замужестве Нелединская-Мелецкая)

Д. Г. Левицкий. Х., м. 1773.

Смолянки изображены в театральных костюмах для выступления на сцене театра Смольного института.

Серия «Бал в Иркутске»

А. Е. Мартынов. Литогр. 1821–1824.

Судя по униформе танцоров-военных, изображен бал не ранее 1807 г, Дамы одеты в ампирные платья с высокой талией, прическами «а ля грек». Танцоры-военные в парадной «бальной» форме (в белых кюлотах и башмаках). Сцена провинциального бала (3-я литогр.) дана глазами столичного художника: дамы сидят на заднем плане в ряд, слева — группа молодых мужчин, из которых выделяется столичный щеголь в парадном мундире, в бальных кюлотах и башмаках. Засунув руки в карманы, он иронически смотрит на танцующую перед ним пару — даму в просвечивающем модном ампирном платье (но без длинных бальных перчаток) и кавалера в гусарских «ботиках» с кисточками и шпорами (деталь, вряд ли возможная на столичном балу). Наглядно проявляется по деталям костюмов разница между танцорами и пришедшими не танцевать мужчинами в правой группе из трех кавалеров: танцор — только молодой чиновник, разглядывающий в лорнет танцующих; два офицера при холодном оружии и с тростями в руках (левый — очевидно, гусар) выступают в роли зрителей.

А. С. Пушкин и М. И. Хвостова на балу. Карикатура

Неизвестный художник. Акв. Конец 1820-х.

Альбомный рисунок находит точное подтверждение в воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет, описывающей вечер у Е. М. Хитрово в 1828 г.: приглашенный на мазурку подругой мемуаристки, княжной Радзивилл, Пушкин «небрежно прошелся с ней по зале»; затем его выбрала Россет; «он и со мной небрежно прошелся, не сказав ни слова».

Петербургский бал

Неизвестный художник. Акв. из альбома А. В. Бобринской. 1820-е.

Портрет М. С. Воронцова

К. Гампельн. Рис. 1820-е.

Генерал Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) изображен в домашней обстановке, в расстегнутом сюртуке с генерал-адъютантскими эполетами и аксельбантом. Перед столом с письменными принадлежностями стоит скульптурный бюст его жены.

Бал

Рис. из альбома В. И. Апраксина. 1810-е.

Пара на маскараде

А. О. Орловский. Рис. из семейного альбома. Нач. XIX в.

Бал у княгини М. Ф. Барятинской

Г. Г. Гагарин. Акв. 1834.

На первом плане семь обер-офицеров гвардии, танцующих с дамами в платьях с декольтированными плечами, в обязательных на балу длинных белых перчатках и бальных туфельках без каблуков. Три офицера справа одеты в черные вицмундиры (без шитья на воротнике и обшлагах) с серебряным металлическим прибором (эполетами и пуговицами). В центре, в парадном мундире с широким красным лацканом и золотым металлическим прибором — офицер Преображенского полка. Его обер-офицерские (без бахромы) золотые эполеты несколько увеличенного против нормы размера и согласно военной моде этого времени чересчур загнуты вверх. Правее, спиной к нам, стоит обер-офицер в форме лейб-гвардии Казачьего полка (красная казачья куртка с серебряным прибором) с адъютантским аксельбантом на правом плече. Справа от него еще два кавалергарда в вицмундирах. Отметим, что все танцующие молодые офицеры (кроме преображенца) — без наград; между преображенцем и лейб-казаком в глубине стоят двое не танцующих офицеров постарше, мундиры которых украшены многочисленными наградами: слева кавалергард в штаб-офицерских эполетах с аксельбантом, орденской звездой, крестом на шее и с колодкой орденов и медалей; правее обер-офицер генерального штаба (об этом свидетельствуют пышное серебряное шитье на воротнике, витой эполет на правом плече и серебряный аксельбант), у него на мундире колодка орденов младших степеней и медалей. Сочетание парадных и вицмундиров на балу свидетельствует о его домашнем характере, — на официальном балу офицеры не могли появиться в вицмундирах и длинных брюках, здесь были бы обязательны кюлоты, чулки с башмаками. Оркестр имеет смешанный состав: среди штатских музыкантов — два флейтиста-военных в расшитых золотыми галунами музыкантских мундирах (приглашение оркестров гвардейских полков на балы было нормой в Петербурге XIX в.).

Свадьба Феофилакта Шанского. Мужская половина

А. Шхонебек. Офорт. 1702.

Свадьба «многоутешного шута и смехотворца» Шанского проходила во дворце Лефорта в

Немецкой слободе и носила, по замыслу Петра, поучительный характер: первые два дня Петр приказал праздновать в старом московском платье и раздельно мужчинам и женщинам и только на третий день разрешил всем переодеться в привычное «немецкое» платье и праздновать всем вместе.

Наказание батогами

Рис. гуашью (из иллюстраций к рукописи «Реляции о Московии» герцога Иакова Франциска де Лириа и Херика, 1731).

Свадьба Феофилакта Шанского. Женская половина

А. Шхонебек. Офорт. 1702.

Гравюры Шхонебека изображают первую стадию свадьбы (третья гравюра, с изображением совместного праздника, так и не была создана).

Прогулка на Крестовском острове

А. Е. Мартынов. Литогр. 1821–1822.

Литография изображает популярнейшее в пушкинское время место гуляния петербуржцев. На заднем плане художник поместил сразу два вида качелей («на доске» и «круглые», типа «чертова колеса» с четырьмя кабинками, приводившимися в движение вручную) и слева — карусель.

Семейный портрет Половцовых и Татищевых

Неизвестный художник. Х., м. Конец 1830-х — нач. 1840-х.

Петербургский салон Олениных

Неизвестный художник. Рис. Нач. XIX в.

Диванная в имении Богдановском

Неизвестный художник. Х., м.

Портрет семьи Леонтия (Луи-Жюля, 1770–1822) и Екатерины Андреевны (урожд. Гроппе, 1777–1852) Бенуа

Художник первой пол. XIX в. (Оливье?). Х., м. Ок. 1816.

Русская свадьба

К. Вагнер по оригиналу Е. М. Корнеева. Гравюра резцом, акв. 1812.

Портрет князя П. А. Вяземского (1792–1878)

О. А. Кипренский. Рис. 1835.

Портрет П. Я. Чаадаева (1799–1856)

Раков с оригинала Козима. Х., м. 1864.

Портрет Н. В. Всеволожского на охоте

А. О. Дезарно. Х., м. 1817.

Никита Всеволодович Всеволожский (1799–1862) — чиновник коллегии иностранных дел, впоследствии камергер и действительный статский советник. Один из основателей общества «Зеленая лампа», предоставивший свой петербургский дом для его заседаний. Ему посвящено стихотворение А. С. Пушкина «Прости, счастливый сын пиров…». Дом Всеволожских упоминается в планах неосуществленного романа Пушкина «Русский Пелам».

Сцена московской жизни

И. С. Бугаевский. Рис. Первая четв. XIX в.

Обер-офицер русской императорской гвардии в походной форме

С. Кивердо. Раскраш. офорт. 1815.

Изображен офицер русской гвардейской пехоты в сюртуке, с ранцем за плечами, в треуголке, повернутой «в поле» по походной моде (полагалось носить треуголку широкой стороной вперед), в серых походных брюках и башмаках. Пояс перетянут офицерским шарфом, на шее орден св. Анны

2-й степени, на груди Георгиевский крест 4-го класса и медали. В руке офицер держит кавалерийскую саблю (в то время как ему полагалась офицерская шпага).

На балу

Неизвестный художник. Рис. из семейного альбома Олениных. Первая четв. XIX в.

Изображены два кавалера — штатский во фраке и гвардейский штаб-офицер в форме, указывающей на его нежелание принимать участие в танцах — он при шпаге и со шпорами (изобразительный комментарий к пушкинскому «Роману в письмах»: «Мы являлись на балы не снимая шпаг — нам было неприлично танцовать…»).

Титульный лист книги «Искусство играть в карты, в коммерческие игры, или Новый и полный карточный игрок». Часть 1–2 (М., 1830)

Силуэт «Ракитин, В. Н. Дубовицкая, Павленко, Григориус, В. Д. Елагин»

Из серии Хвощинского. 1834.

Игра в карты

И. С. Бугаевский. Рис. Первая четв. XIX в.

Щеголь и обезьяна. Карикатура (из семейного альбома?)

Первая четв. XIX в.

Под столом валяются игральные карты с загнутыми углами — свидетельство недавней азартной игры; ставивший на кон такую карту игрок увеличивал ставки в соответствии с количеством гнутых углов.

Разворот книги «Устав воинский» (1716) с началом главы 49 «Патент о поединках и начинании ссор»

Дуэльные пистолеты фирмы Лепажа

Париж. 1818.

Гравюры из книги Б. Фишера «Искусство фехтовать во всем его пространстве: новое описание со всеми нужными познаниями как владеть шпагою» (СПб., 1796)

Чтение оды перед императрицей Анной Иоанновной

О. Эллигер. Офорт. 1731.

Единственное сохранившееся изображение весьма частого в XVIII в. сюжета. Поскольку читающий обращается к сидящей на троне императрице, он стоит на одном колене. Мужчины одеты в кафтаны без воротников, узкие в талии, с модными в начале 1730-х гг. широкими обшлагами-отворотами. Кавалер в середине группы придворных слева — образец модной в середине XVIII в. мужской фигуры: узкие плечи, грушеобразный торс, большой живот. За

троном — фрейлины, справа — двое придворных высокого ранга с орденскими лентами через плечо.

Зимний дворец со стороны Дворцовой площади

М. Н. Воробьев. Рис. Первая четв. XIX в.

Изображена не сохранившаяся до нашего времени трибуна перед фасадом дворца и двухмаршевыми лестницами по бокам. Развевающийся над дворцом флаг поднимался на флагштоке в случае нахождения императора во дворце.

Кабинет Александра I в Зимнем дворце

Л. К. Плахов. Х., м. 1830.

Портрет М. М. Сперанского (1772–1839)

П. А. Иванов. Миниатюра на кости. 1806.

Портрет этот в точности совпадает с описанием Ф. ф. Вигеля: «Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись». Характерная особенность «взгляда» Сперанского, подчеркнутая современником, — результат церковного происхождения и воспитания Сперанского, попавшего в мир большой политики из домашних секретарей князя А. Б. Куракина.

Гостиная на половине Александра I в Зимнем дворце

Б. Головина. Акв. Первая четв. XIX в.

Спальня на половине Александра I в Зимнем дворце

Б. Головина. Акв. Первая четв. XIX в.

Екатерина II в храме богини правосудия

Д. Г. Левицкий. Х., м. 1783.

Программа портрета, заказанного канцлером А. А. Безбородко для его петербургского особняка, сочинена Н. А. Львовым. На создание портрета откликнулись в стихах И. Ф. Богданович и Г. Р. Державин (ода «Видение Мурзы»), Сжигаемые на алтаре цветы мака означают, что императрица «жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя»; статуя справа вверху — богиня правосудия, в храме которой происходит действие. Орел с перунами на стопке книг охраняет законы, дарованные императрицей подданным.

Вид Адмиралтейского бульвара и Дворцовой площади в Петербурге

Ф. К. Неелов. Акв. 1809.

Портрет Павла I в короне и одеянии ордена св. Иоанна Иерусалимского

Д. И. Евреинов. Миниатюра. Ок. 1800.

В одеянии сочетаются элементы парадного костюма российского императора («большая» императорская корона, мантия, подбитая горностаевым мехом, скипетр в правой руке, держава слева на подушке, знак высшего российского ордена св. Андрея Первозванного на груди) с символикой ордена св. Иоанна Иерусалимского, великим магистром которого Павел стал в конце 1798 г. (далматик золотистого цвета с белым мальтийским крестом, надетый под императорскую мантию, и знак ордена в виде креста на шейной ленте).

«Сражение при Клястицах и смерть храброго генерал-майора Якова Петровича Кульнева 1812 года июля 20»

Неизвестный гравер. Офорт (иллюстрация из кн. «Жизнь… Я. П. Кульнева, писанная А. Н. Н-м». СПб., 1815).

Марсово поле и Румянцевский обелиск в Петербурге

Б. Патерсен. Гравюра очерком, акв. 1806. Фрагмент.

«Вид большого парада у дворца императора Александра I в Петербурге»

Б. Патерсен. Гравюра очерком, акв. 1807–1808.

Конный портрет партизана 1812 года Д. В. Давыдова

М. Дюбург по рис. А. Орловского. Раскраш. гравюра. 1814.

Денис Васильевич Давыдов (1784–1839) изображен в казачьем чекмене, с казачьей шашкой (вместо полагавшейся по уставу сабли) и неуставной шапочке, что отличает его костюм от формы изображенных справа гусар (интересно, что такую деталь униформы, как офицерский шарф, Давыдов сохранил: кисти шарфа, повязанного на поясе, свисают на круп коня).

Елагиноостровская гауптвахта с караулом Кавалергардского полка

А. Ладюрнер. Х., м. 1840.

Портрет великой княгини Елизаветы Петровны ребенком

Л. Каравакк. Х., м. Втор. пол. 1710-х.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны в мужском костюме

Л. Каравакк (?). Х., м. Середина XVIII в.

Портрет генерала Н. Н. Раевского

С. Карделли. Гравюра. 1813.

Николай Николаевич Раевский (1771–1829) — герой войны 1812 года, прославился в сражениях под Салтановкой, когда лично водил солдат Смоленского полка в штыковую атаку,

при Смоленске и Бородине, где корпус под его командованием занимал центр позиции русской армии. Два генерала-декабриста — князь С. Г. Волконский и М. Ф. Орлов были женаты на его дочерях. Под портретом изображена апокрифическая сцена боя под Салтановкой 11 июля 1812 г.: согласно распространенной легенде, Раевский пошел в атаку на французские войска вместе со своими юными сыновьями.

К. Н. Батюшков. Автопортрет в цилиндре

Рис. Первая четв. XIX в.

Портрет В. Л. Пушкина (1766–1830)

Ж. Вивьен. Рис. 1823 (?).

Портрет генерал-майора П. Г. Лихачева

Д. Доу. Х., м. Не позднее 1825.

В 1812 г. Петр Гаврилович Лихачев (1758–1812) командовал 24-й пехотной дивизией в корпусе Д. С. Дохтурова. Изображен в парадном общегенеральском мундире со знаками орденов св. Георгия 3-й степени (крест белой эмали на шее), св. Анны 1-й степени (звезда на левой стороне груди), св. Владимира 3-й степени (крест красной эмали на шее), командорским крестом ордена св. Иоанна Иерусалимского («мальтийский» крест белой эмали с королевскими лилиями между лучами, увенчанный короной). Доу изобразил справа от орденов медали за войну 1812 года: серебряную (для военных) и бронзовую (дворянскую), которые умерший во французском плену Лихачев носить, конечно, не мог.

Наполеон на поле сражения при Аустерлице

Э. Росотт по оригиналу Ф. Жерара 1810 г. Офорт. 1853.

Изображен эпизод конца сражения. Справа — Наполеон со свитой, правее — группа русских пленных под конвоем гренадеров Старой гвардии в высоких меховых шапках. В левой части мамелюк с трофейными русскими штандартами (знаменами кавалерийских частей); адъютант Наполеона (без треуголки, верхом) указывает императору на пленных русских кавалергардов и конногвардейцев (в кирасирских касках) на втором плане. Картина Жерара украшала зал Государственного совета во дворце Тюильри.

Разговор пленного русского с Наполеоном на Бородинском поле

С. Ф. Галактионов. Гравюра резцом.

Иллюстрация к 3-й части романа Ф. В. Булгарина «Петр Иванович Выжигин: нравоописательно-исторический роман XIX века» (СПб., 1831).

Сцена из трагедии В. А. Озерова «Поликсена»

М. А. Иванов по рис. И. А. Иванова. Гравюра резцом. 1828.

Наполеон на поле сражения при Эйлау

А.-Ж. Гро. Х., м. 1808.

Вид «печальной залы» с гробом Петра I

А. И. Ростовцев по рис. М. Г. Земцова по инвенции Н. Пино. Гравюра резцом, офорт. 1725.

Оформление «печальной залы» несет на себе явные следы западной, католической традиции: обилие аллегорических фигур (Россия слева от гроба и Геркулес — справа, скелеты-щитодержатели с государственным гербом над головой усопшего), почетный караул из одетых в черные плащи и береты алебардщиков. В ногах гроба — три ордена на специальных табуретах, слева — скипетр, справа — держава; в головах — императорская корона и царские шапки (эквивалент короны в допетровской традиции). На стенах — гербы русских земель и городов.

Продольная стена «печальной залы»

С. М. Коровин по рис. М. Г. Земцова по инвенции Н. Пино. Гравюра резцом, офорт. 1725.

Портрет Г. Р. Державина (1743–1816)

А. А. Василевский. Х., м. Нач. XIX в.

Смерть А. В. Суворова

К. Гампельн по рис. П. А Оленина. Литогр., 1822.

Собравшиеся у постели умирающего офицеры изображены в мундирах более позднего, александровского времени с высокими стоячими воротниками и с эполетами. Авторы литографии машинально перенесли привычную им форму 1820-х гг. на конец царствования Павла I.

Надгробие А. В. Суворова в Александро-Невской Лавре в Петербурге

Гравюра. Середина XIX в.

Похороны М. И. Кутузова 11 июня 1813 года в Петербурге

М. Н. Воробьев. Рис. 1814.

Скорбь. Аллегория. Эскиз для барельефа памятника работы М. П. Мартоса «Супругу — благодетелю» в Павловске

А. Е. Егоров. Рис. 1808.

Памятник был заказан скульптору Мартосу вдовой Павла I императрицей Марией Федоровной, по желанию которой на барельефе в аллегорическом ключе изображена скорбь императорской семьи по поводу смерти отца: двое в античных доспехах справа — старшие сыновья Александр и Константин (сидит); левее — два младших сына Николай и Михаил (в профиль). В левой части барельефа женская фигура с накинутым на голову покрывалом — Мария Федоровна. Ее обнимает дочь Мария (будущая герцогиня Саксен-Веймарская), левее дочь Анна (будущая королева Нидерландов), крайняя слева Екатерина, в первом браке — принцесса Ольденбургская, во втором — королева Вюртембергская. Женская фигура, возносящаяся на небо, символизирует Александру Павловну, старшую дочь, жену австрийского эрцгерцога Иосифа, умершую после родов 4 марта 1801 г.

Портрет генерал-майора А. А. Тучкова IV

Д. Доу. Х., м. Не позднее 1825.

Александр Алексеевич Тучков (1778–1812), младший из четырех братьев Тучковых, находившихся к 1812 г. на действительной службе в генеральском чине. Погиб в Бородинской битве у Семеновских флешей, когда со знаменем в руках повел солдат Ревельского полка в контратаку. Тело его найти не удалось. На портрете Доу он изображен в генеральском мундире, со знаками орденов св. Георгия 4-го класса, св. Владимира 3-й степени, св. Анны 2-й степени с алмазами и медалью «В память Отечественной войны» (медаль была учреждена после смерти Тучкова), но, вероятно, по желанию вдовы генерала, Маргариты Михайловны (урожд. Нарышкиной), художник изобразил медаль на портрете генерала.

Погребение

К. Вагнер по рис. Е. М. Корнеева. Офорт, акватинта, акв. 1812.

Миропомазание

К. Вагнер по рис. Е. М. Корнеева. Офорт, акватинта, цв. печать. 1812.

Миропомазание — второе по порядку совершения (после крещения) из семи таинств, признаваемых русской православной церковью, состоит в помазании священнослужителем лба, глаз, рта, ноздрей, ушей, груди, рук и ног священным миром (смесь около 30 ароматических веществ, основу которой составляют оливковое масло и белое виноградное вино) со словами «печать дара Духа Святаго», для сообщения крещенному «силы благодати Божией». На гравюре, очевидно, изображена сцена крещения и миропомазания больного, решившего креститься перед смертью (в правом углу видна крестильная чаша). Священник в облачении изображен в момент совершения таинства (в руках у него чаша с миром).

«Новой деревенской Дом». Авантитул в кн. В. А. Левшина «Всеобщее и полное домоводство…» (М., 1795)

Гравюра.

Фронтиспис из «Книги Марсовой…» с портретом Петра I

А. Ф. Зубов. Гравюра резцом и офортом. 1712.

Портрет графа Г. П. Чернышова

К. Анисимов по рис. Я. И. Аргунова. Гравюра пунктиром. 1812.

Портрет обер-сарваера И. М. Головина в окружении корабельных инструментов и деталей корабля

А. Ф. Зубов. Гравюра резцом и офортом. 1717–1720.

Башкирцы

В. В. Мельников по рис. Е. М. Корнеева. Офорт, акв. 1809.

Портрет И. Т. Неплюева

Неизвестный гравер. Втор. пол. XIX в.

Прием французского посла в Венеции

А. Канале (Каналетто). Х., м. 1740-е.

Березовый остров (Троицкая площадь на Санкт-петербургском острове)

Ф. Васильев (?). Рис. Ок. 1719.

Трубецкой бастион Петропавловской крепости

Ф. Васильев (?). Рис. 1719.

Портрет графа Я. В. Брюса (1670–1735)

Н. Иванов по рис. Я. И. Аргунова. Гравюра пунктиром. 1812.

Портрет А. С. Матвеева (1625–1682)

Неизвестный гравер. Гравюра резцом.

Фронтиспис из кн. Н. И. Новикова «История о невинном заточении ближнего боярина А. С. Матвеева» (СПб., 1776).

Портрет А. Н. Радищева

И. Вендрамини. Гравюра пунктиром. 1790.

Смерть Катона Утического

Г. Г. Летьер. Х., м. Ок. 1795.

Комендант города Уральска полковник Симонов передает Пугачева Суворову в 1774 г.

Х. Г. Гейзер по рис. И. Д. Шуберта. Гравюра. 1796.

Справа стоят солдаты, одетые в новую, введенную в 1786 г. (т. е. через девять лет после изображаемого события) форму. Она состояла из короткой куртки, свободных штанов с нашитыми кожаными крагами, кожаной каски с поперечным гребнем и двумя суконными лопастями, завязывавшимися в холодное время на шее. Были отменены косы, букли и пудра. Рода войск отличались только сочетанием цветов униформы. Изменения не коснулись формы офицеров, гвардии, казаков и гусар.

Портрет С И. Шешковского

Неизвестный художник. Х., м. Конец XVIII в.

Степан Иванович Шешковский (1727–1794), сын канцеляриста Сената, с молодости проявил страсть к розыскным делам (назначенный в Сибирский приказ еще недорослем, самовольно сбежал со службы, добился перевода в московскую контору тайных розыскных дел). Императрица Елизавета отзывалась о нем как о человеке, «имеющем особливый дар производить следственные дела». Продолжил карьеру «заплечных дел мастера» в неофициально (без указа) созданной при Екатерине «тайной экспедиции при Сенате», проводил следствия по самым деликатным делам (например, по появившимся в Петербурге карикатурам и пасквилям на Екатерину II, причем допрашивал с пристрастием придворных дам). Вел дело Пугачева. После следствия по делу Н. И. Новикова награжден орденом св. Владимира 2-й степени, дослужился до чина тайного советника.

Французские офицеры отдают свои шпаги Суворову 15 апреля 1772 г. при сдаче Краковского замка

Р. В. Кюфнер по рис. И. Д. Шуберта. Гравюра резцом. 1796.

В защите замка в качестве волонтеров принимали участие офицеры французской армии. Из уважения к стойкости гарнизона (осажденные ели лошадей, но продолжали сопротивление) Суворов вернул французам их шпаги, говоря, что не может лишать шпаг офицеров, состоящих на службе у короля Франции, находящегося в союзе с русской императрицей.

Взятие варшавского предместья Прага русскими войсками под командованием Суворова 4 ноября 1794 г.

И. М. Билль. Гравюра резцом. 1790-е.

Штурм русскими войсками варшавского предместья был исключительно кровопролитным: убито 12 тысяч поляков, многие утонули, спасаясь бегством через Вислу.

Суворов в сражении при Нови 4 августа 1799 г.

С. Карделли по рис. Мейера. Гравюра резцом. 1790-е.

Полководец изображен без кафтана, в белой рубахе, с нагайкой, на голове каска по форме легкоконных полков.

Портрет А. В. Суворова

Я. П. Норблин. Рис. 1795.

Исполненный с натуры портрет доносит до нас непарадный облик шестидесятипятилетнего полководца, только что получившего чин фельдмаршала за умиротворение Польши. Суворов изображен в генеральском мундире с шитьем по краю отложного воротника, с белым шейным платком; парика нет, волосы убраны в косичку, называвшуюся «а ля будера» («крысиный хвостик»).

Вступление Суворова в Варшаву 29 октября 1794 г.

К. Буддеус по собственному рис. Гравюра. 1799.

В руке Суворова ключ от крепостных ворот, справа с обнаженными головами стоят члены делегации варшавского магистрата. Характерно, что, въезжая в покоренный город, Суворов был в виц-мундире, без орденских звезд и ленты, в офицерской (а не генеральской) шляпе (хотя должен был быть одет в парадную генеральскую форму), давая таким образом понять, что не может рассматривать как триумф результат столь кровавой бойни. Взяв поднесенные ему ключи, Суворов поцеловал их и, посмотрев на небо, сказал: «Благодарю Бога, что эти ключи не так дорого стоят, как…», — тут он взглянул на город и прослезился. За взятие Варшавы Екатерина II пожаловала Суворова чином фельдмаршала, в обход старшинства других генерал-аншефов русской армии.

Суворов отдыхает на соломе

К. Буддеус. Гравюра. 1799.

Английская карикатура на Суворова

«Краткое описание о взятии Очакова»

Лубочная гравюра на меди. Конец XVIII в.

«Чин как провожали мальтийские кавалеры… Шереметева по наложении на него мальтийского креста…»

Иллюстрация из кн. «Записка… о путешествии… Б. П. Шереметева» (М., 1778).

Вид Измайлова

И. Ф. Зубов. Гравюра резцом. Конец 1720-х. Фрагмент: коляска Петра II.

Портрет Петра II

И. Ф. Зубов. Гравюра резцом, офорт. 1728.

Император, которому к моменту создания гравюры шел 14-й год, изображен в напудренном по моде того времени парике, на плечах у него императорская, подбитая мехом горностая мантия, под кафтаном — кираса, элемент генеральской формы XVIII в. На груди — крест ордена св. Андрея Первозванного на цепи. Символы императорской власти (корону, скипетр и державу) протягивают юному монарху ангелы. Овал с портретом расположен на фоне видов Москвы (слева) и Петербурга (справа). Под портретом рамка с полным императорским титулом, по бокам — небесная сфера и земной глобус на фоне трофеев. Все изображение заключено в рамку, украшенную гербами губерний, замыкающуюся наверху гербом Российской Империи — двуглавым орлом.

Петр II в санях

О. Эллигер. Офорт. Ок. 1728.

Шереметево подворье

Ф. Васильев (?). Рис. Ок. 1719.

Портрет княгини Н. Б. Долгоруковой

Иллюстрация из кн. С. Н. Глинки «Русские анекдоты» (М., 1822).

Портрет М. М. Хераскова (1733–1807)

И. К. Майр по рис. П. Галленберга. Гравюра резцом.

Портрет Е. А. Лабзиной (1758–1828, урожд. Яковлевой) и ее воспитанницы С. А. Мудровой (1797–1870)

В. Л. Боровиковский. Х., м. 1803.

Бородинское сражение

А. И. Дмитриев-Мамонов. Рис. тушью.

Портрет В. А. Жуковского (1783–1852)

Е. Рейтерн. Акв. 1832.

Портрет А. Р. Томилова

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Александр Романович Томилов (1779–1848) — теоретик искусства и один из крупнейших русских коллекционеров XIX в. (он обладал лучшим в России собранием офортов Рембрандта), дядя М. П. и А. П. Ланских, близкий друг Кипренского. Изображен в штаб-офицерском мундире (осенью 1812 г. он в чине майора Ладожской дружины Петербургского ополчения выступил в поход с отрядом своих крестьян, был ранен 14 октября в знаменитом сражении под Полоцком). В деталях костюма Томилова видно влияние «походной моды»: он в бурке, накинутой на одно плечо и в офицерской бескозырке, воспринимавшейся в 1812 г. как атрибут офицера действующей армии в отличие от уставной треуголки или кивера (известно, что бескозырку кавалергардского полка, белую с красным околышем, носил Кутузов, предпочитая ее другим головным уборам). На мундире Томилова крест ордена св. Владимира 4-й степени с бантом, подчеркивающий, что перед нами — боевой офицер.

Портрет М. П. Ланского

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Михаил Петрович Ланской (1787—?) изображен в мундире лейб-гвардии Егерского полка. Витой эполет с аксельбантом на правом плече указывает на звание генеральского адъютанта (в кампанию 1812 г. был адъютантом генерала от кавалерии графа Л. Л. Беннигсена). Портупей-юнкером принимал участие в кампании 1806–1807 гг., за отличие под Гейльсбергом награжден «знаком отличия Военного ордена» (т. е. «солдатским Георгием») за номером 877, изображенным на портрете рядом с другой наградой — орденом св. Владимира 4-й степени с бантом (т. е. за храбрость). Ланской изображен с усами, разрешенными в 1813 г. только офицерам легкой кавалерии (гусарам, уланам, казакам).

Портрет Е. И. Чаплица

О. А. Кипренский. Рис. 1812.

Шляхтич из древнего польского рода, Ефим Игнатьевич Чаплиц (1768–1825) в 1783 г. в чине секунд-майора перешел на русскую службу, где прославился как бесстрашный кавалерийский офицер. Первый орден — Владимира 4-й степени с бантом получил по представлению Суворова за Измаил. В 1796 г. ему было поручено привезти в столицу ключи от г. Баку (что было своего рода знаком отличия). Командуя передовым отрядом в авангарде Багратиона, отличился под Шенграбеном, прикрывал отход армии после Аустерлица. В 1812 г. начальник авангарда 3-й армии, взял в ноябре Вильно. Впоследствии служил в армии Царства Польского. Бесстрашный на поле боя, в застольной беседе Чаплиц, по выражению князя П. А. Вяземского, «мямлил и тянул слова», что давало повод к дружеским шуткам. Чаплиц изображен в парадном общегенеральском мундире, с набором орденов, свидетельствующим, что он был портретирован Кипренским до начала войны (звезда ордена св. Анны 1-й степени, кресты орденов св. Георгия и св. Владимира 3-й степени и крест прусского ордена Красного Орла).

Портрет А. П. Ланского

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Алексей Петрович Ланской (1789–1859), младший брат Михаила, предстает на портрете Кипренского щеголем-гвардейцем: уголки белого воротничка, не по форме выпущенные из-под черного офицерского галстука, завитые «гусарские» локоны у висков, тонкие усики, наброшенная на одно плечо шинель. Изысканность прически и живописность лейб-егерского

мундира с аксельбантом (в 1812 г. — адъютант командующего кавалерией 2-й армии князя Д. В. Голицына) сочетаются с вызывавшим уважение набором наград двадцатичетырехлетнего обер-офицера: крест ордена св. Анны 2-й степени на шее, знак отличия Военного ордена (номер 876) за кампанию 1806–1807 гг. и орден св. Владимира 4-й степени с бантом.

Портрет графа Ф. В. Ростопчина

О. А. Кипренский. Х., м. 1809.

Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826, граф с 1799) изображен Кипренским в момент паузы в его бурной карьере, между возвышением его после воцарения Павла I и его «звездным часом» в бытность «главнокомандующим в Москве» в 1812 г. Ростопчин, находившийся в то время в отставке, изображен в штатском платье. 1809 г. — время, когда он занимал активно галлофобскую позицию, выпустив в 1807 г. политический памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» (московское издание книги разошлось в неслыханном для начала XIX в. количестве — 7 тысяч экземпляров). По свидетельству лично знакомого с ним князя П. А. Вяземского, Ростопчин «французов ненавидел и ругал на чисто французском языке»; галлофобия графа достигла пика в 1812 г., когда он установил «нужную вазу» в отхожем месте своего московского дома на бюст Наполеона.

Портрет П. А. Оленина

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Петр Алексеевич Оленин (1793–1868), сын президента Императорской Академии художеств, директора Публичной библиотеки и статс-секретаря А. Н. Оленина, в момент создания Кипренским портрета находился в Петербурге в отпуске по ранению (он был ранен в голову в Бородинском бою, а его брат Николай — убит). Позднее, вернувшись в действующую армию, Оленин вошел в Париж адъютантом начальника генерального штаба князя П. М. Волконского.

Встреча Наполеона и Александра I 25 июня 1807 г. на Немане

Гравюра акватинтой. 1807.

Слева в лодке у плота свита Александра I: великий князь Константин, брат императора, в белом конногвардейском мундире с каской в правой руке, генерал Беннигсен, генерал Уваров, князь Лобанов. Слева свита Наполеона: Дюрок, Бессьер, Коленкур.

Наполеон показывает гвардии портрет сына (накануне Бородинского сражения)

Х. Делиус по рис. Хагнера. Гравюра.

«Вид сражения при селе Бородине 26 августа 1812 года на левом крыле Российско-Императорской армии у деревни Семеновка»

Неизвестный литограф по рис. Ж. Жерена. 1818. Литогр.

По свидетельству Ф. Н. Глинки, участника сражения и автора комментария к этой литографии, показаны «окружающие солдаты и офицеры… точно те, которые в самом деле в ту минуту» находились рядом с раненым Багратионом: полковник Бергман, неизвестный гренадер, адъютанты Багратиона, генерал Сен-При. Глинка подчеркивает, что участники эпизода «изображены с верностию портретов». Слева двигаются в сражение колонны лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков, которые направляют в бой генерал-квартирмейстер армии Толь и флигель-адъютант Сипягин.

На Бородинском поле после сражения

Литогр. по рис. А. Адама. 1827.

На первом плане солдаты из полка королевской итальянской гвардии — «драгуны королевы» в белых епанчах (кавалерийских плащах) и драгунских касках с конскими хвостами сзади, защищающими шею всадника от рубящего удара холодным оружием.

А. В. Чичерин и С. П. Трубецкой в палатке

Рис. из дневника Чичерина. 19 сентября 1812.

А. В. Чичерин на марше

Рис. из дневника Чичерина. 28 октября 1812.

Справа и слева от едущего верхом Чичерина — солдаты Семеновского полка в походной форме: в шинелях, с ранцами, в зачехленных киверах без султанов.

Пленение маршала Вандама в сражении под Кульмом 30 августа 1813 г.

К. Раль по рис. И. А. Клейна. Раскраш. гравюра.

Обер-офицер лейб-гвардии Егерского полка

С. Кивердо. Офорт, акв. 1815.

Белая повязка на рукаве мундира носилась офицерами союзников на территории оккупированной Франции как знак миролюбия. На офицере кивер образца 1812 г. с «развалом», двубортный мундир фрачного покроя с высоким стоячим воротником, украшенный, как и обшлага, гвардейскими петлицами. Зеленый цвет воротника указывает на принадлежность к легкой пехоте (егерям). На груди серебряный обер-офицерский знак, на поясе повязан офицерский шарф с пышными кистями. Внимание французского художника привлекла подчеркнутая им «затянутость» талии русского офицера (ср: «хрипуны, гвардейцы затяжные» в черновом варианте «Домика в Коломне» А. С. Пушкина).

Портрет Е. Ф. Муравьевой с сыном Никитой

Неизвестный художник с оригинала Ж.-Л. Монье. Х., м. 1799–1800.

Екатерина Федоровна Муравьева (урожд. баронесса Колокольцева, 1771–1848), жена писателя и куратора Московского университета Михаила Никитича Муравьева, тетка К. Н. Батюшкова и М. С. Лунина, мать двух будущих декабристов — Никиты и Александра. В момент написания портрета семья жила в Москве, позднее Муравьевы переехали в Петербург. Их дом на набережной Фонтанки, 25 стал одним из культурных центров столицы. С 1818 г. второй этаж снимал у Муравьевой Н. М. Карамзин с семьей, на третьем этаже жили сыновья Екатерины Федоровны (о собраниях членов тайного общества у Никиты Муравьева упоминает Пушкин в «Евгении Онегине»).

Портрет Н. И. Тургенева (1789–1871)

Е. И. Эстеррайх. Рис. 1820.

Портрет братьев Коновницыных

К. Гампельн. Рис. 1825.

Изображены (слева направо) сыновья генерала графа П. П. Коновницына Петр (1803–1830), Алексей (1813–1852), Григорий (1810–1844) и Иван (1806–1867). Форма Ивана — прапорщика конной артиллерии — позволяет точно датировать рисунок: выпущенный из Пажеского корпуса в апреле 1825 г., он в декабре, вместе со старшим братом, был арестован и переведен из столицы в провинцию под тайный надзор. Старшие братья изображены с трубками, рядом с Иваном — картуз с табаком.

В. К. Кюхельбекер и К. Ф. Рылеев на Сенатской площади 14 декабря 1825

Рисунок А. С. Пушкина.

Портрет А. Г. Муравьевой

П. Ф. Соколов. Акв. 1826.

Жена Никиты Муравьева, Александра Григорьевна (урожд. графиня Чернышева, 1804–1832), вероятно, заказала этот портрет специально для передачи арестованному мужу в Петропавловскую крепость. На обороте портрета надпись на французском: «Моему дорогому Никите». Муравьев получил этот портрет 5 января 1826 г. и не расставался с ним до самой смерти. В ответной записке из крепости он писал жене: «Время от времени я беру твой портрет и беседую с ним. Я очень благодарен тебе за то, что ты его прислала; он… переносит меня в ту пору, когда я не знал горя».

Портрет П. П. Коновницына-младшего

К. Гампельн. Рис. Нач. 1820-х.

Петр Петрович (1803–1830), старший сын героя Отечественной войны 1812 года и военного министра графа П. П. Коновницына, изображен в форме прапорщика гвардейского генерального штаба. В 1825 г. он был переведен в училище колонновожатых (прототип Академии генерального штаба), в том же году вступил в Северное общество декабристов. После восстания приговорен к лишению чинов и дворянства, на Кавказе вновь дослужился до офицерского чина. Изображен в парадной форме, на что указывает шитье особого рисунка на воротнике мундира, и сияющие ботфорты. В руках молодого Коновницына чубук трубки.

Портрет М. С. Лунина

П. Ф. Соколов. Акв. 1820-е.

Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845) изображен в мундире Польского уланского полка, в котором служил после отставки и заграничного путешествия с января 1822 по май 1824 г.

Секретный возок, доставивший в Сибирь двух ссыльных поляков

Е. М. Корнеев. Акв., тушь. 1810-е.

Портрет Е. П. Нарышкиной

Н. А. Бестужев. Акв. Ок. 1832.

Елизавета Петровна (1802–1867) — дочь генерала П. П. Коновницына, жена декабриста М. М. Нарышкина, полковника Тарутинского полка. Она одной из первых приехала вслед за осужденным мужем в Сибирь.

Автопортрет Н. А. Бестужева

Акв., граф. кар., тушь. 1825.

Николай Александрович Бестужев (1791–1855) изображен в мундире Гвардейского флотского экипажа, о чем свидетельствует шитье особого рисунка на воротнике мундира: якоря, перевитые канатами. На плечах — штаб-офицерские эполеты с густой бахромой.

Портрет М. Ф. Орлова

П. де Росси. Кость, акв., гуашь.

Генерал Михаил Федорович Орлов (1788–1842) изображен в общегенеральском мундире со знаками ордена св. Владимира 3-й степени (крест на шейной ленте), ордена св. Георгия 4-го класса, медалью за 1812 год и звездой датского ордена «Данеброг».

Фрагмент «Панорамы Невского проспекта» с изображением здания аптеки

И. Иванов по рис. В. С. Садовникова. 1830-е.

На углу дома укреплено изображение двуглавого орла. Именно с такого орла приятели Бутурлина отодрали скипетр и державу во время своих уличных похождений.

Портрет А. И. Якубовича

П. А. Каратыгин. Акв. 1825 (?).

Александр Иванович Якубович (1796/7–1845) семнадцатилетним юношей, после учебы в Московском университетском пансионе, вступил в службу юнкером лейб-гвардии уланского полка (21 августа 1813 г.), прошел заграничный поход 1813–1814 гг. За участие в знаменитой «четверной» дуэли (Завадовский — Шереметев, Грибоедов — Якубович) переведенный на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, прославился лихими набегами на горцев, за что получил чин капитана и орден св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1823 г. во время экспедиции за Кубань был ранен в голову пулей, после чего постоянно носил черную повязку. Пушкин, знакомый с Якубовичем по Петербургу (1817 г.), сделал его главным героем своего незавершенного «Романа на Кавказских водах».

И. Д. Якушкин на крыльце дома среди родственников жены

Неизвестный художник. Акв.

Лист из семейного альбома Левашевых. 1823 — нач. 1824. Изображено крыльцо дома в селе Михайловском — «подмосковной» Шереметевых. Слева направо: декабрист Иван Дмитриевич Якушкин; Анастасия Васильевна Якушкина (урожд. Шереметева), его жена с 1822 г.; Надежда Николаевна Шереметева (урожд. Тютчева), теща Якушкина; неизвестный (по предположению Г. А. Принцевой — возможно, отец автора акварели, Сергей Васильевич Шереметев); Пелагея Васильевна Муравьева (урожд. Шереметева), с 1818 г. жена М. Н. Муравьева (Виленского); Сергей Николаевич Муравьев, младший брат декабриста Александра Николаевича Муравьева.

Портрет Е. А. Карамзиной

Неизвестный художник. Х., м. 1830-е.

Екатерина Андреевна (1780–1851), внебрачная дочь князя А. И. Вяземского, до замужества Колыванова (по древнерусскому названию места рождения — г. Ревеля), старшая сестра князя П. А. Вяземского, с 1804 — вторая жена Н. М. Карамзина. Дом Карамзиных в Петербурге (летом — в Царском Селе) с 1816 по 1850-е гг. один из центров культурной и светской жизни Петербурга. По свидетельству современника, это был один из немногих петербургских салонов, где «говорили по-русски и не играли в карты».

Примечания

1

В отдельных позициях, всегда являющихся исключением из правила, можно говорить о культуре одного человека. Но тогда следует уточнить, что мы имеем дело с коллективом, состоящим из одной личности. Уже то, что эта личность неизбежно будет пользоваться языком, выступая одновременно как говорящий и слушающий, ставит ее в позицию коллектива. Так, например, романтики часто говорили о предельной индивидуальности своей культуры, о том, что в создаваемых ими текстах сам автор является, в идеале, единственным своим слушателем (читателем). Однако и в этой ситуации роли говорящего и слушающего, связывающий их язык не уничтожаются, а как бы переносятся внутрь отдельной личности: «В уме своем я создал мир иной // И образов иных существованье»

(Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. М.; Л., 1954, т. 1, с. 34).

Цитаты приводятся по изданиям, имеющимся в библиотеке автора, с сохранением орфографии и пунктуации источника.

2

Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми т. М.; Л., 1960, т. 3, с. 136.

3

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. [М.; Л.], 1937–1949, т. 11, с. 40.

Далее все ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Пушкин, том, книга, страница. Ссылки на «Евгения Онегина» даются в тексте, с указанием главы (арабской цифрой) и строфы (римской).

4

Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х т. М., 1979, т. 3, с. 27–28.

5

Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945, т. 1, с. 175.

6

Прокопович Ф. Соч. М.; Л., 1961, с. 125.

7

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М.; Л., 1959, т. 8, с. 284.

8

Там же, с. 610.

9

Несмотря на враждебное отношение к попыткам церковных деятелей влиять на государственную власть, на известные случаи кощунства, Петр тщательно соблюдал православные обряды. Даже нерасположенный к нему дипломат Юст Юль вынужден был признать, что «царь благочестив», а другой свидетель, француз Ле-Форт в 1721 году отмечал, что «царь говел более тщательно, чем обычно, с Mea culpa (покаянием. —

Ю. Л.), коленопреклонением и многократным целованием земли».

10

В народнических кругах и в окружении А. И. Герцена существовала тенденция видеть в старообрядцах выразителей мнений

всего народа и на этом основании конструировать отношение крестьянства к Петру. В дальнейшем эту точку зрения усвоили русские символисты — Д. С. Мережковский и др., отождествлявшие сектантов и представителей раскола со всем народом. Вопрос этот нуждается в дальнейшем беспристрастном исследовании. Отметим лишь, что такие, сделавшиеся уже привычными утверждения, как мнение известного исследователя лубка Д. Ровинского, что лубок «Как мыши кота хоронили» и ряд листов на тему «Старик и ведьма» являются сатирами на Петра, на поверку оказываются ни на чем не основанными.

11

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, с. 99.

12

Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I. М., 1961, с. 185.

13

Впоследствии, особенно при Николае I, положение менялось в сторону все большего превращения дворянства в замкнутую касту. Уровень чина, при котором недворянин получал дворянство, все время повышался.

14

Предпочтение, даваемое воинской службе, отразилось в полном заглавии закона: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однакож воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». Характерно и другое: назначив воинские чины I класса (генерал-фельдмаршал в сухопутных и генерал-адмирал в морских войсках), Петр оставил пустыми места I класса в статской и придворной службе. Лишь указание Сената, что это поставит русских дипломатов при сношениях с иностранными дворами в неравное положение, убедило его в необходимости I класса и для статской службы (им стал канцлер). Придворная же служба так и осталась без высшего ранга.

15

Цит. по кн.:

Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб., 1898, с. 261.

16

Капнист В. В. Собр. соч. в 2-х т. М.; Л., 1960, т. 1, с. 358.

17

Интересно, что дворянство, быстро разорявшееся в 1830–1840-е годы, тоже внесло активный вклад в формирование русской интеллигенции. Профессиональное дореформенное чиновничество оказалось и здесь значительно менее активным.

18

Ремонт лошадей — технический термин в кавалерии, означающий пополнение и обновление конского состава. Для закупки лошадей офицер с казенными суммами командировался на одну из больших ежегодных конских ярмарок. Поскольку лошади покупались у помещиков — лиц частных, проверки суммы реально истраченных денег фактически не было. Гарантиями реальности суммы денежных трат были, с одной стороны, доверие к командированному офицеру, а с другой — опытность полкового начальства, разбиравшегося в стоимости лошадей.

19

Надо сказать, что служба без жалованья была довольно частым явлением, а А. Меншиков в 1726 году вообще отменил жалованье мелким чиновникам, говоря, что они и так берут много взяток.

20

Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I, с. 185.

21

В бытописаниях XVIII столетия известен случай, когда некий гость сорок лет регулярно появлялся на обедах у одного вельможи. Однако, когда этот человек умер, оказалось, что никто, включая хозяина, не знал, кто он такой и каково его имя.

22

Толмачев Я. Военное красноречие, основанное на общих началах словесности. Ч. II. СПб., 1825, с. 120.

23

Все законы цитируются по изданию: Полное собрание законов Российской Империи, повелением Государя Николая Павловича составленное. [1 собрание] (1649–1825). Т. 1–45. СПб., 1830.

24

«Достоинство» — здесь «сан, звание, чин». См.:

Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1978, т. 1, с. 480.

25

Старый принцип, однако, не был до конца уничтожен. Это отражалось в том, что периодически в систему орденов врывались не условные, а материальные ценности. Так, орденская звезда с бриллиантами имела значение особой степени отличия

26

От

лат. ordo — ряд, порядок.

27

Официальное название — орден св. Иоанна Иерусалимского. Как известно, Павел I взял под покровительство остров Мальту и в декабре 1798 г. объявил себя великим магистром Мальтийского ордена. Конечно, это было совершенно невозможным: кавалеры Мальтийского ордена давали обет безбрачия, а Павел был уже вторично женат; кроме того, Мальтийский орден — католический, а русский царь, разумеется, был православным. Но Павел I считал, что он все может (даже литургию отслужил однажды!); все, что может Бог, под силу и русскому императору.

28

До этого орден был возложен на Екатерину II как на его учредительницу.

29

Пушкин писал в «Моей родословной»:

У нас нова рожденьем знатность,

И чем новее, тем знатней.

И не якшаюсь с новой знатью.

Само выражение «новая знать», с западноевропейской точки зрения, было парадоксальным.

30

Ср. позднейшее ироническое истолкование семантики слова «служить» в речи дворянина и разночинца-поповича: «Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома — Рязанов. Да, теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили». «Что же вы с ним, всенощную или обедню служили?» — спросил Рязанов… «То есть как?» — «Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?» Посредник с недоумением смотрел на Рязанова: «Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?» — «Нет; он больше в селах пресвитером служил» (

Слепцов В. А. Соч. в 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 58).

31

Известная наклонность употреблять высокие слова в сниженно-иронических значениях коснулась позже и выражения «служить из чести». Оно начало обозначать трактирную прислугу, не получающую от хозяина жалованья и служащую за чаевые. Ср. выражение в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, принадлежащее кухарке в публичном доме: «Из

чести лишь одной я в доме здесь служу» (Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971, с. 670).

32

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве…, с. 268.

33

Российское законодательство X–XX веков. В 9-ти т. М., 1987, т. 5, с. 28.

34

Там же, т. 5, с. 15–16.

35

Там же, т. 5, с. 16, со ссылкой на:

Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны. — В кн.: Россия в период реформ Петра I. М., 1973, с 171;

Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. М., 1980, с. 241.

36

Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I, с. 186.

37

Только в придворной службе женщины сами имели чины. В Табели о рангах находим: «Дамы и девицы при дворе, действительно в чинах обретающиеся, имеют следующие ранги…» (Памятники русского права. Вып. 8, с. 186) — далее следовало их перечисление.

38

См.:

Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России: Первая половина XVIII века Л., 1982, с. 114–115; Переписка княгини Е. П. Урусовой со своими детьми. — В кн.: Старина и новизна. Кн. 20. М., 1916; Частная переписка князя Петра Ивановича Хованского, его семьи и родственников. — В кн. Там же, кн. 10; Грамотки XVII — начала XVIII века. М., 1969.

39

Средневековая книга была рукописной. Книга XIX века — как правило, печатной (если не говорить о запрещенной литературе, о культуре церковной и не учитывать некоторых других специальных случаев). XVIII век занимает особое положение: рукописные и печатные книги существуют одновременно, иногда — как союзники, порой — как соперники.

40

См. в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, в главе «Новгород», портрет жены купца: «Прасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи».

41

Поэты 1790–1810-х годов, с. 805.

42

Пушкин в «Графе Нулине» об этих романах писал:

Роман классический, старинный,

Отменно длинный, длинный, длинный,

Нравоучительный и чинный,

Без романтических затей.

Героиня поэмы — Наталия Павловна читала такие романы еще в начале XIX века: в провинции они задержались, но в столицах их вытеснил романтизм, переменивший читательские вкусы.

Ср. в «Евгении Онегине»:

А нынче все умы в тумане,

Мораль на нас наводит сон,

Порок любезен — и в романе,

И там уж торжествует он.

(3, XII)

43

Повесть Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени», на которой мы в данном случае основываемся, — художественное произведение, а не документ. Однако можно полагать, что именно в этих вопросах Карамзин близок к биографической реальности.

44

Французское письмо государю или высшим сановникам, написанное мужчиной, было бы воспринято как дерзость: подданный обязан был писать по-русски и точно следуя установленной форме. Дама была избавлена от этого ритуала. Французский язык создавал между нею и государем отношения, подобные ритуальным связям рыцаря и дамы. Французский король Людовик XIV, поведение которого все еще было идеалом для всех королей Европы, демонстративно по-рыцарски обращался с женщинами любого возраста и социального положения.

Интересно отметить, что юридически степень социальной защищенности, которой располагала русская женщина-дворянка в николаевскую эпоху, может быть сопоставлена с защищенностью посетившего Россию иностранца. Совпадение это не столь уж случайно: в чиновно-бюрократическом мире ранга и мундира всякий, кто так или иначе выходит за его

пределы, — «иностранец».

45

Правда, в отличие от Сен-Пре из «Новой Элоизы», Жуковский — дворянин. Однако дворянство его сомнительно: все окружающие знают, что он незаконный сын с фиктивно добытым дворянством (см.:

Портнова И. И., Фомин Н. К. Дело о дворянстве Жуковского. — В кн.: Жуковский и русская культура. Л., 1987, с. 346–350).

46

Так называли обычно книгу «Плутарха Херонейского О детоводстве, или воспитании детей наставление. Переведенное с еллино-греческого языка С[тепаном] П[исаревым]». СПб., 1771.

47

Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея. М., 1938, кн. III, с. 484.

48

Муравьев А. Н. Автобиографические записки. — В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 197–198.

49

Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. В 2-х т. Л., 1936, т. 1, с. 49.

50

Подробнее об этом эпизоде см. ниже, в главе «Итог пути».

51

Возможно, что внимание Радищева к этому эпизоду вызвано событием, прямо предшествовавшим написанию текста. Последние якобинцы — Жильбер Ромм и его единомышленники, ободряя друг друга, избежали казни, так как закололись одним кинжалом, который они передавали друг другу из рук в руки (датировку поэмы 1795–1796 гг. см.:

Радищев А. Н. Стихотворения. Л., 1975, с. 244–245).

52

Блок А. А. Собр. соч., т. 3, с. 164.

53

Чтобы оценить этот шаг довольно осторожного Плетнева, следует учесть, что начиная с 1830-го года вокруг оценки творчества Пушкина шла острая полемика и авторитет его был поколеблен даже в сознании наиболее близких к нему поэтов (например, Е. Баратынского). В официозных же кругах дискредитировать поэзию Пушкина сделалось в эти годы своего рода обычаем.

54

Сумароков А. П. Избр. произведения. Л., 1957, с. 307. Обращение поэта к воспитанницам Смольного института напоминает, и видимо не случайно, известные строки М. Ломоносова: «О вы, которых ожидает // Отечество из недр своих…» Однако Ломоносов обращается к русскому юношеству без какого-либо указания на сословие, весь же смысл послания Сумарокова состоит в создании программы для воспитания русской дворянской девушки.

55

«Любовные безумия, или Любовь и Разум». Комедия Пиго-Лебрена.

56

Вместе с занавесом подняли ребенка (

франц.).

57

Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948, с. 289.

58

Первое воспитательное заведение для девушек возникло в Дерпте, задолго до Смольного института, в 50-е годы XVIII века. Преподавание там велось на немецком языке.

59

Карпов В. Н. Воспоминания. Шипов Я. История моей жизни. М.; Л., 1933, с. 142–143.

60

Винский Г. С. Мое время. СПб., [1914], с. 139.

61

Примеч. Пушкина:

«Неточность. — На балах кавалергард<ские> офицеры являются так же, как и прочие гости, в виц мундире, в башмаках. Замечание основательное, но в шпорах есть нечто поэтическое. Ссылаюсь на мнение А. И. Б.» (VI, 528)

62

Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т. М.; Л., 1959, т. 2, с. 273.

63

См.:

Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. М.; Л., 1940, с. 196–197.

64

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825, с. 13–14.

65

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1956, т. 9, с. 30–31.

66

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев…, с. 55.

67

См.:

Lalla-Roukh. Divertissement execute au chateau royal de Berlin le 27 janvier 1821. Berlin, 1822.

68

М. А. Нарышкина — любовница, а не жена императора, поэтому не может открывать бал в первой паре, у Пушкина же «Лалла-Рук» идет в первой паре с Александром I.

69

Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина. Л., 1974, с. 10.

70

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев…, с. 70.

71

Там же, с. 72.

72

Dictionnaire critique et raisonn? des ?tiquettes de la cour <…> Par M-me la comtesse de Genlis. Paris, 1818, v. II, p. 355.

73

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев…, с. 70.

74

Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 119.

75

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев…, с. 83.

76

[

Компан Шарль.] Танцевальный словарь… М., 1790, с. 182.

77

Бульвер-Литтон Э. Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958, с. 228.

78

Смирнова-Россет А. О. Автобиография, с. 332.

79

См.: Русский архив, 1866, № 7, стб. 1255.

80

Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936, с. 280.

81

Смирнова-Россет А. О. Автобиография, с. 118.

82

Забвение или сожаление (

франц.).

83

[

Петровский Л.] Правила для благородных общественных танцев…, с. 74.

84

Что я полюбил бывать в хорошем обществе (

франц.).

85

Записки графа М. Д. Бутурлина. — Русский архив, 1897, № 5–8, с. 46.

86

Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1974, т. 2, с. 124–125.

87

С этим можно было бы также сопоставить обычай для императрицы облачаться в мундир тех гвардейских полков, которые удостаиваются посещения.

88

Памятники литературы Древней Руси (XI — начало XII в.). М., 1978, с. 31.

89

Записки Я. М. Неверова. — Русская старина, 1883, т. XI (цит. по: Помещичья Россия, с. 148). Парадоксальное совпадение находим в стихотворении Всеволода Рождественского,

создающего образ Бестужева-Марлинского, бежавшего в горы и декламирующего следующий текст:

Лишь на сердце только наляжет тоска

И небо покажется узким,

Всю ночь ей в гареме читаю «Цыган»,

Все плачу, пою по-французски.

Воображение поэта странно повторяло фантазии помещика давних пор.

90

Там же, с. 144–145.

91

Отождествление слов «хам» и «раб» получило одно любопытное продолжение. Декабрист Николай Тургенев, который, по словам Пушкина, «цепи рабства ненавидел», использовал слово «хам» в специфическом значении. Он считал, что худшими рабами являются защитники рабства — проповедники крепостного права. Для них он и использовал в своих дневниках и письмах слово «хам», превратив его в политический термин.

92

См. об этом в кн.:

Карпович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874, с. 259–263; а также:

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 36–42.

93

В кн.:

Карпов В. Я. Воспоминания.

Шипов Н. История моей жизни, с. 391.

94

Ср. в том же источнике описание обряда сватовства: «Стол был накрыт человек на сорок. На столе стояли четыре окорока и белый большой, круглый, сладкий пирог с разными украшениями и фигурами».

95

Там же, с. 390.

96

Подзаголовок «Отрывок из письма южного жителя» — не только намек на биографические обстоятельства автора, но и демонстративное противопоставление себя «петербургской» точке зрения.

97

То есть «качели в виде вращающегося вала с продетыми сквозь него брусьями, на которых подвешены ящики с сиденьями» (Словарь языка Пушкина. В 4-х т. М., 1956–1961, т. 2, с. 309). Как любимое народное развлечение, эти качели описаны были путешественником Олеарием (См.:

Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию… СПб., 1806, с. 218–219), который привел и их рисунок.

98

Подблюдные песни — песни, исполнявшиеся во время святочных гаданий.

99

Заря или зоря — вид травы, считавшейся в народной медицине целебной «Во время

троицкого молебна девушки, стоящие слева от алтаря, должны уронить несколько слезинок на пучок мелких березовых веток (в других районах России плакали на пучок зари или на другие цветы. —

Ю. Л.). Этот пучок тщательно сберегается после и считается залогом того, что в это лето не будет засухи»

(Зернова А. Б. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае. — Советская этнография, 1932, 3, с. 30).

100

См.:

Авдеева К. А. Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842, с. 124.

101

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 250–251.

102

О едином свадебном обряде в условиях крепостного быта говорить нельзя. Крепостное принуждение и нищета способствовали разрушению обрядовой структуры. Так, в «Истории села Горюхина» незадачливый автор Горюхин полагает, что описывает похоронный обряд, когда свидетельствует, что в его деревне покойников зарывали в землю (иногда ошибочно) сразу после кончины, «дабы мертвый в избе лишнего места не занимал». Мы берем пример из жизни очень богатых крепостных крестьян — прасолов и торговцев, так как здесь обряд сохранился в неразрушенном виде.

103

Карпов В. Н. Воспоминания.

Шипов Н. История моей жизни, с. 385–387.

104

Кацурагава Х. Краткие вести о скитаниях в северных водах («Хокуса Монряку»). М., 1978, с.

146.

105

Там же, с. 147.

106

Там же.

107

Из примечаний к японскому тексту видно, что русское слово «венцы» не очень точно передает содержание. Слово в оригинале означает «диадему на статуе будды» (с. 360). Характерно, что информатор отождествляет новобрачных не с земными властителями, а с богами.

108

Там же, с. 148.

109

Там же.

110

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.], 1938, т. 1, с. 306–307.

111

Ночной халат, в современном произношении — шлафрок.

112

По трагическому сцеплению обстоятельств, в этом «счастливом» фраке Пушкин был похоронен.

113

Напомним уже отмечавшуюся нами любопытную деталь. Речь идет об эпохе Елизаветы Петровны. Но когда Щербатов говорит о ней

как о человеке, он употребляет женскую форму: «государыня», когда же

о ее государственной деятельности — мужскую: «государь».

114

Позорище — театр.

115

Щербатов М. М. Сочинения. СПб., 1898, т. 2, с. 219–220.

116

Суворов А. В. Письма. М., 1986, с. 323.

117

Здесь речь идет об английской мужской моде: французские женские и мужские моды строились как взаимно соответственные — в Англии каждая из них развивалась по собственным законам.

118

Противопоставление этих двух видов бунта Оскар Уайльд позже положил в основу сюжета «Портрета Дориана Грея».

119

Пешком (

франц.).

120

После 1790-х годов такие ботфорты получили название a la Souvaroff в честь вошедшего тогда в Англии в моду Суворова.

121

Портных (

нем.).

122

Ср.:

…Холодная толпа взирает на поэта,

Как на заезжего фигляра.

(

Пушкин, III, 229)

123

Эйдельман Н. Саранча летела… и села. — Знание — сила, 1968, № 9, с. 38.

124

Сильная сторона (

итал.).

125

Карамзин Н. М. Соч. в 3-х т. СПб., 1848, т. 3, с. 507–508.

126

Блаженной памяти (

франц.).

127

Цитируем первоначальный текст. В дальнейшем первая строка была:

«Красавцы молодые»

(Пушкин, V, 374).

128

См. роскошное издание:

Немирович-Данченко Вл. И. «Горе от ума» в постановке Московского Художественного театра. М.; Пг., 1923, с. 87.

129

Русская комедия и комическая опера XVIII века. М.; Л., 1950, с. 99.

130

Термин немецкой фольклористики, обозначающий опускание высоких произведений искусства в сферу массовой культуры.

131

Andrieux — петербургский ресторатор.

132

И это пишется уже после «Кинжала» (1821), прославляющего Занда.

133

Отрывок из сатиры А. Г. Родзянки. — Русская старина, 1890, нояб., с. 505.

134

Слово «развалины» имело в начале XIX века более широкое значение, чем в современном русском языке.

135

Гофман М. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Пб., 1922, с. 126.

136

Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 246.

137

Теоретик дендизма столь же редко бывает денди в своем практическом поведении, как теоретик литературы — поэтом.

138

Д'Оревильи Б. Дендизм и Джордж Брэммель. М., 1912, с. I–V.

139

«Острижен по последней моде» и «как денди лондонский одет» также Онегин. Этому противопоставлены «кудри черные до плеч» Ленского. «Крикун, мятежник и поэт», как характеризуется Ленский в черновом варианте, он, как и другие немецкие студенты, носил длинные волосы в знак либерализма, из подражания карбонариям.

140

См.: Щукинский сборник. Т. 7, с. 323; а также:

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 74.

141

Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. М.; Л., 1957, с. 339.

142

См.: Библиография русских переводов и критической литературы. М., 1964, с. 48–49 и таблицы.

143

Впервые сопоставление сюжетов этих произведений см.:

Штейн С. Пушкин и Гофман. Сравнительное историко-литературное исследование. Дерпт, 1927, с. 275.

144

Несмотря на то, что развод и новый брак были законодательно оформлены, общество отказывалось признать скандальный проигрыш жены, и бедная графиня Разумовская была подвергнута остракизму. Выход из положения с присущим ему джентльменством нашел Александр I, пригласив бывшую княгиню на танец и назвав ее при этом «графиней». Общественный статус, таким образом, был восстановлен.

145

См.:

Лекомцева М. И., Успенский Б. А. Описание одной системы с простым синтаксисом;

Егоров Б. Ф. Простейшие семиотические системы и типология сюжетов. — Труды по знаковым системам. Вып. II. Тарту, 1965.

146

Повести, изданные Александром Пушкиным. СПб., 1834, с. 187. В академическом издании Пушкина, несмотря на указание, что текст печатается по изданию «Повестей» 1834 года, в части тиража эпиграф опущен, хотя это обстоятельство нигде в издании не оговорено.

147

Так, П. А. Вяземский пишет о «мирной, так называемой коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барыня говорила в Венеции: „Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферансик“. Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, как доволен он Парижем: „Очень доволен, у нас каждый вечер была своя партия“»

(Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 85–86).

148

Dictionnaire critique et raisonn? des ?tiquettes de la cour <…> Par M-me la comtesse de Genlis, v. I, p. 304–305.

149

Страхов Н. Переписка Моды, содержащая письма безруких Мод, размышления неодушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебелей, карет, записных книжек, пуговиц и старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и пр. Нравственное и критическое сочинение, в коем с истинной стороны открыты нравы, образ жизни и разныя смешныя и важныя сцены модного века. М., 1791, с. 31–32.

150

Цит. по: Ироикомическая поэма. Под ред. и с примеч. Б. Томашевского. Л., [1933], с. 109.

151

Там же, с. 704.

152

См., например:

Эйхенбаум Б. Мой временник. <Л.>, 1929, с. 15–16.

153

Слово дружеского жаргона, вероятно, сокращение от «caballero», поскольку перечисленные имена относятся к известным модникам.

154

Марин С. Н. Полн. собр. соч., с. 306.

155

Рейхман У. Дж. Применение статистики. М., 1969, с. 168–169.

156

См. у Новикова:

«Подряд любовников к престарелой кокетке… многим нашим господчикам вскружил головы… хотят скакать на почтовых лошадях в Петербург, чтобы такого полезного для них не пропустить

случая» (Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951, с. 105. П. Н. Берков в комментарии к этому месту полагает, что речь идет о фаворитах императрицы). Гном Зор в «Почте Духов» Крылова пишет Маликульмульку: «Я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых

случаях, как сказывают, производят великие чудеса»

(Крылов И. А. Полн. собр. соч., т. I, с. 43), ср.:

Да, чем же ты, Жужу, в

случай попал,

Бессилен бывши так и мал…

(там же, т. 3, с. 170).

157

Пунтируют — понтируют, трантелево — ставка, увеличенная в 30 раз.

158

Ср. романтический идеал женского характера в цитированном уже стихотворении Пушкина

«Портрет»:

…мимо всех условий света

Стремится до утраты сил,

Как беззаконная комета

В кругу расчисленном светил.

159

Четыре вистовых онера. Онеры— козырные старшие карты (от десятки до туза).

160

Пасовать (от

фр. «пас») — пропускать ход.

161

Пуля за пулею — от слова «пулька», карточная игра, т. е. «игру за игрой». (

Страхов Н. Переписка Моды, с. 27–28).

162

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 12, с. 119.

163

В данном случае для нас неважно то обстоятельство, что в пьесе Гоголя «молодой человек» оказывается совсем не «легковерным», а также является участником шулерской шайки.

164

Включение в «благородное поведение» и с этой стороны роднит карты с дуэлью. Ср. о дуэли:

Ему готовить честный гроб,

И тихо целить в бледный лоб

На благородном расстояньи.

(6, XXXIII)

«Благородное расстояние» здесь — утвержденное правилами дуэли. В равной степени убийство на дуэли характеризуется как «честное».

165

«Порошковые» — фальшивые карты (от шестерки до десятки). Карты наклеиваются одна на другую, например, шестерка на семерку, фигура масти вырезается, насыпанный белый порошок делает это незаметным. Шулер в ходе игры вытряхивает порошок, превращая шестерку в семерку и т. д.

166

Цветаева М. Избр. произведения. М.; Л., 1965, с. 446.

167

Слово «убит» здесь двусмысленно. Пушкин сравнивает воображение с фараоном, в терминологии которого убитая карта — проигрыш.

168

Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. М., 1973, с. 21–22.

169

Вяземский П. Старая записная книжка, с. 85.

170

В ходе азартных игр требовалось порой большое количество колод. При игре в фараон банкомет и каждый из понтеров (а их могло быть более десятка) должен был иметь отдельную колоду. Кроме того, неудачливые игроки рвали и разбрасывали колоды, как это описано, например, в романе Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских». Использованная («пропонтированная») колода тут же бросалась под стол. Эти разбросанные, часто в огромном количестве, под столами карты позже, как правило, собирались слугами и продавались мещанам для игры в дурака и подобные развлекательные игры. Часто в этой куче карт на полу валялись и упавшие деньги, как это, например, имело место во время крупных игр, которые азартно вел Н. Некрасов. Подымать эти деньги считалось неприличным, и они доставались потом лакеям вместе с картами. В шутливых легендах, окружавших дружбу Толстого и Фета, повторялся анекдот о том, как Фет во время карточной игры нагнулся, чтобы поднять с пола упавшую небольшую ассигнацию, а Толстой, запалив у свечи сотенную, посветил ему, чтобы облегчить поиски.

171

Практически для гадания использовались и игральные карты.

172

Там же, с. 86.

173

Сатирический вестник. М., 1795, ч. IV, с. 46–48, 51.

174

Voltaire, ?p?tres, Satires… Londres, 1781, с. 113.

175

Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957, с. 328.

176

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 6, с. 16.

177

Бегичев Д. Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян. М., 1841, с. 172.

178

Памятники русского права. Вып. 8, с. 459–460.

179

Там же, с. 461.

180

Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. М., 1950, с. 239.

181

Цит. по:

Пушкин А. С. Письма, т. II, 1826–1830. М.; Л., 1928, с. 185.

182

Монтескье Ш. Дух законов. СПб., 1900, кн. 1, гл. VIII.

183

Так оценивалась дуэль в анонимной брошюре «Подарок человечеству, или Лекарство от поединков» (СПб., 1826, с. 1); предисловие подписано: «Русской».

184

Страхов Н. Переписка Моды…, с. 46.

185

См.: О поединках. — Моск. ежемесячн. соч., 1781, ч. II.

186

См.: Декабристы. Материалы для их характеристики. М., 1907, с. 165.

187

Истоки этого поведения заметны уже в Петербурге в 1818–1820 годы. Однако серьезных поединков у Пушкина в этот период еще не отмечено. Дуэль с Кюхельбекером не воспринималась Пушкиным всерьез. Обидевшись на Пушкина за эпиграмму «За ужином объелся я…» (1819), Кюхельбекер вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов, но выстрелил в воздух, после чего друзья примирились. Предположение же Вл. Набокова о дуэли с Рылеевым все еще остается поэтической гипотезой.

188

Разговоры Пушкина. Собрали Сергей Гессен и Лев Модзалевский. М., 1929, с. 38–40.

189

См.:

Даль В. И. Записки. — Русская старина, 1907, № 10, с. 64;

Бартенев П. И. К биографии Пушкина. Т. П. М., 1885, с. 177.

190

Таллеман де Рео Жедеон. Занимательные истории. Л., 1974, т. 1, с. 159.

См. об этом:

Лотман Ю. Три заметки к проблеме: «Пушкин и французская культура». — Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983.

191

В предшествующих работах о «Евгении Онегине» мне приходилось полемически высказываться о книге Бориса Иванова (возможно, псевдоним; подлинная фамилия автора, как и какие бы то ни было сведения о нем, мне неизвестны). См.:

Лотман Ю. «Даль свободного романа». М, 1959. Сохраняя сущность своих критических замечаний о замысле этой книги, я считаю своей обязанностью признать их односторонность. Мне следовало отметить, что автор проявил хорошее знание быта пушкинской эпохи и соединил общий странный замысел с рядом интересных наблюдений, свидетельствующих об обширной осведомленности. Резкость моих высказываний, о которой в настоящее время я сожалею, была продиктована логикой полемики.

192

По другим правилам, после того, как один из участников дуэли выстрелил, второй мог продолжать движение, а также потребовать противника к барьеру. Этим пользовались бретеры.

193

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936, с. 191.

194

Выражение, означающее нежелание продолжать разговор.

195

Дурасов В. Дуэльный кодекс. 1908, с. 56.

196

Ср. в «Герое нашего времени»: «„Мы давно уж вас ожидаем“, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят».

Смысл эпизода — в следующем: драгунский капитан, убежденный, что Печорин «первый трус», косвенно обвиняет его в желании, опоздав, сорвать дуэль.

197

См.: M?moires de J. Casanova de Seingalt ?crits par lui-m?me. Paris, MCMXXXI, v. X, p. 163.

198

Участие в дуэли, даже в качестве секунданта, влекло за собой неизбежные неприятные последствия: для офицера это, как правило, было разжалование и ссылка на Кавказ (правда, разжалованным за дуэль начальство обыкновенно покровительствовало). Это создавало известные трудности при выборе секундантов: как лицо, в руки которого передаются жизнь и честь, секундант, оптимально, должен был быть близким другом. Но этому противоречило нежелание вовлекать друга в неприятную историю, ломая ему карьеру. Со своей стороны, секундант также оказывался в трудном положении. Интересы дружбы и чести требовали принять приглашение участвовать в дуэли как лестный знак доверия, а службы и карьеры — видеть в этом опасную угрозу испортить продвижение или даже вызвать личную неприязнь злопамятного государя.

199

А С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. Л., 1929, с. 278–279.

200

Там же, с. 279–280.

201

Напомним правило дуэли: «Стрелять в воздух имеет право только противник, стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его противник не ответил на выстрел или также выстрелил в воздух, считается уклонившимся от дуэли…»

(Дурасов. Дуэльный кодекс, 1908, с. 104). Правило это связано с тем, что выстрел в воздух первого из противников морально обязывает второго к великодушию, узурпируя его право самому определять свое поведение чести.

202

Так назывался поединок, в котором после противников стрелялись их секунданты.

203

Там же, с. 112.

204

Бестужев (Марлинский) А. А. Ночь на корабле. Повести и рассказы. М., 1988, с. 20.

Пользуемся данным изданием как текстологически наиболее достоверным.

205

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, с. 206.

206

Проблема автоматизма весьма волновала Пушкина; см.:

Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. — В кн.:

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987, с. 145–180.

207

См.:

Лотман Ю. М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1975. Вып. 365. Труды по знаковым системам, т. VII.

208

Бывали и более жесткие условия. Так, Чернов (см. с. 167), мстя за честь сестры, требовал поединка на расстоянии в три (!) шага. В предсмертной записке (дошла в копии рукой А. Бестужева) он писал:

«Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное; ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества». (Девятнадцатый век. Кн. 1. М., 1872, с. 334)

По настоянию секундантов дуэль происходила на расстоянии в восемь шагов, и все равно оба участника ее погибли.

209

Данные почерпнуты из кн. генерал-майора И. Микулина «Пособие для ведения дел чести в офицерской среде». СПб., 1912, ч. 1, табл. 1, с. 176–201.

210

Здравствуйте, капитан! (

франц.).

211

Обычный механизм дуэльного пистолета требует двойного нажима на спусковой крючок, что предохраняет от случайного выстрела.

Шнеллером называлось устройство, отменяющее предварительный нажим. В результате усиливалась скорострельность, но зато резко повышалась возможность случайных выстрелов.

212

Бестужев (Марлинский) А. А. Ночь на корабле. Повести и рассказы, с. 70–72.

213

Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея, с. 488.

214

Декабристы. Материалы для их характеристики, с. 165.

215

С признательностью и благодарностью вспоминаю В. М. Глинку, давшего мне ценные консультации.

216

См.:

Батюшков К. Стихотворения. Л., 1936, с. 28–29;

Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 107.

217

Гинзбург Л. Я. О лирике. М.; Л., 1964, с. 18–19.

218

См.:

Kazoknieks M. Studien zur Rezeption der Antike bei russischen Dichtern zu Beginn des XIX Jahrhunderts. M?nchen, 1968, S. 73.

219

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928, т. 1, с. 177–179.

220

Врангель Н. Н. История скульптуры. — В кн.: История русского искусства. Под ред. И. Грабаря. Т. 5. М., б. г., с. 171.

221

Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 61, 63.

222

Врангель Н. Н. История скульптуры. — В кн.: История русского искусства, т. 5, с. 171.

223

Сб. Русского Императорского Исторического общества, т. V, 1870, с. 66.

224

Давыдов Д. Соч. М., 1962, с. 64.

225

Комаровский Е. Ф. Записки. СПб., 1914, с. 159, 165.

226

Dictionnaire critique et raisonn? des ?tiquettes de la cour <…> Par M-me la comtesse de Genlis, v. 1. p. 18–19.

227

Подобный контраст использован М. Булгаковым в «Мастере и Маргарите». На балу, среди пышно наряженных гостей, подчеркнутая небрежность одежды Воланда выделяет его роль Хозяина. Простота мундира Наполеона среди пышного двора имела тот же смысл. Пышность одежды свидетельствует об ориентации на точку зрения внешнего наблюдателя. Для Воланда нет такого «внешнего» наблюдателя. Наполеон культивирует ту же позицию, однако в более сложном варианте: Воланду в самом деле безразлично, как он выглядит, Наполеон изображает того, кому безразлично, как он выглядит.

228

Феофана Прокоповича, архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук, святейшего правительствующего синода вице-президента… Слова и Речи, ч. 1, 1760, с. 158.

229

Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия. М., 1822, с. 83.

230

Ср. его утверждение: «Спорный дела государств решаются ныне не боем Горациев и Куриациев» (

Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия, с. 46).

231

Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 36.

232

Гроссман Л. Пушкин в театральных креслах. Картины русской сцены 1817–1820 годов. Л., 1926, с. 6.

233

Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х т. М., 1956, т. 4, с. 47–48.

234

Там же, с. 125–126.

235

О связи крестьянского быта с природными циклами см.:

Успенский Г. И. Собр. соч. в 10-ти т. М., 1956, т. 5, с. 120.

236

Так, досуги великих князей, братьев Александра и Николая Павловичей — Константина и Михаила резко контрастировали с мундирной стянутостью их официального поведения. Константин в компании пьяных собутыльников дошел до того, что изнасиловал в компании (жертва скончалась) даму, случайно забредшую в его часть дворца из половины Марии Федоровны. Император Александр вынужден был объявить, что преступник, если его найдут,

будет наказан по всей строгости закона. Разумеется, преступник найден не был.

237

Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 3, с. 89.

238

Черновой вариант: Привыкли в трех войнах лишь к лагерю да к полю (VII, с. 365).

239

Предтеческий А. В. Записка Т. Е. Бока. — В кн.: Декабристы и их время. М.; Л., 1951, с. 198.

240

См.:

Эйдельман Н. Лунин. М., 1970, с. 89; см. также:

Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1985, с. 13–14.

241

Ср. у Ломоносова в «Оде, выбранной из Иова»:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек,
Внимай, коль в ревности ужасно
Он к Иову из тучи рек!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая
И гласом громы прерывая,
Словами небо колебал

И так его на распрю звал.

Штиблеты как форма военной одежды были введены Павлом по прусскому образцу. Эспантон — короткая пика, введенная при Павле в офицерскую форму.

242

Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л., 1959, с. 173.

243

Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. Т. III, СПб., 1897, с. 38, 48. См. также: Русский архив, 1871, с. 1131.

244

Все нити заговора были настолько сосредоточены в руках императора, что даже наиболее активные участники заговора против Сперанского: названный выше Я. де Санглен и генерал-адъютант А. Д. Балашов, принадлежавший к наиболее близким к императору лицам, — посланные домой к Сперанскому с тем, чтобы забрать его, когда он вернется из дворца после аудиенции у царя, с грустным недоумением признались друг другу в том, что не уверены, придется ли им арестовывать Сперанского или он получит у императора распоряжение арестовать их. В этих условиях очевидно, что Александр не уступал ничьему давлению, а делал вид, что уступает, на самом деле твердо проводя избранный им курс, но, как всегда, лукавя, меняя маски и подготавливая очередных козлов отпущения.

245

Там же, с. 38–39, 368.

246

Каина — в «Божественной комедии» Данте покрытый вечным льдом круг ада.

247

Cornelle. Oeuvre compl?tes. Ed. du Seuil, 1963, p. 226.

248

Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра. М., 1955, т. 2, с. 1029. В мемуарах актера Гнаста-младшего содержится упоминание о том, что, когда на репетиции машинист выставил голову из-за кулис, «тотчас же Гёте прогремел: „Господин Г'наст, уберите эту неподходящую голову из-за первой кулисы справа: она вторгается в рамку моей картины“» (там же, с. 1037).

249

Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 310.

Шаховской использовал театральный эффект известного в ту пору анекдота, ср. в стихотворении В. Л. Пушкина «К князю П. А. Вяземскому» (1815):

…потом

На труд художника свои бросают взоры,

«Портрет, — решили все, — не стоит ничего:

Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с рогами!

И долг хозяина предать огню его!» —

«Мой долг не уважать такими знатоками

(О чудо! говорит картина им в ответ):

Пред вами, господа, я сам, а не портрет!»

(Поэты 1790–1810-х годов, с. 680.)

250

На эффекте неожиданного столкновения неподвижности и движения построены сюжеты с оживающими статуями, от ряда вариаций на тему о Галатее — статуе, оживленной вдохновением художника (сюжет этот, которому посвящен «Скульптор» Баратынского, был широко представлен во французском балете XVIII века), до «Каменного гостя» Пушкина и

разрабатывавших эту же тему произведений Мольера и Моцарта.

251

Хрестоматия по истории западноевропейского театра, т. 2, с. 1026. Расположение правого и левого также роднит сцену с картиной: правым считается правое по отношению к актеру, повернутому лицом к публике, и наоборот.

252

Там же, с. 1029.

253

См. в «Путешествии из Петербурга в Москву» главу «Едрово»: «Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями».

254

Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847, с. 60–63.

255

«С воинственным кличем на устах» (

франц.).

256

«Выйдем… дадим дяде умереть исторически» (

франц.). Москвитянин, 1854, 6, отд. IV, с. II. П. Бартенев сообщает другую версию: «Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умирающего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его:

„Господа, выйдемте, путь это будут его последние слова“» (Русский архив, 1870, с. 1369).

257

Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху, 1799–1826. СПб., 1874, с. 18–19.

258

Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х т. М.; Л., 1964, т. 2, с. 191.

259

Там же, с. 192.

260

Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970, с. 141–142.

261

Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки». — Учен. зап. Ленинградского гос. ун-та, серия филол. наук, № 46, вып. 3. Л., 1939, с. 314–315. А. М. Кукулевич — один из самых одаренных учеников Г. А. Гуковского и И. И. Толстого, погиб на фронте осенью 1941 года.

262

«И вот как пишут историю» (

франц.).

263

Батюшков К. Н. Соч. М.; Л., 1934, с. 374–375.

264

У меня нет больше крови, дарованной мне жизнью. Эта кровь растрачена и пролита за отечество (

франц.).

265

Там же, с. 373–375.

266

Ср. в «Альбоме» Онегина: «В Коране много мыслей здравых, // Вот например: пред кахздым сном // Молись — беги путей лукавых // Чти Бога и не спорь с глупцом». В «Памятнике»: «Хвалу и клевету приемли равнодушно // И не оспоривай глупца». Державин, напоминая читателю свою оду «Бог», смягчил высокое и не совсем безупречное, с точки зрения церковной ортодоксальности, содержание этого стихотворения формулой: «…первый я дерзнул… // В сердечной простоте беседовать о Боге». В этом контексте обращение к Музе (хотя слово и написано с прописной буквы) могло восприниматься как поэтическая условность. Значительно более дерзким было решение Пушкина: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна». Бог и Муза демонстративно соседствуют, причем оба слова написаны с большой буквы. Это ставило их в единый смысловой и символический ряд равно высоких, но несовместимых ценностей. Такое единство создавало особую позицию автора, доступного всем вершинам человеческого духа.

267

Перед Полтавской битвой Петр I, по преданию, сказал: «Воины! Вот пришел час, который решает судьбу Отечества. Итак, не должно вам помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру порученное, за род свой, за Отечество». И далее: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия». Этот текст обращения Петра к солдатам нельзя считать аутентичным. Текст был в первом его варианте составлен Феофаном Прокоповичем (возможно, на основе каких-то устных легенд) и потом подвергался обработкам (см.: Труды имп. русск. военно-исторического общества, т. III, с. 274–276; Письма и бумаги Петра Великого, т. IX, вып. 1, 3251, примеч. 1, с. 217–219; вып. 2, с. 980–983). То, что в результате ряда переделок историческая достоверность текста стала более чем сомнительной, с нашей точки зрения парадоксально повышает его интерес, так как предельно обнажает представление о том, что

должен был сказать Петр I в такой ситуации, а это для историка не менее интересно, чем его подлинные слова. Такой идеальный образ государя-патриота Феофан в разных вариантах создавал и в других текстах.

268

Неплюев И. И. Записки. СПб., 1893, с. 193.

269

Вяземский П. Старая записная книжка, с. 201.

270

Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 183.

271

Подробнее см.:

Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1814–1822). — В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Л., 1962.

272

А. М. Кутузова, которому Радищев и посвятил Житие Ф. В. Ушакова. (

Примеч. Пушкина).

273

Г. А. Гуковский, а за ним и другие комментаторы полагают, что «слово умирающего Катона» — отсылка к Плутарху (см.:

Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 295, 485). Более вероятно предположение, что

Радищев имеет в виду монолог Катона из одноименной трагедии Дддисона, процитированной им в том же произведении, в главе «Бронницы» (там же, с. 269).

274

Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 183–184.

275

Эти слова свидетельствуют, что хотя Опочинин имел братьев, жил он уединенно и был единственным, если не считать крепостных слуг, обитателем своего одинокого деревенского жилища, заполненного книгами.

276

Цит. по:

Трефолев Л. Н. Предсмертное завещание русского атеиста. — Исторический вестник, 1883, янв., с. 225.

277

«Иудина участь» — имеется в виду самоубийство М. Сушкова.

278

Русский архив, 1876, ч. 3, с. 274. Ср.:

Гуковский Гр. Очерки русской литературы XVIII века. Л., 1938, с. 82–83.

279

Русский архив, 1876, ч. 3, с. 276.

280

Там же, с. 277–278.

281

Когда погибло все и когда нет надежды, жизнь — позор, а смерть — долг (

франц.).

282

Сегодня — моя очередь, завтра — твоя (

франц.).

283

Как дар патриота (

франц.).

284

В данном случае мы имеем право говорить именно о творчестве: анализ показывает, что Карамзин печатал только ту переводную литературу, которая соответствовала его собственной программе, и не стеснялся переделывать и даже устранять то, что не совпадало с его взглядами.

285

Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 61.

286

Там же, с. 61–62.

287

Там же, с. 102, 103.

288

Давыдов Д. Соч., с. 248.

289

Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1981, с. 167, 168.

290

Подвиг Тучкова позже послужил Л. Н. Толстому прообразом для описания героического поступка князя Андрея под Аустерлицем.

291

Имеется в виду известный в 1812 г. апокрифический рассказ о крестьянине, который отрубил себе руку, чтобы не идти в наполеоновскую армию (ср. скульптуру Пименова «Русский Сцевола»).

292

Баратынский Е. Полн. собр. стихотворений, т. 1, с. 138–139.

293

История концепций смерти в русской культуре не имеет целостного освещения. Для сравнения с западно-европейской концепцией можно порекомендовать читателю книгу: Vovel Michel. La mort et l'Occident de 1300 ? nos jours. <Paris>, Gallimard, 1983

294

Неплюев И. И. Записки. СПб., 1893, с. 1.

295

Он приходился родственником тому московскому главнокомандующему, князю А. А. Прозоровскому, который позже с жестокостью преследовал Н. Новикова и московских мартинистов и о котором Потемкин сказал Екатерине, что она выдвинула из своего арсенала «самую старую пушку», которая непременно будет стрелять в цель императрицы, потому что своей не имеет. Однако он высказал опасение, чтобы Прозоровский не запятнал в глазах потомства имя Екатерины кровью. Потемкин оказался провидцем.

296

Там же, с. 18.

297

Галера — военный корабль на веслах. Команда галеры состоит из штата морских офицеров, унтер-офицеров и солдат-артиллеристов, моряков и прикованных цепями каторжников на веслах. Галеры употреблялись в морских сражениях как не зависящее от направления ветра и обладающее большой подвижностью средство. Петр I придавал большое значение развитию галерного флота. Служба на галерах считалась особенно тяжелой.

298

Супракомит — старший командир.

299

Там же, с. 39–40.

300

К этому месту И. Голиков в своей копии «Записок» прибавил, видимо находя этот аргумент слишком «личным»: «…и от отечества».

301

Там же, с. 98–99.

302

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 779.

303

Полоцкий С. Избр. соч. М.; Л., 1953, с. 18.

304

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 284.

305

Державин Г. Р. Стихотворения, с. 212–213.

306

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения, с. 94–95.

307

Неплюев И. И. Записки, с. 103.

308

В этом месте в публикации Голикова речь Петра дана в более пространном виде; снисходительность Петра еще более подчеркнута: «Ты вчера был в гостях; а меня сегодня звали на родины; поедем со мною».

309

«Вино хлебное, водка, горячее вино»

(Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1, с. 205).

310

Там же, с. 106–107.

311

Там же, с. 103.

312

Там же, с. 109–110.

313

Там же, с. 112–113.

314

В мемуарах Неплюев рисует красочные картины этой драматической ситуации: «…жалея жену мою и детей, также и служителей, в предместий у Царьграда, именуемом Буюкдере, заперся в особую комнату и получал пропитание в окно, никого к себе не допуская; жена моя ежечасно у дверей о том со слезами просила меня» (с. 124). Лечился он «приниманием хины с водой» (там же).

315

Там же, с. 130.

316

Киргиз-кайсаками в XVII веке называли казахов.

317

Там же, с. 134.

318

Там же, с. 145.

319

Рылеев К. Полн. собр. стихотворений, с. 310.

320

Неплюев И. И. Записки, с. 197.

321

См. главу «Бунташный век» в кн.:

Панченко А. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984, с. 3–36.

322

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 3. СПб., б. г., с. 1312.

323

Слово «художество» означало в ту пору понятие, передаваемое нами теперь словом «ремесло». М. Аврамов, как человек своей эпохи, в живописи подчеркивает ремесло — сочетание труда и умения. Для людей Петровской эпохи слова «ремесло», «умение» звучали торжественнее и даже поэтичнее, чем слово «талант». Этот пафос позже отражен в словах А. Ф. Мерзлякова «святая работа» о поэзии; в словах (повторяющих К Павлову) М. Цветаевой «Ремесленник, я знаю ремесло» и Анны Ахматовой «святое ремесло».

324

Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, с. 260.

325

Там же, с. 261.

326

См.: Описание изданий гражданской печати. 1708 — январь 1725. М.; Л., 1955, с. 125–126; см. также: Описание изданий, напечатанных при Петре I. Сводный каталог. Л., 1972.

327

Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время, с. 264–265.

328

То есть любителям материального мира, «мира сего».

329

Там же, с. 262–263.

330

Смысл этих слов объясняется противопоставлением широкого пути, ведущего в ад, и узкого, «тесного», ведущего в рай. Ср. слова протопопа Аввакума о «тесном» пути в рай. Реализуя метафору, Аввакум говорил, что толстые, «брюхатые» никониане в рай не попадут.

331

Там же, с. 263.

332

Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951, с. 162–163.

333

По капризному переплетению сюжетов и судеб, именно во время следствия по делу царевича Алексея достигла апогея карьера Г. Г. Скорнякова-Писарева, судьба которого позже неожиданно пересечется с судьбой Аврамова.

334

Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время, с. 683–687.

335

Там же, с. 691.

336

Там же, с. 692.

337

Там же, с. 694.

338

Вяземский П. Старая записная книжка, с. 194.

339

Потемкин умер неожиданно, в дороге: выйдя из кареты, он лег на землю, укрывшись шинелью, снятой с сопровождавшего его солдата.

340

Державин Г. Р. Стихотворения, с. 98–99.

341

Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1890, с. 25–26.

342

Можно сомневаться и в том, что романтический брак Нечеволодова с черкешенкой получил церковное благословение. Перевод сюжета «Кавказского пленника» на язык бытовой реальности связан был с некоторыми трудностями.

343

Так, например, в издании его юридических сочинений И. Душечкиной были обнаружены сотни текстологических ошибок на нескольких десятках страниц; поскольку некоторые страницы издания дают фототипическое воспроизведение рукописей, любопытный читатель, сопоставляя их с тут же приведенными печатными страницами, может обнаружить пропуски целых строк и другие плоды безответственности и невежества.

344

См. главу «Роль Радищева в сплочении прогрессивных сил». — В кн.:

Бабкин Д. С. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. М.; Л., 1966.

345

Шторм Г. Потаенный Радищев. М., 1965. 2-е изд., испр. и доп. М., 1968.

346

Известия, 1965, 18 сент.

347

Лотман Ю. М. В толпе родственников. — Учен. зап. Горьковского гос. ун-та. Вып. 78, 1966, с. 491–505.

348

Иванов Ф. Ф. Соч. и переводы. В 4-х ч. Ч. II. М., 1824, с. 88–89 первой пагинации.

349

Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 90.

350

Для просветителя народ — понятие более широкое, чем та или иная социальная группа. Радищев, конечно, и в уме не мог представить непосредственной реакции крестьянина на его книгу. В народ входила для него вся масса людей, кроме рабов на одном полюсе и рабовладельцев — на другом.

351

Там же.

352

Там же, т. 2, с. 292–293, 295. Имеется в виду монолог Катона в одноименной трагедии Аддисона, где Катон характеризует самоубийство как крайнюю силу торжества свободы над рабством.

353

Карамзин, как можно судить, был взволнован самоубийством Радищева и опасался воздействия этого поступка на современников. Этим, видимо, объясняется то, что автор, до этого с сочувствием описавший целую цепь самоубийств от несчастливой любви или преследований предрассудков, в это время в ряде статей и повестей выступил с осуждением права человека самовольно кончать свою жизнь.

354

Текст не поддается точной датировке, однако максимальная удаленность не превышает двух лет.

355

Неизвестно, с помощью каких средств, — может быть, потому, что в далекой Сибири деньги выглядели убедительнее, чем столичные запреты, — и он, видимо, оформил этот брак и церковным ритуалом. По крайней мере, родившийся в Сибири сын Павел считался законным, и никаких трудностей, связанных с этим, в дальнейшем не возникало.

356

Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959, с. 46.

357

Там же, с. 98.

358

Петрушевский А. Т. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1884, т. III, с. 301.

359

Там же.

360

Суворов А. В. Письма. М., 1987, с. 76.

361

Интересующее нас сейчас письмо в оригинале написано по-французски. В данном месте в переводе допущена исключительно важная неточность. Французское «une irr?ligion» (там же, с. 118) переведено как «безверие». На самом деле речь идет не о безверии, упрекать в котором Руссо было бы элементарной ошибкой, а о деистическом стремлении поставить веру выше отдельных религий

362

Последние слова во французском письме Суворова представляют собой «русский» текст, написанный латиницей, презрительный воляпюк, передразнивающий французскую речь русских дворян.

363

Суворов употребляет выражение «loi naturelle». В цитируемом издании оно переведено как «закон природы», что полностью искажает его смысл. Суворов использует лексику из терминологии скотоводства, где «натура» означает качество породы. Перевод словом «естественный» в данном издании ошибочен.

364

Там же, с. 118.

365

См.:

Панченко А. М. Смех как зрелище. — В кн.: Смех в Древней Руси. Л., 1984, с. 72–153.

366

Игра судьбы привела в дальнейшем Е. Фукса на сходной должности в походную канцелярию Кутузова во время Отечественной войны 1812 года. Этот незаметный человек понюхал в своей жизни пороха, и если он не был критическим историком, то зато писал о том, что сам видел и пережил.

367

Фукс Е. Анекдоты князя Италийского, графа Суворова Рымникского. СПб., 1900, с. 20–21.

368

Там же, с. 30.

369

Там же, с. 78–79.

370

Загробные записки кн. Н. С. Голицына из Сказаний деда его кн. А. Н. Голицына. СПб., 1859, с. 19.

371

Фукс Е. Анекдоты князя Италийского…, с. 10–11.

372

Военного красноречия часть первая, содержащая общие начала словесности. Сочинение ординарного профессора Санкт-Петербургского Университета Якова Толмачева. СПб., 1825, с. 47. Оригинальная стилистика этого письма, видимо, шокировала военных историков от Е. Фукса до редакторов четырехтомного «Собрания документов» 1950–1952 гг. и В. С. Лопатина (1987). Ни в одно из этих изданий письмо не было включено. Между тем оно представляет собой исключительно яркий документ личности и стиля полководца.

373

В издании «

Суворов А. В. Документы». (М., 1953, т. IV, с. 349–350) — «проименованный Тейфельсбрюке».

374

Там же, с. 49–50.

375

Петрушевский А. Т. Генералиссимус князь Суворов, т. I, с. 291.

376

У Суворова имелся также сын Аркадий, но фельдмаршал был гораздо более привязан к дочери. Аркадий дожил лишь до двадцати семи лет и погиб, утонув в том самом Рымнике, за победу на котором отец его получил титул Рымникского.

377

R?fectoire— здесь: столовая в пансионе (

франц.).

378

Суворов А. В. Письма, с. 178.

379

Ср.: «<…> ту пиръ докончаша храбр и Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую» (Слово о полку Игореве. Л., 1952, с. 57).

380

Там же, с. 179, 185.

381

Там же, с. 122.

382

Житие протопопа Аввакума… М., 1960, с. 86.

383

Мундир и орден в этом культурном контексте выступают как синонимы: награда могла выражаться как в форме ордена, так и в виде нового чина, что отражалось в мундире.

384

Суворов А. В. Письма, с. 254. Смысл слов Суворова следует понимать так: «окончание детства Наташи — ее кораблекрушение».

385

Там же, с. 250.

386

Там же, с. 395–396.

387

Литературное наследство. Т. 94, с. 255.

388

Ср. письмо «суворочке», с. 279.

389

Фукс Е. Анекдоты князя Италийского…, с. 14.

390

По этому же делу был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Ермолов. После убийства императора он был освобожден и с неоправдавшимся оптимизмом написал на дверях своей камеры: «Навсегда свободна от постоя». Прошло 25 лет, и равелин, как и вся крепость, был заполнен арестованными декабристами.

391

Разговор шел по-немецки, и мемуарист сохранил немецкое название ордена «B?hmische Br?der».

392

Там же, с. 28–29.

393

Суворов А. В. Письма, с. 318.

394

Поэтому письма к Д. Хвостову изобилуют эллипсами и подразумеваниями.

395

Там же, с. 319.

396

Там же, с. 7.

397

Фонвизин Д. И. Собр. соч., т. 2, с. 40–78.

398

Уборная — комната для переодевания из утренних туалетов в дневное платье, а также для причесывания и совершения макияжа. Типовая мебель уборной состояла из зеркала, туалетного столика и кресел для хозяйки и гостей.

399

Лопухина А. В. Воспоминания. 1758–1828. СПб., 1914, с. X [предисловие Б. Л. Модзалевского].

400

Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989, с. 12.

401

Записки дюка Лирийского… посла короля Испанского, 1727–1730 годов. Пб., 1847, с. 192–193.

В приложении к этой книге опубликованы сочинения Феофана Прокоповича, цитируемые нами.

402

Там же, с. 116.

403

Там же, с. 120.

404

Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891, с. 108.

405

Щербатов М. М. Соч. СПб., 1898, т. 2, с. 178–179.

406

Записки дюка Лирийского…, с. 75.

Все даты в «Записках» приводятся по европейскому календарю.

407

Там же, с, 78.

408

«Затейка» — презрительное выражение, пущенное в ход Феофаном Прокоповичем.

409

Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века, с. 226.

410

Долгорукая Н. Б. Записки. СПб., 1889, с. 12–13. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страниц.)

411

Записки дюка Лирийского…, с. 190.

412

Пушкин с обычной для него глубиной подчеркивает, что гибель за дело, которое человек считал справедливым, оправдывается этикой чести, даже если в глазах потомства оно выглядит, например, как предрассудок.

413

Интересный очерк литературного образа боярыни Морозовой см.:

Панченко А. М. Боярыня Морозова — символ и миф. — В кн.: Повесть о боярыне Морозовой. М., 1979.

414

Кулибин С. Карамышев. — Русский биографический словарь. СПб., 1897, т. «Ибак —

Ключарев», с. 514–515.

415

Лабзина А. Е. Воспоминания. СПб., 1914, с. 88. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц).

416

Личную душевную мягкость Лабзин сочетал с гражданской смелостью. Открытый противник Аракчеева, он позволил себе дерзкое заявление: на совете в Академии художеств в ответ на предложение избрать в Академию Аракчеева, как лицо, близкое государю, он предложил избрать царского кучера Илью — «также близкую государю императору особу»

(Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1898, т. IV, с. 267). За это он заплатил увольнением от службы и ссылкой, которую перенес с большой твердостью.

417

С гомункулусом связана утопическая идея масонов по созданию искусственного человека, «не грешного в Адаме», то есть зачатого в колбе.

418

Мать: здесь — мать мужа.

419

Хераскова Елизавета Васильевна — жена Михаила Матвеевича Хераскова, известная писательница.

420

А он жил в одном доме с Херасковым.

421

Tabula rasa (

лат.) — «чистая доска». Выражение Аристотеля, повторявшееся Альбертом Великим и Дж. Локком (1632–1704) в значении полной открытости сознания и души человека впечатлениям внешнего мира.

422

Появление первой вечерней звезды было знаком окончания Рождественского поста.

423

В быту петербургской интеллигенции в начале XIX в. соблюдение постов уже сделалось скорее исключением, чем правилом. Герцен вспоминает случай, показательный тем, что смущенно мотивировать свое поведение приходится именно соблюдающему пост: «Раз приходит он [В. Г. Белинский] обедать к одному литератору на страстной неделе; подают постные блюда. — „Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?“ — „Мы едим, — отвечает литератор, — постное просто-напросто для людей“»

(Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1956, т. 9, с. 32). Граница соблюдения и несоблюдения поста разделяет народ («людей») и образованное общество.

424

В богатой литературе о начале войны 1812 года следует выделить насыщенную материалами и привлекающую строгостью анализа недавно вышедшую книгу:

Троицкий Н. 1812: Великий год России. М., 1988.

425

Характерен, например, такой эпизод. Во время встречи двух императоров в Тильзите (встреча должна была произойти на воде — на плоту на реке Неман, разделявшей оба войска, — демонстративно на равном расстоянии от французской и русской армий) Наполеон намеренно подъехал к «плоту императоров» на несколько минут раньше и встретил Александра I не посредине плота, а на восточном его краю как «гостеприимный хозяин».

426

См.:

Тартаковский А. Г. Бюллетень М. Ф. Орлова о поездке во французскую армию во время войны 1812 г. — Археографический ежегодник за 1961 г. М., 1962.

427

См.: Карлик фаворита: История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. M?nchen, 1968, с. 97–98.

428

Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, с. 251.

429

См.:

Троицкий Н. 1812: Великий год России, с. 50–51.

430

Давыдов Д. Соч., с. 320.

431

Дневник Александра Чичерина: 1812–1813. М., 1966, с. 14. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страниц.)

432

У Чичерина к моменту этой дневниковой записи не осталось ничего, кроме шинели.

433

Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1970, с. 673–674.

434

Вера Федоровна Вяземская ожидала ребенка. Вяземский, несмотря на то что был до мозга костей человеком штатским, перед Бородинским сражением явился в штаб к Кутузову. На поле Бородина под ним убило несколько лошадей, но после оставления Москвы, решив, что война проиграна, и не желая принимать участия в капитуляции, он бросил армию и поскакал к жене, опасаясь неудачных родов.

435

Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Пб., 1866, с. 164–165.

436

В этих словах чувствуется интонация горького разочарования современника, который не оправдывал маневра Кутузова (смысл его еще большинству, от Александра I до рядовых жителей провинции, был непонятен) и готов был скорее умереть у стен Кремля, чем совершить этот, изъясненный потом историей, маневр. В письме 26 ноября Карамзин горько писал, объясняя, почему он ничего не спас из имущества и предоставил огню даже ценную библиотеку и архив: «Не хотелось думать (об опасности сдачи Москвы. —

Ю. Л.), не хотелось верить, не хотелось трусить в собственных глазах своих; нас же уверяли, ободряли, клялись седыми волосами» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с. 168).

437

Имеется в виду, что португальский поэт Камоэнс во время кораблекрушения доплыл до берега, поднимая одной рукой рукопись написанной им поэмы.

438

Там же, с. 165–166.

439

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1978, т. 1, с. 20–21.

440

Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. [Л.], 1935, с. 451. Написанная Крыловым басня «Волк на псарне» также звучала в период Тарутинского лагеря предсказанием, скорее вызывавшим сомнение, чем уверенность.

441

Особой красотой отличались также сестры его Жаннета и Мария. В первую был влюблен великий князь Константин, порывавшийся на ней жениться, несмотря на запреты матери, вторая — княгиня Нарышкина — была многолетней симпатией Александра I и родила от него дочь.

442

Вигель Ф. Ф. Записки, т. 2, с. 21–22.

443

Большинство декабристов не занимало (да и не могло занимать по своему возрасту) высоких государственных постов. Однако значительное число участников декабристского движения принадлежало к кругу, который, безусловно, открывал дорогу к таким постам в будущем.

444

«Техническое выражение» Николая Тургенева в значении: «враги общественного просвещения».

445

Восстание декабристов. М.; Л., 1927, т. 4, с. 179.

446

См.:

Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 98, 1968, с. 134.

447

«Хам» в политическом лексиконе Н. Тургенева обозначало «реакционер», «крепостник», «враг просвещения». См., например, высказывания вроде: «Тьма и хамство везде и всем овладели» — в письме брату Сергею от 10 мая 1817 г. из Петербурга (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936, с. 222).

448

Завалишин Д. И. Записки. СПб., 1908, с. 10.

449

Поэты 1790–1810-х годов, с. 537.

450

Шиллер здесь — автор баллад, переводимых Жуковским; ср. в статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии…» презрительный отзыв о Шиллере как авторе баллад и образце Жуковского — «недозревший Шиллер».

Кюхельбекер В. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. — В кн.: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.; Л., 1951, с. 552. О том, какое раздражение вызывала обычная для карамзинистов ссылка на мнение «знаменитых друзей» вне их лагеря, откровенно писал Н. Полевой: «Слова:

знаменитые друзья, или просто

знаменитые, на условном тогдашнем языке имело особенное значение» (

Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, с. 153).

451

Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., с. 242–243.

452

Вяземский П. А. Старая записная книжка, с. 105.

453

Чехов А. П. Соч. М., 1977, т. 9, с. 88.

454

Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, с. 16.

455

Завалишин Д. И. Записки, с. 86.

456

Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века). СПб., 1911, с. 77.

457

Там же, с. 31.

458

Там же, с. 22.

459

Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т. Л., 1981, т. 1, с. 107–108.

460

Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1913, т. 1, с. 3–4. (Оригинал — на франц. яз.).

461

[

Жихарев М.] Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника. — Вестник Европы, 1871, № 7, с. 203.

462

Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горе от ума». — В кн.: Литературное наследство. Т. 47–48. М., 1946, с. 168–171.

463

Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1911, т. 1, с. 256.

464

Правда, тут же говорится, что Чаадаев «вряд ли уж слишком надеялся на добрые намерения императора». В этом случае автор видит цель разговора в том, чтобы «окончательно и бесповоротно прояснить истинные намерения и планы Александра I»

(Лебедев А. Чаадаев. М., 1965, с. 67–69.) Последнее совсем непонятно: почему именно разговор с Чаадаевым должен был внести такую ясность, когда она не была достигнута десятками бесед царя с разными лицами и многочисленными его заявлениями.

465

См.:

Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 28–58.

466

Образ Альбы, обагренного кровью Фландрии, получал особый смысл после кровавого подавления чугуевского бунта.

467

Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование, т. III, с. 48.

468

Вяземский в эти дни писал: «Не могу при том без ужаса и уныния думать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на голос его? Раздраженное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еще бедственнее и того».

469

Герцен А. И. Собр. соч., т. 16, с. 38–39. Чтение, видимо, имело место в 1803 году, когда Шиллер через Вольцогена направил «Дона Карлоса» в Петербург к императрице Марии Федоровне. 27 сентября 1803 г. Вольцоген подтвердил получение.

470

Неизданные произведения и переписка Н. М. Карамзина. Ч. I. СПб., 1862, с. 9 (оригинал — на франц. яз.).

471

Там же, с. 11–12.

472

См. главу «Искусство жизни», с. 208.

473

Басаргин И. В. Записки, с. 35.

474

Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971, с. 168, 214.

475

Базанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964, с. 267.

476

Гершензон М. О. История молодой России. М.; Пг., 1923, с. 70.

477

Там же.

478

Волконская М. Н. Записки. СПб., 1914, с. 57.

479

Предтеческий А. В. Записка Т. Е. Бока. — В кн.: Декабристы и их время, с. 198.

480

Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, с. 70.

481

Карлик фаворита: История жизни Ивана Андреевича Якубовского… с. 68.

482

Вяземский П. А. Избр. стихотворения. М.; Л., 1935, с. 141.

483

Царица Цитеры — богиня любви Афродита, чей храм находился на этом острове.

484

См.:

Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912 (глава «Зеленая лампа»); см. также:

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931.

485

Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы». — В кн.: Декабристы и их время. Т. 1. М., 1928.

486

Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955, т. 1, с. 239–246.

487

Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1 (1813–1824). М.; Л., 1956, с. 212.

488

Там же, с. 197.

489

Дневники Н. Тургенева. Т. Ш. — В кн.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Пг., 1921, с. 259.

490

Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1, с. 206.

491

Существует и другая причина, по которой нельзя согласиться ни с П. Анненковым, писавшим, что следствие по делу декабристов обнаружило «невинный, то есть оргический характер „Зеленой лампы“»

(Анненков П. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 63), ни с Б. Томашевским, высказавшим предположение, что «слухи об оргиях, возможно, пускались с целью пресечь… любопытство и направить внимание по ложному пути»

(Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1, с. 206). Полиция в начале века преследовала безнравственность

не менее активно, чем свободомыслие. Анненков невольно переносил в Александровскую эпоху нравы «мрачного семилетья». Что же касается утверждения Б. В. Томашевского, что «заседания конспиративного общества не могли происходить в дни еженедельных званых вечеров хозяина», что, по мнению исследователя, — аргумент в пользу разделения «вечеров» и «заседаний», то нельзя не вспомнить «тайные собранья // По четвергам. Секретнейший союз» грибоедовского Репетилова. Конспирация в 1819–1820 гг. еще весьма далеко отстояла от того, что вкладывалось в это понятие к 1824 г.

492

Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. [М.], 1956, с. 81.

493

Гроссман Л. Пушкин. М., 1958, с. 143.

494

Известные пушкинские слова из послания к Никите Всеволожскому:

Вновь слышу, верные поэты,

Ваш очарованный язык…

Налейте мне вино кометы,

Желай мне здравия, калмык! —

поясняются следующим образом. «Вино кометы», упоминающееся и в «Евгении Онегине», — шампанское из винограда урожая 1811 г., славившееся высоким качеством (этот же год был отмечен появлением кометы, что считалось предвестием войны). «Очарованный язык… <…> Желай мне здравия, калмык!» — слова, указывающие на обычай вечеров в доме Всеволожского: когда кто-нибудь из участников молодежной попойки произносил «неудобное для печати слово», слуга хозяина, мальчик-калмык, подносил ему бокал со словами: «Здравия желаю!», — имеют несколько комический характер.

495

Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, с. 208.

496

Тем более характерно сказанное старухой Хлестовой о Чацком — «шутник»: так прочитывалась гневная обличительность на языке московского общества.

497

Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 206.

498

Грумм-Гржимайло А. Г., Сорокин В. В. «Общество громкого смеха»: К истории «Вольных обществ» Союза благоденствия. — В кн.: Декабристы в Москве. М., 1963, с. 148.

499

Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Пг., 1922, с. 85.

500

Русский архив, 1986, кн. 7, стб. 1255.

501

Экосез конституционный, независимый, или контрданс монархический, или танец контрмонархический? (

Франц.) Крайне интересное свидетельство отрицательного отношения к танцам, как занятию, несовместимому с «римскими добродетелями», с одной стороны, и одновременно веры в то, что бытовое поведение должно строиться на основании текстов, описывающих «героическое» поведение, — с другой, дают воспоминания В. Олениной, рисующие эпизод из детства Никиты Муравьева (см. с. 63).

502

Воспоминания Бестужевых, 1951, с. 53.

503

Завалишин Д. И. Записки, с. 40.

504

Словцов П. А. Послание к М. М. Сперанскому. — В кн.: Поэты 1790–1810-х годов, с. 209.

505

Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908, с. 567.

506

Для понимания разных социальных значений слова «гулять» показательно то место из дневника В. Ф. Раевского, в котором зафиксирован разговор с великим князем Константином Павловичем. В ответ на просьбу Раевского разрешить ему гулять Константин сказал: «Нет, майор, этого решительно невозможно! Когда оправдаетесь, довольно будет времени погулять». Однако далее выяснилось, что собеседники друг друга не поняли: «Да! Да! — подхватил цесаревич. — Вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал

погулять, т. е. попировать. Это другое дело» (Литературное наследство. Т. 60, кн. 1, с. 101). Константин считает разгул нормой военного поведения (не случайно Пушкин называл его «романтиком»), недопустимым лишь для арестанта. Для «спартанца» же Раевского глагол «гулять» может означать лишь прогулку.

507

Давыдов Д. Соч., с. 102.

508

Завалишин Д. И. Записки, с. 41.

509

Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды». — В кн.: Литературное наследство, т. 59, с. 254.

510

Завалишин Д. И. Записки, с. 41.

511

Рылеев К. Полн. собр. стихотворений, с. 309.

512

Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. М., 1909, с. 315.

513

Мурьянов М. Ф. О пушкинской «Вакхической песне». — Русская литература, 1971, № 3, с. 77–81.

514

См.:

Ахматова А. Соч. в 2-х т. М., 1986, т. 2, с. 119–126.

515

Основным источником для суждений о Н. Д. Дурново является его обширный дневник, отрывки из которого были опубликованы в «Вестнике общества ревнителей истории» (вып. 1, 1914) и в книге: Декабристы. (Зап. отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В. И. Ленина Вып. 3.). М., 1939. Однако опубликованная часть — лишь ничтожный отрывок огромного многотомного дневника на французском языке, хранящегося в ГБЛ.

516

Записки Н. Н. Муравьева. — Русский архив, 1885, кн. 9, с. 26.

См.:

Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, с. 24–25;

Лотман Ю. Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской освободительной мысли. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 139, 1963, с. 15–17.

517

ОР ГБЛ, ф. 95 (Дурново), 9533, л. 19. Отрывок русской машинописной копии, изготовленной, видимо, для «Вестника общества ревнителей истории». — ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 71.

518

ОР ГБЛ, ф. 95, 9536, л. 7 об.

519

В справке, приложенной к публикации отдела рукописей Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Дурново назван флигель-адъютантом Николая I, но это явная ошибка (см.: Декабристы. (Зап. отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В. И. Ленина. Вып. 3.), с. 8.

520

См.: Русский инвалид, 1828, 4 дек.

521

Завалишин Д. И. Записки, с. 46.

522

Воспоминания Бестужевых, с. 9–11.

523

См.: Щукинский сборник, т. IV, с. 29–40; Русский архив, 1905, IX, с. 132–133. Оценка и свод данных. — М. К. Азадовский. Воспоминания Бестужевых, с. 711–712.

524

Воспоминания о декабристах. Письма В. А. Олениной к П. И. Бартеневу. — В кн.: Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея. Кн. 3. М., 1938, с. 485.

525

Толстая-Сухотина Т. Л. Вблизи отца. — Новый мир, 1973, № 12, с. 194.

526

Фет А. Мои воспоминания. Ч. I. М., 1890, с. IV.

527

Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия, с. 26, 83.

528

Цит. по кн.:

Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Ч. I. М., 1887, с. 68.

529

Державин Г. Р. Стихотворения, с. 107.

530

Баратынский Е. Полн. собр. стихотворений. М., 1936, т. I, с. 209–210.

531

Кацурагава Хосю. Краткие вести о скитаниях в северных водах. М., 1978, с. 263.

532

Там же, с. 207.

533

Ср.: «Уборные называются [по-русски] нудзуне, или нудзунти [нужник]. Даже в 4–5-этажных домах нужники имеются на каждом этаже. Они устраиваются в углу дома, снаружи огораживаются двух-трехслойной [стенкой], чтобы оттуда не проникал дурной запах. Вверху устраивается труба вроде дымовой, в середине она обложена медью, конец [трубы] выступает высоко над крышей, и через нее выходит плохой запах. В отличие от дымовой трубы в ней посредине нет заслонки, и поэтому для защиты от дождя над трубой делается медный навес вроде зонтика. Над полом в нужнике имеется сиденье вроде ящика высотой 1 сяку 4–5 сунов [сяку=30,3 см или 37,8 см; 1 сун=3,03 см]. В этом [сиденье] вверху прорезано отверстие овальной формы, края которого закругляются и выстругиваются до полной гладкости. При нужде усаживаются поудобнее на это отверстие, так чтобы в него попадали и заднее и переднее тайное место, и так отправляют нужду. Такое [устройство] объясняется тем, что [в России] штаны надеваются очень туго, так что сидеть на корточках, как делают у нас, неудобно. Для детей устраиваются специальные сиденья пониже. Нужники бывают большие с четырьмя и пятью отверстиями, так что одновременно могут пользоваться три-четыре человека. У благородных людей даже в уборных бывают печи, чтобы не мерзнуть <…> Под отверстиями сделаны большие воронки из меди, [а дальше] имеется большая вертикальная труба, в которую все стекает из этих воронок, а оттуда идет в большую выгребную яму, которая выкопана глубоко под домом и обложена камнем. Испражнения выгребают самые подлые люди за плату. Плата с людей среднего сословия и выше — по 25 рублей серебром с человека в год. Очистка производится один раз в месяц после полуночи, когда на улицах мало народа. Все это затем погружается на суда, отвозится в море на 2–3 версты и там выбрасывается»

(Кацурагава Х. Краткие вести о скитаниях в северных водах, с. 182).